Цена 90 коп. Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 11
1988

Василий ГРОССМАН. «Добро вам!»
(«Армянские записки»)

Алесь АДАМОВИЧ. «Клуб». Рассказ

А. М. ЛАРИНА (БУХАРИНА). «Незабываемое»

Стихи
Кайсына КУЛИЕВА, Марата КАРТМАЗОВА,
Ольги ФОКИНОЙ

Очерк Ю. ФЕОФАНОВА «Возвращение
к истокам»

Знамя, 1988, № 10, 1—240

ЗНАМЯ
10
1988

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Октябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга
десятая
ОКТЯБРЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Владимир Соколов

ИЗ ТЕТРАДЕЙ

Стансы

Каков был Сталин?
По себе сужу.
Он нас творил
По своему подобью.
Боялся тюрем?
Я в тюрьме сижу.
Боялся смерти?
Я в гробу лежу.
И снег метет
по нищему надгробью.

Каков был Сталин?
Знаю по себе.
Все объяснить он мог.
Всей сталью слога
Внушить умел:
Все правильно!
В судьбе
Страны Советов,
В партии,
В избе.
То, чего нету, есть.
И даже много.

Каков был Сталин? —
Спросит дочь моя.
Он лучший друг детей, —
Скажу я дочке.
Он деда твоего, —
Замечу я, —
Послал однажды
В гиблые края.
Зачем?
Чтоб больше
думал о сыночке.
Каков был Сталин?
Да таков он был,
Что смерть одна его —
Исток возврата
И воскрешенья тысяч!..
Зло и свято
Они встают
из праведных могил.

А их встречает Аппассионата,
Которой он, конечно, не любил.

1962

★

Не понимаю, год за годом
Живя для красного словца,
Как удержался я, не продал
Ни матери и ни отца.

Но годы не проходят даром
И вот уже, подняв лицо,
Выспрашивают с новым жаром:
Так где же красное словцо?

Но годы не проходят даром
И вот уже сулят тоску
Не барабанам и гитарам,
А скрипке и ее смычку.

И вот уже мне всей конторой
В дела подшитые года
Твердят о поезде, который
Ушел, не зная сам куда.

Но это ль не омоложенье —
Внезапно, если ты поэт,
Стряхнуть с себя как наважденье
Такую пропасть дней и лет.

★

Я думаю: что происходит,
Когда я стихов не пишу?
Кто места себе не находит
Кто думает — чем я дышу?

Кто в мире домашнего круга
Внезапно не спит по ночам,
О ком сообщает подруга:
Он ссорится по мелочам?

Мне очень хотелось бы —
чтобы,
Пока карандаш на весу,
Два-три задержались сугроба
В зеленом и жарком лесу,

Чтоб кольца метель закружила,
Чтоб ты, среди белого дня
Ворвавшись ко мне, заявила,
Что все это из-за меня!

Я думаю: что происходит,
Когда и в аллеях пустых
Деревья со мной переходят
На азбуку глухонемых.

1966

★

Сыплет, сыплет в окнах дождик.
Где-то думает художник
О тропе лесной.
Выйди, выйди в эти листья.
Намочи сухие кисти
Дождевой водой.

В сигаретном синем дыме
Звезды плавают, а с ними
Плаваю и я.
Да вместит в себя квартира
В эту полночь сумрак мира,
Пламя бытия.

Забреди, сюжет бродячий,
И за истиной ходячей
Мы с тобой уйдем
Без вопроса и ответа
Хоть на край земли и света
Прямо под дождем.

★

Когда-нибудь, когда меня не будет,
Когда я буду в будущем и прошлом
(О настоящем я не говорю),
Среди стихов прочтут мои стихи.
С любым бывает.

Я не боюсь воскреснуть, Я боюсь,
Что будет слишком шумно.
Я в жизни так однажды закричал,
Что у меня совсем сорвался голос.
И что бы я потом ни говорил,
Меня перебивали: громче, громче!

Когда же голос мой восстановился
Мне, как нарочно, все равно внушали:
Повысьте голос!
Ну хорошо, повышу. Но и вы
Слух напрягите. Слушать научитесь.

Так вот, стихи... Я их пытался даже
Кричать, но все равно они звучали,
Как шум дождя (его не слушать можно),
Как снегопад (не слушать можно тоже),
Как разговор не для чужих ушей.

1966, 1988

★

Что ж, темнотою — темнота,
Лучи — лучами,
Но жизнь осталась только та,
Что за плечами.

И надо так расположить
Ее в грядущем,
Чтоб полной мерою дожить
В дне настающем.

Осталось, может быть, еще,
Лет, скажем, десять —
Что ж, холодно иль горячо —
Их надо взвесить.

И глядя иногда назад
Не без печали,
В них уместить все шестьдесят,
Что миновали.

И свой вручить потомкам пыл
В стихе и в силе.
Иначе, для чего ж я был
Рожден в России...

Вячеслав Кондратьев

ЧТО БЫЛО...

ПОВЕСТЬ

Борька встретил наших на подступах к той деревне, где хоронился несколько дней. Встретил с винтовкой в руках и звездочкой на ушанке, все честь по чести, не окруженцем каким, а настоящим бойцом Красной Армии и сразу влился в ряды наступающей стрелковой роты. Вместе с бойцами пробежал он мимо подожженных немцами изб, выскочил к леску, где скрылись фрицы, с ними же пробирался по сугробам, стреляя, не целясь, просто по направлению: немцев-то не видать...

Минут через пятнадцать вышли они к полю. Тут вот картина! Обозы брошенные, фрицев убитых навалом, а обогнавший их лыжный батальон, не давая скрыться в следующем леске, добивает немцев на поле. Остановились, поглядели, делать им здесь вроде уж нечего, да и связной прибежал с командой — в деревню возвращаться. Повернули назад. На обратном пути командир роты подошел к Борьке и, предложив закурить, спросил:

— Как звать-то тебя?

— Красиков Борис,— вытянулся Борька.— Служил в лыжном истребительном. Дуриком к немцам попал. Бежал два раза. И вот уже две недели, как к своим пробиваюсь.

— Действовал ты хорошо. Был бы моим, к «Отваге» представил бы.

— А вы возьмите к себе, товарищ старший лейтенант. Возьмите.

— Документов у тебя никаких, конечно?

— Никаких.

— Не могу, брат. Не могу. Взял бы с удовольствием. Боец ты настоящий. Сразу увидел, но не могу.

— Куда ж мне теперь?

— К начальнику Особого.

— Ох, неохота.

— Кому охота,— усмехнулся ротный.

— Ничего хоть мужик-то? — спросил Борька.

— Кто его знает. Я видел-то его два раза. В общем, вернемся, пообедаешь с нами, стопку я тебе поставлю — вот все, что могу. И топай в Особый.

— Что делать? — вздохнул Борька.— Я все мечтал на свою часть выйти. Там меня знают.

Ротный поглядел на него сочувственно, потом сказал:

— Я расскажу капитану, как ты себя в бою вел. Не тушуйся, Красиков, обойдется, может...

— Чего мне тушеваться, я такое прошел за эти денечки. Мне бы ноги поправить, я б свою часть разыскал.

Вернулись они в деревню... Большинство домов от пожара отстояли, но три избы сгорели, в том числе и Полькина, где Пашка обитал-

ся. Он и сейчас здесь вместе с другими ребятами из окруженцев. Выволакивали они из огня Полькиного борова. Вытащили уже всего обугленного, черного. Вокруг сразу жареной свининой так запахло, что бойцы приостановились, губами зачмокали — хорош дух, аж в животах заныло. Полина стояла у пепелища вся в слезах, но лицо злое-презлое. Умудрилась она одного немца-поджигальщика лопатой огреть. Но не насмерть, как пояснил Пашка, только голову поранила, видишь, кровищи сколько... Борька потоптался тут немного, погрелся у затухающего пожарища, ожидая, когда освободится Пашка, переговорить ему с ним надо.

— Ты что, с ротой-то не пошел? — спросил он его, когда Пашка отошел от ребят.

— К чему геройствовать-то? Думаешь, учтут? — глянул на него Пашка мутными, хмельными глазами и усмехнулся криво.

— Ну, а что решил?

— Чего решать, дай очнуться малость.

— Мне ротный сказал, надо в Особый идти...

— Не уйдет твой Особый. Не торопись. У меня самогону припасено на случай, как наши придут. Нарежусь сейчас, а там видно будет. Пойдем с нами. Закуски, видишь, сколько,— показал он на обгоревшую тушу.

— Нет. Меня ротный обедать позвал.

— Надеешься подъехать? Чтоб взял?

— Да нет. Был разговор. Не может он так взять.

— То-то и оно,— сказал Пашка и сплюнул. Потом подошел к Борьке вплотную и зашептал: — А ты о том подумал, что документов вон сколько валяется? У любого убитого бери и...

— И что? Что с ним делать-то?

— Подумать надо.

— Что-то не понимаю, о чем ты?

— Пошевели мозгами.

— Шевелю.

— Ну и что?

— Ничего.

— Ну, ладно. Не хочешь с нами напоследок, иди к своему ротному.

— Ну, бывай. Спасибо за приют, за все.

— Чего там, на том свете расквитаемся, а может... и на этом?

Борька действительно должен быть по гроб жизни благодарным Пашке и другим ребятам, которые прибились к этой далекой от дорог деревеньке и ожидали весны, чтобы начать к своим выходить. Зимой-то трудно, почти невозможно. И след человек на снегу оставляет, и виден далеко, и замерзнуть запросто можно... Кстати, были они все при оружии — и винтовка у каждого, и гранаты... у них Борька и взял «родимую», когда увидел, как рассыпалась в цепь вышедшая из леса рота и повела наступление на деревню. Он же в эту деревню вошел совсем обессиленный, с темными кругами в глазах от голода, с обмороженными ногами, а приняли его ребята хорошо — обогрели, накормили, валенки Полина дала, и уговорили остаться, здесь наших ждать...

А потому прощались сердечно, долго жали руки друг другу. После этого пошел Борька к дому, где ротный расположился. Старший лейтенант вместе с капитаном,— комбатом, наверно,— стояли за столом и карту рассматривали. Понял Борька — не до него тут, встал в сторонке, попросил у кого-то из рядовых закурить. «Старшой» все же заметил, что Борька зашел, подозвал к себе.

— Вот, товарищ капитан, прибился к моей роте этот боец и всю

цепь за собой повел. Я бы ему «Отвагу» сразу прицепил, была б моя власть... Может, подумаем? Возьмем к себе?

— Из окруженцев? — поднял голову капитан.

— Нет. Взяли меня немцы, когда в боевом охранении шел...

— Хорош,— пробурчал капитан.

— Так в полусне шли. Я потом из ржевского лагеря убежал.

— Не можем, товарищ боец. Приказ — всех направлять в Особый. Там разберутся. Некогда нам с вами возиться. Понимаете?

— Понимаю.

— Васек,— позвал ротный своего ординарца.— Накорми человека. И из моего НЗ там, во фляге, налей, не жадничая.

— Есть,— ответил тот и отозвал Борьку в сторону.

— Вот так-то, брат, больше ничего не могу сделать. Спасибо тебе за бой.

Ротный ласково вроде хлопнул его по плечу, а у Борьки от этого сочувственного жеста дрогнули губы и голос задребезжал, когда он сказал:

— Эх, старший лейтенант, как бы хотелось у вас служить. Жизни бы не жалел. Первого же вас приметил, когда бежал...

— Вижу, брат, вижу,— расчувствовался и ротный.— Ты давай пей, ешь.

Ординарец протянул Борьке кружку с водкой и котелок с кашей, густо перемешанной с кусками мяса,— еда что надо! Выпил Борька, крякнул и стал наворачивать без стеснения — у Полины-то кусок в горло не шел, что ни говори, а вроде милостыни было, а здесь законное красноармейское, в бою заработанное.

— Добавить? — спросил ординарец.

— Если можно, добавь.

— Наголодался, вижу.

— А ты как думаешь?

— Я ему еще налью, товарищ старший лейтенант? — спросил ординарец.

— Валяй, валяй.

Выпил Борька еще, доел добавку, и так ему отсюда уходить не хотелось, все бы отдал, только тут остаться с этим «старшим», но ничего не поделаешь.

— А где особист-то у вас? — поднялся он.

— А черт его знает. Может, и не прибыл еще сюда. Поспрошай на улице.

Простился Борька и вышел из избы — где его искать, черт бы его подрал! Спросил у одного бойца, у другого — никто не знает. Наконец один сказал, что вроде бы в крайнем доме.

Борька перед домом почистился, снег с валенок смахнул, ремень подтянул — вошел.

Начальник Особого не капитаном оказался, а тоже старшим лейтенантом. Сидел за столом, чаек пил. С ним боец один был. Больше никого.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться.

— Обращайтесь.

— Красноармеец Красиков. Прибыл к вам по приказанию командира второй роты, вместе с которой участвовал в освобождении деревни. Роту встретил на подходе к деревне при оружии и знаках отличия. Бежал из ржевского лагеря и пробивался к своим.

— Так... Документы какие есть?

— Был взят в плен из боевого охранения. Документов не имел. Сданы были старшине и красноармейская книжка, и комсомольский билет. Служил в двадцать первом истребительном лыжном батальоне.

— Свидетели?

— Какие свидетели?

— Как в плен попал — были?

— Так если б кто видел, отбили бы меня.

И начал старший лейтенант тягучий допрос, что да как. И присесть, конечно, не предложил. Так и держал Борьку по стойке смирно, пока у него ноги не затекли, пока не заматерился про себя, а потом, озлившись, сказал:

— Я из боя только, старший лейтенант. Присесть бы. Разговор-то вижу, долгий будет.

— Да, долгий. Садитесь,— разрешил старшой.

Ну, сидя-то лучше, разумеется, но душу старший лейтенант вымотал здорово из Борьки. И по нескольку раз одни и те же вопросики.

— Я ж говорил вам.

— Ничего, расскажите еще раз.

— Так вы меня все равно не подловите, я ведь правду говорю, а с правды не собьешься.

— Вот и отвечайте, да поподробней.

— Есть, отвечать.

Уж, наверное, по пятому кругу рассказывал Борька одно и то же, аж вспотел весь, но особист не унимался. Ладно, перетерплю, думал Борька, а самого зло брало, еле сдерживался. Наконец, видно, разговор их подошел к концу, так как старший лейтенант приказал своему бойцу позвать какого-то Симакова. Тут Борька и понял, что под «свечку» его хотят поставить, то есть под часового, и начал соображать.

— Если я у вас тут останусь, товарищ старший лейтенант, то разрешите за вещевым мешком сходить, тут через дом?

— Сходите,— разрешил особист, но, когда Борька за своей винтовкой потянулся, прикрикнул: — Оружие оставьте! Кстати, много вас здесь окруженцев?

— Не знаю,— соврал без раздумья Борька.— Я только два дня тут.

— Ладно, завтра разберемся.

Борька выскочил и быстро к Полининой избе. Там тлел еще огонь, но знал он, что в баньке, наверное, все — и она, и Пашка, и, может, остальные ребята. И вправду, всех застал. Пили самогон напоследок со своими бабами примаки, но веселья не было. Смурные сидели, головы свесили, руки сжали — думала братва.

— Ну, как? — бросился к нему Пашка.— Был у особиста?

— Был. Всю душу вымотал. Под «свечку» хотел поставить. А завтра вами займется. Я, ребята, ходу отсюда даю.

— Куда?

— В тыл. Поближе к большому начальству. Там скорей разберутся.

— Может, и верно,— сказал один из примаков.— И нам мотануть?

— Конечно,— Борька свернул махры.— Полина, валенки ты мне дала хорошие, а теперь сгорело у тебя все. Дай мне на смену какие-нибудь рваные, а эти возьми обратно.

— Чего там, Борис, все равно разоренная я дочиста. Оставайся в них.

— Ну, я пошел, ребята, а то спохватятся, я ж за вещмешком отпросился. Желаю всего хорошего.

— Погоди,— сказал Пашка.— Наверное, с тобой тронусь.

— Паша! — бросилась к нему Полина.— Не пущу! Куда на ночь глядя-то. Хоть на часок останься... Как же я без тебя...

— Как же, как же...— раздраженно ответил Пашка.— Разве не понимаешь, кончилось наше житье-бытье.

— Понимаю, но утречком и уйдешь.— причитала Поля.

День выдался солнечный, но морозный. Пока идешь, ничего, а как на перекур остановишься, мерзнешь. В попавшейся по дороге деревеньке они постучали в один дом, попросили погреться — пустили, и даже горячей, прямо из печки, картошечкой угостили. Разморило всех в тепле, хоть и не иди дальше, но посидели, покурили и надумали все же трогаться, хотелось поскорей до эвакогоспиталя добраться, в тепло, в уют, отлежаться и отоспаться как следует.

Встречавшиеся по дороге воинские подразделения и отдельно идущие командиры внимания на них не обращали, и Борька подумал, что правильно он решил идти с ранеными. Кабы один шел, наверняка спрашивали бы у него документы, ну и задержать могли, а так — плетется он вместе с перебинтованными, сам с палочкой, прихрамывает, кому в голову придет спрашивать чего или проверять.

Раненые, хоть и легко, в руку, но шли с натугой, все же крови потеряли, да измотались до этого в наступлениях, поэтому еще и смеркаться не стало, порешили они в первой же попавшейся деревне заночевать.

Встретили их приветливо, постелили на полу, старые тулупчики подложили, картохой покормили, правда, без хлебушка, но обижаться нечего, понимали, что с хлебом туго, да и картошка небось последняя.

Среди ночи разбудил их стук. Борька ближе к двери лежал, поднялся и пошел открывать.

— Пусти, если калечные,— сказала хозяйка с печки.

Открыл Борька дверь и ахнул — стоял перед ним примак Пашка в полной красноармейской форме с рукой перевязанной и лицом забинтованным, но Борька по носу горбатому сразу его узнал.

— Ты, Пашка?

— Тихо. Не Пашка я теперь. Есть место переночевать-то? Сколько вас там?

— Со мной трое. Проходи.

— Николай я теперь. Понял? Да, и вообще — не знакомы мы. Так-то лучше.

— Хозяюшка, раненый один просится. Я пущу?

— Пускай, милок, пускай, место найдется. Сейчас я поищу что постелить,— сказала пожилая хозяйка, кряхтя спускаясь с печи.

— Спасибо, мать,— сказал Пашка.— Мы тут только в сенях покурим маленько.

— Курите, курите, если табачок есть.

Пашка вынул кисет, предложил Борьке. Закурили.

— Хлебнуть хочешь? — Пашка взболтнул флягу.

— Давай,— взял флягу Борька и приложился.

— Не продашь?

— А чего ты натворил?

— Чего, чего... Говорил тебе, не желаю я трибунала...

— Рассказывай.

— Ну, слушай,— шепотом сказал Пашка, прикрыв дверь.— Помнишь я тебе про документы говорил? Ну вот, подошел я к одному мертвяку, пошарил по карманам, достаю красноармейскую книжку, а фамилия-то моя! Только имя-отчество другое, а фамилия моя! Меня аж затрясло! Ну, а голова начала работать, прямо слышу, как мозги в ней ворочаются и мысли всякие набегают, одна другую взахлест перебивает... Ну, что бы ты придумал?

— Не знаю.

— Я вначале думаю — пойду в часть, которая в книжке указана. Но ведь морда-то у меня другая и никого я там не знаю. Нет, думаю, так сразу впросак попадешь и еще хуже себе сделаешь. Пришел обратно в баньку, к Полине своей, думаю. Форма-то у меня давно припрятана была. Переодеваюсь. При ней. Книжку ей показываю, она, вижу, тоже начала соображать, лоб наморщила, а потом бабахнула: «Придумала я, Пашка. Идем во двор». И винтовку взяла. «Чего,— говорю,— придумала? Зачем оружие берешь? Она так спокойненько в ответ: «Стрелять тебя сейчас буду, молись богу, чтоб не промахнулась». Я ничего не понимаю, ошалела, что ли, баба совсем? А Полина полушубок накинула и мне: «Идем, к лесу идем». Тут до меня стало малость доходить, чего она меня к лесу тянет. А что, придумала баба дело! Нашла выход! Не догадываешься, Борька?

— Нет.

— На улице темно уже, пришлось мне в руку цигарку зажженную взять, ну и вытянул я ее... Думаю, промажет вдруг, всадит мне пульку в грудину или в голову, и конец. А потом решил, была не была, все равно не жизнь. Первый раз — мимо, а вторым выстрелом попала в предплечье. Перевязала. Ну и простились мы тут. Она в деревню, я в санбат. Там выписали мне санкарту, от столбняка укол всадили, ну и полный порядок. Рана пустяшная, через две-три недели я в законном строю, на передке, вину свою искупаю, ежели она и есть какая... Ну, что молчишь?

— Не переварил еще.

— Ну валяй переваривай... Только пойми, одно дело на передовой самострел, который хочет жизнь свою спасти, с передка смыться, другое дело — я. Мне же на фронт надо, воевать! А трибунала я за то, что наша часть в окружение попала, не желаю. Потому как не виноват в том. Понял, Борис?

— А другие, значит, такие же, вроде тебя, ну я, к примеру, выходит, в трибунал?

— А уж это твое дело. Я за других не ответчик.

— Ладно, пошли спать.

— Не продашь, Борька?

— Что я, курва, что ли? На передке за такое я, может, сам бы тебе врезал, а здесь... здесь сам черт не распутает: кто виноват, кто нет. И в чем...

— Про то тебе и твержу. Перепутано все. А рассказал тебе, сам не знаю, почему. Потому, наверно, что тошно на душе. Тошно... Сам-то куда путь держишь?

— К штабу армии. Где начальство выше, там справедливости больше.

— Надеешься? — криво усмехнулся Пашка. — В начальство веришь?

— Надеюсь.

— Ну, надейся. Я вот тоже надеюсь как-нибудь потом свое имя-отчество вернуть. Может, с каким писарем договорюсь. Глотнуть хочешь?

— Нет, спасибо. После нее, заразы, идти завтра будет тяжело.

— Это верно.

Пошли они спать. Пашка лег и заснул сразу — видно, совесть его спокойна, а Борька все думал. Нет, таким манером он спасаться не смог бы. Это Пашка от отчаяния полного на такое решился, да и Полька, чертяка, надоумила. Надо же, придумала баба. Сам бы Пашка, наверное, не дотумкал до такого. Так Борька и не решил, винить ли Пашку или нет. Только появилось какое-то брезгливое чувство к нему, даже лежать вместе неприятно, и он отодвинулся, чтоб не касаться его своим телом... А снилась ему ночью Ольга Андреевна, сельская учительница, приютившая его после побега из ржевского лагеря. Она гладила его по голове и говорила: «Ты мужественный мальчик, Боря...» Ему было тепло и приятно от ее слов, и так не хо-

— Ладно, иди один, Борька. Авось встретимся.

Борька махнул рукой на прощанье, вышел, огляделся по сторонам — потемнело уже. Опять в ночь уходит он, опять петлять по ночным зимним дорогам, опять вроде бы как в бегах. Смешно даже. Дождался своих! Но предаваться мыслям всяким Борьке недосуг — шмыгнул огородами и к лесу. Прошелся взглядом по двум убитым бойцам, может, винтовочку прихватить? Но лежали они уже без оружия.

Поднял он воротник шинели, руки в карманы засунул и побрел по лесной, умятой войском дороге, соображая, что ему говорить, если повстречается кто и спросит. И ничего не придумал. Наверно, встреч лучше избегать и в случае чего в лесу схорониться.

Несмотря на выпитую водку, на душе веселья не было, наоборот, раскис только, и стало ему себя жалко — опять впереди все неясно и неопределенно. Неужто этот плен проклятый за измену Родине сочтут? Тогда верная десятка. Тогда тюрьма. Но где-то теплилось: не может этого быть. Поймут там. Только плохо, что ничем подтвердить он ничего не может. Если поверят — хорошо, но могут и не поверить. Чем он может доказать, что не сдался он в плен добровольно? Ничем! Те, кто в окружение попал, тем, наверно, легче будет, их много было. И в документах небось подтверждено, что такая-то часть попала в кольцо. А он, Борька, один попал. Ни одна душа не видела, никто из его части о нем не знает. В общем, плохи его дела. Ладно, будь что будет...

Одна надежда махонькая только и есть — вдруг свою часть повстречает. Но фронт-то большущий. Это чудом каким-то случиться может. А самому искать — тоже не выйдет: и ноги надо поправить, и без документов разве долго проходишь, за дезертира сочтут и быстренько куда надо направят.

Уже совсем темно стало. Мороз прошибать начал через шинелишку и опять ноги заныли, а тут еще навстречу часть какая-то выплыла, сошел Борька с дороги и пережидал в сугробе, а она все шла и шла. Наверное, около часа прошло, прежде чем он ее пропустил, и совсем без движения замерз, еле обледенелыми пальцами цигарку свернул.

Еще через часа полтора лес кончился. Поле впереди большое и деревенька чернеется. Заходить или не заходить? Опять на душе муторно стало — свои же кругом теперь, русские, а он все равно как чужой, чего-то все опасается. А, ладно, подумал, была ни была, зайду на ночевку. Если заарестуют, черт с ними!

В деревне, как оказалось, медсанбат расположился. Это очень Борьке кстати вышло — ноги свои покажет, перевязку сделает.

Вошел в избу, где приемный пункт для раненых был, встал в дверях и заробел — вдруг документы потребуют, вдруг накричат, вдруг выгонят.

В доме полумрак, фитили в лампах керосиновых прикручены, врач мужчина сидит за столом, дремлет, опустив голову, а на скамейках две сестрички шепотом друг с дружкой переговариваются. Одна голову подняла, увидела Борьку, встала, подошла к нему.

— Что у вас, товарищ? — спросила шепотом.

— Ноги обморожены.

— Садитесь, разувайтесь.

Борька сел, стянул валенки, размотал тряпье, которое заместо портянок у него было, показал почерневшие свои пальцы.

— Так они у вас давно обморожены.

— Недели две.

— Что ж вы сразу не обратились?

— Некуда было, сестренка,— усмехнулся Борька.

— Как это некуда? Мы все время вслед вам шли.

— Под немцем я был. В бегах.

— Ах, вот что,— сказала сестра и с интересом заглянула в Борькино лицо.— Я разбужу военврача сейчас.

— Да не надо. Вы сами промойте там чем-нибудь да перевяжите.

— Товарищ военврач, обмороженный тут,— не послушала она Борьку.

Тот вздрогнул, поднял голову, протер глаза и направился к Борьке.

— Что же вы раньше? Так и без ног можно остаться,— сказал врач, осмотрев Борькины ноги.

— Он не мог. Под немцем был.

— Вот оно что. И с такими ногами вы еще ходили?

— Не только ходил — бегал,— улыбнулся Борька.— Я их заморозил, когда нас немцы во Ржев, в лагерь, гнали. А после побега отлеживаться негде было, к фронту пробивался.

Пока обмывали ему сестры ноги марганцовкой, морщился Борька от боли — сходила кожа, прямо кусками отваливалась.

— Больно, товарищ? — сочувствовали сестренки.

— Ничего, валяйте,— крепился Борька.

— Я вас положу на несколько дней. А если санбат тронется дальше, придется отправиться в эвакогоспиталь.

— Нет, товарищ военврач, мне к штабу армии нужно. Должно же быть насчет нас какое-то решение. Я ж без документов, без всего... Там в деревнях, что под немцем были, всякое болтали, что пришьют нам за плен измену Родине и судить будут. Правда это, что ли?

— Глупость! — возразил врач.— Я не знаю, какое принято насчет вас решение, но, во всяком случае, не суд. Глупость это и немецкая пропаганда.

— Хорошо, если так,— произнес Борька облегченно.

Отвели его сестры после перевязки в другой дом, где раненые лежали, указали на койку свободную, и смог бы Борька за все это время наконец-то уснуть спокойно, не боясь ничего, не опасаясь, что нагрянут немцы или полицаи, но мучила неопределенность положения: кто он сейчас? Не боец Красной Армии, не бежавший из плена красноармеец, а черт знает кто. Хоть бы поскорей все выяснилось!

Но все же усталость сморила, и уснул Борька, только вздрагивал во сне; мерещились ему немцы, стучали в дверь, орали, а он метался по избе в поисках другого выхода и не находил его.

Утром принесли завтрак, а Борька до тех пор, пока не поднесли ему тарелку, все сомневался: дадут ли? Может, на довольствие не поставили?

В палате в основном легкораненые были — в ногу, в руку. Некоторые — те, кто в руку,— собрались дальше в тыл топать, и Борька решил, что с ними ему идти будет удобно. Сломает себе палку какую-нибудь, хромать он и так прихрамывает, и за раненого, идущего в тыл, сойдет, так что проверять документы никто у него не будет. Хотя врач при обходе и сказал, что лежать ему несколько дней, Борька все же от своего решения не отказался. После завтрака и тронулись.

Двое с ним пошли, и Борька боялся, что начнут они спрашивать, какой он роты, какого батальона. Врать ему не хотелось, а рассказывать о своих приключениях тоже не находил нужным. Скажу, что из второй роты, того старшего лейтенанта, подумал он. Но ребята ничего не расспрашивали и разговоры велись мелкие: дойдут ли за день до эвакогоспиталя, а если не дойдут, где ночевать придется, покормят ли хозяева при ночевке, и в таком роде.

телось — как наяву — уходить из ее дома во тьму, в холод, в неизвестность...

Когда Борька проснулся, Пашки уже не было — ушел чуть свет, сказала хозяйка. Значит, все же опасался он Борьки, дурило. Неужели подумать мог, что продаст его он? Пусть Пашка сам за все отвечает, попадется, так попадется, не попадется — его счастье, не Борьке его судить. Сам в таком переплете, тоже черт знает что в голову лезет.

По дороге встречные сказали, что в следующей деревеньке эвакогоспиталь располагается, и Борька стал мозговать, как ему от своих попутчиков отколоться. Ему-то дальше надо, в штаб армии. Стал он приотставать немного, за живот хвататься, гримасы строить.

— Чего корежишься-то, иди оправься. Подождем,— сказал один из раненых.

— Да вы не ждите. Догоню я. А если не догоню, в госпитале встретимся. Идите, а то мороз прихватит.

— Ну, ладно, бывай,— попрощались раненые и затопали, а Борька с дороги сошел.

Когда однопутники из глаз скрылись, пошел Борька неспешно, прихрамывая больше, чем нужно было, чтоб встречным показаться настоящим раненым, и это вынужденное притворство сжимало сердце досадой, что приходится «дурочку играть» не перед кем-нибудь, не перед фрицами какими-то, а перед своими, перед теми бойцами и командирами, которые идут воевать и с которыми пошел бы с радостью, но не может, потому что не понять, кто он теперь. И не арестант и не вольный, и не солдат, и не гражданский... Приклеили к нему — «окруженец». Что «пленный», что «окруженец» — все едино. С этой чертовой биркой куда деваться? Чего хуже, раз на передок его не допускают. Выходит, нет доверия к нему. Эх, гадство какое получилось! Поскорей бы до штабарма добраться, а там должны же решить...

Деревню, где располагался эвакогоспиталь, обошел он стороной из-за боязни повстречаться со своими попутчиками. И тошно ему от этого стало, что бредет он по своей земле вроде бы опять беглецом, даже матюкнулся в сердцах... И подумал, не так уж виноват Пашка. Топает теперь в тыл в полном законе, с санкартой и красноармейской книжицей, отлежится в госпитале немного, а там будет рубить шаг вместе с маршевой ротой по дороге на передок... А на передке что судьба приготовит — либо орденок, либо ранение, либо фанерную звезду над братской могилой. Во всяком случае, оформил себя Пашка, а ему, Борьке, маяться еще неизвестно сколько и что ожидать...

К селу, где находился штаб армии, он подходил к вечеру. Село было набито военными, почти у каждого дома стояли машины, и Борька понял, что с ночлегом будет туго. Нашел он штаб, но часовые не пустили его, и стал он похаживать около дома в надежде, что выйдет кто-нибудь из начальства, тогда он и обратится. Вскоре вышел подполковник, и Борька сразу к нему — вытянулся по стойке смирно, как положено, козырнул лихо — разрешите обратиться.

Подполковник оглядел его и, видно, сразу все понял.

— Из окруженцев? — как-то брезгливо процедил он.

— Не совсем так...— начал Борька и хотел было рассказывать все по порядку, но подполковник прервал его:

— Рассказывать будете не мне. А сейчас разыщите коменданта, он вас направит на ночлег. Увидите таких же героев. Вас человек пятнадцать набралось...

— А какое решение насчет нас, товарищ подполковник?

— Решение... Какое может быть решение для трусов и предателей? Попались бы вы мне т а м...

— Какие же мы предатели? — упавшим голосом произнес Борька, а сердце словно провалилось.

— Отставить разговоры! Идите, куда указал!

Борька, как побитый, заковылял на поиски коменданта. И такая поднялась обида в душе, что невольно вспомнил о Пашке: может, и правильно тот сделал?

Комендант записал Борькину фамилию и приказал сержанту проводить его до того дома, где располагались окруженцы. Село-то большое было, в несколько улиц.

Сержант угостил Борьку легким табачком и стал расспрашивать по-хорошему, вроде сочувственно. Борька кое-что по дороге рассказал, напирая на то, как немца при побеге придушил, как с ротой в наступление ходил, а сам при этом подумал: вот черт, словно оправдываюсь перед этим сержантом.

Когда к дому подходили, не увидел Борька часового и обрадовался, однако для верности спросил:

— Не охраняют, значит?

— Нет. А куда вы денетесь?

— Деться-то некуда.

— Вот именно. Сидите и не рыпайтесь, ждите, как вашу участь решат.

— А как?

— Откуда мне знать. По-моему, и большое начальство пока ничего не знает. Оружия у тебя нет?

— Разве не видишь?

— Так некоторые из ваших с немецкими пистолетами явились. А кто и с автоматами.

— У меня винтовку особист отобрал, еще у передовой.

— Правильно сделал. А то мне вас уговаривать. Иные ни в какую не хотят оружие сдавать. А приказ — сдать.

Вошли в избу. Нежилая изба на вид, без хозяев, без мебели, то есть без кроватей и столов. На полу навалом народу. Коптилка тлеет. Накурено — не продохнуть. Двое стоят у печки, спины греют.

— Вот, братва, принимайте еще одного,— сказал сержант.

— Привет, ребята,— сказал Борька, но почти никто ему не ответил, только те, кто у печки, процедили что-то.

— Старшой, запиши фамилию и не забудь завтра в строевую включить,— напомнил сержант и ушел.

Борька подошел к печке, прислонился спиной, и вскоре пошло сквозь шинель тепло и приятно стало расползаться по телу.

— Ну, что с нами решать будут? — спросил Борька.

— А кто их знает,— ответил один как-то равнодушно, и понял Борька, что обсуждался этот вопрос, видать, не раз, надоело уже всем говорить об этом да все без толку, и наступило тупое безразличие — будь что будет...

На полу лежало много людей и в гражданской одежде, и в полувоенной. Обуты были все по-разному: кто в валенках, кто в сапогах, кто в ботинках, а кто и вообще в каких-то опорках, невесть что на ноги намотано.

— Значит, кормят?— поинтересовался Борька.

— Кормят.

— И табак дают?

— Дают.

— И охраны нет?

— Нет.

— Может, не так уж плохи наши дела? — спросил Борька.

— Надежды юношей питают,— насмешливо сказал один из командиров.

— Простите, что на «ты», я вас не разглядел.

— Мы здесь все «тычемся». Нету у нас здесь не то что чинов и званий, а и фамилий-то. Моя-то, кстати, Змеев. От змея, значит.

— От Горыныча, видать,— сказал кто-то и рассмеялся.

Борька прилег рядом со Змеевым, потянулся... Правее лежал тоже не из молоденьких, но чисто побритый и в не очень потрепанной командирской шинели. Удивило Борьку — подворотничок на гимнастерке белоснежный, это после всех мытарств-то! Лицо, правда, тоже худое, но не напряженное, как у остальных, а спокойное и добродушное. Это он сказал: «Надежды юношей питают».

— А в ваших словах есть сермяжная правда,— обратился он к Змееву.

— Не сермяжная — худая правда.

— Относиться к нам, по-видимому, будут именно так, как вы говорили.

— Это уж верняком. Меня допрашивали по дороге — разобрался что к чему,— ответил Змеев, и тут Борька заметил в его глазах какую-то страшную маету, которая, мелькнув секундно, исчезла, придавленная волевым напрягом.— Помяните мое слово, скидки нам не будет.

Борька задумался... Раньше он не ощущал своей вины, что так нелепо попал в плен, больше было досады и злости на себя, что прозевал фрицев, что оплошал, а теперь, после слов Змеева-Горыныча, стал он понемногу понимать, что вина у него есть, и немалая. Что ни говори, обязанность свою в боевом охранении он не выполнил. Конечно, и усталость, и дремота, превозмочь которую было трудно после двух бессонных ночей, и начавшийся рассвет, бдительность его притупивший,— все это в какой-то степени оправдание, ну, а если б немцев и верно много было, а он и рта не раскрыл... Черт возьми, подругому стало это все смотреться... Не так-то гладко. Правда, в тылу у немцев он вел себя нормально, тут никто, да и он сам себе упрека не выскажет, тут он делал все как положено. Уж как трудно от Ольги Андреевны было уходить, сердце кровью обливалось, а ушел все-таки...

В избе было натоплено хорошо, поэтому шинельку Борька снял и под себя подложил. Не пух, конечно, но к таким ночевкам ему не привыкать. Руку под голову, и минуток шестьсот можно оторвать, но стал прислушиваться, что Змеев с бритым вполголоса говорил.

— Ситуация действительно очень трудная. Ни в одну из войн, наверное, не оказывалось в тылу противника столько войск,— говорил побритый.— И сейчас надо решать труднейший вопрос: что с этими людьми делать, кем их считать? Подавляющее число ни в чем, разумеется, не виновато, но вполне вероятно, что вклинились и немецкие разведчики...

— Я про то и говорил, москвич. А попробуй докажи, что ты есть Иванов, Петров, Сидоров, а не Ганс или Фриц. А ведь еще не додумали, чтоб фото на красноармейских книжках были. Подбирай любую, и зовись, как хочешь. Тоже, наверное, вредительство какое. Как это — документ без фотографии!

— Вы москвич? — встрепенулся Борька, обратясь к бритому.

— Да.

— Земляки, значит. Меня Борисом зовут,— протянул Борька руку.

— Погост.

— Эй ты, москвич, интеллигенция! Ты тоже этому змею подпеваешь. Ситуация трудная? А кто виной, что такая ситуация вышла? Я? Ты? Что пер немец весь в железе, а мы с тобой с одной родимой образца девяносто первого. А теперь, видишь ли, ситуация трудная,

как вопрос этот решать? Ах, мать их...! Раньше надо было решать! Тогда не попали бы в окружение целые армии! Теперь-то, конечно, на нас отыграются,— сказал пожилой в полушубке.

— Кто завсегда виноват? Стрелочник! То есть обыкновенный русский Иван-солдат,— это здоровый выступил, который Змеева прищучить хотел. Зло говорил. И ведь тоже правду.

Стоял он хорошо одетый, в справном полушубке, в черных валенках, физиономия отъетая, красная и красивая, усики черные и брови вразлет. Видать, в примаках был. За такого бабоньки ничего не пожалеют.

— Я только в одном виноват, что пулю себе в лоб не пустил, но из «родимой-то» несподручно, сапог надо снимать, портянку разматывать, а время на это немец мне не дал,— закончил он, ухмыльнувшись.

Откуда-то раздался одобрительный смешок, кто-то поддакнул — и верно, только в одном и виноваты, что себя не хлопнули,— но один возразил:

— Нет, того в уставе и не было, чтоб пулю себе пускать. Драться надоть, конечно, до последнего патрона. А мы, кстати, так и дрались.

— Кто это мы? — спросил Змеев.

— Все мы. Ты, я, он... Разве не так, братки?

— Конечно. Я даже прикладом успел одного огреть, когда стрелять нечем стало.

— Разумеется, дрались. Чего там говорить.

— Уж кто-кто, а мы-то, рядовые, мало в чем виноваты. Виноватых где повыше надо искать,— заключил тот, кто насчет устава говорил.

— Вот это верно! — пробасил здоровый в полушубке.— Это они дров наломали, с них и спрашивать надо.

— Но спросят-то с тебя. Поинтересуются, где это ты такую морду отъел? — съехидничал Змеев.

Некоторые рассмеялись. Здоровый и разозлился, видать, и смутился немного.

— Она у меня с детства такая, будка-то. Жру или не жру, на ней не сказывается.

— Это ты брось. Небось, на трех бабешках катался, и у каждой по поросю было,— рассмеялся кто-то.

Остальные тоже грохнули смехом, и здоровый совсем засмущался.

— Что ж, силенкой бог не обидел...— пробормотал он.

— Вот и докатался,— опять съязвил Змеев.— Теперича на тебе кататься будут... лет десять.

— Да иди ты к такой-то матери, язва! Змей чертов! И так на душе муть.

И замолчали все... Прошлись холодком по душам эти «десять лет». Кто знает, чем и вправду все это дело обернется. Ведь грозились особисты и посадить, и расстрелять, пока проходили они допросы по полковым особым отделам, когда обзывали их и трусами, и предателями, и чуть ли не фашистскими прихвостнями. Да, замолчали, призадумавшись, и начали крутить самокрутки, чтоб хоть жгучим дымком махорки придавить в душе неприятные мысли, тяжелые предчувствия. Задымил и Борька и поглядел на москвича — как тот реагирует.

Тот лежал на спине и глядел в потолок, и опять Борьку поразили спокойствие его лица и даже безмятежность какая-то. «Блаженный он, что ли, какой?» — подумал Борька. А потом спросил:

— Вы где в Москве жили?

— На Арбате. Не на самом, а в одном из переулков.

— Знаю. Любил я по Арбату пройтись. Хорошая улица. Только

— Ложись-ка ты, парень, спать. Ничего-то мы не знаем, так что спрашивать нечего. Только хорошего не жди.

— Меня подполковник предателем назвал,— сказал Борька.

— В первый раз, что ли? — недобро засмеялся кто-то.— Меня один особист чуть не прихлопнул, сука. Не такое еще услышишь. Ты что, из беглых?

— Да, из ржевского лагеря бежал.

— А я с дороги смылся. Наши самолеты налетели, ну, я и воспользовался обстановкой,— сказал тот.

— В общем, приняли нас свои — лучше не бывает,— усмехнулся стоящий у печки.

— А ты что хотел? — поднялся один из лежащих в рваной шинели со злым небритым лицом.— Чтоб тебя, присягу нарушившего, с цветочками встретили — ах ты, бедненький, в окружение попал, к немцам угодил, несчастненький, на тебе цветочки? Скажи спасибо, что кормят, что охрану не поставили. Нас сколько таких? Тысячи! Без документов, без всего, мы даже свою фамилию подтвердить не можем, а ты хочешь, чтоб к нам со всем доверием. Нет, брат. Знаешь, сколько здесь немецких шпионов может оказаться?

— Брось ты про шпионов. Слыхали.

— Слышал, да не все. Ты сам про меня можешь точно сказать, что не завербован я немецкой разведкой? Можешь? Можешь за меня поручиться? Не можешь! Так чего ж от других требовать. Нам всем проверочку надо хорошую устроить.

— На фронт нас надо — самая лучшая проверка,— сказал тот, кто у печки.

— На фронт? Вон чего захотел. Рано тебе еще на фронт. Ты там такое можешь устроить, тысячу людей погубить, если ты шпион немецкий,— так же раздраженно, зло сказал боец в рваной шинели.

— Но, но, ты потише, меру знай, а то заработать можешь запросто за такие слова. У меня рука тяжелая.

— Так я не о тебе говорю, а к примеру.

— Вообще-то, ребятки, резон в его словах есть. Разве немцы не могли своих подкинуть, когда отступали? — вступил кто-то.

— Так их и надо ловить, а мы-то при чем? Пущай ловят, кому это положено. А в каждом шпиона видеть — это не дело,— сказал пожилой дядька в полушубке.

— А как твоя фамилия? — спросил небритый.

— Усачев.

— Ну, а чем ты докажешь? — продолжил тот.

— Нечем мне доказать.

— То-то и оно,— с усмешкой закончил и обвел всех глазами поднявшийся в рваной шинели.— Мы сами-то себе верить не можем, а желаете, чтоб вам особисты верили.

— Что-то ты больно здорово в шпионах разбираешься, может, сам из них? — спросил пожилой в полушубке.

— Очень даже возможно,— опять усмехнулся злой.— И ничем я тебе обратного доказать не могу. Поняли, ребята, какая получилась у нас история? Так что, нечего из себя невинных страдальцев строить. Ты вот,— ткнул он пальцем в Борьку,— как в плен попал?

— В боевом охранении шел... Ну, около леска немцы меня и огрели чем-то. Упал, а когда очнулся, три шмайссера на меня уставлены. А батальон рядом уходит...

— Ну, и что ты должон был сделать?

— А чего сделаешь? Три автомата на тебя, и один немец палец к губам приложил — молчок, дескать,— ответил Борька.

— Эх, ты... А если б немцев не три человека было, а рота целая? Что тогда?

— Что? — повторил Борька.

— Да, что тогда? Ты молчок. Батальон идет в походной колонне. А ведь тебя поставили его охранять. И могли немцы спокойненько полбатальона перестрелять с этого леска. Пока колонна развернулась бы. Понял? Должон ты был крикнуть — «немцы», упредить своих.

— Так они бы кокнули меня,— пробормотал Борька.

— Конечно, кокнули б. Но зато батальон бы предупредил. А ты струсил.

— Не струсил я. Понимаешь, разве сообразишь все за несколько минут.

— А надо соображать, раз ты боец Красной Армии и Родину свою защищаешь. Ну, и кто ты после этого? Кто? Молчишь? — торжествующе закончил злой в шинели и опять обвел всех взглядом.— Вот и все вы, наверное, такие. Свою жизнь главней всего посчитали, потому в плен и угодили. А теперь, видите ли, приняли их не так...

— Ох, как разговорился-то,— с угрожающей ноткой произнес стоящий у печки и двинулся к тому.— А сам-то как попал? Ну, отвечай!

— Я отвечу кому надо.

— Нет, нам отвечай. А то такой сознательный оказался, прямо на Доску почета. Упрекнул парня, что жизнь он свою пожалел. А жизнь-то одна. Ты разве ее не пожалеешь,— он подошел вплотную, взял огромными ручищами того, в рваной шинели, за воротник.— Вот прижму — запищишь ведь, сознательный.

— Не запищу.

— Запищишь, сука. Ну, рассказывай всем, как ты сам, герой, в плен попал.

— Пусти.

— Не пущу. Рассказывай.

— Отпустишь — расскажу.

— Ну, валяй. Только не врать,— отпустил он его.

— Не врать,— усмехнулся тот,— а как ты проверишь?

— Проверим.

— Я тоже маху дал,— неожиданно для всех признался тот и стал завертывать цигарку.

— А я думал ты раненый попал, без сознания, только у немцев очнулся... Знаем такие сказки.

— Нет, в сознании был.

— Чего ж тогда на парня напустился? — басил здоровый.

— А я к тому, чтобы подумали вы все, что говорить будете. Поняли?

Борька подошел к тому, в шинели рваной, прикурил от его цигарки и сказал:

— Значит, по-твоему, я виноват?

— Не по-моему, а с точки зрения устава.

— Так я действительно ошарашенный был... Пока сообразил, что к чему...

— Я понимаю. Но не я тебя допрашивать буду.

— Думаешь, по-другому надо рассказывать?

— Я ничего не думаю. Это тебе думать надо.

— Понял.

— Вот и хорошо. Как звать-то?

— Борисом.

— Около меня местечко есть. Располагайся, если хочешь.

— Спасибо...

Хотел было Борька спросить, а тебя как кличут, но рассмотрел злого поближе и увидел, что лет ему за тридцать, на «ты» называть вроде неудобно.

топтунов на каждом шагу — пальтишко гражданское, кепочка, сапожки хромовые. За сто верст узнаешь.

— Помню,— усмехнулся Погост.— Режимная улица-то, сам Сталин ездил.

— Вы, наверное, командиром были?

— Да.

— С вас спрос, небось, еще строже будет?

— Очевидно... Но самое страшное, думаю, позади.

— Я вижу, спокойный вы. Все нервничают, а вы вроде ничего.

— Я отдыхаю.

Что ни говори, а Борьке всего девятнадцать, да и то только на днях исполнилось, и уже целый месяц был он предоставлен самому себе, самому приходилось думать, самому решения принимать. И был он фактически совсем один все это время, не считая коротких встреч на ночевках, не считая двух дней у Ольги Андреевны. И он просто устал от этой легшей на его плечи ответственности за себя. В лыжном батальоне — командиры, они приказывали, они советовали, они могли и поругать, могли и по душам поговорить, а как попал он в плен, так все один и один, своими мозгами крутить приходилось, на свой страх и риск все делать. И потому потянулся он к Погосту как к более старшему по возрасту и званию и к тому же земляку еще...

И о многом ему хотелось с ним поговорить, но Погост после слов «я отдыхаю» закрыл глаза и, видно, задремал, и пришлось Борьке перенести разговор задушевный, который был так ему нужен, на завтра.

Но на другой день поговорить не удалось. Стали их вызывать в Особый отдел армии на допросы, и Борька, пока его очередь не дошла, стал соображать, что и как говорить, и прокручивал в голове все с ним случившееся.

Ну, с пленением его все ясно: оглушили фрицы, пока очнулся, батальон уже ушел, на помощь звать некого. А вот побег из ржевского лагеря, когда выпросился он на работы в немецкий госпиталь, находившийся, как он потом узнал, в бывшем санатории им. Семашко, подтвердить мог только напарник по пилке дров, если живой еще... При мысли о напарнике сжалось сердце. За Борькин побег немцы с ним могли что угодно сделать, хотя и не знал он ничего. Борька же в кусты ушел оправиться, а сам юркнул в немецкую машину, которая двигатель прогревала. Напарник этого, разумеется, не видал. Да, этот побег следователь или дознаватель мог только на веру принять.

А как он по-глупому немцам попался, когда от Ольги Андреевны ушел, рассказать — тоже никто не поверит. Зачем вышел из лесу на тракт, хоть и был он пустынен, на что понадеялся? Конечно, сбился он с ног, когда по сугробам да по кустарникам тащился, захотелось хоть километр по дороге пройти. Разумеется, надеялся, что машину издалека услышит, для этого и ушанку развязал, а вот сани с немцем и Петькой прозевал, черт их дери. И бежать некуда, сугробы вокруг, застрелил бы фриц запросто. Ну, и угодил опять...

Вот побег — из Бахмутова — могут многие подтвердить, и Петька, конечно. Зашел к ним тогда в подвал фриц картошечкой жареной полакомиться, которую Петька жарил, и дверь за собой не запер. А фриц был тот самый, что в санях с Петькой ездовым сидел, который и пленил Борьку. Зло на него не проходило, да и вообще противный был немец. Вот уселся он около печки, Петька его, гада, угощает, а Борька все ближе и ближе к двери по нарам продвигается. Как заворожила его эта дверь. Вначале и не понимал, зачем он к ней стремится, но когда уж совсем близко подобрался, тут и осенило — убежать же можно! Только момент подловить — увлечется фриц картошкой да Петькиной трепотней, ну и рвать. Задрожало все внутри, глаз с немца не сводит, ждет, что отвернется он совсем от двери... Ну и уловил — юрк за дверь, а вторая-то заперта! Ключи, конечно, у фрица. Выходит, либо обратно заходить, либо идти на риск, дождаться фрица и решить его. Дождался, схватил за горло и жал из всех сил, пока не поползло тело немца по стене вниз... Отцепил ключи с ремня, открыл дверь и — во двор...

Да, этот побег могут подтвердить, но где Петька, где остальные? Снова, как и при воспоминании о напарнике, кольнуло Борьку в сердце. Но разве думал он тогда, что́ будет с другими, тогда одна мысль была, один порыв — во что бы то ни стало вырваться на свободу и пробиться через фронт к своим. Только этим можно искупить его промашку и плен. Да и сейчас так кажется... Только своими побегами сможет он доказать, что не добровольно ушел к немцам из боевого охранения. Хватились его, наверно, лишь когда до места дошли, а судя по тому, что лишь развидняться стало, батальон его до настоящего рассвета мог еще километров десять пройти... Может быть, но вряд ли, послал командир кого-нибудь назад на поиски Борьки. Если послал, то увидят на снегу его след оборванный, его винтовку разломанную, следы трех фрицев и поймут, что захватили его немцы. А ежели нет?.. Кем тогда запишут? Что ответят на запрос, который непременно пошлют отсюда? Выходит, надо на побеги напирать, названия деревень вспомнить, в каких приюта просил, где ночевал. Там могут подтвердить, что двигал он к фронту, к своим...

Попросил он у соседа огрызок карандаша и стал названия деревень записывать, где ночевал, а вот с именами хозяев ничего не вышло, не спрашивал, обращался — хозяин, хозяюшка, дед, бабка.

Братва поугрюмела, сосали все цигарки безостановочно, и стоял в избе густой махорочный дым — не продохнуть. Разговоры не клеились, только Змеев иногда ехидные догадки свои ронял, будто между прочим. На него огрызались, а то и материли. И верно, и так на душе маета, а он еще тут со своими подковырками. Здоровый в полушубке уже всерьез грозился побить, но Змеев только ухмылялся и, видно, совсем не боялся его, хотя примак этот мог одной лапой прихлопнуть.

Борька поглядывал на ребят и видел, что нервничают почти все, кто больше, кто меньше. Может, у некоторых действительно рыльце в пуху. Вспомнил Борька, как в колонне шли, когда их немцы гнали. Были там разные, кто доверия не внушал. Ну и тут, возможно, такие есть.

Когда пришло двое с допроса, почему-то не бросились их расспрашивать, а только посмотрели на них с любопытством — как выглядят. Видно, тут завелся уже свой порядок, и любопытничать да расспрашивать после допросов не принято.

Хорошо, что Борька не высунулся, а рот у него уже раскрылся: ну, как, ребята, что спрашивали, что отвечали? Но увидел: остальные помалкивали — и осекся.

И стало Борьке неприятно. Вот добрался до своих. Немцев вокруг нет. Беда у всех одна. А открытости и откровенности между ними нет. Никто о себе особенно не распространяется. А какая тому причина, Борьке пока не понять. Только давит это его и тоску какую-то нагоняет, и хоть их здесь человек тридцать, чувствует он себя одиноко.

Москвич Погост куда-то с утра ушел и вернулся лишь к обеду, когда они лопали пшенку. Почти все ели жадно, выскребая котелок дочиста, но были такие, что только ковырялись в казенной еде, а напирали больше на содержимое своих сидоров, сальце жевали, лучком закусывали и с другими не делились.

Получилось так, что разбились люди на группки — примаки в одном углу избы разговоры разговаривают, беглые в другом, командиры

тоже вместе сбились. О своих званиях особо не распространяются, но один, судя по возрасту и важному виду, чин имел не меньше капитана, а может, и выше. Остальные — лейтенанты, наверно. Настроение у них, пожалуй, хуже, чем у рядовых или сержантов. Самый пожилой так со сдвинутыми бровями и ходит, через весь лоб складка, и губы часто покусывает. Покусаешь, ежели ротой или батальоном командовал, спросят же: что с бойцами твоими, куда их дел, где потерял?..

Так этот день и прошел в маете ожидания — вызовут к следователю или нет. Борьку не вызвали, очередь тут вроде, и его пока не подошла. На другой день, прямо с утра, позвали пожилого командира. Он побледнел малость, занервничал, курнул жадно напоследок. Два лейтенанта, что около него всегда увивались, захотели его проводить, но он властно махнул рукой — не надо,— как отрезал их от себя, и вышел тяжелым шагом.

Часа три прошло, а он еще не возвратился. Рядовых-то за это время человек бы трех уже расспросили, а его одного столько времени держат. Видать, серьезное дело. Тут и Погост некоторое беспокойство начал выражать — курил часто, и безмятежность с его лица исчезла.

Пришел пожилой часа через четыре — мрачнее тучи. Сел на скамейку, обхватил голову руками, так недвижно и сидел. Лейтенанты к нему подойти не решились, не говоря уж об остальных. Даже язва Змеев помалкивал. Правда, когда они вышли с Борькой на крыльцо покурить, потому как в избе уж топор можно было вешать, он бросил Борьке:

— Для них-то, кадровых начальничков, это дело труба. И разжаловать могут, и дальше по службе уже не двинешься — клеймо на всю жизнь. Ну и по партийной линии не поздоровится, из партии — тю-тю. Вот им-то, конечно, надо было пульку в лоб пускать, тем паче было из чего, пистолетик на боку, а в плен не даваться.

— Так он, может, в плену и не был. Попал в окружение и отсиживался где-нибудь, наших дожидаясь.

— Еще хуже. А солдатики его где? Он к кому-то прибился, жизнь спасая, а солдатики? Ведь этот небось батальоном командовал. А батальон, сам знаешь, пятьсот — шестьсот гавриков. Куда они делись? Видишь, сколько времени допрашивали? — Он сплюнул, бросил цигарку.— Наше дело легче гораздо.

— Вас-то допрашивали уже?

— Отмучился.

— Ну, и что?

— Да ничего. Завтра тебя, верно, вызовут, вот и узнаешь.

Так и вышло. На другой день Борьку и вызвали. Но перед этим пришел какой-то капитан и приказал пожилому собираться и следовать за ним. Тот стал дрожащими руками котомочку свою завязывать, потом буркнул ребятам: «Прощайте, братцы»,— обоим лейтенантам руки пожал и вышел с капитаном.

— Мда...— протянул Змеев,— здесь дело вышкой, наверное, пахнет.

— Не долдонь ты! Каркаешь тут целые дни. Честное слово, дотявкаешься. Чешутся у меня руки на тебя,— пригрозил здоровый в полушубке.

— Ну что ты мне сделаешь? — взъелся Змеев.— Убить не убьешь, а морду набить я тебе не дам. Не таких видали,— вытащил кривой садовый ножичек и какую-то палочку стал обстругивать.

Ай да Змеев! Видно таков, что и верно морду набить не даст. Отчаянный мужичонка. Здоровый, хоть и силен, наверное, как бык, а парень в общем-то добродушный, как и все сильные и крупные мужчины.

Пошел Борька на допрос вроде спокойно. Открыл дверь в избу, доложился. Было там двое особистов — один капитан, другой майор. Поглядели они на Борьку, вытянувшегося в стойке смирно, и один даже улыбнулся.

— Ну, этот хоть в форме. А то приходят черт-те в чем одетые, где только барахла не насобирали, и еще докладывают — майор такой-то... Какой ты к черту майор! Ни формы, ни документов. Ну, ладно, садитесь.

— Есть садиться! — гаркнул Борька и сел напротив, и стало ему что-то совсем не страшно, а просто и спокойно.— Я наших встретил, товарищ капитан, и в форме, и при звездочке, и при оружии. И сразу в цепь — на деревню наступать.

— Ладно, все по порядку расскажете,— перебил капитан и вынул бумагу.— Только правду. Учтите, мы все проверим.

Ну, начал, конечно, с фамилии, с имя-отчества, звания, в какой части служил и при каких обстоятельствах в плен попал.

Здесь Борьке пришлось приврать. Сказал он, что очнулся от удара лишь тогда, когда батальон уже прошел. Ну, а в дальнейшем Борьке врать было нечего, говорил все, как есть, поминал деревни, которые проходил, в которых ночевал. Правда, подробностей капитан не требовал, и вообще допрос был довольно беглый. Сбивать Борьку — не сбивали, как первый особист, и вроде всему верили. У него совсем было от души отошло, тем более, заметил он, что капитан как-то с симпатией к нему относится, небось потому, что форму сохранил и звездочку. Ну, все же страницы четыре были исписаны, Борька, перечитав, подписал и решился спросить:

— Товарищ майор, разрешите вопрос?

— Какой?

— Что со мной будет? Болтают ведь всякое.

— Ничего с вами не будет. Проверим ваши показания и, если все окажется так, как вы говорили, направят вас в часть,— ответил капитан, но не совсем уверенно, и показалось Борьке, что не знают они еще сами, что не решен этот вопрос в верхах и сказал капитан так, чтоб ободрить Борьку.

Но все равно настроение у него поднялось. На небе облачка разошлись, солнце выглянуло, закурил он со смаком и стал даже насвистывать по дороге. В накуренную избу идти не хотелось и решил он по селу прогуляться, чистым воздухом подышать. Прошелся он по главной улице села, разъезженной машинами, утоптанной людьми, снующими туда-сюда, а потом вышел через прогон на боковую санную дорожку, ведущую через снежное поле к синеющему вдали лесу.

Приостановился Борька, вздохнул полной грудью, и ощущение покоя и тихой радости вдруг снизошло на него... Кругом своя, русская земля, и он среди своих. И пусть положение его пока неопределенное, пусть впереди пока все еще неясно и туманно, но главное-то в другом — пробился он к своим, ушел из позорной неволи и, что ни говори, выиграл свой малый бой с немцами, выиграл почти в одиночку.

Тут увидел он Погоста, идущего по тропке, петляющей из леса. Шел тот не спеша, опустив голову, задумавшись, видно, и пока не видел Борьку. Борька же, обрадовавшись, что сможет поговорить с ним один на один, повернул и направился к нему навстречу.

— Гуляете? — спросил Борька, когда они поравнялись.

Погост поднял голову, улыбнулся.

— Да. Больно хорош денек... И вообще приятно идти, не крадучись, не скрываясь...

— Я тоже только об этом думал... Допрашивали меня сейчас. Но

хорошо — не придирались, не сбивали, не кричали. Похвалили даже, что в форме и при звездочке.

— Ну и лады. С вами-то проще будет.

— А пожилого, майора или кто он там,— увели куда-то.

— Да? — спросил Погост, но не тревожно, а по-обычному спокойно.— Он подполковник, кстати.

— Во как! — удивился Борька.— И что же ему будет?

— Откуда, вьюноша, мне это знать.

— А вы кто по званию были? — решился все же спросить Борька.

— Вообще-то я инженер по образованию. Был воентехником в артчасти. Пришлось, правда, и батареей покомандовать... В окружении.

— Что же с нами все-таки будет? — вырвалось у Борьки.

— А вы не задумывайтесь об этом. Война долгая предстоит. Никуда от вас не уйдет. Отдыхайте пока. Набирайтесь силенок. Пригодятся. Что с нами будет, от нас не зависит. Я просто не думаю ни о чем. Вернее, думаю, но о другом.

— Я вижу, вы спокойны.

— Абсолютно спокоен,— улыбнулся Погост.— И вам того советую, вьюноша.

Борьке не особенно нравилось, что дважды назвал его Погост вьюношей, но обидеться не обиделся — и верно, мальчишка он еще по сравнению с другими.

— То, что в окружение попал, я лично не виноват, не виноват, кстати, и командир части нашей...— продолжил Погост, но Борька перебил.

— А кто ж виноват?

— Вот об этом стоит подумать. Я и думаю. Но, видимо, узнаем мы об этом через много, много лет. Пока можно только предполагать.

— И что же вы предполагаете? — не удержался Борька, так как томили его эти вопросы давно.

— Многое,— в задумчивости произнес Погост.— Но вам не стоит об этом задумываться. И вообще, в войну лучше не задумываться ни о чем. Впереди враг, за тобой твоя земля, и ты должен ее защитить — вот и все, что нужно на войне. А останемся живы, сможем и поразмыслить об этом на досуге, пораскинуть мозгами. Меня, как инженера, поражает и даже восхищает точный, почти математический расчет, с которым ведут войну немцы. Мы пока этого не умеем. Больше на интуиции и на нашем русском «авось» воюем. Надо научиться рассчитывать.

— Да, орднунг у немцев — на большой,— поддержал Борька, вспомнив и блиндажи оборудованные, и в избах нары аккуратно сделанные, и даже ручку у колуна удобную.

— Ну, а на Руси порядка испокон веков не было,— усмехнулся Погост.— Но ничего, война уже повернулась. Немца мы победим, конечно, но... кровушка еще прольется.

— Не без этого,— согласился Борька.

Разговором он остался недоволен. Всерьез Погост с ним не захотел говорить; все — «вьюноша, вьюноша...» Какой он, к черту, вьюноша? Фрица придушил за милую душу, верст сто прошел среди врагов... Мужчина он теперь настоящий. Может даже с героями Джека Лондона сравняться кое в чем, тоже топал по «белому безмолвию», но только не волки ему грозили, а пострашней и позлей волков — фрицы, до зубов вооруженные...

Так и дошли они до села, ведя разговоры по мелочам. Борька в санчасть направился, ноги свои марганцовкой полоскать, а Погост в дом.

Сестрички в санчасти показались ему все очень хорошенькими, может, потому, что солнце на дворе, небо голубое и хоть до весны далеко, но сегодняшний день как-то ее напоминает, а может, и вправду такие.

С ногами неважно. Прямо кисель, а не пальцы. Как бы не оттяпали. Но сестренки сказали — отойдут. Ну, у них опыт есть. Сколько за эту зиму обмороженных было — уйма, наверное.

Попытался было Борька с сестрами игривый разговор завести, язык-то у него подвешен неплохо, да и столичный он парень, но девчата что-то не очень его поддержали и тон взяли официальный.

Это, наверное, потому, подумал Борька, что все же неполноценный он сейчас человек, бывший пленный... И опять досада взяла, настроение хорошее какое было, ушло, и шел он к своим однобедцам, нахмурившись. А там событие! Тех двух лейтенантов тоже увели! Куда, конечно, никто не знает. Братва притихла, дымит. Только Погост что-то насвистывает, как ни в чем не бывало, а ведь он последний из командиров остался.

— Чего посвистываешь, москвич? — спросил Змеев.— Теперь твоя очередь.

— Ну и что? — ответил Погост, пожав плечами.

— Ты из чурбана, что ли, тесанный? Нервов у тебя никаких нет? Ведь не зря командиров отделяют. Значит, другая их ждет судьба.

— Отстань ты, язва, от человека! — крикнул красивый и здоровый примак.— Всегда норовишь пакость сказать. Прибью я тебя все-таки, гада!

— Не прибьешь,— уверенно ответил щуплый, востроносый Змеев, да так уверенно, что все рассмеялись.

— Во язва так язва,— развел руками здоровый (Васьком его звали).

— А что вы, Змеев, все беспокоитесь. У нас всех впереди война. И мы все знаем, что это такое. Война — это почти наверняка смерть. Сейчас вы в тылу, в тепле, кормят вас, курево дают — чего ж волноваться? Радоваться надо. Страшней того, что вы на войне увидели, не увидите нигде. Так в чем же дело? — сказал как-то небрежно Погост и отвернулся.

И тут народ заговорил:

— И верно, чего себе нервы портим?

— Хуже того, что было, не будет.

— Вот именно!

— Отдыхать покуда надо да всякими мыслями нутро не разъедать.

— И чего беспокоимся? Чего себе душу мотаем?

— Ну, кое-кому небось есть чего беспокоиться,— это, конечно, Змеев высказал.

— Тот пущай и беспокоится, а нам нечего.

— Тебе нечего,— передразнил Змеев.— Ты полгода где-то шатался, когда твои однополчане кровь проливали, грудью немца сдерживали. Чего беспокоиться? А где ты полгода шастал?

— Я знаю где. Не тебе отвечать буду.

— А мне незачем отвечать. Ты уж следователю ответил и еще ответишь. А потом перед трибуналом ответишь,— ухмылялся Змеев, и его скрипучий голосок резал по ушам.

— Васек! А Васек! Прибей ты его и в самом деле. Мочи нет его терпеть,— сказал кто-то.

— И прибью,— пробасил Васек.— Вот время выберу и прибью.

Борька посмотрел на Васька — бугай тот. Пожалуй, и хорошим хуком не свалишь, а этот заморыш совсем не боится, все ухмыляется.

— Нашелся прибивало. Будка у тебя здоровая, но кишка тонка. С бабами ты, наверно, горазд, но я-то не баба,— не унимался Змеев.

— Вот дает,— не скрыл кто-то восхищения змеевской то ли смелостью, то ли нахальством.

Поговорили еще малость и вроде поспокойнели. Все же слова Погоста подействовали — в тепле пока, в сытости, от передка далеко, чего еще солдату надо? Припухаловка, можно сказать.

В избе было жарко, душно, дымно, и Борька хотел было опять на улицу выйти, но тут сержант появился, который его сюда привел.

— Ну, герои, не надоело махру истреблять? Поработать не хотите?

— А какая работа? — спросил кто-то.

— Работка не пыльная. Снежок у штаба размести.

— Это давай, пойдем. А то и так все бока отлежали.

Ну, снежок-то не только у штаба пришлось размести, но и дорогу расчистить, и проходы к домам расширить. Но это все в охотку было, размяли мышцы, свежим воздухом подышали. Даже повеселей стало. Вообще поскорей бы их к делу какому-то приставили, а то валяются в избе, цигарками подымливают, а на душе скребет, потому как время для мыслей хватает и крутятся они в голове, крутятся: и унижения плена вспоминаются, и как бродягами по немецким тылам пробирались, и бабоньки те, которые приют давали и теплом согрели, тоже выплывают порой в мыслях, ну и, конечно, о будущем неопределенном, пока неведомом, думы тоже томят.

На другой день увели от них Погоста. Ничего на лице его не дрогнуло, когда пришли за ним. Поднялся спокойно, попрощался с ребятами, подбодрил даже улыбкой и словами: «Не унывайте, братцы, все хорошо будет»,— и вышел. Борька поднялся было проводить, но Погост сказал:

— Не надо, вьюноша. Встретимся еще,— и вышел, небрежно помахивая своей котомочкой.

Что-то стало Борьке после ухода Погоста грустновато. Но был он парень общительный, сходился с людьми быстро, а потому вскоре перезнакомился и с остальными ребятами, ну, а с язвой Змеевым вроде и совсем подружился поневоле, раз лежали вместе, бок о бок, и разговоры разговаривали перед сном.

Ребят всех допросили, новых больше не прибывало, и что-то с ними будут решать, размышлял Борька, прохаживаясь по селу. Кабы не ноги, он бы с завтрака до обеда бродил по окрестностям, так ему было приятно ходить по своей земле — без опаски, смело, не крадучись, но ноги еще не зажили, и ограничивал он свои прогулки только селом, выходя, правда, иной раз и за околицу.

Так еще несколько дней прошло... У здорового Васька, видать, были денежки, и раза два он приходил красный, глаза мутненькие — где-то самогоночки раздобывал у бабонек. А так все дни один на другой похожи, разговоры все те же, слушать их было уже без интересу.

И вот наконец — выходи получать сухие пайки! Значит, припухаловка окончилась. А куда? Зачем? Никто ответу пока не дает. Получили на пять дней продпаек — хлеба, сахара, концентратов, по банке консервов мясных. Потом пришел какой-то сержант со списком, проверил по фамилиям, все ли на месте, и приказал строиться.

Построились— равняйсь! Смирно! Шагом марш! А куда, зачем — ни слова этот сержант не сказал пока. Ну что ж, их дело солдатское, приказали — потопали. Хорошо, что без охраны всякой, только один сержант за старшего, ну, конечно, с винтовкой он, как положено.

Ну и поплыла опять зимняя дорога — поля, леса, перелески, деревеньки встречные, войска, к фронту идущие,— раз, два, три, левой... Шли-то, конечно, не особо строй соблюдая, потому как больше половины в гражданском, да и не по плацу шагали, а по разъезженной, разбитой, скользкой февральской дороге. Тут ножку не дашь, если и захочешь. Ну, и не торопил их сержант. Можно сказать, шли без напрягу, как на прогулке.

Да, думал Борька, когда встречались они с походными колоннами, одни к фронту, как люди, а они куда-то в тыл, неизвестно зачем и куда. Сбежать бы, да пристроиться к какой-нибудь маршевой роте, и через два дня на передке уж будешь, полноправным бойцом Красной Армии...

Другие тоже тоскливыми глазами провожали маршевые роты, идущие на запад, но не все. Некоторые, постарше кто да поблагоразумней, те вроде ничего против не имели, что топают от фронта подальше.

Один так и сказал Борьке:

— Что ни говори, а обратно-то лучше, чем туда.— На что другой, рядом идущий, пробормотал:

— Так-то оно так. Но к у д а идем?

— А куда бы ни шли — от фронта.

— Вот это-то и хреново,— возразил другой.

На одном из привалов, когда запалили костер для согреву и чтобы воды вскипятить, кипяточком побаловаться, сержант сказал, что ведет он их в Торопец. А что в этом Торопце находится, сам не знает, наверное, штаб фронта.

— А что в сопроводиловке записано? — спросил кто-то.

— А этого вам знать пока не положено,— ответил сержант.

В Торопец, так в Торопец. «Хоть городишко этот посмотрим»,— подумал Борька.

Заночевали в одной деревушке. Выбрали, где войска не было. В трех избах разместились. Из концентратов кашу сварили в большом чугуне, а когда стали ребятишек сахаром угощать, то хозяйка картошкой вареной их отблагодарила. Набили пузо плотно. Спали как убитые.

В общем, ничего особо интересного в их пути до Торопца не было. Три дня протопали, две ночи в деревнях переночевали — вот и все приключения.

Борька за свою жизнь, можно сказать, нигде и не был, кроме самой Москвы, где жил, и деревни, где родился и часть детства провел. Жили не шибко, как и все в те годы, мать не работала, один отец вкалывал на заводе, и было им не до поездок куда-либо. Ни в Крым, ни на Кавказ он, конечно, не ездил. На лето уезжал с матерью в родную деревню, у родных останавливались.

Поэтому Борьке каждая новая местность казалась интересной, а новый город тем более. Но Торопец и на город не похож совсем, так, село большое, тем паче, что привел их сержант на окраину — улицы совсем деревенские, снегом занесенные, домишки одноэтажные в два, три окошка. Редко где на этой улице двухэтажные попадались, но именно у двухэтажного сержант и остановил их, а сам вошел в дом.

Братва поглядела ему вслед, потом дом осмотрела — дом как дом, никакой вывески нет, часовых тоже. Что ж здесь может находиться? Но гадать долго не пришлось. Минут через пять вышел сержант с пожилым, лет эдак пятидесяти, старшим лейтенантом, сразу видать, не строевиком, а из запаса. Тот поглядел на них равнодушно и спросил сержанта:

— Все здесь?

— Все, товарищ старший лейтенант. Куда им деться? Двадцать шесть, как по списку.

Старший лейтенант поглядел список, потом на глазок пересчитал

их, не став даже проверять по фамилиям, расписался на какой-то бумажке, которую ему сержант сунул, и сказал:

— Ну, лады. Вы свободны, сержант.

Сержант козырнул, махнул ребятам рукой — бывайте, дескать, и отправился от них быстрым веселым шагом — небось, есть у него тут, в Торопце, местечко, где переночевать можно со всеми удобствами.

Старший лейтенант подошел к ним поближе, прошелся неспешно перед строем, оглядывая внимательно каждого,— и на лицо смотрит, и на одежу, и на обувку... Покачал головой и сказал сочувственно:

— Вижу, досталось вам, товарищи...

— Не без этого.

— Досталось, товарищ старший лейтенант.

— Врагу того не пожелаешь...

— Повидали всякого...— отвечали они, каждый по-своему, тронутые сердечным тоном командира.

— Вижу, вижу... Ну, ничего. Здесь не фронт, малость передохнете. Оружием вашим будет теперь лопата. Я командир дорожной роты, будем работать на дороге. Понятно?

— Понятно.

— Это мы с удовольствием.

— Поработаем.

— Это нам не в новинку,— зашумела нестройно братва.

— Вот и лады...— Старший лейтенант еще раз оглядел строй, остановился глазами на Борьке, спросил:— Фамилия ваша?

— Красиков,— вытянулся Борька.

— Откуда вы?

— Москвич я, товарищ старший лейтенант,— не без гордости ответил Борька.

— Земляки, значит... Выйдите-ка из строя. А вы, товарищи, подождите покамест. Старшина сейчас подойдет и определит вас по квартирам на постой. Сегодня — отдыхать, завтра — как штык на работу. Пошли, Красиков, со мной,— добавил он.

— Есть,— вытянулся Борька.

Вошли они в дом. Помещение просторное. Хозяев, видимо, нет, но мебелишка кой-какая осталась — и стол, и стулья, и диван потертый, и кровать железная с шишечками. На столе самовар большущий. Посмотрел Борька на него с вожделением: давно он чайку настоящего не пивал. Угостит старшой или нет? На вид вроде он добродушный. Нос картохой, красноватый, щеки обвислые, волосы седоватые, короткие, под полубокс обстриженные, животик вперед выпирает. Как будто мужик ничего, подумал Борька.

— Ну, лады... Сейчас чайком побалуемся. Любитель? Хотя чего спрашиваю? Московский водохлеб...

— Я настоящего чаю, поди, с самой Москвы и не пил,— сказал Борька.

— Сейчас выпьешь — настоящего. Посидим, поговорим. Тебе, небось, есть что рассказать?

— Это есть,— согласился Борька.— Два раза из плена драпал...

— Да ну? Два раза?

— Да.

— Мне многие про себя рассказывали. А у каждого своя история. Прямо записывай. Я все слушаю и понять стараюсь, как же так получилось, почему драпали, вот тебе и «малой кровью, могучим ударом...». Помнишь, небось, эту песенку?

— Помню... Ничего, отогнали теперь, погоним и дальше.

— Ух ты, какой скорый! Пока встал фронт. А что весной, летом будет, покамест никому неведомо. Ну, садись, не стесняйся. Я, как видишь, мужик простой, званием своим не кичусь, человек я гражданский, зови меня Петром Федоровичем, а я тебя, извини, на «ты» буду звать, в сыны ты мне годишься...

— Вы меня в ординарцы, что ли, хотите взять? — спросил Борька.

— Возражаешь?

— Почему? Мне как раз надо ноги подлечить. Обморожены у меня. Так что недельки две мне хорошо бы на работы не ходить.

— Ну и не будешь. В общем, сегодня я тебя угощаю, а завтра принимай хозяйство. Лады?

— Лады,— улыбнулся Борька.

Ну и стали они гонять чаи. Пока самовар весь не усидели, из-за стола не поднялись. За это время Борька и рассказал вкоротке про свои пути-дорожки по немецким тылам, по русской, но временно захваченной врагом земле.

Старший лейтенант только покрякивал в интересных местах, а когда Борька дошел до Ольги Андреевны, как приняла она его, как спать уложила, глазки Петра Федоровича разгорелись.

— Ну, а дальше что? Дальше давай.

Борька досказал.

— Так ты ее, значит, и не...— разочарованно протянул старшой.

Борька насупился. Поглядел строго.

— Нельзя так про эту женщину, товарищ старший лейтенант. Поняли?

— Ну, прости, прости... Я ж по-простому, по-мужски. Понимаешь, седой я уже козел, а баб люблю. Есть такой грех у меня. Эх, тут, в Торопце, есть бабоньки, все отдашь...

Надувшись чаю с сахаром, доев свой сухой паек, Борька спал эту ночь как убитый на настоящем, хоть и потертом диване, но на белье и укрытый одеялом.

И потекли дни... Дел у Борьки было немного. В комнате прибрать, печку истопить, еду с кухни притащить и разогреть, если надо, сбегать куда-нибудь, куда старшой пошлет,— вот и вся работа. Жить можно. Такой жизни у Борьки не было за весь срок его службы в армии. Еды хватало и той, что из кухни, но у ротного всегда в запасе, и консервы были, и еще кое-что, добавляли. Иной раз старшина водочки приносил, но ею хозяин не угощал и сам днем не пил. Только вечером, когда к своим кралям уходил, брал бутылочку. Возвращался он поздно, а то и до утра пропадал.

Борька его не осуждал: тыл есть тыл. И пока ты в тылу, живи, как можется, пользуйся, потому как вряд ли всю войну в тылу просидеть удастся. Рано или поздно на передок все равно загремишь.

Один раз предложил ему старший лейтенант пойти с ним вместе к одной его знакомой. Есть, дескать, там еще деваха, которая не прочь с кем-нибудь познакомиться.

К тому времени Борька физиономию уже отъел, отдохнул, стали ему сны уже сниться всякие, и он согласился.

Шинелишка Борькина была, конечно, не ахти, но гимнастерка суконная и брюки синие диагоналевые вполне приличные. Пришил он чистый подворотничок, побрился. Старшой тройного одеколона дал побрызгаться, и в один прекрасный вечер направились они к женщинам... Конечно, старшой, как всегда, бутылочку в карман, а Борьке приказал несколько банок консервов мясных захватить.

Идут по заснеженным торопецким улицам, а у Борьки сердце екает и волнение по всему телу.

Шли не очень долго. Старший лейтенант насвистывал что-то мажорное, а Борька всю дорогу как-то робел. Не по себе ему немного было.

Постучались в один дом. Открыла им хозяйка лет тридцати, красивая, худощавая, губки подкрашены.

— Проходите, проходите, гости дорогие,— приветствовала она их.— Раздевайтесь.

Разделись в сенях, прошли в комнату, а там уж стол накрытый: картошечка вареная, огурчики соленые, грибочки. Больше ничего. Выставили они бутылку, консервы на стол поставили, тогда из другой комнаты вышла еще одна — помоложе, да нет, совсем молодая. Курносенькая, румяная, в теле. Стрельнула она по Борьке глазами, улыбнулась, вроде он ей приглянулся. Так, во всяком случае, Борьке показалось.

Ну, выпили, закусили, разговоры всякие пошли не очень интересные. Старшой, как выпил, так прилип к своей чернявой. Одной рукой за плечи обнял, а другой где-то под столом шуровал. Она взвизгивала, смеялась, отталкивала его шутя, но видно, что дело у них все слажено, хотя до главного, может, и не дошло.

Ну, а Борька, хоть и выпил тоже, но свою застенчивость еще не преодолел, сидел прямо, будто аршин проглотил. Да и не привык он сразу рукам волю давать, как-то это не по нему. Девушка одета была неказисто, на вид совсем деревенская и робела, видать, не меньше Борьки.

Пока старшой миловался со своей Ксенией, так звали чернявую, пока доводил он ее, как говорится, до ума, Борька все же мало-помалу завел разговор. Сказал Нюше, что он из Москвы, что попал в конце декабря в плен, что бежал и так далее. Она слушала внимательно и часто моргала. Глаза у нее были красивые — большие, с длинными ресницами. Борька все же свою руку на ее кисть положил, вроде бы невзначай, но она отдернула с испугом, причем неподдельным. А Борька вдруг с раздражением подумал: «Ну, чего ты тогда пришла, дуреха? Разговоры разводить? А о чем с тобой разговаривать?»

Бутылку уже допили, закуску доели, и стал старшой свою Ксюшу в другую комнату выволакивать, но она не давалась и со смехом выскальзывала из его рук и грозила пальцем.

— Больно ты скорый, Петр Федорович. Давайте споемте лучше,— и затянула что-то тонким голосом.

Но никто не поддержал ее, и она замолкла. И к лучшему.

Тогда Борька не грубо, а легонечко приобнял девушку, и это прикосновение будто обожгло его. Невольно прижал к себе сильнее, она вздрогнула, отшатнулась, но вдруг покорилась.

Тем временем Ксюша под каким-то предлогом вышла на другую половину, а спустя немного и старшой туда потопал, подмигнув перед этим Борьке: не теряйся, брат.

А Нюша, когда они остались одни, видно, и вправду испугалась, вырвалась из-под Борькиной руки, поднялась с дивана, на котором они сидели, и встала посреди комнаты, растерянно хлопая ресницами.

Но Борьке уже не по силам отстать от нее, и он подскочил, обнял крепко, прижал к себе и стал голову ее запрокидывать для поцелуя. Она отталкивала его поначалу и, конечно,— пусти, отстань! Но разве теперь отстанешь? И захочешь — не выйдет. Почти насильно влепил он ей поцелуй, тут голова совсем кругом пошла — поднял ее и понес на руках к дивану... Она попыталась вырваться, а потом заревела.

— Ну, что делаешь? Что делаешь? И не стыдно тебе? Разве я затем пришла? — бормотала она, всхлипывая.

Борьке и впрямь вдруг стало стыдно — слезы-то были всамделишные и, видно, не ломалась девчонка.

— Брось реветь,— отвалился от нее Борька.

Она встряхнулась, поднялась, но осталась на диване, закрыла лицо руками и продолжала рев.

— Ну, ладно, перестань. Не буду я к тебе приставать больше.

— Ты бы хоть спросил что? Кто я? Как я? — сквозь слезы лепетала она.— А то сразу валить начал. Что вы звери все какие. Почему по-человечески поговорить не можете, а только одним интересуетесь. Жених же у меня на фронте. На отца похоронка пришла. Мать померла недавно...

— Сказал — не буду больше. Чего плачешь?

— Разве можно так?.. На вид ты мне хорошим показался.

Борьке действительно стыдно было и, главное, жалко эту тютеху. Он погладил ее по голове.

— Успокоилась?

— Да.

— Ну, а зачем ты на вечерку шла? Маленькая, что ли? Не понимаешь ничего?

— Зачем шла, зачем шла? Сказал старшой, что у него парень хороший служит, это ты, значит. Хочешь, говорит, познакомлю. Ну, а почему не познакомиться? Жизнь наша теперь несладкая. Все рассеешься немного. А ты...

— Ну, прости меня... Значит, одна ты совсем?

— Почему одна? Бабка, сестренки, братик. Я за главную.

И начался у них разговор уже хороший. Она рассказала, как немцы в Торопце были, что пережить пришлось, как мать болела, болела и померла...

Увидел Борька, что жизнь ее голодная, и стал ей консервов подкладывать — доедай, Нюша. Будет возможность достать пару банок, принесу тебе для ребят твоих.

Пока они по-хорошему так разговаривали около получаса, вернулся старшой — порозовевший, улыбка самодовольная, во весь рот, руки потирает.

— Ну, как вы тут, голуби мои? Поладили?

— Поладили,— ответил Борька и усмехнулся.

— Вот и лады.

Посмотрел старшой на часы, и понял Борька, что собираться надо, дела все сделаны, пора по домам.

Потом и Ксюша вышла. Глаза какие-то с сумасшедшинкой, расширенные, а на губах улыбочка.

— Ну, спасибо за хлеб-соль, дорогие хозяюшки,— сказал старшой.— Пора нам службу нести, люди мы казенные. А что обещал, Ксюша, принесу в следующий раз непременно. За мной не пропадет. Может вот, Бориса пришлю.

Попрощались они чин по чину и вышли в морозную темную ночь. Не успели два шага отойти, как крякнул старшой:

— Ну и баба! Огонь! Стар я стал, Борис, ей бы помоложе надо. Ну, ничего... Понимаешь, я девок молодых не люблю. Ничего они в этом деле не понимают. А вот женщины в годах тридцати, те самый смак, те умеют к нашему брату подойти... Ну, а у тебя как?

— Никак.

— Что ж ты, брат, оплошал? Ну, не думал я, не думал...

— Да не понравилась мне она, да и жалко стало...

— Жалко? — захохотал старшой.— Ну, уморил. Чего их жалеть? Ты пожалел — другой не пожалеет, другому достанется. Эх ты!

— Ладно,— махнул Борька рукой,— не будем об этом, Петр Федорович.

Вот так Борька и жил, как на курорте. Ноги поджили совсем, сыт от пуза, работы почти никакой. Чего, казалось бы, солдату еще надо? Но почему-то такая жизнь не очень Борьку радовала, было в ней что-то унизительное.

Остальные ребята вкалывали, конечно. Кормили их нормальным красноармейским пайком, но негусто. Одежды военной не выдали, так и работали, кто в чем вышел из окружения. Только у кого обувка была негодящая, тем валенки б/у, подшитые выдали, потому как февраль выдался лютым, без валенок не поработаешь.

С ребятами Борька встречался, перекидывался кой-какими словами, табачком делился. На жизнь они не жаловались. Работа рук особо не ломила, кой у кого физиономии округлились. Встретился он однажды и со Змеевым. Тот с ходу:

— Ну как, Борис, в холуях служится? — как по морде съездил. Борька и ответить чего не нашелся.

— В каких таких холуях? — только и пробормотал.

— Это тебя надо спросить, в каких. В таких, каких ходишь,— усмехнулся Змеев, а у Борьки, как у того Васька здорового, рука зачесалась съездить этому ехиде по харе.— Ладно, ладно, шутю, не лезь в бутылку.

Но после этого разговора стало Борьке как-то тошно. Старшой, конечно, мужик неплохой, простой, пусть не очень умен, но к Борьке относится хорошо, однако если поразмыслить, то, конечно, какая это служба? Для того он, что ли, в армию добровольцем пошел, броню свою на стол положил, чтобы вроде домработницы какому-то старшему лейтенанту прислуживать — обед носить, в комнате подметать?..

Решил Борька уйти от старшого. Стал ему дерзить, обязанности свои спустя рукава исполнять, но Петр Федорович и не замечал вроде. Только один раз, когда Борька сгрубил ему что-то, сказал:

— Дурак ты, дурак, Боря, как я посмотрю. Я все твои мысли знаю. Но ты пойми одно: впереди у тебя вся война, останешься ли ты жив, одному богу известно, какие еще предстоят испытания тебе, тоже не угадаешь. Так живи и не рыпайся. Набирайся силенок. Я с тобой по-человечески, по-простому. Я ж по своей слабости к бабам холостяком остался. И нет у меня ни сына, ни дочери. Я к тебе всей душой, как к сынку отношусь. Хочешь во взвод уйти, уходи, силком держать не буду. Но я к тебе привязался... Вот решай.

— Да я... я к вам тоже хорошо отношусь. Но, понимаете ли...

— Все понимаю,— оборвал его ротный.— Но повторяю — не торопись. Конечно, ты воевать пошел. Но воевать-то тебя пока не допускают. И ни по моей, ни по твоей вине... Ну, что решим?

— Наверно, вы правы,— не очень-то уверенно произнес Борька, но ротный хлопнул его по плечу:

— Вот и лады.

В один из дней, когда ротного не было дома, пришел к нему боец с докладной. Борька впустил его, усадил, закурить предложил, так как парень ему понравился,— высокий, широкоплечий, худой, правда, здорово. Из-под старого ватника тельняшка виднелась.

— Из моряков, что ли? — спросил Борька.

— Да...— вроде бы неохотно ответил тот.

— Как же сохранил ее, ведь немцы к матросам...

— Знаю,— перебил бывший моряк.— Но не мог выбросить! Снять ее — вроде бы флоту изменить. Били меня за нее, сталинским выкормышем обзывали, гады, но вот на мне она.

— Докладную-то о чем принес?

— Прошу ротного запрос на меня послать. Я ж с 37-го в Военно-морском артучилище учился в Севастополе. За десять дней до войны окончил... Звание хочу восстановить.

— А может, не стоит? Говорили, командиров будут строже судить.

— Судить?! — взорвался вдруг моряк.— Мы бой до последнего снаряда вели. Пехота уж отошла, а мы все пуляем. Пока весь боекомплект в 300 снарядов не израсходовали, пока пушки не взорвали, не отошли ни на шаг. А когда к своим прорвались, то в Вяземское окружение попали. Из нашей батареи только двое оттуда вырвались — я и краснофлотец, кореш мой... Вот мы с ним пробирались с 12 октября, а 14 ноября в деревне Выползихе — откуда до фронта всего 10—12 километров осталось, рукой уж подать — продал нас один гад за кусок конины... Ну, и ржевский лагерь.

— Я там тоже был,— встрепенулся Борька.

— Был?.. Давай лапу тогда,— протянул руку краснофлотец.— Знакомы будем. Юрием меня звать.

Силенка у моряка осталась, руку сжал крепко.

После этого разговор пошел живее. Борька рассказал, как он бежал, выпросившись на работы, добавив, что из самого лагеря не убежишь, а тут вот подфартило.

— Не убежишь? — усмехнулся Юрий.— Я средь бела дня ушел. Правда, целую неделю обдумывал, психологию часового изучал. Ушел, а кореша своего потерял. Либо обнаружили его, либо не нашли друг друга... До сих пор камень на душе...

Оказалось, находились они в ржевском лагере в одно и то же время, в начале января. Поскольку Юрий в лагере дольше находился, рассказал он много такого, чего Борька не знал, а именно про случаи трупоедства и про то, как вешали за это немцы... Выяснилось, что в землянке у полицаев не шлюхи какие-то были, а наши девчонки-разведчицы, попавшие в плен. Они Юрию и с одеждой помогли, и ноги обмороженные перевязали, и покормили. Век их помнить будет, Асю, Клаву и Симу... Юрий два раза из ржевского лагеря уходил, первый — днем под проволоку, второй — к этапу присоединился и в пути убежал. Вообще Юрию было что рассказать, его пути-дорожки еще страшнее и кривее были, чем у Борьки... Но тут ротный заявился.

Докладную прочел, задумался...

— Хорошо, браток, пошлю запрос, ежели настаиваешь. Только вряд ли ответ тебя на месте застанет.

— Что-то знаете, товарищ старший лейтенант? — спросил Борька с тревогой.

— Ничего пока определенного,— отмахнулся ротный.

Борька проводил краснофлотца, попрощались сердечно и договорились встречаться, чтоб побалакать о своих злоключениях, когда время выдастся.

Прошел март... Начался апрель, но холодный, с ночными заморозками. Однако работы ребятам становилось все меньше и меньше. Поневоле начали задумываться, куда их теперь наладят.

И тут случилось совсем непредвиденное и страшное. Как-то вечером собрался Борькин ротный опять к какой-то бабоньке. Он их часто менял. Как всегда, побрившись, наодеколонившись, засунул он бутылочку водки в карман и сказал:

— Ты меня не жди, ложись спать. Я, наверно, к утру только вернусь.— Подмигнул Борьке, потер руки и отправился, насвистывая.

К кому, куда, не сказал.

На следующее утро Борька с кухни завтрак принес, печку истопил, самовар поставил, а ротного все нет... Зашел старшина распоряжения получить, потом взводные, а его все нет. Потолкались полчасика и ушли. Пришлось Борьке завтрак в печку поставить, чтоб не стыл, а сам прилег на диван с книжечкой, было у бывших хозяев несколько книженций, неинтересных, правда, но со скуки сойдет.

И вдруг на улице шум, голоса встревоженные... Борька выскочил на крыльцо и ахнул — несут старшего лейтенанта четыре бойца, а у того на груди кровь большим пятном... Внесли в дом, положили на

кровать. Бросился Борька к нему и понял сразу — мертвый его ротный, совсем мертвый, захолодел уже.

Защемило у Борьки в груди, подвалило к горлу: уж больно нелепа эта смерть в такой дали от фронта, да и человек-то был неплохой, один только грех — женский пол любил. Из-за этого, наверно, и вышло.

Потом и впрямь выяснилось, когда дело это расследовали, что убили его еще вечером, когда шел он к какой-то подружке, около ее дома и шлепнули. Оказалась она мужней женой, а муж с фронта дезертировал и где-то в городе скрывался. Вот и подстерег, бабахнул в спину. Искали его потом по всему Торопцу, чуть ли не в каждый дом заходили, но пока не нашли.

Доходился старшой по бабам... Жалко его Борьке, вспомнил, что был он последние дни какой-то тихий, ласковый с Борькой. Задумывался часто, чего раньше не было. Да, чует, видать, человек свою смерть, чует... На похоронах — а хоронили на городском кладбище — рассопливился Борька совсем. Что ни говори, а прожили вместе полтора месяца, и ничего плохого от ротного он не видал.

Поскольку оружия у дорожной роты не было, то и салют не произвели, только один из взводных пальнул в небо из нагана погибшего ротного, образца 1885 года, из которого, наверно, вообще первый раз выстрелили. Вот и все, мир праху твоему, как говорится...

С новым ротным, назначенным из взводных, Борька жить не стал, ушел в роту вкалывать. Здесь он поселился с отделением, где Юрка-моряк — так его ребята звали — находился, теперь для разговоров было у них и время, и место.

Юрка часто про Вяземское окружение поминал и все возмущался, что можно было организоваться как-то и выйти из котла с меньшими потерями, а то брели мелкими группами, натыкались на немцев и гибли без толку. Но что интересно: говорил Юрка со злостью, с обидой, однако ни разу не матюкнулся. Видно, четыре года флотского училища даром не прошли, воспитали там в них командирское достоинство. Вообще парень он был спокойный, в себе уверенный и совсем не тревожился их общим неопределенным будущим.

— Ничего, обойдется, дальше фронта не пошлют,— говорил не раз.

Однажды вечером сидели они на завалинке у дома, где жили, покуривали. Вечерок оказался теплым, горело на западе закатное небо, ни облачка, тихо.

— Знаешь, Борька,— начал Юрий,— был со мной случай, когда мне немец жизнь спас. Все вспоминаю этого чудного немца, думаю... Свой продал, а враг спас...

— Как же это получилось? — спросил Борька с интересом, потому что тоже часто думал о переводчике,— тот оказался мужем Ольги Андреевны,— и о том, как он Борьку не выдал.

— Это случилось после первого побега из ржевского лагеря...— продолжал Юрий.— Всю ночь шел я по лесу, а наутро — а оно солнечным оказалось — ослеп. Такая резь в глазах, не могу на свет глядеть. Хорошо, что на какую-то дорогу выбрался, ну и побрел по ней почти ощупью... пока на немцев не напоролся... Тут мне мой немецкий, хоть и корявый, пригодился. Объяснил я фрицам, что из окружения выбираюсь, что ослеп, они вроде поверили. Привели в деревню, к какому-то старику в избу сунули. В полумраке я стал немного видеть. Старик неприветливый, поесть ничего не предложил — либо у самого не было, либо пожадничал. А я жрать, конечно,— умираю. На щепоть махры он все же расщедрился. Сижу на лавке, палю самосад, здесь вдруг какой-то фриц входит, ну и с чем, ты думаешь?

— С чем немец может прийти? С какой-нибудь подлостью,— предположил Борька.

— Нет,— усмехнулся Юрий.— Не угадал. С котелком горохового супа! Вот с чем! Да еще со свининой! Я и сейчас запах этого варева помню. Ешь, говорит, камрад. Я своим ни ушам, ни глазам не верю, но за котелок берусь, начинаю лопать. Думаю, ладно, потом ты со мной что хошь делай, хоть к стенке, а сейчас наемся я от пуза. Но фриц разговор заводит, что-то ломано по-русски, что-то по-немецки. Я ему говорю, что «ферштею», фриц обрадовался и давай рассказывать мне, что он рабочий, работал на авиационном заводе, но за неблагонадежность уволили и на фронт послали... Я слушаю и думаю, к чему он все это говорит, а он вдруг про Гитлера начал. Я струхнул даже, решил — провоцирует меня фриц Адольфом, а потом кокнет за милую душу... А он дальше Гитлера поносит за то, что погубит, мол, Германию и что надо русским его победить. Я удивляюсь, но слушаю и молчу... Потом немец как стукнет кулаком по столу и почти криком: «Почему вы так плохо воюете?! Сидит наш камрад за пулеметом, а вы на него в лоб лезете, неужто обойти нельзя? Разве можно так воевать?».. Нет, видно, не провоцирует фриц, наверно, у самого наболело. Да и что я для него, пленяга безымянный...— Юрий замолчал, достал кисет с махрой, когда цигарку стал завертывать, пальцы у него подрагивали.

— А дальше что?

— Погоди, покурю... Как этого немца чудного вспомню, так волнуюсь. Необычно же: солдат вражеской армии упрекает, что мы плохо против него воюем... Ушел немец, я на полу спать устроился и по дурости валенки снял, которые мне девчата в лагере достали. Ночью какой-то офицер в избу вошел, фонариком пошарил, увидел мою обувку и... хвать, гад. Я только зубами проскрежетал, а что сделаешь? Лежу и думаю, какой сволочью нужно быть, чтоб у пленного обувь отнять, знает же, что погонят меня утром в лагерь... Чуть свет гансы заявились, ауфштеен, давай иди! Я им на ноги свои босые показываю, говорю, как же пойду, на дворе мороз под двадцать. Иди, и никаких! Тут мой немец чудной появляется, обстановку сразу усекает и к старику, уже по-русски: «Давай, старик! Камраду идти надо!» А тот вопит, упирается, не отдает свои валенки... Мой немец силком хочет снять, но я его останавливаю, не надо, дескать, лучше пристрели меня, все равно смерть, ноги заморожу, гангрена, и каюк... Опять гансы пришли выгонять меня, но «мой» уговорил их обождать, а сам побежал куда-то. Возвращается с каким-то тряпьем, веревками. Обмотал я ноги и потопал с гансами, и снова... в ржевский лагерь... Опять девчата мне помогают... Такая вот история, Борька,— закончил Юрий, вздохнув.

— Да...— задумчиво протянул Борька.— Поверить даже трудно.

— Поначалу у меня это тоже в башке не укладывалось... Но, помнишь, в начале войны шли разговорчики, что, дескать, немецкие рабочие и крестьяне не будут воевать против нас, что повернут против Адольфа?

— Были, да скоро сплыли.

— Сплыли. Но вот, видишь, все-таки и среди них л ю д и оказывались.

На этом вечерний разговор и закончился.

Снег совсем истаял, начали помаленьку ремонтом заниматься, кюветы чистить, колдобины песочком засыпать. Но чуяла братва, последние денечки они тут, должно вскорости что-то произойти, какая-то перемена в их судьбе не за горами. Ну, и настроение соот-

ветствующее — делать ничего неохота, вялость какая-то, и мысли дрянные. Не радовали и погожие деньки, наступившие к середине апреля.

Не обманули их предчувствия... В одно прекрасное утро собрали дорожную роту и — шагом марш на станцию. А там уже состав из товарняка, двухосные телятники с нарами и печками, в которые набили, как положено, по тридцать два гаврика. В суете потерял Борька краснофлотца Юрия, и попали они в разные вагоны.

Все бы ничего, картина знакомая, все прошли, кто длинные, кто короткие эшелонные дороги на фронт, но встревожило то, что и ротный, и командиры взводов проводить-то их проводили, а в эшелон не сели, сдали свои подразделения строгому на вид капитану — видать, начальнику эшелона. Он-то и проверял по спискам наличие людей. Отсюда и беспокойство, снова вопросы безответные: куда повезут, зачем?..

Когда суета окончилась, когда расселись все по свои местам, когда успокоиться вроде бы надо, тревога, наоборот, усилилась. Здесь и протяжный паровозный гудок за сердце хватил тоской, приуныли ребятки, запалили самокрутки и затихли, хоть бы слово кто вымолвил. Но не успели вагоны станционные стрелки простукать, как Змеев, спустив с верхних нар ноги, выступил, язва:

— В Сибирь, братцы, едем, али на Север... Вы что думали, будет вам припухаловка всю войну? Нет, граждане хорошие, погуляли и хватит, пора ответ держать.

Здесь грохнул весь вагон матом. Не выдержал и Васек, стащил Змеева с нар, приподнял за грудки и — к двери. Тот за брус ухватился, как клещ, но страху не выказал, лишь глаза побелели от бешенства. Еще немного, и оторвал бы Васек его от бруса, выбросил из вагона, но вступился Борька, да и другие его поддержали. Отшвырнул от себя Васек Змеева с силой, трахнулся тот об нары, скривился от боли, но не ойкнул, зараза.

А вообще-то их путь и вправду не к фронту, а куда-то на восток пошел. Неужто прав этот Змеев, чтоб ему провалиться? Есть с чего носы повесить, самое ведь худшее в жизни — неизвестность, тем более, когда она ничего хорошего не сулит.

Кухни при эшелоне не было, выдали продукты сухим пайком — сухари, консервы, концентраты, пшенку, конечно, и сахар. Варили, значит, на печурке кашу, водичку кипятили, сухарики в ней размачивали, сахарком закусывали — обычная поездная жизнь. Радовало их лишь одно — без охраны едут. Значит, не в лагерь какой, а направляют в тыл на формирование, в запасной, наверно, полк. Этим они друг дружку и успокаивали.

Эшелон шел неходко, не на фронт же... Долго стоял на станциях, на разъездах, пропуская идущие поезда на запад. На станциях обычная для военного времени суетня и беспокоица. Народу полно, много раненых, много военных—командированных кто куда, ну и гражданских тоже навалом, женщин, детей... Пристанционные буфеты, конечно, закрыты, да для Борьки и ребят это безразлично, денег-то ни у кого нет, а выпить всем, разумеется, охота. Кое-кто из братвы решился. Раз дело к весне идет, можно и без ватника обойтись, ну и стали менять на самогонку. А на чем спать, чем покрыться, не задумывались, проживем как-нибудь, а сейчас хоть на миг душу отпустить надобно, снять напряжение... После самогончика и песни запелись, правда, все грустные, жалостные, только душу бередили и тоску нагоняли...

Проехали они Осташков, следующая большая станция — Бологое. Оттуда путей много—и на Москву можно, и на Рыбинск... Думали-гадали—куда? Борьке, конечно, в Москву хотелось, даже дух захватывало, как представлял себе, что вдруг в Москве очутится. В Бологом стояли долго, побродили по перрону, поговорили с ранеными: как там дела на фронте? Стоит пока фронт. Уперлись немцы и отступать не желают, а бои идут, конечно, местного значения, но оттого не менее кровопролитные. Не один эшелон с ранеными стоит. По этому судить можно.

От состава далеко не отходили. Предупредил начальник эшелона, что отставание от поезда дезертирством будет считаться. Да и куда им деться? В такой одеже, без документов сразу за немецкого шпиона примут. Поэтому жались все к своим вагонам.

Тронулся поезд, да не на Москву, по всей видимости,— на Рыбинск. Тут уж не знали что и думать, больно далеко в тыл их загоняют, не к добру это.

Но ведь думай не думай, а везет тебя поезд куда положено, и ничегошеньки сделать ты не можешь. Жди, что судьба тебе готовит, и приготавливайся к худшему, так вернее.

На другие сутки прибыли они в Ярославль. Город старинный, говорят, большой. Так Борьке захотелось с вокзала удрать и пройтись по настоящим городским улицам, но побоялся эшелон упустить.

Ну, а теперь куда? От Ярославля прямая дорога в Сибирь. Все на Змеева стали посматривать — накаркал черт старый, а тот и в ус не дует. Строгает своим кривым ножичком чего-то и ухмыляется, радуется будто, что его предсказание сбывается.

Подошел к нему Борька, хлопнул по плечу.

— Ну, теперь куда тронемся, Змеев?

— Тут дорога одна.

— Не одна тут дорога,— сказал кто-то.— Знаю я. Отсюда и на Вологду можно.

— Тоже радости мало. На Север, значит. С Вологды можно и в Архангельск попасть, и даже в... Воркуту,— добавил другой, видно, дороги эти прошедший, и усмехнулся хмуро.

Что-то захолодело у Борьки в сердце, да и остальные поежились, начали самокрутки крутить.

— Да что вы, товарищи,— выступил тут один, в очках, не очень молодой, на вид или учитель, или бухгалтер.— Кто же вас без суда и следствия в лагерь направит? Бред это! Едем мы на формирование или в запасной полк. Это абсолютно ясно. И нечего панику разводить.

— Чего ж тебя, когда вблизи фронта были, в маршевую роту не взяли? — сказал Змеев.— Зачем везти за тридевять земель, железную дорогу загружать?

Тоже вроде логично, подумал Борька, и полез на нары.

А эшелон шел на север... И чем дальше, тем пакостнее на душе становилось. Уже яснее ясного: не на формирование едут.

На рассвете подъехали к какой-то станции, остановились. Посмотрели на название — «Грязовец» какой-то. Подходящее название, судя по тому, что грязищи и, верно, хватало, потому как погода такая. Снег не весь стаял, а солнце еще не подсушило как следует.

Полусонная братва выходить из вагонов не стала, интересного вроде ничего нет — станция как станция, но вдруг команда: «Выгружайся!». Стало быть, прибыли! И обрадовались, что ни на Архангельск, ни на Воркуту, значит, не поедут. От сердца малость отлегло. Выскакивали из вагонов резво. Не смутило поначалу и то, что встретил их капитан в фуражке с голубым околышем.

Ну, как обычно, построили их в колонну по четыре, равняйсь, смирно, шагом марш... Потопали по грязище, но не по главной улице, а по каким-то окольным, окраинным улочкам. То ли чтоб путь сократить, то ли чтоб меньше жители их видели. Человек триста их было, батальон целый, потому и растянулись, поди, на полкилометра. Впере-

ди капитан вышагивал, а сзади колонны лейтенантик молодой, в такой же фуражке.

Шагали быстро. К утру в вагоне промерзли все, и хотелось согреться ходьбой. Километра через три, как из города вышли, показались впереди бараки, а еще прежде них — вышки...

Сразу загуторили:

— Видать, этот змей Змеев прав оказался...

— Где этот, который про запасной полк говорил? Я и впрямь после его слов успокоился...

— А за что, ребята? Ну, за что нам лагерь? Что мы, по своему желанию в плен угодили?

— За что, за что? За это самое!

— Надо было с дороги рвать и к какой-нибудь части прибиться.

— Прибьешься без документов!

— Несправедливо это, братва. Там, у немцев, му́ку приняли, теперь у своих мучиться!

— Ты сколько на свете прожил?

— Ну, двадцать семь...

— И много видал справедливости?

— Почему же не видал? Видал...

— Ах, курвы! Говорил я, на солдатике отыграются. Он завсегда самый виноватый, вроде стрелочника.

Тут Борьку кто-то по спине хлопнул. Обернулся — Юрка-моряк.

— Что, кореш, за проволоку опять?

— Выходит так...

— Не нас бы туда, а тех, которые драпали в сорок первом и войско оставили... Честное слово, выше капитана не встречал в окружении. Помню, прибился к нам генерал со свитой, я предложил ему взять командование над нашей группой, так отказался. А когда немцы появились, прибежал его адъютант: «Генерал приказал прикрыть его отход!» Я послал его подальше, и слышу: «Одёжу генералу!» Оглянулся, а тот в крестьянское переодевается... Конечно, немцев мы попридержали, но не ради генерала, просто стыдно было и обидно без боя отходить. Вот так-то, братишка...

А лагерь приближался неотвратимо... Все четче вырисовывались вышки с часовыми, колючая проволока вокруг бараков. И уже никто не сомневался, что это лагерь, да еще самый настоящий, по всем правилам обустроенный, не то что у немцев во Ржеве, на скорую руку сляпанный.

Остановили колонну около ворот, развернули фронтом, и стал капитан фамилии выкликать по алфавиту. Вызванные должны выходить к воротам и там построиться. У ворот, конечно, охрана к шмону приготовилась, значит, ножички, бритвы, карандашики — все отберут. Но это не беда, черт с ним, с барахлишком, а вот то, что напомнило это Борьке ржевский лагерь, подняло в душе боль и обиду, даже слезы на глаза навернулись. Чтоб кислятину эту с себя снять, выматерился он про себя, тяжело, безобразно, аж самого передернуло.

Процедура нескорая — триста человек выкликнуть, триста гавриков обыскать. Часа три простояли...

И вспомнил Борька Пашку. Пусть он и гадство сделал, но ведь воюет уже, наверно, полноправным бойцом, хоть и с чужим документом, а он, Борька, стоит здесь перед лагерными воротами, униженный, жалкий... Остальные ребята тоже губы покусывают, тоже обида головы мутит. И слезы не только на Борькиных глазах выступили, другие тоже глаза трут... Обида же, обида смертная, что не верят им, что не на фронт послали, а в тюрьму направили. А за что, братцы? Чего такого сделали? Разве не бились до последнего, разве не убегали из лагерей, разве кого предали?..

Тут только Борька вспомнил, что домой-то он не написал ни строчки, все оттягивал, все думал, вот, мол, выяснится, тогда и отпишу... Дотянул! Отсюда, возможно, и писать-то нельзя.

Шмон охранники делали вежливо, называли на «вы» — «выверните карманы»,— ощупывали деликатно, но делали все серьезно, без улыбочек, и глаза у них всех были холодные. Это не свой брат красноармеец.

Захлопнулись за ними лагерные ворота, и опять новая жизнь, опять к ней приспосабливайся. И так в армии вольными они не были, а теперь и совсем — заключенные... А многие, кто немецких лагерей не пробовал, и не знали, что это такое, какие тут правила, как тут жить, что можно, а что нельзя... В бараки вошли смурные, озабоченные, огляделись — нары двухэтажные из струганых досок, но ни тюфяков каких, ни матрацев нету, одеял тем более. Придется, значит, на голых досточках спать. Те, кто свои телогрейки да шинелишки по дороге пропил, стали чесать затылки, да поздно уже... Хорошо еще, что в бараке тепло, печи кирпичные, солидные, на том хоть успокоились.

Разместились... Борьке опять со Змеевым пришлось, а Юрий «братишку-морячка» встретил, с ним расположился, но неподалеку. Змеева не узнать. Всю дорогу пугал ребят невесть чем, а тут сам больше всех и сник.

Из разговоров со «стариками» узнали, что лагерь этот проверочный, ничего страшного. Рядовым проверка до трех месяцев, командирам поболе — до полугода. Кормят прилично, красноармейским тыловым пайком, а с подсобного хозяйства — свинофермы — мясцо добавляют, на работы насильно не гоняют, хошь работай, хошь нет, в зону днем — выходи, пожалуйста... Тоска, конечно, но ничего не поделаешь. А потому и курева не хватает, палишь от тоски целые дни. Сказали ребята, что до них в лагере этом находились польские офицеры, недавно их в армию Андерса отпустили. Вот и вся обстановка, жить можно.

Жить, ясное дело, везде можно, подумал Борька, и в ржевском лагере такие были, которые говорили: жить можно... Три месяца, конечно, ерунда, это не срок, только есть тут, как ему сказали, одна закавыка: если не сумеешь доказать, что в плен не добровольно сдался, то могут десятку припаять. Ну, а если у немцев в услужении был, полицаем или переводчиком, то не исключена и высшая мера.

— Это они должны доказать, что ты добровольно сдался,— сказал пожилой в очках, тот, что успокаивал их запасным полком.

Братва слова эти приняла смехом.

— Это ты им и расскажи, а то не знают они. Поучи их. Короче, ежели двух свидетелей найдут, что ты сам руки поднял, то все, пиши пропало.

— Все же нужны свидетели? А вы говорите...

— Ладно,— перебили его.— Чего зря болтать, попадешь к следователю, все поймешь.

И верно, болтали здесь не много... Такой настороженности друг к другу, как в ржевском лагере, не было, но лагерь есть лагерь, никто о себе особо не распространялся, и о том, как в плен угодил, помалкивали. Разные же люди бывают. Обидишь кого ненароком, а он на тебя со зла такое может наговорить, да еще подобьет какого-нибудь дружка-приятеля, вот и готовы два свидетеля.

Поэтому когда Борька наткнулся вдруг на блатаря, который его в ржевском лагере от костра отогнал, он хоть и с трудом, но сдержался, а так хотелось ему поквитаться, набить этой сволочи морду, даже затрясло всего. Долго стоял, смотрел вслед, сжимая и разжимая кулаки...

— Что, знакомого встретил? — спросил стоявший неподалеку парень в командирской шинели, подойдя к Борьке прикурить.

— Гада встретил,— прохрипел Борька.

— Видел я, как у тебя руки чесались. Правильно, что сдержался. Не стоит со сволочью связываться.

— Вы не из командирского барака?

— Оттуда. А что?

— У вас там воентехника по фамилии Погост нет?

— Не знаю. Народу у нас много. Думаешь, мы все друг друга по фамилиям знаем?

— А где ваш барак?

— Вон, третий от заграждения.

Разошлись они, а Борька о Погосте задумался. Хорошо бы найти его здесь. Спокойный мужик, с ним посоветоваться можно. И стал Борька около командирского барака похаживать, к людям оттуда присматриваться, но пока без результата.

Однажды ночью проснулся Борька от выстрелов. Открыл глаза и Змеев. Приподнялись, стали прислушиваться. Выстрелов прозвучало всего пять или шесть, звук глуховатый, не в зоне стреляли, а где-то в помещении. У Змеева отвисла губа, да и Борьку дрожь продрала.

— Где же это стреляют? — спросил Борька.

Сосед по нарам, что слева лежал, потянулся и тоже приподнялся.

— Не знаешь еще? В тире стреляют. Видал около дома охраны помещение такое низкое? Так это и есть тир.

— Чего же они ночью стрельбы затеяли?

— Это, браток, не стрельбы,— криво усмехнулся сосед.— Это расстреливают.

— Что?! — в один голос воскликнули Борька и Змеев.

— Я сказал — расстреливают.

— Кого же?

— Знамо кого, предателей... Сюда же трибунал выездной приезжает и судит, значит. Ну, кому вышку присудили, тех и хлопают,— спокойно объяснил сосед.— Ничего, привыкнете. По первому разу неприятно. Но ведь гадов уничтожают-то. Небось, сами от этих полицаев натерпелись?

— Еще бы...— процедил Борька, вспомнив, как в ржевском лагере выбили глаз одному пленному плеткой.

— Небось, сам зубами скрежетал, что нет оружия убить сволочей?

— И это было.

— Так вот теперь твои пульки непосланные их здесь догоняют. Туда им и дорога.

— Все это так,— пробормотал Борька, но на душе было жутковато, и долго ворочался он на нарах, не в силах уснуть, да еще Змеев вздыхал под боком, нагоняя тоску.

Вроде все знаешь, что так и положено, что предателей надо уничтожать,— сам сколько раз мечтал расправиться с ними, когда пробирался по немецким тылам. Знаешь и то, что к тебе это не относится, что тебе самому это не грозит, но все равно почему-то тошнотно ноет внизу живота и какое-то тупое отчаяние заползает в душу...

И захотелось вдруг Борьке домой, захотелось до невозможности, до боли... Захотелось, чтоб ничего не было у него позади — ни фронта, ни плена, ни лагеря ржевского, ни побегов, ни убийства немца, ни томительных дорог, ни этого лагеря... Чтоб ничего не было. А было бы все, как до войны,— Москва, дом, школа, потом завод, на котором он, правда, и проработал только несколько месяцев, игры в волейбол во дворе, Люба...

Бог ты мой, ведь и полгода не минуло, как покинул он Москву, а сколько же всего довелось испытать ему! Даже не верится, что за такое короткое время столько всего произошло. Хотя чего, было все, было, и седая прядка в волосах — тому доказательство.

Проснулся Борька разбитый, засмолил сразу цигарку, а от нее еще муторней стало. Так и провалялся он целый день на нарах, спускался лишь, когда еду раздавали, да и она в горло не лезла. Наверное, впервые за все время. Змеев тоже мрачный ходил, в похлебке только поковырялся и разговоров избегал.

Так еще несколько дней проползло — тягучих, длинных, однообразных, с бесконечным курением, и таяла быстро махорочная пайка. Пришлось на сахар у некурящих выменять табаку.

Через некоторое время оклемался Борька немного от тоски по дому, от тяжелого состояния какой-то тревоги и стал выходить из барака в зону, где кучками, примостившись кто на чем, сидели и покуривали Борькины однобедцы, ведя неторопливые разговоры о войне, о доме, о родных, которые ничего не знают.

И тут у соседнего барака приметил Борька одного в рваной-прерваной шинелишке, в разбитых красноармейских ботинках без обмоток, в грязной пилотке: он сидел прямо на земле и что-то рассказывал стоящим вокруг него. Борька подошел, остановился.

— Значит, я этого фрица ухватил, дал подножку — не упал, сука, только пошатнулся. Но я успел штык от СВТ выхватить, ну и... наповал...

Борька внимательно смотрел на него, припоминая, где же видел он этого бойца. Нет, не в шинелишке он был тогда, а в чем-то другом одетый. Тот почувствовал Борькин пристальный взгляд и поднял голову. Так они глядели друг на друга несколько секунд, пока тот не отвел глаза.

Борька отошел, так и не вспомнив, и мучился целый день этим. И только ночью вдруг, как наяву, предстал перед ним в черном полушубке, с плеткой в руках, и как будто услышал рядом с собой шепот: «Вот этот вышиб глаз одному...»

Борька спрыгнул с нар, словно бежать захотел куда-то. Но куда побежишь, когда ночью выходить из барака запрещено. Надо ждать утра, разыскать эту сволочь... Ох, как он его будет бить! Как бить! Всю ночь Борьку трясло, и он представлял свою расправу с полицаем. И ему как-то не приходило в голову, что следует заявить кому надо, что своими кулаками тут ничего не сделаешь. Нет, он об этом не думал. Он переживал все свои унижения в ржевском лагере, вспоминал, как расхаживали эти сволочи хозяевами по зоне, как издевались над пленными, как душила его ненависть тогда, как хотелось разбить в лепешку морду какому-нибудь полицаю... И еле дождался он утра.

После завтрака бросился он к бараку, но вчерашнего типа не обнаружил. Не было и тех ребят, кто слушал его трепотню. Походил-походил вокруг да около и направился к командирскому бараку в надежде повстречать командира, который подошел к нему, когда он кулаки сжимал и глядел вслед блатному. Нужен был ему в этой жизни человек постарше, поумнее, с которым посоветоваться можно. Потому-то и вспоминал он часто Погоста.

— Привет. Больше никого не встречал, кому следует морду набить? — спросил тот с улыбкой, поднимаясь навстречу Борьке с завалинки.

— Я как раз вас и ищу... Повстречал одного, хочу с вами поговорить.

— Заметил, что ищешь... Ну, говори.

Борька рассказал про полицая.

— А ты уверен, что он?

— Почти...

— Ну, брат, почти — это не то. Можно зазря человека сгубить. Тут семь раз отмерь... Понял?

— Понял. У меня хорошая зрительная память. Да и смутился он, когда я на него уставился. И смылся быстренько.

— Мало ли что смутился. Я тоже не люблю, когда на меня смотрят. Это не доказательство.

— Так что ж делать?

— По-моему, пока ничего делать не надо. Увидишь еще раз, присмотрись внимательно, только незаметно, а то спугнешь. Если будешь абсолютно уверен, тогда... Понимаешь, абсолютно!

— А может, я его и не увижу больше?

— Увидишь. Тебя еще не допрашивали?

— Нет.

— Они сами, как правило, при допросе спрашивают, не встречал ли здесь кого из предателей. Тогда можешь сказать о своих подозрениях. Но, понимаешь, это такое дело серьезное, что без абсолютной уверенности лучше смолчать. Тут судьба человеческая решается в полном смысле слова.

— Я понимаю.

— Вот так-то, брат. Как настроение?

— Мерзкое. Поскорей бы отмаяться и... на фронт.

— Все о том мечтаем. Но придется потерпеть. Спрашивал я о твоем Погосте. Нет у нас с такой фамилией странной.

Теперь Борька целые дни болтался у барака, где встретил предполагаемого полицая, но тот не появлялся. И это настораживало. Значит, Борькин взгляд его смутил, испугал, и он боится теперь выходить, боится с Борькой столкнуться. Значит, действительно полицай, сука. Зашел Борька и в барак, прошелся между нар, но разве разглядишь — с верхних нар только ноги торчат, а залезать и рассматривать не станешь — и неудобно, и по морде схлопотать можно.

В общем, пока встретить этого типа Борьке не удавалось.. А жизнь в лагере шла, тянулись дни, один на другой похожие. Кормили нормально, но тоже однообразно. Из занятий — свою одежку в порядок приводить, да обувку. Кто работать за зону выходил, те приносили старые покрышки и из них мастерили себе — «поршни». Нитки и иголки как-то раздобывались, ножички тоже из железок делали, ну и кроили, шили, благо времени хоть отбавляй.

Борькины валенки тоже каши просили, да и весна уж. Так что пришлось эти самые «поршни» себе делать. Долго возился с непривычки, а некоторые так навострились, что за час себе пару стряпали и, конечно, пошел обмен — и на табачок, и на сахар, и на пайку.

Писать отсюда домой, как выяснилось, было нельзя, и Борька клял себя, что тянул с письмом, пока был на воле. Но и тут народ приспособился. Писали на клочочках бумаги свои адреса и несколько слов — жив, мол, здоров, но писать покамест не может, прокалывали дырки в карманах и, когда шли на работы, на той дороге, где ходили вольные, проталкивали эти бумажки через дырку, ну, они из брючины и выпадали. Авось, поднимет кто и отошлет.

Проделал это и Борька. Но, конечно, никто не знал и знать не мог, дойдут ли эти весточки до родных. Однако все же надеялись.

Вот здесь, на работе, а таскали они бревна с реки, произошла у Борьки еще одна встреча.

— Петька! — закричал Борька, обрадовавшись, как родному, и бросился к нему.

Петька обернулся на миг, глянул безразлично и отвернул голову, продолжая орудовать бугром.

— Не узнаешь, что ли? — подобрался к нему Борька вплотную.

— Узнаю,— ответил тот холодно, скользнув по Борьке прищуренным неприязненным взглядом, и опять отвернулся.

— Ты что, Петька? Не хочешь со мой говорить?

— Эх, врезал бы я тебе тогда, кабы под руку попался. Вообще-то можно и сейчас.— Он шагнул к Борьке, оглядевшись предварительно по сторонам, и влепил ему тяжелую, хлесткую пощечину.

— За что? — опешил Борька, но сдержал свою руку, которая по привычке уже напряглась для ответного удара.

— Из-за тебя, гада, нас чуть не перестреляли всех. Вот за что! Бежать всем надо было, но не тогда. А ты...

— Петька, я ж без разума убежал. Как увидел, что немец отвернулся, а дверь открыта, так меня какой-то черт понес... Я ж переживал потом за вас. Знаешь, как переживал...

— Переживал он... Тебе тут еще от других достанется. Почти все наши здесь. Так что приготовься пилюль получать.

— Ладно, бейте, черт с вами. Хоть всем хором. Я рад, что живы вы все...

— Не все. Двое погибли, когда охрану снимали.

— Значит, вы тоже?..

— Тоже, только с умом, не как ты.

— Ну, расскажи,— волновался Борька.

— Чего рассказывать... Неохота мне с тобой и говорить-то.

— Ладно, Петька, прости... Ты же знаешь, я сперва сделаю, потом подумаю.

— Пацан ты,— махнул Петька рукой.— Ну, слушай... Мы ведь не сразу рюхнулись, что тебя нет. Наверно, полчаса прошло. Позвал я тебя зачем-то — ни ответа, ни привета. Все ясно, подвел нас, сука! Но я, учти, тревогу не сразу стал бить. Раз, думаю, все тихо кругом, значит, не заметил никто... Короче говоря, я еще полчасика подождал. Дал тебе, курве, время подальше уйти, а потом уж застучал в дверь, завопил. Что тут было! Хорошо, этого фрица ты не до смерти придушил, а то бы всем хана. В общем, если бы не я, перестреляли бы немцы всех. Но ты меня знаешь, я из любого положения вывернуться сумею,— не преминул похвастаться Петька.

— Это да,— подтвердил Борька, чтоб умилостивить Петьку.— Ну, а дальше?

— Доказал я оберу, что вины нашей нет — под замком сидели, а как обнаружили, что одного нет, сами тревогу подняли. Разумно так разъяснил все, ну и... проехало... Курево есть?

Борька отсыпал, закурил и сам.

— В начале февраля наши к Бахмутову стали подходить, путевую точку фрицы свернули, через Волгу переправили, а куда дальше, неизвестно. Может, в лагерь какой? Решили мы рвать. Винтовочка, ты знаешь, у меня была в санях припрятана, три гранаты были, ну и на одном из привалов рванули. С боем! Понял? И в лес. Там наших и дождались.

— Ну, Петька, рад я, слов нету. Все время душу давило, как вы там, обошлось ли,— сказал Борька, вздохнув с облегчением.

— Рано еще радоваться. Я ж говорил тебе, что за этот плен проклятый достанется нам. Так и выходит. Сидим в тюрьме.

— Так это не тюрьма — проверка.

— Не тюрьма? Может, курорт?

— Ну, не курорт, конечно, но...

— Ладно, посмотрим.

Теперь Борьке жить как-то легче стало. Петька ему нравился, свой все-таки парень. Встретился Борька и с остальными ребятами, с которыми чистил дороги в Бахмутове, и не намяли они ему бока, как обещал Петька. Поворчали немного, поматерили от души, на этом и закончили...

Но вот пришло время — вызвали Борьку на допрос. Шел он довольно спокойно, хотя и не без холодка в груди. Он уже давно что мог вспомнил — и названия деревень, где останавливался, и какие хозяева на вид были, ну, а побег его второй мог подтвердить Петька и другие, благо они здесь. Но все же подсасывало что-то внутри, ведь как ни крути, а идет он туда вроде виноватый.

Следователь, по званию капитан, с лицом хмурым и усталым, принял вежливо — проходите, садитесь и все такое. Тут же рядовой сидел с самопиской в руке. Видать, записывать будет.

— Рассказывайте, но только подробно и не торопитесь,— сказал капитан, после обычных — фамилия, имя, отчество, звание, из какой части и тому подобное.

Борька набрал воздуху в легкие и начал... Говорил вроде складно, не сбивался. Когда до ржевского лагеря дошел, тут его следователь спросил:

— Здесь никого не встречали, кто с вами был?

Борька поколебался немного, а потом все же про полицая сказал. Следователь записал барак, у которого Борька того видел, приметы.

— Это мы проверим.

— Только я не могу сказать, что уверен совсем,— добавил Борька.

— Это неважно. Тут много людей оттуда. Подтвердят, если он действительно предатель. Продолжайте.

Досказал Борька до конца, как выхватил винтовку у примака, побежал навстречу своим, как, влившись в цепь, наступал вместе с нею на деревню.

— Хорошо. Теперь прочтите и распишитесь.

— Есть.— Борька пробежал глазами протокол, страниц шесть получилось, и расписался.— Что дальше, товарищ капитан?

— Будем проверять,— холодно ответил тот.— Идите.

Ну что ж, допрос прошел вроде нормально. Показалось Борьке, что следователь ему поверил, потому как не перебивал, не путал, не сбивал. Но все же они здесь другие, чем на фронте. Те попроще — и наорать могут, и матюком послать, но потом вдруг шутку какую отпустят, а эти на полном серьезе все, без суеты, без крику, но очень официально, и несет от этой официальности каким-то зловещим холодком. Подумал Борька, что виноватым никакой пощады от этих людей не будет, если заподозрят что, то своего добьются.

На другой день вызвали на допрос Змеева... А до этого, дня за три, пришел он из зоны в барак сам не свой, лицо почернело, глаза, как у мертвого, руки дрожат, даже цигарку не мог свернуть. Борька спрашивает, что с ним, а он в ответ ни слова. Забрался на нары, ворочался всю ночь, стонал... Какая-то заноза сидит у него, видно, в душе. Ну, и на допрос пошел, как на казнь...

— Не робей, Змеев. Нормально спрашивают,— решил подбодрить его Борька.

Но Змеев не ответил, только скользнул отрешенным взглядом и пошел.

Вернулся он нескоро. Допрашивали его дольше, чем Борьку. Прошел молча мимо всех к своей лежке на нарах и затих.

А Борька думал: ну что этот язва Змеев мог натворить? Сам всех лагерем и судом пугал, а как сюда прибыл, так и замолк. И не похоже, что полицаем был или немцам прислуживал. Переводчиком быть

не мог. Значит, тайна его в том, как в плен попал. Но долго на эту тему раздумывать Борьке не пришлось — вышел Змеев в зону, взял его под руку и повел от барака.

— Поговорить надо.

Отошли они в сторонку, и Змеев ему какую-то бумажку в руку сует.

— Тут адрес мой. Когда выйдешь, пошли письмецо... И просьба у меня к тебе такая: отпиши, что воевал со мной вместе и что видел, как я убитый был. При тебе, дескать, убило. Понял?

— Не понял. Ты живой пока.

— Покамест живой, но когда ты отсюда выйдешь, может...

— Ты чего, обалдел совсем?

— Нет, не обалдел, Борис. Плохи мои дела. Помнишь, я говорил, что маху дал насчет плена?

— Помню.

— Так вот, слушай. Пробивалось нас из окружения человек двенадцать, ночью в каком-то сарае заночевали, а на рассвете немцы нас там и обнаружили. Выбивать не стали — предложили сдаться, ну и жизнь сохранить обещали, и все такое... За командира у нас лейтенант молоденький, совсем щенок. Он нам заместо дела, как из этого положения выбраться, давай политбеседу качать — умрем, товарищи, но не сдадимся. А патронов по обойме на брата, у кого и меньше. Какой тут бой может быть — смертоубийство одно. Ну, пульнем по пять разочков, хорошо если хоть одного фрица порешим, а они нас за это перестреляют всех запросто, стены-то у сарая прогнившие, не укроют... Лейтенанту что? Он жизни не видал и понимать в ней ничего не понимает. А у меня семья, детки малые...— Змеев задумался, а об остальном Борьке догадаться нетрудно было, но ошибся он.

— Сдался?

— Да нет... Решили мы с одним выбраться как-то. На следующую ночь подкопали у стены ямку. Я пополз первый — путь разведать, ежели пройду, дам сигнал второму, а тот и других выведет. Не вышло — на фрицев наткнулся, тут же и взяли... А утром, сволочи, заставили меня уговаривать ребят, чтоб сдались. А чего сделаешь, фриц сзади уткнулся дулом винтовки в спину... Ребята матерят меня: гад, сука, падло, немцам продался... Отказалась братва оружие сложить, тогда немцы из пулеметов по сараю... Потом подожгли. Вот и получилось, что предателем я вроде оказался,— замолк Змеев, лоб платком вытер.

— На допросе так и рассказал?

— Нет, конечно. Я на другой случай напирал, когда с этапа драпанул.

— А почему другим про подкоп не сказал?

— Из-за лейтенанта... Тот больно умереть геройски хотел. Ну, и вообще такое дело лучше втихаря...

— А мне про это зачем сказал? — спросил Борька с недоумением.

— Теперь все равно... Понимаешь, спасся напарник мой, с кем подкоп делали... Углядел я его здесь. Видно, выполз следом за мной, ну и пока меня брали, сумел как-то уйти. Другого не придумаю,— опустил голову Змеев, задумался.— Меня-то здесь не приметил, но на допросе, как рассказывать будет, меня помянет, конечно.

— М-да, положеньице... Наверно, все же правду надо было тебе говорить.

— А кто поверит? Немцы же меня выставили как добровольно сдавшегося. Нету у меня выхода, Борис, нету... Ну, отпишешь, значит, как просил? Для деток прошу. Понял?

— Отпишу, конечно,— вздохнул Борька.

На третью ночь после этого разговора проснулся Борька, а Змеева рядом нет. Не откликнулся он и на утренней поверке. Только днем нашли его под нарами с петлей на шее. Привязал веревку к столбу, в него ногами уперся и так сам на себе петлю затянул. Страшно. Видать, крюка не нашел, да и где тут место для такого дела, когда народ кругом...

Весь день по этому поводу в зоне разговоры. Обсуждали, гадали, из-за чего жизни себя лишил этот Змеев... Борька, разумеется, никому ни гу-гу. Бумажку с адресом запрятал и ходил сам не свой. И жалко было Змеева, и что-то тут все же неясное было. Почему сообща не договорились, почему остальным не сказали?..

Дня два поговорили о ЧП, а затем стихли эти разговоры. И потекли дни, похожие один на другой. Неприветливый серый апрель уходил, в начале мая распогодилось, потеплело... Вечерами из городского сада доносились звуки духового оркестра — марши старинные, вальсы, а по ночам все слышались выстрелы из тира...

Поскольку народу в каждом бараке было много, то исчезновение одного, двух-трех не замечалось. Только соседи по нарам знали, что вот этот со второго допроса не возвратился, значит, направлен в отдельную камеру, где будет ожидать суда. А трибунал давал — знали ребята — либо десятку, либо расстрел.

Вечерняя музыка навевала грусть... Где-то в городском саду люди гуляли, слушали оркестр, танцевали, а они валялись в грязном бараке, отделенные от жизни колючей проволокой. И заползала в душу тоска — маетная, тягучая.

Борьке под эти вальсы и марши все чаще вспоминалась Ольга Андреевна, а Люба ушла куда-то далеко, словно и не было ее совсем в Борькиной жизни. И он мечтал после освобождения попасть опять на Калининский фронт, к Ржеву поближе, и, может, тогда удастся ему каким-либо образом оказаться в деревеньке, где живет Ольга Андреевна, и повидаться с ней... И тихими весенними вечерами, примостившись вдалеке от народа, переживал он снова и их встречу, и их расставание, а ее слова — «Ты мужественный мальчик, Боря...» — слышал как наяву...

И вот опять вызвали Борьку на допрос. Следователь спросил, сможет ли он узнать человека из ржевского лагеря, о котором говорил в прошлый раз? Борька ответил, что попробует. Повели его в другую комнату. Там сидело несколько человек на скамейке. Незнакомый Борьке майор приказал внимательно поглядеть на сидящих и показать на того, кто ему знаком. Борька сразу же показал на бывшего полицая.

— Врет он! Не видел я его никогда в жизни! Врет, гражданин начальник! — закричал тот перекосившимся ртом.

Но это искривленное, злое лицо не оставило уже никаких сомнений, и Борька с легким сердцем подписал протокол опознания.

По дороге к бараку к нему подошел очкастый, не то бухгалтер, не то учитель. После самоубийства Змеева он не раз подъезжал к Борьке с разговорами. Его, видно, больше других огорошило это ЧП, и он все расспрашивал Борьку, не знает ли он, из-за чего Змеев покончил с собой. А ночью, когда доносились выстрелы из тира, приподнимался с нар и шептал:

— Это все-таки ужасно... Ужасно. Не могу к этому привыкнуть. Всю жизнь у меня в ушах будут эти выстрелы.

— Тебе небось не доставалось от этих гадов, вот и переживаешь. А по мне, эти выстрелы слаще музыки. Получают сволочи свои законные девять граммов,— говорил кто-нибудь на это.

— Но ведь это же люди... Люди...

— Не люди они...— И рассказал Борька про полицая ржевского, как выбил он плеткой глаз у военнопленного.— Разве человек так сделает?

Очкарик поохал, посокрушался, до чего люди дошли... Вот и сейчас подошел он к Борьке:

— Ну, как?

— А меня не допрашивали. Для опознания одного полицая вызывали.

— Расстреляют теперь?

— Наверно. Что ж, чикаться с ним?

— Нет, это ужасно,— опять залепетал очкарик.

— Мало вы видели, наверное.

— Да, мне не пришлось сталкиваться с этими людьми. Я в лагере не был. Меня приютила женщина в глухой деревушке. Туда даже немцы ни разу не заходили. Повезло как-то... Но все равно эта война, которая свалилась нам, как снег на голову, самая жестокая, самая страшная изо всех войн, какие были на свете. И вообще я не понимаю, как люди могут убивать друг друга.

Борька посмотрел на растерянное, жалкое лицо этого человека и усмехнулся. Ему подумалось, что его короткий опыт оказался тяжелее и значительнее, чем у этого вроде бы пожившего человека, и что он, Борька, возможно, разбирается кое в чем лучше.

— А вам разве не приходилось... убивать? — спросил Борька, уже догадываясь об ответе.

— Нет, что вы! Упаси бог! Я писарем служил и даже не выстрелил ни разу. Мне очень повезло... А вам, Боря?..— задал он вопрос с замиранием в голосе.

— Приходилось,— бросил Борька с немного нарочитой небрежностью.

Очкастый уставился ему в глаза, будто стараясь прочесть в них что-то, губы его задрожали:

— Вы... такой еще мальчик и вроде гордитесь этим.

— Почему горжусь? Война же... Это мой долг.

— Но вы понимаете, что есть вечные нравственные законы...

— Десять заповедей? — перебил Борька.

— Нет, не десять заповедей. Просто вечные человеческие законы. Жизнь — священна. А война — безумие.

— Жаль, не встречали вы немцев, им бы это и объяснили,— усмехнулся Борька.

— Да, я знаю, я понимаю... Они напали, и нам надо защищаться. Это все, безусловно, так. Я понимаю это умом, но моя душа не приемлет массового убийства людей...

Борьке казались нелепыми беспомощные рассуждения очкастого. Конечно, убивать людей страшно. Очень страшно. Но когда тебя убивают, тоже страшно. Так чтоб не убили тебя, должен убить ты. Эта мысль была ясна, бесспорна и крепка, как скала. Он и высказал ее.

— Да, да, конечно,— пробормотал тот и пошел от Борьки, нелепо, не в такт шагам размахивая руками.

Сидел Борька на завалинке, покуривал, когда мимо него прошел пожилой, сильно хромающий человек с палкой, а с ним командир, с которым он познакомился и беседовал про полицая. Они громко разговаривали. Слова хромого Борька услышал:

— Чем больше думаю, Вадим, тем больше прихожу к убеждению, что проверочный лагерь, увы,— государственная необходимость. Как нам ни тяжело здесь морально, но другого выхода у государства нет.

Допустить эту массу людей на фронт без проверки — преступление перед Родиной и армией.

Вадим на это усмехнулся и приостановился цигарку скрутить. Пока кресалом огонь выбивал, Борьку заметил.

— Давайте, товарищ подполковник, спросим, что по этому поводу рядовой думает. Подойдите-ка сюда, товарищ... Слышал, что подполковник говорил?

— Слышал,— ответил Борька, подходя к ним.

— Ну, и что скажешь?

— Я? — Борька задумался.— Я думаю, что проверка, наверно, нужна, но зачем обязательно лагеря... Как-нибудь по-другому надо было придумать.

— Как же, по-вашему? — спросил подполковник.

— Не знаю... может, собрать нас в роты и... в бой, самый настоящий бой. Там бы все выяснилось...

— Понимаю, штрафные роты? Такие подразделения, кстати, были во всех армиях, но у нас, слава богу, их нет... А что если эта рота вся к немцам перейдет?

— Не может этого быть,— твердо сказал Борька.

— Да, это маловероятно,— подтвердил Вадим.

— Ну, знаете, это напоминает доказательство чеховского ученого соседа: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это риск. Государство не может идти на него, тем более сейчас, когда немцы пока превосходят нас в технике. Нет, товарищи, это государственная необходимость. Это надо понять. И не хныкать, что мы находимся здесь. Да, да, понять,— еще раз повторил подполковник и заковылял от них.

— Как жизнь? — спросил Вадим Борьку.

— Какая жизнь? — Борька махнул рукой.— Вас, выходит, Вадимом зовут?

— Вадимом. Только без «вы», Борис. Знаков отличия на мне нет, а возрастом я, может, чуть старше тебя.

— Мне девятнадцать.

— Ну, а мне двадцать три. Так что давай без субординации. Убедил тебя подполковник?

— Как тебе сказать... Не очень.

— Меня тоже. Проверка нужна, слов нет, но... уж эта больно противная.

— Вадим, ты тоже в немецком лагере был?

— Бог миловал... Я из Белоруссии пробивался... Долго рассказывать. Вообще-то здесь нас, наверно, около трех тысяч, и у каждого своя история, представляешь? Правда, не очень-то ребятки рассказывают.

— Я это заметил. А почему это?

— В справедливость не верим. Потому — и друг другу тоже.

Борька обдумал сказанное — наверно, действительно так, не очень-то верят люди, что с ними как должно поступят, вот и нервничают. Потом перекинулись его мысли на полицая, и он спросил:

— А как люди из ржевского лагеря сюда угодили? И полицай этот? Ржев-то не освобожден еще...

— Беглец, наверно...

— Что ж, и полицай оттуда убежал?

— Боялся, наверное, что наши придут, тогда — расстрел верный.

Борька пожал плечами... Поговорили они еще о том, о сем, искурили по цигарке и разошлись.

Стал ожидать Борька очередного допроса, как говорили, последнего. После него отправляли материалы в Москву, и уже там дело решалось. Случалось, что и раньше, чем через три месяца, освобождали и на фронт отправляли. Хорошо бы пораньше, подумал Борька, а потом усмехнулся: ну, чего, собственно говоря, все так рвутся отсюда? Свобода? Какая их ждет свобода? В армии человек тоже себе не принадлежит. И ждет их не просто армия, а фронт, война, смерть, ранения... А здесь — полная безопасность, работа — не бей лежачего, кормежка нормальная, только проволока вокруг колючая, но зато ни обстрелов, ни мин, ни снайперов немецких. И все-таки нет, наверное, ни одного, кто отсюда не мечтает поскорей вырваться, поскорей получить свои документы, звездочку на пилотку, да в вагон воинского эшелона, чтобы полноправным бойцом Красной Армии ехать на войну...

На допрос пошел Борька спокойно, но там понервничал, потому как проходил этот допрос совсем по-другому. Начал его следователь сбивать:

— В первый раз вы говорили иначе,— обрывал он Борьку.

— Как иначе? То же самое.

— Нет, другое. В какой деревне вы ночевали тогда-то?

Борька называл деревню, а следователь брал протокол и раздраженно бросал:

— Здесь записана другая деревня. Когда вы врете — сейчас или тогда?

Борька волновался, злился, но вскоре понял, что для следователя это единственный способ уяснить истину: если человек врал один раз, то точно так же соврать дважды трудно, чего-то не запомнишь, упустишь. И вообще-то проверить рассказы бывших пленных, разумеется, невозможно, поэтому работал следователь больше на интуиции, на психологии, ну и, конечно, ухватывался за неточности. Понял это Борька и поспокойнел. Сбиваться ему нечего — все истинная правда.

Мог Борька и свидетелей побега его из Бахмутова назвать — Петьку и остальных, но Петька почему-то просил о нем не поминать, уж если только в крайнем случае. Ушлый он парень и мозгами не обижен. Но, наверно, его все же точит червячок, как-никак прислуживал немцам, в доверии у них был. Борька и не стал его называть, тем более следователь на этот случай не напирал, видно, верил.

В общем, конец допроса был спокойный. Расписался Борька на втором протоколе и вышел в зону. Закурил и направился неспешно к своему бараку. Волноваться вроде нечего, надо теперь набраться терпения и ждать.

Тут Борьку обогнали двое. О чем-то они говорили, и голос одного показался очень знакомым. Борька прибавил шагу, стараясь вспомнить, где же слыхал он этот голос, но не вспомнил. Надо обогнать их да посмотреть, но как-то вроде неловко. Однако желание узнать, кто же это такой, превозмогло неловкость, и он, обогнав их, обернулся как бы невзначай и глянул в лицо тому, чей голос показался знакомым. Глянул и... глазам не поверил. Неужто он? Да быть этого не может! Ошибся, наверно... Надо бы еще взглянуть разок, но как?

Борька ушел вперед шагов за двадцать, остановился и начал цигарку крутить... Когда те двое поравнялись с ним, попросил он огоньку и протянул свернутую уже самокрутку. Тот, кто знакомым Борьке показался, достал из кармана «катюшу» и стал огонь высекать, а второй, бросив: «Ну, пока, увидимся еще...» — пошел дальше.

Когда Борька прикурил от «катюши», он уже не сомневался, что перед ним тот человек, с каким встречался два раза при обстоятельствах чрезвычайных. И он спросил:

— По-моему, мы где-то встречались?

— Возможно, но я вас не помню,— спокойно ответил тот.

— Вам запомнить трудно, через ваши руки, наверно, много народа прошло.

Тот вздрогнул и поглядел внимательно на Борьку.

— Не понимаю...— с трудом произнес он.

— Вы допрашивали меня в конце декабря, когда я в плен угодил... я еще в маскхалате был, в валенках. Все это при вас с меня немцы сдрючили... Допрашивали, кстати, нормально. Вежливо. И вранье мое без внимания оставили.

— Я не мог этого делать, я никогда не был переводчиком,— усмехнувшись, так же спокойно ответил он, но все же полез в карман за кисетом и начал медленно крутить цигарку.

— Разрешите.— Он протянул свою цигарку к Борькиной.— Нет, вы спутали меня с кем-то. Я первый раз вас вижу. Спасибо,— сказал он, прикурив.

— Я видел вас и... еще раз.

— Где же? — не смог удержать беспокойства в голосе бывший переводчик.

Борька ответил не сразу... Он же заговорил не для того, чтобы разоблачить этого человека, а чтоб узнать об Ольге Андреевне. Как она там, жива ли, здорова?.. А спросить не решался, боясь плохого ответа. Вдруг случилось что с ней?

— Вы знаете что-нибудь об Ольге Андреевне?

Переводчик отпрянул от Борьки, лицо передернулось, но вскоре он взял себя в руки и очень тихо спросил:

— Значит, это вы... вы были у нее тогда?

— Да. Это было на второй день Нового года... Я проснулся от вашего разговора, узнал ваш голос, а потом, когда вы уехали, убедился, что это вы, глянув в окно и увидев вашу венгерку... Я ждал вас в комнате с топором в руках...

— Ну, топор не помог бы вам... Вы понимаете, что я мог застрелить вас?

— Могли. Запросто.

— Вы слышали наш разговор с Олей?

— Не все...Не до того было.

— Понимаю... Давайте еще закурим,— протянул он кисет.

Борька осознавал, что взять сейчас у него табак — это значит пойти на сближение, но, немного поколебавшись, отсыпал на закурку.

Переводчик молчал и, пристально глядя на Борьку, о чем-то раздумывал.

— Ну, и что вы намереваетесь делать? — выдавил он наконец, не отводя от него взгляда.

— Пока... не знаю.

— Что ж, и на этом спасибо...

— Вы не ответили, что с Ольгой Андреевной?

— Все хорошо пока... Я ждал наших у нее.

— Значит, деревня та освобождена!

— Да,— кивнул он.

— И вы... вы ушли от немцев?

— Я собирался это сделать давно... Я говорил об этом в ту ночь. Вы же слышали.

— Я не все слышал,— повторил Борька.

— Оля вспоминала вас. Беспокоилась, удалось ли вам добраться до своих...

— Я попался около Бахмутова... Потом сбежал оттуда. Наших встретил у Молодого Туда...

— Кажется, вас Борисом зовут?

— Да.

— Ну что же, Борис, давайте кончать... Что вы решили? — напряженно спросил он.

Прервал их подошедший хромой подполковник. Узнав Борьку, он хлопнул его по плечу.

— Вы поняли, товарищ красноармеец, что наше нахождение здесь — государственная необходимость? — У него был странный вид, глаза лихорадочно блестели, руки дрожали.

— Вроде бы понял, товарищ подполковник,— ответил Борька, поразившись его видом.

— Надо не «вроде бы», надо понять по-настоящему. И разъяснять всем, всем... Вот так! — закончил он и, сильно хромая, пошел от них.

Не чокнулся ли он, мимоходом подумал Борька, увидев, как, подойдя к группе командиров, начал он выступать и там, возбужденно жестикулируя.

— Так что же вы решили? — глухо повторил переводчик, в упор глядя на Борьку.

Борька ничего не решил, да и не мог он так сразу, с ходу, а потому долго не отвечал.

— Наверно, вы должны рассказать все о себе,— пробормотал он, ощущая неудобство оттого, что он, мальчишка, обрел власть над человеком много старше себя, к тому же мужем женщины, которая спасла его, Борьку.

— Разумеется.— Сказал он с некоторым облегчением, как показалось Борьке.— Но вы должны поверить мне.— Он сделал упор на «вы».

— Ну, это как выйдет...

— Вспомните, я не предал вас тогда у Оли.

— А может, это оплошка?

— В моем тогдашнем положении я не имел права на оплошность,— усмехнулся он.

— Не хотели при жене?

— Я мог сделать так, чтоб вас взяли не в доме, а по дороге. Это вас убеждает?

— Более или менее... Как вы попали сюда?

— Как и все... И так же, как и все, хочу поскорее на фронт и драться с немцами.

— Как вы стали у них переводчиком?

— Об этом в двух словах не расскажешь... Знаете ли, Борис, мне нелегко дался разговор с вами, я устал. Давайте встретимся завтра. И все расскажу вам. Все, все.

Заметив Борькины колебания, он добавил:

— Не бойтесь, я не исчезну. Моя фамилия Базанов, звать Дмитрием. Нахожусь я в пятом бараке. Даю слово, что приду на это место завтра. Давайте в это же время. Ну, как?

— Хорошо,— согласился Борька.

Они разошлись. А Борька долго бродил по зоне, вспоминая, как встречали с Ольгой Андреевной Новый год, как удивился он, что на столе у нее оказались немецкие консервы и бутылка немецкого вина... Вспомнил, как рассеянна она была, печальна и все время прислушивалась, словно ждала кого-то... Борька постеснялся тогда спросить, откуда у нее немецкие яства. она же приютила его, найдя в баньке, где спрятался он, полузамерзший, на ночь. Нашла, предупредила, что немцы в деревне, что уходить ему надо отсюда, и пригласила к себе, только вот немцы уйдут, приехали-то они пограбить... И вот два дня отлеживался он у нее, в тепле и сытости, сил набирался, и за эти дни, кроме благодарности огромной к этой женщине, появилось в нем и другое, томящее, заставляющее сердце его биться при ее появлении...

Той ночью она подошла к его постели, погладила по голове, будто маленького, и тихо произнесла: «Ты мужественный мальчик, Бо-

ря...».И пахнуло на него горьковатыми, незнакомыми духами, запах которых запомнил он навсегда...

А потом вспомнилось их расставание, когда покидал он ее дом на другой день после появления этого Базанова, ее прощальный поцелуй, после которого он и ушел опять в неизвестность, не думая, не гадая, что в тот же день, устав топать по снежной целине и выйдя на дорогу, прозевает он вылетевшие из-за поворота сани с немцами и снова угодит в плен...

На другой день, когда Борька прибыл на место, Базанов уже ждал его. Они поздоровались. Борька боялся, что протянет тот руку,— и что тогда делать? Но Базанов пригласил Борьку пройти за барак, где они и присели на поленнице дров.

— Так вот, слушайте... Мы с Олей — учителя. За два года до войны нас направили работать в одно большое село,— начал он.— В первые же дни войны меня мобилизовали. Я воевал. И вроде неплохо. Говорю, не хвастаясь. Но... сами же знаете, что такое первые месяцы войны. Отступления, окружения... Наша часть тоже выбивалась из окружения и таяла не по дням, а по часам... Пробиваясь на восток, я оказался недалеко от дома и, конечно, не мог не зайти к жене. Хотел лишь узнать, как она, ну и передохнуть хотя бы денька два. Но пришли немцы, выбраться из села не удалось. Кто-то сказал, что я преподаватель немецкого языка, ну и немцы забрали меня в переводчики. Либо — лагерь военнопленных. Но не лагерь меня испугал, из лагеря убежать какой-то шанс есть. Меня устрашило то, что Оля остается у немцев. Оберст, который говорил со мной, недвусмысленно намекнул: если я откажусь, то он не гарантирует безопасность моей жене. Понимаете?

— Понимаю.

— Короче, выхода не было. Так думалось тогда, так думаю и теперь... В дальнейшем я перевез Олю в ту глухую деревеньку, где не было немцев, где о нас никто не знал... Но все равно она была заложницей, немцы без труда разыскали бы ее, если бы я решился уйти от них. Я смог сделать это, когда узнал, что деревню, где она находится, освободили наши. Вот и все...

Борька прижег потухшую цигарку и жадно затянулся... Поверить ли тому, что рассказал Базанов? Это — первое, наверно, что надо Борьке решить. Он задумался...

— Кстати, сегодня ночью я вспомнил нашу первую встречу. Вы показались мне таким мальчишкой с совсем детским лицом. Сейчас вы другой, даже седая прядь... Много пережили?

— Да...

— Вы поверили мне? Это же главное.

— Да, главное... Наверно, поверил,— сказал Борька, но тут же подумал: а имеет ли он право верить?

Он посмотрел на сидящего рядом человека, совсем для него чужого, но связанного с женщиной, которая спасла его, о которой вспоминает с нежностью и грустью, человека, который пощадил его той посленовогодней ночью... Тот сидел, сплетя руки у колен, и казался спокойным, если бы не маета в глазах.

— Так «наверно» или поверили?

— Мне надо подумать...

— Ладно, думайте. И решайте поскорее,— отрывисто сказал он и поднялся.— Не тяните. Если надумаете заявить — предупредите. Я не хочу проходить эти... процедуры...— И пошел от Борьки.

Борька остался сидеть... Он понял, разумеется, что подразумевал Базанов под словом «процедуры» и что значит «не хочу проходить». Совсем недавно снимал Борька петлю с остывшего уже тела Змеева. Наверно, впервые в жизни свалилось на него такое. И надо решать

самому, никому же об этом не расскажешь. А если и расскажешь, то вряд ли кто поймет...

Со школьных лет ненавидел Борька фискалов и ябедников, лупил их почем зря. Но здесь же другое. Тут же вроде выполнения гражданского долга — заявить о человеке, служившем немцам. Это не донос, не предательство. Но даже после опознания полицая осадок неприятный на душе остался. Базанов же не полицай. Согласился служить переводчиком, но не добровольно, заставили, ну и Ольга Андреевна, жена, оставалась как бы в заложницах у немцев. Попробовал представить: а как сам бы в таких обстоятельствах поступил? Может быть, так же? Но все это, если Базанов рассказал правду, а если нет? Какие основания у Борьки верить ему? Ну, а не верить какие?

Докурив цигарку, побрел он в барак, мысли все вразброд... Вот, к примеру, Петька. Тоже не ангел, прикобыливал немцам, выжить хотел. К нему тоже можно предъявить счетик, но парень-то свой, не только о себе думал, ушел с боем от немцев... Ребята до сих пор ему в рот смотрят, за командира вроде считают... Может, с Петькой посоветоваться? Нет, нельзя. О таком ни с кем нельзя! Самому надо решать, только самому...

Пухнет у Борьки голова. А решить надо к завтрашнему дню. Представляет он, каково сейчас Базанову этому. Вопрос жизни и смерти решается. И в Борькиных руках это. Но если откинуть все личное: и Ольгу Андреевну, и то, что не застрелил его Базанов, не предал немцам, если отбросить все это, оставив лишь одно: ты вот, боец Красной Армии, советский гражданин, знаешь, что этот человек служил у немцев переводчиком. И что ты обязан сделать? Разумеется, доложить. А там пусть другие решают, виноват он или нет. Твоя совесть чиста, долг свой ты исполнил. Никто за это не осудит. Наоборот даже, может, благодарность вынесут. И все, как говорится, дела. И нечего себе голову дурить. Ну, а как ты после этого себя чувствовать будешь, никого, кроме тебя, не касается. А чувствовать будешь плохо. Это Борька знал. И пухнет Борькина голова, пухнет. И до того напухла, что стал сожалеть Борька, что подошел к переводчику. Прежде подумать надо было. Но он всегда так, сперва сделает... Теперь же нету времени на размышления, ждет человек. Может, веревку где-то разыскивает и крюк подходящий глазами нашаривает...

Залез Борька на нары, закрыл глаза, и вспомнилась опять та ночь, когда услышал он голос Базанова, когда ждал, что тот вот-вот войдет в комнату и начнет стрелять, и что пережил Борька в эти минуты, что перечувствовал... Что ни говори, а жизнью-то все-таки этому человеку он обязан...

Вскоре пришли с работ Юрка-моряк со своим корешем, прилегли рядом, стали разговаривать.

— Ты вот спрашивал, как я тельняшку сохранил? — начал Юрий.— Как ни странно, а надоумил меня сказать немцам, что я моряк торгового флота, переводчик, который допрашивал меня. Оказался он немцем с Поволжья. Кстати, он и убедил фрицев, что не беглый я, а из окружения пробивающийся. Иначе каюк бы мне был. Беглых немцы, как правило, расстреливали.

Встрепенулся Борька, приподнялся, и вырвался у него почти непроизвольно вопрос:

— А что бы ты, Юрка, сделал, если б встретил этого переводчика здесь? Продал бы его?

Юрий поглядел на Борьку странновато и процедил:

— Здорово ты обо мне думаешь.

— Ну, продал, не то слово я сказал... Заявил бы о нем?

— Повторяю, здорово ты обо мне думаешь.

— Я не понял, Юрий...

— Не понял? Тогда слушай: я никогда и никого не продавал, нет и не было этого на флоте. Тем более человека, который мне хорошее сделал. Теперь дошло?

— Дошло...

— То-то... Если не понял, можешь кореша моего спросить. То же тебе ответит.

— Слово в слово,— подтвердил, ухмыляясь, Юркин товарищ.— На флоте такого быть не может.

На следующий день болтался Борька по зоне, мерил шагами знакомое, исхоженное уж не раз пространство — от одной угловой вышки до другой... Подходил то к одной группке ребят, то к другой, прислушивался к разговорам, кто какие мыслишки высказывает, словно надеялся, что вдруг услышит такое, что поможет ему найти какое-то решение. Но болтала братва больше о пустяках... Увидел и Вадима, сидел тот возле барака с кем-то, покуривали. Направился Борька к нему.

— Вы уверены, когда слышите по ночам выстрелы в тире, что всех за дело шлепают? — услышал Борька слова Вадима.

— Не очень,— ответил сидящий рядом немолодой командир с интеллигентным лицом.

— А я совсем не уверен.

— Почему, Вадим? — спросил Борька, подойдя к ним.

Вадим поднял голову, улыбнулся Борьке, пожилой почему-то с неудовольствием поглядел и поднялся.

— Пойду я, Вадим Николаевич, потом договорим...

Вадим посмотрел ему вслед и пожал плечами.

— Видишь, осторожничаем, Борис. Ушел от греха подальше... Почему, спрашиваешь? Ты что, на облаке жил?

— При чем тут «на облаке»? — не понял Борька.

— А при том. Разве не видел, что людей у нас и до войны не больно жалели. А в войну и совсем не до того... Думаешь, так уж тщательно разбираются здесь наши дела? Вряд ли... Для нас проще десяток, а то и сотню невинных шлепнуть, чем одного виновного пропустить. Понял, брат?

— Не совсем, Вадим.

— Ладно, не время и не место тебя просвещать. Да и ни к чему. Главное для нас ясно — немец напал, Расея-матушка в беде, надо воевать и победить. Так ведь? — улыбнулся Вадим и хлопнул Борьку по плечу.

— Так,— улыбнулся и Борька.

— Ну, а ежели живыми после войны останемся, будет время нам обо всем подумать...

Ровно через полтора месяца после этого дня, двадцать седьмого июня сорок второго года, Борька, а с ним еще пять человек вышли из ворот проверочного лагеря. Вышли без охраны, даже без сопровождающего, вышли с бумагами на руках, в которых черным по белому написано было, что такие-то вот направляются в Грязовецкий горвоенкомат для прохождения дальнейшей службы в рядах Красной Армии.

Они были обалдело счастливые, сбились вместе, что-то кричали, смеялись, обнимали друг друга, хлопали по спинам, а кое-кто даже лез целоваться... Тут же сбросили с ног надоевшие «поршни» — унизительная лагерная обувка,— грязные, пропотевшие, полуистлевшие тряпки, служившие портянками, и босиком, поднимая горячую пыль на высохшей за последние жаркие дни дороге, они зашагали к городу — свободные, полноправные граждане страны, не думая совсем о том, что ждет их впереди не дом, не родные и близкие, а война. Но

они не страшились будущего и топали по нагретой солнцем земле, забыв как-то сразу об обиде, которую им нанесли, заставив пройти через этот оставленный теперь позади лагерь, где, даже не имея никакой вины, чувствовали себя вроде виноватыми.

Борька приотстал немного, остановился, чтобы бросить последний взгляд на вышки, на бараки, на колючую проволоку, за которой оставались еще тысячи людей, исступленно ждущих обжигающего мига освобождения, наступившего сейчас для него, и подумал: а была бы радость свободы такой полной, такой удивительной, проникающей во все клеточки тела, если бы... если бы прозвучал в тире тот выстрел, виновником которого, хоть и косвенным, стал бы он, Борька?..

А сейчас он уже приготовил слова для письма Ольге Андреевне, которое пошлет сегодня одновременно с письмом в Москву, матери. Он, конечно, не знал, что уже получила она и «похоронку» на него, и короткую писульку, брошенную им здесь на дороге, подобранную сердобольными людьми и посланную ими в Москву...

Москва, 1978 год.

Глеб Горбовский

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Крестьянские дети

Так повелось на свете,
впиталось с молоком:
«здоровкаются» дети
с прохожим чужаком.

Пострел обронит слово,
в глазах притушит свет,
и весь замрет сурово:
ждет на привет — ответ.

Весь в цыпках-царапушках,
озяб, наверняка;
тесна его избушка,
улыбка — широка!

И хочется, и нужно
за тот привет — не жаль! —
отдать ему всю душу,
взять — всю его печаль...

1987

В пути

Душа болит или болеет?
Рассвет наступит или нет?
Покуда ждешь — нутро истлеет,
Ночь неподвижна, как предмет.

Но вот дрожащий, будто жилка,
Трепещет свет в чужом окне.
Там — человек. Пред ним — бутылка.
Лицо, как фото на стене.

Стучу в окно. Лицо неподвижно.
Стучу сильнее — хоть бы хны.
Сквозь стенку радио чуть слышно
Хрипит о чем-то со стены.

Иду к порогу. Двери — настежь.
Зайти, проведать молодца?
А что сказать, помимо «здрасьте»?
А вдруг нарвусь на мертвеца?

Корова дышит, овцы блеют.
Дворовый пес молчит в ответ.
Душа болит или... болеет?
Рассвет наступит или нет?
...Пойду стучаться в сельсовет.

Старость

Смиренно-согбенна спина,
во взгляде — ни тени коварства...
И, если уж детство — страна,
то старость — само государство.

Завалинка, лавка, скамья,
шершавый пристенок проспекта...
У старости сфера своя,
свое неформальное гетто.

Забытое царство теней,
свои уложенья и гимны.
Зачем автономия ей,
когда она сердцу противна?

...Со временем выстроят дом,
светлей и вместительней прочих,
и спрячут хозяйственно в нем
мильоны ничьих одиночеств.

И улица будет чиста,
и лавочка станет порожней...
И в юных глазах — пустота...
еще холодней и роскошней.

1988

Восвояси

Среди отчужденья и мрака,
ночных кирпичей и желез
последняя в мире собака
уходит из города в лес.

Рожденная слепо и скоро,
но мудро, а, значит, всерьез,
от нищенки тощей и вора,
что приняли смерть от колес;

глаза ее грустью повиты,
мерцают сквозь шерсти бурьян.
Но сердце не знает обиды
за весь обретенный обман.

Захлопнуты двери парадных,
зашторены окна... и прочь
уходит собака — обратно,
к сородичам — в темную ночь.

Туда, где, весенняя, гулко
сквозь рощу грохочет вода.
Но прежде — в последнем проулке —
она постоит у куста.

И взгляд устремляя свой хрупкий
в термитно-бетонную тьму,
кому-то помашет обрубком...
Вот только неясно — кому?

1988

Мираж

Случалось вам,
блуждая в глухомани,
в безлюдьи севера, одетого в тайгу,
в просвете меж стволов,
как будто на экране,
увидеть мертвый город на снегу?
Не терема, не шпили колоколен,
не гряды стен вокруг монастыря,—
советский Китеж,
призрак поневоле,
без сердца возведенный,
то есть — зря?
Лучатся трубы в инее шершавом,
ржавеют башни, стынут корпуса.
И — никого-о... на улицах державных,—
ни топа ног,
ни скрипа колеса.
И ты стоишь,
как гость инопланетный,
крича без отклика: Всевышний, оживи!
И плакать надобно,
но плакать безответно
не можешь ты,
как верить без любви.

1988

★

Наступит срок,
и всяк себя покинет,
как комнату,
где дух жилой исчез,
чтоб вновь возникнуть
где-нибудь в Пекине
лет через сто
на улице Чудес.
Чередованье вещего
с насущным,
проникновенье в тайну,
как во мрак.
И вновь — на свет!

В компанию живущих,
в какой-нибудь вигвам
или барак.
Спасительная смена
тьмы и света,
перемещенье в некие края,
дабы однажды
тихо выпасть где-то
сухим цветком
из Книги Бытия.

1988

Фазиль Искандер

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА*

Дядя Сандро и его любимец

С Тенгизом я познакомился в доме дяди Сандро во время скромного пиршества, устроенного по случаю благополучного выздоровления хозяина дома, который, по его словам, уже одной ногой был там, но вторая оказалась покрепче, и он удержался на этом берегу.

Во время одного довольно незначительного застолья, что было особенно обидно, дядя Сандро почувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться. Но он не растерялся. Он ударил себя кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя не так охотно, как прежде.

И после этого оно всю ночь время от времени норовило останавливаться, как тяжело навьюченный ослик на горной тропе, но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по груди заставлял его двигаться дальше.

Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за столом до утра.

Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с хозяевами и пошел домой. Говорят, он упал, открывая калитку собственного дома. Кто-то из соседей увидел распростертого дядю Сандро (поза неслыханная для великого тамады), поднялся переполох, собрались люди и его внесли в дом.

Весть о случившемся через полчаса облетела жителей этого пригородного поселка и распространилась по городу. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все предлагали свои услуги, а безутешный Тенгиз привез к нему тайное светило закрытой поликлиники, именуемой в наших краях лечкомиссией.

Позже Тенгиз рассказывал, что ему пришлось минут пятнадцать шелестеть двумя новенькими двадцатипятирублевками, положив их между ладоней, прежде чем двери закрытой поликлиники осторожно отворились и оттуда высунулась голова знаменитого доктора, которого Тенгиз, надо полагать, продолжая шелестеть, и привез к дяде Сандро.

Через несколько часов после падения дядя Сандро пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо тайного светила.

— Не обижайся, не узнаю,— оказывается, сказал дядя Сандро, довольно долго вглядываясь в него уже видавшими тот свет глазами. Обрадовались близкие разумности его слов и правильности догадки.

— Где ж тебе его узнать,— отозвался Тенгиз,— под фатой содержим, как невесту.

Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жизни. Он сразу же счел своим долгом объяснить окружающим, что упал не от-

---

* Окончание. Начало см. «Знамя» № 9 за 1988 год.

того, что был пьян, а оттого, что споткнулся о корень, высовывавшийся из-под земли у входа в его калитку.

— Ну, если дело в нем, я его сейчас вырублю,— сказал Тенгиз и вышел из комнаты. Он вытащил из кухни топор, спустился к калитке и вскоре возвратился с корявым куском корня, похожим на отрубленную лапу дракона.

В последующие дни этот корень, слегка обструганный и вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в руках и показывал навещающим его лицам как вещественное доказательство его падения под воздействием внешних сил, а не алкогольных паров.

Когда через два дня я его навестил, он лежал в кровати, держал в высунутых из-под одеяла руках этот узловатый, загнутый кусок корня величиной с хороший бумеранг.

Дядя Сандро молча указал им на стул и, когда я сел у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Кати, повторил версию своего падения, добавив, что ночью был ливень, и корень сильно подмыло. Дав мне его понюхать, он вдруг спросил с хитроватой улыбкой, не попахивает ли корень шелковицей.

— Вроде,— сказал я,— а что?

— А ты пораскинь умом,— сказал он, отбирая у меня корень и внюхиваясь в него.

— Опять за свои глупости,— отозвалась тетя Катя и, сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, стала капать ему в рюмку, губами считая капли.

— У меня на участке нет шелковицы,— сказал он, лукаво поглядывая на меня с подушки,— ближайшая — через дорогу у соседа... Соображаешь?

— Нет,— сказал я,— а что?

— Там абхазский эндурец живет,— проговорил дядя Сандро и кивнул с подушки в том смысле, что не все может сказать в присутствии жены.

Я рассмеялся.

— Совсем с ума сошел старый пьяница,— заметила тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счету и не переплеснуть капавшее лекарство. Она подошла к нему и осторожно подала рюмку.

— Ишь ты, первача нацедила,— сказал дядя Сандро и, привстав с подушки, взял рюмку, сморщился, проглотил, еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдохнул: — Если кто меня убьет, то это она... А ты напрасно смеялся, доживем до весны, увидим...

— Почему весной? — не понял я.

— Увидим, как дерево начнет усыхать,— приподняв корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом месте другой,— дерево, потерявшее такой корень, не может не высохнуть, хотя бы наполовину... Тут-то вы, ротозеи, поймете, что они повсюду корни протянули...

Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятного случая, а главное, стараясь отвести многолетние попытки тети Кати разлучить его с любимой общественной должностью, придал этому корню смысл мистического страшилища (подобно тому, как нас когда-то пугали колорадским жуком).

— В следующее воскресенье приходи,— сказал он мне на прощанье,— люди хотят отметить мое выздоровление.

— Клянусь богом, я пальцем не пошевельну ради этой бесстыжей затеи,— сказала тетя Катя, скорбно замершая на стуле у его ног. Она это сказала, не меняя позы.

— А ты можешь и не шевелиться — люди все сделают,— сказал дядя Сандро и, сам шевельнувшись под одеялом, принял более удобное положение и понюхал корень, словно через этот запах прослеживал за степенью опасности вражеских козней.

В воскресенье на закате теплого осеннего дня я снова поднимался к дому дяди Сандро. След вырубленного корня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. Куда ведет оставшаяся часть корня, трудно было понять, потому что корень пролегал вдоль забора и с обеих сторон уходил в глубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно было бы проследить, куда он ведет, но пока никто не догадался это сделать.

Еще внизу на тропинке я услышал сдержанный гомон голосов — гости были в сборе. Я поднялся.

Перед домом возвышался шатер из плащ-палатки для проведения в нем праздничного пиршества.

У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый старик Махаз, который когда-то поручил мне передать брату жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, стоял старый охотник Тендел, все еще глядевший пронзительными ястребиными глазами.

Махаз меня сразу узнал и, пожимая руку, поблагодарил, что я не отказался прийти и отметить это радостное событие.

— И ты в свое время потрудился на него,— сказал он, напоминая про жбан с медом, в целости доставленный адресату,— и ты сделал, что мог, как и все мы,— продолжал он, присоединяя меня к людям, которые честно исполнили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя Сандро превратился в символ воинского или еще какого-нибудь общепринятого долга.

— Не узнал, не взыщи! — крикнул мне Тендел, сверля меня своими ястребиными глазками.

Махаз объяснил ему мое чегемское происхождение и дал знать, что я здесь в городе при должности, из Присматривающих.

— Небось деньгами подтираешься! — крикнул он, радостно сверля меня своими желтыми ястребиными глазами.

Я засмеялся.

— Подтираешься,— повторил он уверенно и неожиданно добавил,— а вот то, что вы Большеусого свержили, это вы неплохо придумали.

Я пожал плечами, чувствуя, как трудно ему объяснить неимоверность расстояния между мной и теми, кто его в самом деле свергнул.

...Перед домом, чуть далее шатра, был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец.

В нескольких шагах от него молодой парень, видимо, один из соседей, точил на точильном камне большой охотничий нож. Время от времени парень пробовал его, подымая рукав рубахи и сбривая с руки волосы. Бычок угрюмо косился на него, словно догадываясь о назначении ножа. Бычка, конечно, пригнал брат дяди Сандро.

Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и радостно дожидались ужина, живописно расположившись на бревнах.

Есть какой-то особый смак в принятых в наших краях ночных бдениях у постели больного или даже в ожидании поминального пиршества (не к ночи будь сказано!), когда поминки связаны со смертью достаточно пожившего человека. Нигде не услышишь столько веселых и пряных рассказов о всякой всячине, как на таких сборищах. По-видимому, близость смерти или смертельной опасности обостряет интерес к ярким впечатлениям жизни.

Впрочем, я зарапортовался, потому что к этому дню ни о какой смертельной опасности не могло быть и речи. Дяде Сандро запретили вставать, но он настоял на том, чтобы находиться среди пирующих, и после небольшого совещания самых близких людей его решили вынести из дома и внести в шатер.

Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середины, где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, наклонившись, взбивала ему подушку. Пожурив ее за то, что она делает это тут, где вскоре люди будут есть, а не заранее, он дал перенести свое тело на кровать, а раскладушку велел сложить и приставить к спинке кровати, где она и стояла, как шлюпка, причаленная к большому кораблю на случай мелководных надобностей.

Мы расселись на длинных скамьях, а точнее, на обыкновенных досках, подпертых кирпичами. Более широкие доски, наскоро приколоченные к подпоркам, служили столами.

Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалыгой, раскладывать из больших мисок куски дымящегося мяса, разливать алычовую подливу.

Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, заканчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз.

Минут десять — пятнадцать, пока мы рассаживались, он протягивал шнур, прикрепляя к нему патрон, и наконец ввинтил в него последнюю лампочку.

Рядом с ним возле табуретки стояла черноволосая миловидная девушка с ярким румянцем на щеках, как потом выяснилось, вызванным смущением. Время от времени Тенгиз брал у нее из рук какой-нибудь инструмент, который она доставала из ящика, стоявшего у его ног, или передавал ей сверху тот, что держал в своей руке.

Чувствовалось, что он все время подшучивает над ней, одновременно легко, с артистической небрежностью делая свое дело. Когда он ей сверху подавал щипцы или кусачки или молоток, он так вкрадчиво улыбался ей, так многозначительно задерживал руку, словно подсовывал не слишком благопристойную открытку, или, подавая отвертку, намекал на вездесущий фрейдистский символ.

Кстати, глядя на него, я вспомнил глупую молву о том, что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и всякий человек, не верящий сплетне, я мысленно все-таки сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди Сандро.

Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, между ними не было. Парень этот был чернявый, худой, даже несколько инфантильного сложения, тогда как во внешности дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью.

Наконец Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампочку и уже без всякого заигрывания сам отбросил отвертку в ящик, словно энергия заигрывания переключилась в электрическую и, став общим достоянием, потеряла интимный смысл. Он соскочил с табурета, и сразу же посыпалось со всех сторон:

— Тенго, сюда!

— Тенгиз, к нам!

Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, возлежавшего на кровати и оттуда благостным взором оглядывающего столы. Слегка улыбаясь, он протянул руку с корнем и указал ему на место рядом с молодыми женщинами, откуда он мог хорошо его видеть и слышать.

Мое место оказалось недалеко от него, и я с любопытством следил за ним и старался прислушиваться к тому, что он говорит.

Вскоре я узнал, что в доме у него стоит телевизор — первый в поселке.

По поводу телевизора он сказал, что соседские дети устроили у него в доме кино, так что там теперь повернуться негде, и он намерен в ближайшее время продавать билеты за вход, особенно когда будут показывать картины про шпионов или футбольные матчи тбилисского «Динамо». Разумеется, это он сказал шутливо, как бы добавляя зрелищную притягательность своего дома к другим его притягательным свойствам. Без всякого видимого повода он также сообщил, что обсадил свой участок лавровыми деревьями.

— Сто корней лавруши,— сообщил он,— пускай растут...

Кстати, Тенгиз рассказал, обращаясь к более широкому кругу гостей, историю своего знакомства с дядей Сандро.

Оказывается, это было семь лет тому назад. Из районной милиции, где он до этого работал, он перешел работать в Сухум завгаром НКВД. Квартиры у него сначала не было, и он попытался ее нанять в этом поселке с тем, чтобы попозже выбить себе участок и построить здесь собственный дом. Однако же домовладельцы, по его словам, узнавая, где он работает, вежливо ему отказывали. Наконец он попал к дяде Сандро. Дядя Сандро тоже спросил у него, где он работает. Тенгиз ему сказал, что он работает в гараже, а кому принадлежит гараж — не сказал. Вернее, даже не успел.

— Вот бы дровишки мне кто привез,— сказал дядя Сандро, услышав про гараж.

— Можно устроить,— сказал Тенгиз, и этот ответ дяде Сандро так понравился, что он его тут же впустил на квартиру, больше ни о чем не спрашивая.

Дядя Сандро в первые же дни рассказал ему о многих бурных событиях своей жизни, причем некоторыми из них он явно не стал бы делиться, знай, где тот работает, неважно — в гараже он там или не в гараже.

Так или иначе, когда однажды Тенгиз вышел из комнаты в военной, мягко говоря, форме, дядя Сандро так растерялся, что вскочил со стула и отдал ему честь. Впрочем, увидев, что Тенгиз ничего дурного ему не собирается делать, он окончательно подружился с ним.

Пока Тенгиз рассказывал, дядя Сандро лежа улыбался, доброжелательно слушая его и время от времени поднося к носу корень, нюхая его и опуская руку вдоль одеяла. Все посмеялись этому приятному рассказу, а Тенгиз налил себе вина и, велев всем налить, посерьезнел, встал и произнес тост в честь дяди Сандро.

Тост его сначала с эпической медлительностью охватывал жизнь дяди Сандро в целом, а потом, подобно тому, как ствол дерева естественно растекается живой зеленью ветвей, был оживлен многими частными подробностями.

По его словам, дядя Сандро шел по жизненному пути, стремясь украсить праздничные столы, если они ему попадались по пути, а если извилистый жизненный путь приводил его к поминальным застольям, ибо в жизни всякое бывает, он и тут не уклонялся и тут выполнял свой общественный долг с тем приличием, с тем печальным достоинством, которое завещано нам дедами. Так что и тут бывали им довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается.

В этом месте Тенгиз на мгновенье остановился, чтобы разрешить этот дуалистический вопрос, и разрешил его в том смысле, что, скорее всего, умершим дано видеть многое из того, что делается здесь, хотя и не все, конечно.

Слушатели кивками и поддерживающими восклицаниями выразили согласие с его точкой зрения, но нашелся и скептик.

— Дай бог, чтобы мои враги так видели, как покойники видят,— сказал он и, оглядев застольцев, словно спрашивая: не хотите ли проверить? — окунул кусок мяса в подливку.

— Тоже верно,— вздохнули некоторые из сидевших поблизости, отчасти отвергая даже самую отдаленную возможность производить над ними такого рода опыты.

— Какой светлой головой надо обладать,— продолжал Тенгиз,—

я не говорю про седину, я говорю про содержание, чтобы в наше нелегкое время прожить, нигде не работая на себя, а целиком отдавая свою жизнь за наши с вами интересы. Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать этого несчастного сада, который он сторожил три года, если я не ошибаюсь?

Тут Тенгиз обратил взоры к тете Кате, как верной спутнице жизни дяди Сандро и правдивому свидетелю его собственного тоста. Она стояла возле кровати мужа, куда ее, слегка подталкивая, вывели другие женщины, обслуживавшие стол, когда Тенгиз уже начал произносить свой тост.

— Он согласился сторожить этот несчастный сад только из-за коровы,— вставила она, краснея, как школьница. Казалось, она хотела подчеркнуть, что это небольшое отступление от правил его жизни не было личной прихотью или легкомыслием, а только следствием крайней необходимости.

— Тем более,— сказал Тенгиз, благосклонно принимая эту справку, и, закончив тост, предложил последовать его примеру. Гости, одобрительно пошумев, последовали.

Пока он говорил, дядя Сандро слушал его, кротко подложив одну руку под голову, время от времени, в самых патетических местах тоста, приоткрывая веки, словно тихо удаляясь и снова возвращаясь в шатер. При этом губы его были слегка раздвинуты в прислушивающейся улыбке, которую можно было так расшифровать: интересно, вспомнит ли он об этом моем достоинстве? ты смотри, вспомнил... молодец... а теперь посмотрим... и об этом, оказывается, помнит... а теперь...

В течение этого товарищеского ужина Тенгиз то и дело пошучивал с сидящими рядом женщинами, которым он был явно приятен, иногда перекидывался с дядей Сандро взаимной подначкой, иногда вставлял замечания в окружающие разговоры.

Пил и ел он, как я заметил, очень мало. Он держал в руке складной ножичек и весь вечер обрабатывал не очень мясистый мослак, вырезая из него маленькие ломти мяса, и, равнодушно отправляя их в рот, бросал окружающим шутливые замечания.

— Темный человек,— сказал он одному из соседей, который собирался поехать в деревню и проведать больного родственника,— зачем ехать, когда у меня телефон. Завтра позвоню в сельсовет и все узнаю...

Казалось, он страдал оттого, что телефоном его никто не пользуется в отличие от телевизора. Жители этого поселка, в основном выходцы из абхазских горных деревень, прекрасно обходятся без телефона, предпочитая перекликаться.

За весь вечер он так и не выпустил из рук эту неистощимую кость и, казалось, главным образом озабочен придать ей какую-то определенную скульптурную форму, а мясо отправляет в рот только для того, чтобы не сорить вокруг. Он действовал, как опытный косторез. Позже я убедился, что он может быть и опытным костоправом.

Не буду скрывать, что я незаметно попал в небрежные сети его обаяния. Хвастовство его носило настолько откровенный характер, что даже украшало его. Возможно, я ему тоже понравился, потому что к концу ужина мы оказались рядом. Узнав, что я интересуюсь горной охотой, он сказал, что охота — его любимое развлечение, что у него есть друзья-сваны, которые приведут нас в такие места, где столько дичи, что ее можно просто палкой бить.

— Приготовься, дам знать, когда можно будет ехать,— сказал он, продолжая обрабатывать свою кость, время от времени слизывая с лезвия ножичка кусочки мяса.

Тут он рассказал историю одной горной рыбалки, в которой он, волею случая, вместе с дядей Сандро принимал участие. Рыбалка эта была замечательна тем, что была устроена для товарища Сталина и велась при помощи взрывчатки.

Когда я выразил недоумение по этому поводу, дядя Сандро закивал головой с кровати, дескать, все это правда, так оно и было.

— Откуда у вождя время с удочкой там сидеть, как пенсионеру,— пояснил Тенгиз и, срезав со своей кости тонкую стружку мяса, бросил ее в рот,— и знаешь, что характерно?

Он посмотрел на меня и, убедившись, что я этого не знаю, добавил:

— Оказывается, в море то же самое... С торпедного катера глубинными бомбами глушили рыбу... Но этого я сам не видел, наши ребята рассказывали.

По словам Тенгиза, в один прекрасный день начальнику НКВД Абхазии дали знать, что товарищ Сталин, тогда отдыхавший у нас в Синопе, выразил желание порыбачить на горной речке. По этому случаю начальнику предложили выбрать рыбака из среды чекистов, которому можно было бы доверить динамит в присутствии вождя. Начальник запаниковал, потому что, хотя в его ведомстве было немало чекистов, но никто из них глушить рыбу не умел. И тут начальник вспомнил, что Тенгиз много раз хвастался, выдавая себя за хорошего охотника. Он решил, что охотник обязательно должен быть рыбаком, а рыбак, по-видимому, должен быть браконьером, что было неверно. И вот он вызвал Тенгиза и предложил ему возглавить рыбалку для товарища Сталина.

— Товарищ начальник,— сказал Тенгиз,— я от всей души, но никогда в жизни удочку не держал.

— Удочку тебе и не надо будет держать,— ответил начальник,— будешь взрывчаткой глушить.

— Взрывчатку тем более не держал,— ответил Тенгиз и почувствовал, что начальнику это сильно не понравилось.

— Срываем отдых вождя,— печально сформулировал начальник, и тут Тенгиз, испугавшись, вспомнил, что дядя Сандро рассказывал ему о том, что он якобы при меньшевиках на Кодоре глушил рыбу. Но он со страху все спутал. Дядя Сандро ему этого не говорил. Дядя Сандро говорил, что при меньшевиках сами меньшевики глушили рыбу. И вот, со страху все перепутав, он сказал начальнику, что хозяин его дома, уважаемый всеми человек, хорошо умеет глушить рыбу.

— Это Сандро? — спросил начальник хмуро.

— Да,— сказал Тенгиз,— а за столом вообще лучше его нет человека.

— Можешь за него поручиться?

— Могу,— ответил Тенгиз,— тем более, при Сталине он уже выступал как участник ансамбля песен и плясок.

— Одно дело танцевать, другое дело взрывчатку держать,— ответил начальник, задумавшись о своей карьере.

— Товарищ начальник,— напомнил ему Тенгиз,— они же с кинжалами танцуют...

— Одно дело — холодное оружие, другое дело — взрывчатка,— возразил начальник, но, видно, делать было нечего,— ладно, пошлем его в Ткварчели, пусть потренируется у взрывников... А тебя на время рыбалки приставим к нему. Чуть что — стреляй без предупреждения...

— Товарищ начальник,— постарался успокоить его Тенгиз,— даю слово, что стрелять не придется, проверенный человек...

Таким образом, дядю Сандро на казенный счет, на казенной машине отправили в Ткварчели, где к нему приставили лучшего взрывника шахты № 1 имени товарища Сталина, который три дня на речке

Гализге учил его глушить рыбу. Так что через три дня дядя Сандро приехал домой опытным браконьером.

А еще через три дня дядя Сандро вместе с Тенгизом и еще двумя охранниками в черном ЗИМе с закрытыми занавесками подъехали к правительственной даче, откуда выехали еще четыре ЗИМа с закрытыми занавесками, и они, согласно инструкции, последовали за этими машинами в район одного из горных озер, а какое именно озеро, до последнего момента не открывали.

Тут дядя Сандро перебил Тенгиза и сказал, что он сразу догадался, что рыбалка будет где-то поблизости от Рицы, потому что ни к одному из других горных озер шоссейная дорога не ведет.

Тенгиз улыбнулся в ответ на замечание дяди Сандро и добавил, что он тоже об этом знал, тем более что все эти дни на всем протяжении дороги размещалась охрана, что сделать было непросто, потому что, с одной стороны, она должна была быть замаскирована от злоумышленников, а с другой стороны, ее не должен был замечать товарищ Сталин.

Тенгиз неожиданно обратился ко мне:

— Допустим ты отдыхаешь в Гаграх. Тебе вдруг захотелось поехать в Сочи. Что ты делаешь? Есть деньги — берешь такси. Нет денег — берешь электричку, правильно?

— Допустим,— согласился я.

— А товарищ Сталин не мог,— сказал Тенгиз,— за три дня должен был сообщить органам, чтобы охрану успели выставить. Но через три дня или охота пропадет, или погода испортится. А некоторые думают — вождям легко!.. Думают — куда хочешь езжай, что хочешь кушай... Все бесплатно...

С этими словами он постукал себя пальцем по темени, одновременно с пристальным вниманием оглядывая гостей. Палец его, постукивающий по темени, намекал на умственную отсталость тех, которые так думают, одновременно давая знать, что должность вождя требует и пожирает такое количество умственных сил, что спятишь, света божьего не взвидишь. И оба эти смысла были поняты и должным образом оценены собравшимися.

— Что ты, Тенгиз! — восклицали некоторые, как бы суеверно отстраняясь от этой должности.— Вождем быть — хуже нет! Голова сама лопнет!

— Один Чан Кай-ши и то сколько лет мозги лечит!

— Да что вы говорите, я с женой и то не могу справиться, а он целую страну вот так держал. И еще соцлагерь построил.

— Тито, правда, уполз...

— А насчет жены,— снова раздался голос скептика,— ты сказал правильно. С женой он тоже не мог справиться.

Тенгиз спокойно выслушал эти восклицания и, взяв ножичек, вырезал из мослака еще один кусочек мяса и отправил его в рот.

— Расскажи про того с мотыгой,— сказал дядя Сандро, уютно с постели глядя на Тенгиза и самим тоном своих слов показывая, что он его не торопит, а просто напоминает о чем-то интересном.

— Про какого с мотыгой? — посмотрел Тенгиз на дядю Сандро.

Дядя Сандро сейчас лежал на боку, сунув одну руку под подушку и время от времени лениво взмахивая другой, держащей корень. Так взмахивают камчой, не трогая лошадь, но давая ей знать, чтобы она не сбавляла ход.

— Ну, про того, что возле речки стоял, когда Большеусый вышел из машины.

— А-а,— вспомнил Тенго,— так тот был с лопатой.

— Какая разница,— сказал дядя Сандро,— с лопатой, так с лопатой...

— Большая разница,— неожиданно прицепился к нему Тенгиз,— в органах могут выдать лопату, а мотыгу не могут выдать... Ты бы еще сказал — сеялку-веялку...

— Ладно,— махнул дядя Сандро своим корнем,— знаем... Насчет лопат там у вас все хорошо... Рассказывай дальше.

— Вот ехидина,— после некоторой паузы сказал Тенгиз, глядя на дядю Сандро с затаенным восхищением. Затем он продолжал рассказ.

* * *

Оказывается, уже в горах, где дорога то подходила к реке, то сворачивала в золотистые буковые рощи, в одном месте товарищу Сталину захотелось выйти из машины и посмотреть на огромную полукилометровую скалу, нависшую над рекой. Он вышел из машины и, стоя на дороге, некоторое время из-под руки любовался этой скалой, а потом вдруг спустился к реке и стал мыть в ней руки.

И в этот самый миг, метрах в тридцати от него, из-за кустов выглянул человек с новенькой лопатой.

Видимо, он так был поражен, что товарищ Сталин вдруг оказался в такой близости от него, что, забыв про все инструкции, открыто, во все глаза смотрел на него.

А между тем, когда Сталин вышел из машины, все, кроме шофера, тоже покинули свои сиденья. Оказывается, вместе со Сталиным здесь был его секретарь Поскребышев, начальник кремлевской охраны, чью фамилию Тенгиз забыл, и врач, чью фамилию, по его словам, он и тогда не знал. Все остальные были охранниками или начальниками охранников.

И вот все они видят, что этот неопытный охранник сейчас попадется на глаза товарищу Сталину, и это может стать для всех большой неприятностью. И вот, чтобы этого не получилось, они все ему знаками показывают, чтобы он прятался назад в кусты, где находился до этого.

— Но что интересно, дорогие друзья,— сказал Тенгиз,— он их всех не видит, хотя их много, а видит одного товарища Сталина, потому что смотрит только на него.

И вот товарищ Сталин вымыл руки, достал из кармана платок и только начал вытирать руки, как заметил этого товарища. И, конечно, это ему не понравилось. Ему это показалось подозрительным. Здесь, в горах, где поблизости ни жилья, ни хотя бы маленького сельсовета, из-за кустов высовывается человек и глазеет на него, даже не стыдясь своей лопаты.

Сталин быстро повернулся и, нахмурившись, пошел назад. Оказывается, он что-то сказал Поскребышеву, когда садился в машину, и, судя по ответу, он спросил у него про этого человека.

— Говорят, местный житель,— ответил ему Поскребышев,— червей копает для рыбалки...

При этом он вынул блокнот и что-то записал. Машины поехали дальше, и уже товарищ Сталин до самого места рыбалки нигде не выходил.

На зеленой лужайке возле огромного ствола каштана устроили привал, разожгли костер, вынесли раскладной стул, на котором возле костра уселся товарищ Сталин, поставив у ног бутылку армянского коньяка.

...Тут Тенгиз прервал свой рассказ и, обратившись к дяде Сандро, сказал:

— Теперь тебе даю слово. Ты рыбачил со Сталиным, ты с ним пил коньяк, ты и рассказывай...

Дядя Сандро на мгновенье задумался, понюхал свой корень и продолжил рассказ.

— День был хороший, солнечный, но лезть в горную воду в конце октября — дело не из легких,— так начал свой рассказ дядя Сандро.

После каждого взрыва всплывало десять — пятнадцать форелей, и дядя Сандро в закатанных кальсонах входил в воду и выбрасывал их на берег. Там их подбирали ребята из охраны и относили повару, хлопотавшему у костра.

Каждый раз после того, как дядя Сандро выходил на берег, очугуневший от ледяной воды, товарищ Сталин подзывал его к себе и наливал ему полную рюмку коньяку.

— Не надо, товарищ Сталин, мне не холодно,— отвечал дядя Сандро, клацая зубами, потому что ему было стыдно мокрым, в закатанных кальсонах подходить к вождю. Но тот молча манил его пальцем, и дяде Сандро ничего не оставалось, как подойти к нему и принять эту живительную рюмку.

Так продолжалось четыре или пять раз, а потом дядя Сандро забросил взрывчатку в маленький, но глубокий бочаг. Вместе с форелью всплыл огромный лосось, и все, стоявшие на берегу, радостно закричали, а товарищ Сталин, положив свою трубку на стул, подошел к берегу и полез в воду.

— А в чем он был одет? — спросил я.

— Вроде военной формы,— сказал дядя Сандро и поглядел на Тенгиза.

— Обыкновенный маршальский костюм,— сказал Тенгиз и, срезав тонкую длинную стружку мяса, слизнул ее с лезвия ножичка и добавил: — только без погон.

И вот, значит, товарищ Сталин, увидев этого большого лосося, всплывшего и зацепившегося за камень, неожиданно для всех полез в воду. И тут кремлевский врач закричал:

— Товарищ Сталин, не забывайте, конец октября!

Но товарищ Сталин, не оборачиваясь, махнул ему своей левой, усыхающей рукой и продолжал входить в воду.

Тут начальник кремлевской охраны закричал:

— Товарищ Сталин, я вам категорически запрещаю!

Товарищ Сталин и ему дал отмашку своей усыхающей рукой и пошел глубже, стараясь не набрать воду в сапоги. Пока он шел по мелководью. А его личный секретарь Поскребышев в это время бегал по берегу, как курица, которая высидела утенка, и все кудахтал:

— Я буду жаловаться в Политбюро! Я буду жаловаться в Политбюро!

Тут товарищ Сталин нагнулся и вытянул руку, чтобы достать лосося, который зацепился за камень у маленького переката. Но рука его не дотянулась, он сделал еще один шаг и набрал воду в сапог. Тогда он махнул в последний раз своей усыхающей рукой, мол, незачем кричать, когда я набрал уже полный сапог воды, сделал еще один шаг и, промокнув до самых карманов маршальских галифе, ухватил лосося, приподнял его, повернулся и, с улыбкой держа его на руках, ну совсем как на портрете девочку Мамлакат, вытащил его из воды и отдал подбежавшим людям.

...В этом месте дядя Сандро был вынужден приостановить свой рассказ, потому что некоторые из гостей решительно забыли, о какой Мамлакат он говорит, тогда как другие, наоборот, стали говорить, что хорошо помнят эту фотографию маленькой сборщицы хлопка, обнимающей товарища Сталина, потому что перед войной эта фотография в сильно увеличенном виде повсюду висела.

Тут некоторые из слушателей, поняв что к чему, вспомнили свою давнюю обиду на товарища Сталина, что он тогда взял на руки эту совсем даже некрасивую среднеазиатскую девочку, тогда как мог взять на руки какую-нибудь из наших маленьких сборщиц чая, хорошеньких, как куколки. Но почему-то не захотел. Другие тут же вступили с ним в спор, оправдывая вождя тем, что тогда для политики надо было взять на руки именно среднеазиатскую девочку, чтобы индусы это заметили и подумали о себе.

Дядя Сандро снисходительно выслушал все эти точки зрения и продолжал свой рассказ.

— Одним словом,— продолжал он,— не успел Большеусый выйти на берег, как к нему бросились Поскребышев, кремлевский врач и начальник охраны, неся на руках полотенце, запасные кальсоны, запасные галифе, сапоги и всякую мелочь из одежды, которую не упомнишь.

Они окружили его и увели к машине, а дядя Сандро взял свои брюки, носки и туфли и пошел вверх по течению, где метрах в пятидесяти виднелись заросли ежевики.

Он зашел в эти заросли, снял кальсоны и начал их выжимать, как вдруг услышал, что в глубине кустов что-то шевельнулось. Дядя Сандро испугался, думая, что это может быть шальной медведь и ему придется бежать от него в голом виде, что было бы для него, как для абхазца, большим позором.

— Хейт! — крикнул он, думая, что если это птица — вспорхнет, а если зверь — выбежит.

— Не бойся, охрана! — вдруг раздался голос в кустах.

Тут дяде Сандро стало опять не по себе, потому что ему, как абхазцу, было очень стыдно показываться в голом виде даже перед охранником. Он повернулся спиной на этот голос и, удивляясь про себя, сколько их повсюду понатыкано, стал надевать свои влажные кальсоны. Только просунул ногу в штанину, как раздались шаги со стороны привала. Кто-то подошел к кустам и остановился.

— Где здесь товарищ Сандро? — спросил голос.

— Да вы что, с ума посходили,— крикнул дядя Сандро,— дайте человеку одеться!

— Вам кальсоны в подарок от товарища Сталина,— сказал человек, и дядя Сандро, вынув ногу, вдетую в кальсоны, и прикрывшись ими же, выглянул из-за кустов. Там стоял молодой парень из охраны и держал в руке шерстяные кальсоны серого цвета.

— Сталинские? — спросил дядя Сандро.

— Да,— сказал охранник,— можете надевать.

Дядя Сандро взял в руки кальсоны, подивился их пушиной легкости и, забыв поблагодарить удалившегося охранника, стал надевать, чувствуя необыкновенную легкость и теплоту шерсти.

— Можете думать, что хотите, но в эту минуту решилась судьба абхазцев,— вдруг сказал дядя Сандро и оглядел притихшие столы.

Тенгиз усмехнулся и, не подымая головы, продолжал работать над своей костью.

— Это еще чего? — спросил Тенгиз из своего угла.

— А вы знаете, что в это время готовые эшелоны стояли в Эшерах и в Келасури? — спросил дядя Сандро.

— Знаем,— сказал молодой завмаг,— когда я слушал дело Рухадзе...

— При чем тут дело Рухадзе? — поднял Тенгиз голову над своей костью и строго посмотрел на завмага.

Завмаг смущенно замолк. Он был один из соседей дяди Сандро, и магазин находился прямо у выезда на шоссе под холмом, где жил дядя Сандро. После ареста Берии, когда в Тбилиси проходил процесс

над начальником НКВД Грузии, он, будучи в Тбилиси, попал на один день в театр, где проходил процесс. Видно, друзья по блату устроили ему однодневный пропуск. С тех пор он к месту и не к месту вспоминал об этом.

— Эшелоны стояли в Очемчирах и в Тамышах,— добавил кто-то.

— Вы знаете, конечно, что нас собирались выселить из Абхазии, как выселили многие другие народы? — сказал дядя Сандро, важно оглядывая столы.

— Говорят, правда,— раздалось со всех сторон.

— Тенгиз должен знать,— сказал один из гостей,— он же тогда в системе работал.

— Во-первых, не знаю,— сказал Тенгиз, подымая голову и многозначительно оглядывая столы,— а, во-вторых, даже если бы и знал, не имел бы права говорить.

— Ты смотри, как строго! — удивился кто-то.

— Тенгиз,— раздалось с другого конца стола,— я не пойму, ты в системе находишься или вышел из системы?

— Я давно уже вышел из системы. Я в автоинспекции,— ответил Тенгиз.

— Знаю. Но я думал, что так легко из системы не отпускают.

— Меня отпустили,— сказал Тенгиз достойно, показывая, что он это он, но распространяться по этому поводу незачем.

— Дядя Сандро,— спросил молодой завмаг,— как все-таки это связано — кальсоны вождя и выселение абхазцев?

— Что вы его слушаете,— сказала тетя Катя,— он и сам сядет на старости лет за свой язык и вас еще прихватит с собой...

— Через этот подарок,— сказал дядя Сандро, переждав тетю Катю, как некий стихийный шум,— он хотел показать, что выселение абхазцев отменяет... То ли я ему сильно понравился... то ли еще что. Прямо он не мог сказать, а так дал понять: живите спокойно, я вас трогать не буду.

— Это ты, Сандро, перехватил,— сказал скептик,— он мог и кальсоны подарить, и выслать.

— Точно,— добавил кто-то,— буйвол сам пашет и сам топчет!

— Ты лучше рассказывай дальше,— сказал Тенгиз,— зачем тебе Сталин подарил кальсоны, теперь мы никогда не узнаем...

Не вполне довольный тем, что его догадку никто не поддержал, дядя Сандро двинулся дальше, постепенно оживляясь в процессе рассказа.

...Одним словом, надев брюки, он вышел из-за кустов, держа в своих руках старые солдатские кальсоны, которые он еще во время войны выменял на корзину груш у бойца истребительного батальона.

Теперь ему эти старые кальсоны показались ужасными, и он стал стыдиться того, что осмеливался в них подходить к товарищу Сталину, одновременно пытаясь утешить себя тем, что они были в закатанном виде.

Дядя Сандро решил, что теперь они ему не нужны, да и подходить к костру со старыми кальсонами в руке было как-то неудобно. Он огляделся и, заметив у ног большой камень, отодвинул его и подложил под него свернутые жгутом кальсоны.

— Что это ты там спрятал? — спросил у него Тенгиз по-абхазски, когда он подошел к остальным.

— Старые кальсоны,— ответил дядя Сандро,— а что?

— Здесь уже доложили, что ты там что-то спрятал,— сказал он ему строго и предупредил, чтобы он никогда таких вещей не делал.

По словам дяди Сандро, он сказал это так, как будто он, Сандро, собирался всю жизнь глушить рыбу для Сталина, а Сталин за это всю жизнь собирался дарить ему кальсоны, а дядя Сандро, приняв пода-

рок, норовил бы тут же пристроить свои старые кальсоны под первый же подвернувшийся камень.

Гости посмеялись забавности этого предположения, Тенгиз, доскабливая уже оголенную кость, улыбнулся и, не подымая головы, пожал плечами:

— Тогда такое время было...

— И чему я дивлюсь,— продолжал дядя Сандро,— сколько времени прошло, а кальсоны как новенькие на мне... Видно, особая какая-то шерсть...

— Спецовцы,— бросил Тенгиз, не поднимая головы и не отрываясь от кости.

— Господи! Все-таки, может, хватит про исподнее, тут и женщины молодые,— сказала тетя Катя, обращаясь к мужу. Сейчас она сидела у его ног на постели.

Дядя Сандро взглянул на нее рассеянным взглядом и продолжал свой рассказ, никак не показав своего отношения к ее словам.

...Оказывается, возле костра бросили большой персидский ковер, на который постелили скатерть, а на ней разложили всевозможные закуски, особенно много было жареных цыплят.

У ног Сталина, на самом ковре, расположились приближенные начальники во главе с Поскребышевым. Товарищ Сталин подозвал всех ребят из охраны и, как они ни ломались, заставил их усесться на ковер и принять участие в этом обеде под открытым небом.

— Кушайте цыплят, а то они вырастут,— говорил товарищ Сталин ребятам из охраны, которые очень стеснялись есть в присутствии вождя.

Когда дядя Сандро вспомнил эту шутку, Тенгиз радостно закивал и, оторвавшись от своей кости, пояснил:

— Но как они могли вырасти, когда они были жареные?

Подчеркнув абсурдность замечания вождя относительно цыплят, Тенгиз, как бы во избежание кривотолков, дал знать слушателям, что реплика эта представляла из себя только шутку, хотя и довольно затейливую, но все-таки только шутку. Вождь шутил, чтобы приободрить ребят из охраны, и никакого другого значения не надо придавать его словам.

Дядя Сандро продолжал. Оказывается, во время обеда товарищ Сталин много шутил над своими приближенными, особенно же доставалось Поскребышеву. Он высмеял его за то, что тот никак не мог сесть на ковер по-турецки, а потом, когда стали пить шампанское, он его поймал на том, что Поскребышев старается скорее, пока пена не осела, пригубить свой бокал, чтобы ему не доливали.

По словам дяди Сандро это было тонким и справедливым наблюдением, доказывающим, что он тоже мог бы стать неплохим тамадой, если бы так много не занимался политикой. Тут дядя Сандро остановился и лукаво оглядел всех со своей высокой подушки, словно стараясь понять, дошел ли до слушателей его далеко идущий намек.

Трудно сказать, дошел ли он до слушателей, потому что Тенгиз, тут же оторвавшись от своей кости и насмешливо посмотрев на дядю Сандро, спросил:

— Выходит, если бы ты так много не занимался застольными делами, мог бы стать вождем?

— Не хотел бы,— сказал дядя Сандро,— тем более после двадцатого съезда.

Разговор перебросился на двадцатый съезд и многие стали высказывать различные соображения по поводу критики Хрущевым Сталина.

Я спросил у Тенгиза, что он лично думает по этому поводу.

— Именно я, да? — переспросил он и посмотрел мне в глаза.

— Именно ты,— повторил я.

— Конечно, Хрущев во многом прав,— сказал Тенгиз,— насчет колхозов прав... Но если ты хочешь мое личное впечатление, я тебе скажу.

— Да, твое личное,— повторил я.

— К ребятам из охраны лучше него никто не относился. Это я видел своими глазами.

Тут нас неожиданно перебил Тендел, сидевший в углу рядом с братом дяди Сандро, который, кстати, отвалившись от стола, уснул.

— Сандро! — крикнул он.— Швырнул бы в костерок ему кусочек взрывчатки, тут бы тебе Хрущев и орден выдал!

Все расхохотались, а брат дяди Сандро проснулся и, дико озираясь, икнул.

— Посмертно,— добавил Тенгиз к словам старого Тендела, продолжая работать над своей костью, которая теперь вдруг стала похожа на одну из двух скрещенных костей, стоящих под черепом (барабанные палочки судьбы!) и составляющих вместе с ним известный символ.

— Посмертно,— повторил он уже по-русски и добавил: — там ребята были будь спок — шевельнуться не успеешь.

— Чего это он сказал? — спросил Тендел, но ему не успели разъяснить, потому что дядя Сандро продолжил его мысль.

— Куда уж взрывалку,— сказал дядя Сандро задумчиво, словно и такая возможность была им изучена, но отброшена ввиду ее невыполнимости,— куда уж взрывалку, кальсоны и то не дали сунуть под камень...

— Опять за свое,— посмотрела тетя Катя на него с укоризной.

Но дядя Сандро не остановился на своих кальсонах, а продолжал рассказ. По его словам, он сидел напротив вождя и исподтишка наблюдал за ним, стараясь не сверкать в его сторону своими, хотя и не такими, как в молодости, но все еще яркими глазами.

Оказывается, он все еще боялся, что Сталин узнает его, хотя со времени той первой встречи прошло больше пятидесяти лет.

По наблюдениям дяди Сандро, внешне Сталин сильно изменился даже по сравнению с тем, каким был двадцать лет назад, не говоря уже о первой встрече. Он весь поседел, а усыхающая рука была заметна даже тогда, когда он ею не двигал. Но глаза остались такими же яркими и лучистыми, как тогда при первой встрече. А когда он встал и пошел доставать лосося, двигался очень легко и быстро.

И все-таки он еще раз вспомнил дядю Сандро, а дядя Сандро еще раз сумел перехитрить вождя! Говоря об этом, он с непередаваемым удовольствием облизнулся.

По словам дяди Сандро, уже к концу обеда Большеусый что-то почувствовал и стал присматриваться к нему. Дядя Сандро встревожился и старался не поднимать глаз, но и не поднимая глаз, он чувствовал, что Сталин время от времени на него посматривает.

— Где-то я тебя видел, рыбак,— вдруг услышал он его голос.

— Меня? — спросил дядя Сандро и поднял глаза.

— Именно тебя, рыбак,— сказал Большеусый, вглядываясь в него своими лучистыми глазами.

— Я раньше танцевал в ансамбле Панцулая,— ответил дядя Сандро заранее обдуманной фразой,— и мы перед вами выступали в Гаграх...

— А еще раньше? — спросил Большеусый, не сводя с дяди Сандро своего лучистого взгляда, и вдруг за столом все замерли. Поскребышев, стараясь не шуметь, салфеткой вытер руки и сунул одну из них в карман, готовый по первому же знаку вытащить свой блокнот.

— Раньше могли в кино видеть, товарищ Сталин,— сказал дядя Сандро, прямо глядя ему в глаза.

— В кино? — удивился Сталин.

— Наш ансамбль снимался в кино,— сказал дядя Сандро бодро и снова взглянул в глаза вождя.

— А-а-а,— сказал Сталин, угасая глазами,— а где сейчас Платон Панцулая?

Он макнул ножку цыпленка в сациви и вяло откусил ее. Откусив, снова поднял глаза на дядю Сандро.

Дядя Сандро не сразу нашелся, что ответить. Он боялся испортить настроение вождю.

— В тридцать седьмом арестовали,— сказал дядя Сандро и развел руками в том смысле, что, мол, не повезло человеку, угодил под обвал. (Сейчас, рассказывая об этом, он именно так пояснил свой жест.)

Тут Сталин посмотрел на Поскребышева, как будто что-то хотел сказать. Поскребышев проглотил то, что было у него во рту, и, снова вытерев руки салфеткой, замер в ожидании. По словам дяди Сандро, он смотрел на Сталина так, как будто хотел сказать: «Пожалуйста, прикажите, мы его освободим».

Во всяком случае, так показалось дяде Сандро. Во всяком случае, дядя Сандро почувствовал волнение и радость при мысли, что Платона Панцулая могут освободить. Он подумал: хорошо бы попросить и за Пату Патарая и за сына Лакобы — Рауфа, четырнадцатилетним мальчиком арестованного в тридцать седьмом году. Но потом у него мелькнуло в голове, что все же за сына Лакобы опасно просить, и он честно признался, что мысленно воздержался от этой мысленной просьбы.

Тут дядю Сандро перебили, напоминая о том, что сына Лакобы убили в сорок первом году, когда он написал письмо Берии, чтобы его отправили на фронт, а Берия, удивившись, что он еще жив, приказал его убить.

— Видно, в тридцать седьмом не могли убить как несовершеннолетнего, а потом забыли про него, а он, бедняга, в сорок первом попросился на фронт и тем самым напомнил о себе,— предположил один из гостей дяди Сандро, как мне показалось, вполне разумно. По слухам, письмо, которое Рауфу удалось переправить из тюрьмы, содержало в себе просьбу отправить его на фронт.

— Бедный мальчик,— вздохнула тетя Катя,— сейчас был бы на свободе.

— А вы знаете, что сказал генеральный прокурор Руденко на процессе Рухадзе? — вдруг вставил молодой завмаг, у которого дядя Сандро пользовался кредитом.

— Ну, что сказал? — спросил у него Тенгиз насмешливо, словно уверенный, что он опять скажет что-нибудь невпопад.

— Руденко сказал, что Сарье, жене Лакобы, нужно памятник поставить, потому что, сколько ее ни пытали, она не предала своего мужа,— сказал он, победно оглядывая присутствующих.

— Вот и пусть поставят — кто им мешает,— сказал тот, что высказывался насчет Рауфа.

— Бедняга Сарья,— вздохнул дядя Сандро,— я ее в те времена каждый день видел вот так, как я вас сейчас вижу...

— Да ты лучше расскажи, как у вас там с Большеусым закончилось,— напомнил один из гостей,— что все-таки он сказал, когда посмотрел на Поскребышева.

— В том-то и дело, что ничего не сказал,— ответил дядя Сандро,— вернее, сказал, что он опять неправильно сел, ноги вывернул из-под себя...

— Да, да,— закивал Тенгиз, улыбаясь,— он совсем не умел сидеть по-турецки, Сталин его за это высмеивал...

— Да ты лучше скажи,— крикнул Тендел со своего места,— здорово ты наложил в штаны, когда Большеусый глянул на тебя?

— Трухнуть трухнул, а так ничего,— серьезно ответил дядя Сандро.

— Жалко, что он не вспомнил нижнечегемскую дорогу, а то бы ты полные штаны наложил! — крикнул Тендел под общий хохот. Все знали историю встречи дяди Сандро со Сталиным или с тем, кого он принял за Сталина, на нижнечегемской дороге.

— Если бы не кальсоны Сталина, может, и наложил бы,— сквозь общий хохот закричал Тенгиз,— а так — испугался, что еще хуже будет.

— Вас же, засранцев, спас от выселения, и вы же надо мною смеетесь! — крикнул дядя Сандро, сам еле сдерживаясь от смеха.

Поздно ночью, когда окончился ужин, мы с Тенгизом распрощались с дядей Сандро и спустились на улочку, ведущую к шоссе.

— Шухарной старик,— захлопывая калитку, сказал он,— я его от души...

— Он тебя тоже,— ответил я и заметил, как Тенгиз, в знак согласия, кивнул головой. Ночь была свежая, звездная. В воздухе стоял запах перезрелой «изабеллы» и сохнущей кукурузы.

Когда мы поравнялись с его домом, он стал уговаривать меня, чтобы я остался у него ночевать. Я его поблагодарил, но отказался, ссылаясь на то, что меня ждут дома.

— Позвони от меня,— предложил он и в качестве приманки добавил: — я тебе расскажу, как я охотился с маршалом Гречко, когда он отдыхал в Абхазии.

— У нас телефона нет,— сказал я, чувствуя, что на сегодня с меня хватит. Мы распрощались, и я стал спускаться к шоссе. Впереди и позади меня шли по домам гости дяди Сандро, громко разговаривая и окликая друг друга.

* * *

Дней через двадцать дядя Сандро появился у меня в редакции. Он был уже вполне здоров, и я его несколько раз мельком встречал в кофейнях. Сейчас он выглядел взволнованным.

— Что случилось? — спросил я, вставая и показывая ему на стул.

— Над женой надругались,— сказал он, продолжая стоять.

— Кто, где? — спросил я, ничего не понимая.

— Директор поликлиники в поликлинике,— сказал он и выложил подробности.

Оказывается, в новооткрытой коммерческой поликлинике, куда тетя Катя пришла лечить зубы, ей обещали вставить золотые коронки, а потом в последний момент отказали, ссылаясь на отсутствие золота.

И главное, что сами же ей предложили вместо четырех коронок вставить шесть, хотя дядя Сандро и тетя Катя просили насчет четырех зубов. И вот теперь, по его словам, заточив ей два лишних зуба, чтобы удобней было коронки вставлять, они говорят, золото в этом квартале кончилось, пусть подождет еще месяц, тогда, может, дадут золото.

А как ждать бедной женщине, когда она говорить не может и кушать не может. Ну, то, что говорить не может, это даже не плохо, но то, что кушать не может, это слишком.

— Да что же там могло случиться?

— Вот пойдем, узнаешь,— сказал он, и я, закрыв двери кабинета, вышел вместе с ним из редакции.

— Я думаю,— продолжал он по дороге,— они ждали ревизию и, чтобы показать, что золото не только продают спекулянтам, но и вставляют населению, дали обещание, да еще два лишних зуба прихватили, для плана. А теперь — или с ревизией нашли общий язык, или ревизию отменили.

Мы завернули за угол, прошли два квартала и подошли к поликлинике. На тротуаре в тени платана стояла тетя Катя, скорбно прикрыв рот концом черного платка, которым была повязана ее голова. При виде меня она изобразила на лице морщинистую гримаску, в центре которой, спрятанная под платком, по-видимому, должна была находиться смущенная улыбка. Потом она с упреком, как на виновника надругательства, посмотрела на дядю Сандро.

— Я при чем? — сказал дядя Сандро, пожимая плечами.

— Ты меня надоумил,— сказала она сквозь платок,— я бы вырвала болящий, и дело б с концом.

Она говорила тихим, ровным голосом, стараясь, видимо, не раздражать боль.

— Больно? — спросил я.

— Так не больно, но когда воздух ударяет, прямо дырявит,— сказала она и, помолчав, добавила, как о нравственном страдании, усугубляющем физическое: — говорить не могу.

— А ты и не говори,— сказал дядя Сандро.

— Тебе бы этого только и хотелось,— сквозь платок скорбно проговорила она.

— Ничего, тетя Катя, мы сейчас,— сказал я бодро, чтобы самому настроиться на решительный лад.

— Подожди нас здесь,— сказал дядя Сандро, и мы направились к входу.

— А то улечу,— вздохнула она нам вслед.

— Что интересно,— заметил дядя Сандро, когда мы вошли в поликлинику,— с тех пор, как боль не позволяет ей говорить, еще больше говорит.

Мы прошли по коридору, где тут и там на скамьях сидели люди с лицами, искаженными зубной болью или окаменевшими в мрачном ожидании встречи с бормашиной.

Мы подошли к директорскому кабинету. Я приоткрыл дверь и увидел маленького человека в белом халате, сидевшего за столом и разговаривавшего с другим человеком в белом халате.

Когда я открыл дверь, оба посмотрели в нашу сторону. Несколько секунд тот, что сидел на директорском месте, раздумывал, стараясь понять, случайно ли я оказался в дверях с дядей Сандро или мы представляем единую сомкнутую силу. По-видимому, решил, что мы вместе.

— Одну минуту,— сказал он, сверкнув золотыми зубами,— сейчас освобожусь.

Я закрыл дверь.

— Нету золота,— проворчал дядя Сандро,— а сам работает тут два месяца и уже полон рот золота...

Мы постояли с полминуты, прислушиваясь к глуховато доносившимся голосам из кабинета. Голос директора стал громче, видно, он куда-то позвонил. Вдруг дядя Сандро приник головой к дверям. Мне стало неловко. Я отошел и сел на скамейку рядом с несколькими пациентами, дожидающимися своей очереди. Дядя Сандро продолжал прислушиваться к тому, что происходит в кабинете. На него никто не обращал внимания.

Я смотрел в глубину коридора, где время от времени появлялись

сестры и врачи в белых халатах и у каждого в руке были какие-то бумаги или журналы с историями болезней. Я боялся, что кто-нибудь из них подойдет к директорскому кабинету. Но никто не подошел и не обратил внимания на дядю Сандро. Каждый был занят своим делом.

Наконец дядя Сандро оторвался от двери и подошел ко мне.

— Про тебя говорил,— кивнул он в сторону кабинета.

— Про меня? — переспросил я, почему-то уверенный, что это не сулит мне ничего хорошего.

— Спрашивал у кого-то по телефону,— объяснил дядя Сандро,— тот ему сказал, что ты некрепко сидишь на месте.

— Почему? — спросил я, хотя и сам знал почему.

— Они подозревают, что ты донес Москве про козлотура,— сказал дядя Сандро и с любопытством заглянул мне в глаза,— они говорят, что редактор только и думает, как от тебя избавиться...

Настроение у меня испортилось. Этот подлый слух начал мне надоедать. Главное, почему надо было доносить, когда материалы о козлотуре печатались в местной прессе, и даже один из них был перепечатан в Москве?

Дверь директорского кабинета открылась, и оттуда вышел человек, который сидел спиной к нам. Он тоже держал в руке толстый журнал. Проходя мимо, он мельком как-то нехорошо взглянул на меня, словно знал обо мне какую-то неприятную тайну.

— Пригрози фельетоном,— шепнул мне дядя Сандро, когда мы входили в кабинет.

— Пожалуйста, присядьте,— сказал директор, кивнув на стулья. В тоне его была доброжелательность человека, который уверен в своих картах.

Мы продолжали стоять.

— Я уже говорил товарищу Сандро,— продолжал он,— мы не виноваты, что так получилось. В этом квартале нам отказали в материале...

Он развел руками в том смысле, что обстоятельства сильнее наших добрых намерений.

— Но в какое положение вы поставили женщину,— сказал я,— вы ей сточили зубы, она не может ни есть, ни говорить...

— Я же говорил товарищу Сандро,— сказал он, энергично взмахнув рукой в сторону дяди Сандро,— мы ей можем вставить металлические коронки, кстати, это и прочней и гигиеничней...

Я повернулся к дяде Сандро.

— Что ж, моя жена,— сказал он,— как ведьма, будет ходить с железной челюстью?

— Это предрассудок, товарищ Сандро,— бодро склонился директор в сторону дяди Сандро,— металлические коронки старой женщине больше к лицу.

— Вот и вставь своей,— сказал дядя Сандро.

— Товарищ Сандро, прошу не грубить,— он выставил ладони, словно щитки, на которых написан размер наказания за грубость.

— Как моей — так можно, а как твоей — так грубить!

— Ваша жена — наш пациент. А моя жена тут ни при чем.— Он опустил щитки ладоней на стол, но зато в голосе его появился металл. Может быть, тот прочный, гигиенический, из которого делают коронки.

— Ты же мне сам говорил, что вместо четырех надо шесть, а теперь ни одной?

— Я же вам говорил,— снова начал он,— нам недодают золото, потому что в стране валюты не хватает...

Он выпучил глаза и замер, как бы удивляясь, что вместо того, чтобы поскорбеть вместе с ним по поводу нехватки валюты, дядя Сандро еще требует у него золота.

Мы вышли.

— Надо было пригрозить фельетоном,— сказал дядя Сандро, когда мы проходили по коридору,— да, видно, от тебя толку никогда не будет. Придется опять моего Тенго просить...

Мы вышли из поликлиники и подошли к тете Кате, которая так и стояла в тени платана, прикрыв рот концом черного платка.

— Ну и что сказал? — спросила она сквозь платок голосом человека, и не ожидающего ничего хорошего.

— То же, что и говорил,— ответил дядя Сандро,— этот бедолага не то чтобы нам помочь, сам, оказывается, еле держится... Сейчас съезжу к Тенгизу — он им покажет... А ты никуда не уходи. Вон там сядь на скамейку и жди,— он кивнул на сквер через улицу,— если кто будет заговаривать, не отвечай, притворись немой.

Дядя Сандро повернулся и, не прощаясь со мной, решительно отправился в сторону автобусной остановки. Мне было неприятно за свое бездарное участие в этом деле и жалко тетю Катю, так и оставшуюся стоять с ртом, прикрытым концом черного платка.

— Иди, сынок,— проговорила она сквозь платок,— что ж делать... И тебя потревожили...

Понурившись, я пошел к себе в редакцию. Перед самым концом рабочего дня ко мне вошел дядя Сандро.

— Выйдем,— сказал он властным голосом человека, который одаривает вас жизненным уроком. Я поплелся за ним.

Мы спустились вниз. Тетя Катя стояла возле редакции. Она все еще прикрывала рот концом платка, но теперь она это делала совсем по-другому. Так девушка, впервые накрасившая губы, прикрывает их от знакомых.

— А ну, улыбнись! — сказал дядя Сандро, подходя к ней.

— Отстань! — сказала тетя Катя, стараясь скрыть смущение и не решаясь отодвинуть от губ конец платка.

— Совсем поглупела? — строго сказал сверху дядя Сандро.

— Ну что тебе? — сказала тетя Катя и, отодвинув платок, смущенно улыбнулась золотом зубов,— кажется, вроде все смотрят мне в рот.

— Ну, что? — обернулся ко мне дядя Сандро.— Хорошо подковали мою старушку?

— Замечательно,— сказал я, глядя, как тетя Катя, снова приподняв платок, осторожно спрятала в него свое золото.

— Теперь понимаешь, что за человек мой Тенго?

— Но где он взял золото? — спросил я.

— Ха! — воскликнул презрительно дядя Сандро,— где он взял? Да ты спроси, как было!

— Как было? — спросил я, и он мне рассказал, как было.

— Когда мы на мотоцикле с грохотом подкатили к этой поликлинике, все окна распахнулись, и они поняли — дело плохо. Тенгиз не выключил свою машину, и мы прошли внутрь. Пока шли по коридору, двери приоткрывались и оттуда высовывались эти жулики, и только мы поравняемся — как двери под взглядом Тенгиза: хлоп! хлоп! хлоп!

Тенгиз распахивает дверь директорского кабинета — никого. Успел сбежать. Теперь я спрашиваю: что бы ты делал на месте Тенго? Ты бы, как нищий пенсионер, стоял бы в дверях и ждал, пока он вернется. Что сделал Тенгиз? Тенгиз вошел в кабинет и сел на директорское место. Только сел, зазвонил телефон. Берет трубку.

— Алло,— говорит и смотрит на меня. Тот, видно, спросил, кто говорит.

— Тенгиз говорит,— отвечает,— начальник автоинспекции.

Тот, видно, спрашивает, где, мол, директор.

— Директор в бегах,— говорит,— как раз мы его ищем. Есть подозрение, что сбежал с казенным золотом. Дороги перекрыты.

Тот, видно, испугался и, ничего не ответив Тенгизу, положил трубку. А Тенгиз спокойно набирает номер и разговаривает со своими знакомыми. И что же ты думаешь? Через пять минут директор, как побитая собака, входит к себе в кабинет, а Тенгиз (ах, ты мой Тенго!) продолжает говорить по телефону, только теперь не на меня смотрит, а на директора. Рукой показывает ему — садись! — но тот не садится, потому что хочет в свое кресло сесть. Наконец, Тенго кладет трубку и смотрит на директора.

— Что скажешь? — спрашивает Тенго.

— Я уже все сказал,— говорит директор, как будто бы сердится, а на самом деле боится.

— Зато я еще не все сказал,— отвечает Тенгиз,— потому что не выношу, когда обижают старушек, особенно таких добрых, застенчивых старушек, как наша тетя Катя. И при том чистоплотная старушка. Если,— говорит,— в доме ничего нет, одно лобио подаст, но в таком виде, что пальцы покушаешь. И вот, когда обижают таких старушек, когда им путем обмана стачивают зубы, как бериевские палачи, а потом вместо золота предлагают железо, я,— говорит,— бросаю дорогу и выхожу на защиту. А в это время подпольные фабриканты через левых шоферов провозят левые бесфактурные товары.

В общем, такую речь сказал Тенгиз, что я чуть не заплакал. Но директор, наоборот. Видно, он решил, что Тенгиз дает слабину, раз говорит про добрых, застенчивых старушек. Но он ошибся, дурачок, потому что Тенгиз никогда не дает слабину, а всегда свой подход имеет.

— Что вы мне лекции читаете,— говорит директор громко, чтобы сотрудники слышали, какой он храбрый,— у нас нет золота, и вообще встаньте с моего места.

— У вас золото есть,— отвечает Тенгиз и так спокойно пробует открыть ящик стола, как будто надеется, что там золото лежит.

— Не трогайте ящик! — кричит директор и подбегает к нему.

Оказывается, это как раз надо было Тенгизу. Как ястреб цыпленка — Тенгиз цап его одной рукой за подбородок! Честно скажу, это мне не понравилось, черт с ним, думаю, лучше бы моя старушка с железной челюстью ходила.

У директора рот разинулся, слова сказать не может, почернел.

— У тебя во рту,— говорит ему Тенгиз и, держа его за подбородок, раскачивает ему голову,— хватит золота на двух старушек, и я это тебе докажу совершенно официально как старший автоинспектор.

С этими словами он его отпускает, клянусь прахом отца, отряхивает руки, и мы выходим.

— Приведи тетю Катю,— говорит он в дверях,— а он пока вспомнит, где золото лежит.

Одним словом, как видишь, и золото нашли, и старушку мою подковали, и ни копейки денег не взяли.

— Как ни копейки?

— Налог государству уплатили,— добавила тетя Катя,— а так им ничего не дали.

— А собирались пятьдесят рублей дать,— добавил дядя Сандро.

— Могучий человек! — сказал я вполне искренне.

— А как же! — заключил дядя Сандро.— На такую дорогу всякого простачка не поставят.

Они пошли. Я еще некоторое время постоял, глядя им вслед: аккуратная старушенция в черной шали и высокий стройный старик рядом. На самом углу они остановились, встретив какого-то знакомого. Дядя Сандро сделал жест в сторону тети Кати, и я понял, что заново излагается эта история. Я вошел в редакцию.

Не знаю, точно ли так происходило то, что рассказывал дядя Сандро, но, примерно через месяц, я убедился, что Тенгиз — человек самого решительного свойства, а наши дороги таят в себе немало опасностей.

* * *

В тот воскресный день мы с Тенгизом договорились, что он довезет меня на своем мотоцикле до поворота на село Атары, куда я ехал к родственникам. Это было для него не слишком обременительно, потому что он сам каждое воскресенье отправлялся в деревню к своим родственникам, они жили дальше, по пути.

Он подъехал ко мне домой, я уселся в коляску, и мы выехали из города. Был хороший солнечный день, и мы быстро катили вдоль моря. Километрах в десяти от города Тенгиз вдруг резко затормозил, и мотоцикл остановился.

— Что случилось? — спросил я.

— Надо проверить,— кивнул он назад, скидывая мне на колени свои гладиаторские перчатки,— аферисты.

Я оглянулся и увидел далеко позади обыкновенную полуторку. Она догнала нас и теперь проезжала мимо. Тенгиз приподнял руку и небрежно махнул им. Я заметил, что в кабине сидело два человека. Проехав еще метров двадцать, машина, как мне показалось — неохотно, остановилась.

Я до сих пор не понимаю, как он узнал эту машину, потому что он ни разу не оглянулся за все время, пока мы ехали из города. То ли он узнал ее по звуку мотора, то ли увидел в своем зеркале, а может, он по каким-то своим сложным автоинспекторским расчетам определил, что она именно в это время должна появиться здесь, подобно тому, как астрономы заранее определяют время сближения небесных тел.

Так или иначе, машина остановилась, и Тенгиз направился к ней своей ленивой, расслабленной походкой.

Сидя в коляске, я видел, как он подошел к кабине и, поставив ногу на подножку, разговаривал с шофером. Изредка до меня долетали отдельные слова, из которых мало что можно было понять, да я и не старался вникать в них.

От нечего делать я надел на руки его перчатки. Они были тяжелые, и я почувствовал себя по локоть погруженным в средневековье. Я почувствовал, что центр тяжести моей сущности переместился в сторону моих утяжеленных рук. Я почувствовал легкое желание сжать в этих турнирных перчатках рыцарское копье или меч.

Через мгновение, по-видимому, отсутствие остальных рыцарских доспехов вернуло меня в обычное миролюбивое состояние, и я задремал, ощущая на своем лице тепло осеннего солнца и слыша за эвкалиптовой рощей шум моря. Спросонья я улавливал слова, которые долетали до меня от машины. Так они разговаривали минут пять или десять.

Потом я открыл глаза и увидел, как из машины высунулась толстая красная рука шофера, закатанная по локоть. Он протягивал Тенгизу какую-то бумагу. Возможно, это был наряд. Лицо Тенгиза изме-

нилось. Его горбоносый профиль принял насмешливое выражение, как у Мефистофеля, которому подсовывают поддельную индульгенцию. Он и настоящей-то индульгенции знает цену, а тут еще поддельная. Он бросил на нее один только взгляд и с легкой досадой протянул в окно.

— Показывай... бабушке...

Они говорили еще некоторое время, а Тенгиз все стоял в той же расслабленной позе, опершись ногой о подножку машины, а шофер, видимо, ему что-то доказывал. Я даже про себя удивился терпению Тенгиза, а главное, его добросовестности. Все-таки у него был выходной, и он мог бы дать себе отдых.

Но вот что происходит дальше. Рука из кабины подает ему какой-то документ, по-видимому, шоферскую книжку, и Тенгиз, не глядя, сует ее в карман и идет к мотоциклу. Но тут открывается дверь кабины с противоположной стороны, и шофер быстро догоняет его.

Это парень лет тридцати, небольшого роста, очень коренастый, с небритым лицом, с красными, вроде от недосыпа, веками. Он идет рядом с ним и что-то говорит, и я обращаю внимание на его широкие плечи и невероятно толстые руки, высовывающиеся из закатанных рукавов ковбойки.

Вдруг я замечаю, что этот парень лезет в карман, что-то вынимает и, на мгновение прижавшись к Тенгизу, что-то сует ему в брюки.

Тут я окончательно поборол дрему и уставился на них. Я никак не мог понять: в самом деле он ему что-то сунул в карман или мне это только померещилось, потому что ни у парня, ни у Тенгиза выражение лица не изменилось. Парень продолжал ему что-то говорить, а Тенгиз продолжал его насмешливо выслушивать. Потом они остановились, и Тенгиз, вынув из кармана книжку, теперь я был уверен, что это шоферские права, отдал ее этому парню, слегка помахав ею перед его носом.

Парень кивнул ему своей лохматой головой, и теперь было особенно заметно, какие у него тяжелые плечи и руки, особенно по сравнению с Тенгизом, высоким и тонким, как эстрадный танцор.

Парень повернулся широкой спиной и быстро пошел к машине. Тенгиз подходил к мотоциклу своей расслабленной походкой. И пока он подходил, я никак не мог понять, знает ли он, что парень этот что-то сунул ему в карман или вообще мне это померещилось. И только когда он подошел, по его блудливо-самодовольной улыбке я понял, что знает.

В этот миг машина почти с места вырвалась на большой скорости. Тенгиз продолжал улыбаться, но мне показалось, что какая-то тень тревоги пробежала по его лицу. Он медленно сунул руку в карман и вынул оттуда дореформенную трешку.

В следующее мгновение он брезгливо отбросил эту трешку и взглянул исковерканным от гнева лицом на дорогу. Машина пылила далеко впереди.

— Слезай! — гаркнул он.

Я, сам не понимая как, мгновенно вывалился из коляски. Кажется, он вытряхнул меня из нее, как фасолину из перезрелого стручка.

Мотоцикл взревел, как взлетающий самолет, и, обдав меня вихрем горячего воздуха и пыли, исчез впереди. Я, между прочим, здорово тогда разозлился на него. Скорее всего, от глупой неловкости, с которой я вывалился из коляски, к тому же на руках моих остались его турнирные перчатки, что было особенно неуместно. Я встал, снял эти перчатки и, шлепая одной из них по брюкам, стряхнул с себя пыль. Потом я бросил перчатки на обочину дороги и стал ждать. Я не знал, что думать обо всем этом, я только ясно ощутил, что в воздухе запахло лжесвидетельством.

Минут тридцать мотоцикл не появлялся, и я заглядывал в кабины встречных машин, стараясь угадать по выражению лиц, сидящих в машине, знают ли они что-нибудь о том, что случилось впереди, но, видимо, никто ничего не знал, да и машин было не так много.

Наконец появился мотоцикл. Он шел на небольшой скорости. Он был похож на победителя заезда, делающего круг почета. Поравнявшись со мной, Тенгиз остановился и устало сбросил руки с руля. Пыльное лицо его сияло победной сытостью кровника, добывшего голову врага.

— Что было? — спросил я у него, подавая ему перчатки.

— Было то, что должно было быть,— сказал он, одной из них вытирая лицо.

Вот что он рассказал, заглядывая в кабины проезжающих машин и иногда кивая знакомым шоферам.

— Минут через пятнадцать догнал. Вижу — обойти не дает. Даю вправо — он вправо. Пытаюсь влево — и он влево. Посмотрим, думаю, сука, кто кого купит. Близко не подхожу, знаю — тормознет — врежусь. Старый эндурский номер. Ну, думаю, хорошо, как только встречная поравняется с ним, дам газ и проскочу мимо встречной. Но он тоже не дурак. Как только встречная — берет вправо, чтобы тот еле-еле проскочил, не оставляя для меня просвета.

Ну, ничего, думаю, у кого гайка крепче, посмотрим. Присосался, иду сзади. Он прибавляет скорость, я прибавляю, он убавляет — я убавлю. Хочет, чтобы я чуть поближе подошел, чтобы тормознуть. Я чуть прибавлю скорость, он хочет тормознуть, я сбавляю. Опять прибавлю, думает, хочу проскочить, я опять убавляю. Наконец не выдержали у него нервы. Тормозит и выворачивает вправо, а я слева выскакиваю вперед, бросаю мотоцикл и выхватываю пистолет. Понял — хана ему. Останавливает машину. Подхожу. Сидят — готовые мертвецы. Толстый молчит. А второй говорит:

— Прости, Тенгиз! Клянусь мамой, пошутили.

— Я тоже,— говорю,— хочу пошутить. Выходите!

Держу под прицелом, потому что толстый такой аферист, на все пойдет.

— Поворачивайтесь спиной,— говорю. Поворачиваются.

— Ты отойди на три шага,— говорю шоферу. Отходит. Обыскиваю дружка, карманы пустые. Обыскиваю коротышку. Уже по затылку вижу: в кармане что-то есть. Правильно. Пачка денег в кармане. Не считая, кладу себе в карман.

— Триста? — спрашиваю.

— Да,— бурчит,— триста.

— Правильно,— говорю,— такса за провоз бесфактурных нейлоновых кофточек из Эндурска до Мухуса. Теперь езжайте и рассказывайте в Эндурске, как вы посмеялись над Тенгизом дохрущевской трешкой.

Молчат. Коротышка сопит. Съел бы меня, чувствую, да боится пулей подавиться. Сели в машину и, пока не уехали, все время под прицелом держал, потому что этот коротышка — первый аферист Эндурска.

С этими словами он вынул пачку десяток из кармана и пересчитал.

— В самом деле триста? — спросил я.

— Да, но не в этом дело,— сказал он, укладывая деньги в бумажник и пряча бумажник в карман кителя.

— А в чем? — спросил я.

— Ты представляешь, как он мог опозорить меня! — воскликнул Тенгиз и, прикусив губу, покачал головой.— Ну, теперь пусть рассказывает, кто кого опозорил.

— Неужели выстрелил бы, если бы не остановились? — спросил я.

— А разве иначе этот аферист остановился бы? — сказал он, надевая перчатки и включая мотор.

— Но ведь тебя за это посадили бы!

— Конечно,— согласился он, и уже громко, чтобы перекричать мотор: — Когда человеку задевают честь — человек идет на все!.. Садись, поехали!

Я сел в коляску.

— Опозорить хотел, негодяй! — снова вспомнил он, разворачиваясь.

Мы поехали. Через некоторое время Тенгиз что-то мне крикнул и кивнул на дорогу, сбавляя скорость. Я увидел на шоссе темный след от шин резко затормозившей машины. След уходил вправо, как будто машину занесло. Он снова дал газ, оставляя позади место своего поединка с эндурским шофером.

— Опозорить! — донеслось до меня сквозь шум мотора, и я увидел, как вздрогнула его спина. Так вздрагивают от чувства омерзения люди, вспоминающие, каким чудом им удалось избежать нравственного падения.

Он благополучно довез меня до поворота в село Атары, а сам поехал дальше. Мне показалось, что он уже успокоился. Во всяком случае, поза его на мотоцикле выражала обычную для него ленивую расслабленность.

Легко догадаться, что с тех пор я не слишком стремился к мотоциклетным прогулкам с Тенгизом.

...Примерно через год я узнал, что его сняли с работы. Как-то встретил его на улице.

— Уже знаешь? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— Слыхал,— сказал я.

— Что думаешь?

— Сам знаешь,— говорю,— можешь считать, что легко отделался.

— Все это ерунда,— досадливо отмахнулся он,— не в этом дело.

— А в чем?

— Интриги,— сказал он многозначительно,— место у меня хорошее, многие завидуют... Но я это так не оставлю, в ЦК буду жаловаться...

Пока мы говорили, он поглядывал на дорогу в ожидании, как можно было понять, подходящей машины. Наконец, он поднял руку и возле нас остановилась частная «Волга». Видимо, магию власти он еще не утратил.

— Подбросишь до Каштака,— сказал он владельцу машины. Тот с мрачной покорностью кивнул головой.

— Интриги,— повторил он еще раз, усевшись рядом с водителем, как бы намекая на могущественную корпорацию, которая собирается его уничтожить, но с которой он намерен бороться и бороться.

И видно, боролся, и борьба была нелегкая. Во всяком случае, корпорация сначала взяла верх. Через несколько месяцев я его увидел за рулем такси возле базара. Он сидел, откинувшись на сиденье, с ленивой снисходительностью ожидая, пока усядутся сзади несколько крикливых женщин с сумками, одна из которых, высунув руку из окна, держала за ножки щебечущий букет цыплят.

Всей своей позой, выражающей снисходительное равнодушие к настоящему, он мне почему-то напомнил (так мне представилось) эмигранта-монархиста, вынужденного в чужой стране заниматься унизительным делом, но верящего в свою правоту и ждущего своего часа.

В отличие от эмигрантов-монархистов, Тенгиз его дождался. Еще через полгода он был возвращен, правда, в качестве простого инспектора на ту же дорогу. Возможно, понадобился его опыт.

Дело в том, что в это время среди мирных подпольных фабрик Эндурска появилась сверхподпольная трикотажная фабрика, выпускающая изделия из «джерси» и работающая на японских станках, что было установлено, к сожалению, только по образцам конечной продуции эспертами Мухуса, Сочи, Краснодара и других городов страны.

Раздраженные успехами новой фабрики, старые фабриканты Эндурска, по иронии истории, отмеченной еще Гегелем, вошли в классово чуждый контакт с органами ОБХСС с тем, чтобы помочь им найти и разорить своих удачливых конкурентов.

Но это оказалось не так просто. Борьба длилась несколько лет, и новое, кстати, так и не выходя из подполья, победило старое. Держатели акций «Джерси», несмотря на японские станки, в этой схватке применили старинный слободской прием. В один прекрасный день в Эндурске сгорел подпольный склад с огромным запасом временно законсервированных нейлоновых кофточек.

И опять, теперь, правда, в обратную сторону, сработала ирония истории. Советским пожарникам пришлось гасить этот классово чуждый пожар.

Оказалось, что дом, в котором находился склад, раньше принадлежал грузинскому еврею Давиду Аракишвили, который уехал в Израиль, подарив свой дом, как выяснилось после пожара, своему фиктивному племяннику. Изощренность этого сионистского издевательства Давида Аракишвили состояла в том, что, оставляя дом на имя несуществующего племянника, он в то же время всех своих существующих племянников забрал с собой.

Спрашивается, зачем паспорт, зачем прописка, зачем домовая книжка, если в Эндурске целый дом можно продать подпольным фабрикантам под видом меланхолического подарка остающемуся племяннику от разочарованного в возможностях социализма дяди?!

Но, как говорится, нет худа без добра. С этих пор лекторы Эндурска и Мухуса с немалым успехом используют эту историю, как наглядный пример, подтверждающий тезис о хищническом характере частнособственнического развития, что неоднократно отмечалось в лучших работах как Маркса, так и Энгельса.

Рассказ мула старого Хабуга

В то утро я ел траву в котловине Сабида, когда на гребне холма, разделяющего котловину на две части, появился мой старик. Рядом со мной паслось несколько лошадей и ослов, поодаль паслись коровы. Лошадь одного из наших соседей, вздорного старика лесничего Омара, была с жеребенком, и я, конечно, старался держаться поближе к нему. Мы, мулы, вообще обожаем жеребят, а я в особенности. Тем более этого жеребенка я дней сорок тому назад спас от волков. Но об этом я расскажу как-нибудь потом, хотя на случай, если потом рассказать забуду, кое-что расскажу и сейчас.

В тот раз мы так же паслись в котловине Сабида, только были гораздо ниже в лощине. Я как всегда старался держаться возле жеребенка, потому что я от нежности схожу с ума, когда слышу запах жеребенка или вижу его длинноногую неуклюжую фигуру.

Два волка неожиданно выскочили из ольшаника, и все лошади и ослы бросились наутек. Я, конечно, тоже бросился бежать, но, все-таки, несмотря на страх, я о жеребенке не забывал. И когда на подъеме он начал отставать, я сам сбавил ход. Я понял, что оба волка стараются отрезать жеребенка от остальных лошадей и ослов. Ну, нет, решил я, пока я жив, вам не перегрызть его тонкую шею.

И вот все лошади и ослы уже впереди, а волки с обеих сторон настигают жеребенка. А я бегу рядом, и один волк уже между нами. Шерсть на шее вздыбилась, пасть оскалена, чувствую, выбирает мгновение, чтобы изловчиться и прыгнуть на шею жеребенку.

А на меня, между прочим, совсем не обращает внимания. Этим я и воспользовался. Как только он изловчился для прыжка, я примерился к нему, слегка развернулся и лягнул его правым задним копытом. После такого удара можно не оглядываться. Я с наслаждением почувствовал, как череп волка хрустнул под моим копытом.

Да, скажу я вам, это был толковый удар. Как потом оказалось, волк замертво свалился, и его в тот же день подобрал пастух Харлампо. Ударив этого волка, я, не оглядываясь, припустил за вторым. Я снова догнал жеребенка и обошел его с той стороны, где был второй волк. Но он, то ли заметив, что я сделал с его товарищем, то ли испугавшись, с какой неимоверной яростью я мчался на него, затрусил в сторонку и скрылся в зелени рододендрона.

А, между прочим, все остальные лошади и ослы, в том числе и кобыла-мать этого жеребенка, были далеко впереди на гребне холма. Я бы тоже сейчас там мог быть, но ведь жеребенок сильно отстал на подъеме, не мог же я его оставить волкам. Правильно люди говорят: не та мать, которая родила, а та, которая воспитала.

Мы, мулы, вообще тем отличаемся, что очень любим жеребят. Ну, то, что мы умнее всех остальных животных, это всем давно известно. Но не все знают, что мы обожаем жеребят. И надо же, что именно мы их не можем иметь. Очень уж это несправедливо. Ослята и человеческие дети мне тоже нравятся, ну, конечно, все-таки с жеребятами их не сравнить.

Так вот, если я чувствую, что жеребенку что-то угрожает, я прихожу в неслыханную свирепость. За свою жизнь, спасая жеребят, я убил двух волков, четыре лисы и затоптал восемь змей. Зайцев я даже не считаю. Могут мне сказать, что лиса не нападает на жеребенка. Правильно, в спокойном состоянии я сам это понимаю. Но когда я пасусь рядом с милым, беззащитным жеребенком, и вдруг между нами пробегает лиса, я теряю голову от бешенства. Если я пасусь рядом с жеребенком — не подходи и все! Что тебе, места мало, что ли?!

Больших, злых собак я тоже лягаю, когда они нападают на меня. Но людей — никогда. Правда, как-то я лягнул одного дурака, но за что? Я стоял себе у мельничной коновязи, а он подошел сзади и ни с того, ни с сего поднял мой хвост. До сих пор не пойму, зачем ему нужно было подымать мой хвост. Одно дело, когда мой старик моет меня в ручье и подымает мой хвост, чтобы, плеснув туда воду, отодрать проклятых мух. Другое дело, когда к тебе подходит незнакомый человек и ни с того, ни с сего задирает тебе хвост. Среди людей, между прочим, очень много глупцов попадается.

Вообще, по моим долгим наблюдениям, ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека. И понятно почему. Человек, как хищное животное, в основном из мяса делает свое мясо. А мул из травы делает мясо. Из мяса сделать мясо каждый дурак сможет. А вот ты попробуй из травы сделать мясо — это, братец, куда сложней.

Вот как дело обстоит. Но надо быть до конца справедливым. И эта справедливость велит мне признаться в том, что, хотя ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека, все-таки ум самых умных людей выше ума самых умных мулов. Это я вижу, когда честно сравниваю свой ум с умом моего хозяина. Да, мой старик в основном умнее меня, хотя и он иногда делает глупости.

И в том-то обида, что я редко могу поправить моего старика, когда он делает или говорит глупость. Понимать-то я прекрасно понимаю абхазскую речь, но сказать ничего не могу, потому что мул бессловесное животное.

Некоторые недалекие люди могут сказать, якобы поймав меня на слове:

— Как же ты все это рассказываешь, если ты бессловесное животное?

Поясняю для недалеких людей, как это происходит. Дело в том, что все, что я говорю, я мысленно рассказываю ангелам, а они все это заставят увидеть и услышать во сне одного из наших парней. А он уже в свою очередь расскажет об этом остальным людям. Ничего, ничего, не беспокойтесь, он это сделает, как надо. Это уж точно, что он пограмотнее ваших писарей в чесучовых кителях.

Теперь, когда всем ясно, что и как получается, сразу же перехожу к рассуждению о собаках, чтобы потом не забыть. Дело в том, что у многих людей существует глупейшее заблуждение, что собака самое умное животное.

Просто людям приятно думать, что их имущество охраняет очень умное животное. Им так спокойней. Я об этом говорю не потому, что собаки часто бросаются на нас, хотя это тоже кое-что говорит об их недалеком уме. Я же, например, не оспариваю, что собаки преданы своим хозяевам. Да это и в самом деле так. Но то, что эту преданность они все время тычут в глаза, забывая о собственном достоинстве, тоже не признак ума.

Но главное не это. Если спокойно обдумать и взвесить все причины, по которым собака лает в течение одного дня, то невольно приходишь к мысли: а в порядке ли вообще у нее мозги?

Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо чаще, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется — только в одном случае ей в самом деле надо было лаять. А в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю.

Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабида, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича:

— Арапка, Арапка!

Так он меня называет, хотя я не такой уж черный. Но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет Арапкой. Но одно дело Арапка я — мул, и другое дело Арапка он — осел. Одно и то же имя, а звучит совсем по-разному.

Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз уж он меня ищет, все равно мимо не пройдет.

Наконец я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горсть соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял по тому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он

очищает свое лицо от щетины таким острым особым ножичком. Когда надо поехать в сельсовет или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога.

Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чудак? Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин, и я не хочу иметь никакого другого хозяина.

Он подошел ко мне, и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль, и когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удила, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину.

Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка, и, когда мы тронулись, он поднял голову и посмотрел мне вслед. О, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый длинный рыжик равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя спас от смерти, я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может, он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил он мне дважды подходить к нему и положить голову на гривку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты! Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу, и я ощущал, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством, и, фыркнув, отбежал от меня.

А второй раз, когда мы так стояли, он не прерывал блаженство, я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости, но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка, а то бы мог ее так укусить, что она взвыла бы на всю котловину Сабида. Взревновала, старая дура! Если ты так любишь своего жеребенка, почему ты оставила его позади и первая удирала от волков!

Мы подошли к дому моего старика. Он, наклонившись, толкнул калитку, и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том, что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился.

Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что жалели, было бы не так обидно. Но от того, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно.

Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его Сандро живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слыхал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого понять не могу. Так каждому захочется танцевать, и тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай?

Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чегем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят.

Я об этом слыхал много раз, и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, несмотря на шум мельничного жернова.

Там, в городе, одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл. А иногда просто убивают. А за что — никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют. Но что-то мне не верится. Мы со своим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев и ни разу не отравились.

Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут. Да что они, стреножены, что ли? Раз такое дело — бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет?! Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику. И ничего — обошлось.

Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в Чегем, а старик стал уверять, что такой бездельник, как Сандро, никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затосковал, решив, что теперь-то, конечно, забудут дать мне кукурузу.

— Хватит,— наконец гаркнул мой старик,— собери мне в дорогу поесть и дай моему мулу кукурузы.

Ай да мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук десять, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные, золотистые зерна. Тут, как всегда, куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я, конечно, старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да разве за всем уследишь. Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону, и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их.

Я съел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и, выйдя на веранду, вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне, наоборот, приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает. Видно, ему нравится забывать то, что он ел. А мне, наоборот, нравится помнить то, что я ел. Например, как сейчас кукурузу.

Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я, как всегда, раздул живот, а он, как всегда, пнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, и он как следует затянул подпруги. И что интересно — ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает пнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот, но пока что не получается. Он все замечает.

Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли чего подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все, как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Оглядев дом Исы и его двор и не найдя там никаких признаков бесхозяйственности, он посмотрел вниз, где недалеко от родника стоит дом его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок.

Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что по абхазским обычаям, если хозяева дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута.

Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось напиться или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей подымается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя.

И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были все время распахнуты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья.

Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать.

И сейчас он заметил, что у Маши, жены его сына Махаза, дверь на кухню закрыта.

— Эй, вы там, у Маши,— закричал он вниз,— от кого это вы заперлись на кухне!

— Мама купается, дедушка,— закричала в ответ одна из дочерей тети Маши,— потому она закрылась!

— Чтоб ее водяной употребил,— пробормотал мой старик,— слыхано ль, чтобы женщина целыми днями плескалась.

Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухни была закрыта.

Наконец он взгромоздился на меня, и мы пошли.

— Верни моего сына! — крикнула ему вслед старуха.

— Чтоб язык твой отсох,— бормотнул мой старик, наклонившись, открыл калитку, и мы вышли со двора.

Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь Чегем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз, или лучше бы держался, как этот Даур.

— Хороших тебе трудов! — крикнул мой старик.

— Добро тебе, Хабуг,— ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку.

— Спешься, выпьем по рюмке,— сказал Даур.

— Нет, нет,— ответил мой старик,— я так, мимоездом.

— Куда путь держишь? — спросил Даур.

— К сыну в город еду,— ответил мой старик.

— Все на своем муле,— вдруг сказал Даур,— я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал.

И далась им эта лошадь. Вот люди, кто ни встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак болваны не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях.

— Я уж так на своем муле до смерти проезжу,— сказал мой старик и, вздохнув, добавил,— а кумхоз,— что поделаешь, время заставило.

— Да, время,— вздохнул Даур в ответ.

— Ну, а что тебя, не теребят? — спросил мой старик.

— Опять вызывали в сельсовет,— сказал Даур,— сдается — новый налог придумали.

— Нет уж, от тебя не отстанут,— сказал мой старик.

— Эй, ты! — крикнул Даур в сторону дома,— вынеси нам чего-нибудь горло промочить!

Я понял, что теперь они будут долго разговаривать, и стал потихоньку пощипывать траву возле приусадебного плетня.

— Ну, а что у вас в кумхозе? — спросил Даур.

— Эти болваны,— сказал мой старик,— придумали дурость под названием план. Табак еще не дошел, а по плану они его приказывают ломать. Сколько я им ни говорил — не слушаются. Попомни мое слово — гиблая это затея. Весной я им говорил: не надо спешить засевать низинку, надо дать земле просохнуть. Опять не послушались. Теперь там кукуруза не больше моей ладони.

— Я-то пока, слава богу, хозяин на своей земле,— угрюмо сказал Даур.

Тут его старуха принесла графинчик чачи, две рюмки и очищенных орехов в тарелке. Они выпили и закусили. Старик мой, выпив рюмку и наглядно запрокинув ее, сказал свою обычную присказку:

— Чтобы этот кумхоз опрокинулся, как эта рюмка.

— Да прислушается аллах к словам твоим,— поддержал его Даур.

Они выпили по три рюмки, и хозяин упрашивал моего старика выпить еще, но мой старик наотрез отказался, говоря, что он и так задерживается в дороге.

В самом деле, солнце уже поднялось на высоту дерева, а мы только до конца своего села дошли. Мне самому не терпелось идти, потому что траву возле забора я всю общипал, а когда попробовал прихватить кукурузный листик, высунувшийся между прутьями плетня, так этот единоличник стукнул меня рукой по голове. Не очень больно, но обидно. Что ему этот листик кукурузы? Жадные они все-таки, единоличники.

Честно скажу, в этом отношении колхоз мне больше нравится. Возьмем такой пример. Однажды соседский буйвол проломил изгородь одного крестьянина, и мы за этим буйволом вошли в поле. Нас было три коровы, два осла и я. Мы совсем недолго лакомились кукурузными стеблями. Мы объели участок поля совсем небольшой, ну, не больший, чем занимает обычный крестьянский дом. И вдруг нас обнаружил хозяин. Что тут было! Он чуть не убил нас! Он такой дубиной колошматил нас, что я чуть сознание не потерял. Главное, всех бил, кого попало, хотя легко было догадаться, что только буйвол мог проломить эту изгородь.

А в другой раз мы славно потравили колхозное поле. Между прочим, тот же буйвол прорвал забор. У него была такая привычка, если уж он подымает голову и в глаза ему попадаются сочные кукурузные стебли, он так и прет на них, и уже его никакая ограда не удержит. Ну, так вот, мы там славно попировали, может быть, час, может быть, больше. И только тогда нас заметил один колхозник. Правда, прогнать прогнал, а бить не бил. Только комья земли бросал в нашу сторону, чтобы мы ушли. Так где же после этого, я спрашиваю, более доброе, более сердечное отношение к животному? Конечно, в колхозном поле, а не на приусадебном участке. Вообще-то, честно говоря, в колхозе много глупостей делается, и мой старик прав. Но у них есть и хорошие стороны, и надо быть к ним справедливым.

Мой старик распрощался с Дауром, и мы стали спускаться по крутому склону вниз к Кодору. Я очень осторожно переступал ногами, чтобы не споткнуться самому или, не дай бог, не сбросить вниз моего старика. Мелкие камушки так и сыпались из-под ног, и надо было следить в оба, чтобы каждый раз ставить ногу в надежное место.

Справа и слева от этого очень крутого спуска шли крестьянские дома, и оттуда беспрерывно нас облаивали большие и маленькие собаки. Хотя я на них совсем не обращал внимания, все-таки меня раздражал этот почти беспрерывный злобный лай. Хоть бы он имел какой-нибудь смысл! Мы ведь к вам во двор не заворачиваем, безмозглые твари, мы ведь только мимо, мимо проходим! Ведь можно же было понять, живя возле такой дороги, что здесь много народу проходит и всадников проезжает! Так нет, они каждый раз делают вид перед своими хозяевами, что им с большим трудом удалось отогнать грабителей от своего дома.

Несмотря на трудную дорогу и этот раздражающий лай, я все-таки успевал оглядеть дворы, надеясь увидеть, не мелькнет ли где-нибудь жеребенок. Но так и не заметил ни одного жеребенка. Такое пренебрежение жеребятами, я думаю, не только преступно, но и глупо. Скажем, вы не любите жеребят, но ведь из них вырастают лошади, об этом вы подумали? На чем вы будете ездить через несколько лет, если такое отношение к жеребятам продлится?

На середине спуска к реке Кодор нам повстречался странствующий еврей по имени Самуил. Он ехал на ослике сам и впереди погонял ослика с поклажей. Этот странствующий еврей из Мухуса привозит в Чегем разные городские товары и меняет их на деньги или деревенские продукты.

Поравнявшись с Самуилом, мой старик остановился. Тот тоже остановил своего ослика.

— Добром тебе,— сказал мой старик.

— Добром тебе тоже, Хабуг,— приветливо ответил Самуил.

— Что везешь к нам? — спросил мой старик.

— Ткани для женских платьев и мужских рубашек,— сказал Самуил,— галоши с загнутыми носками, какие обожают абхазцы, стекла для ламп, иголки для швейных машин, нитки, пуговицы, чуму, холеру и другую всякую всячину.

— Зайди к нашим, может, что-нибудь возьмут,— сказал мой старик, подумав.

— Обязательно зайду,— сказал Самуил.

— А что слышно в городе, куда я еду? — спросил мой старик.

— Лучше не спрашивай, Хабуг,— всплеснул руками Самуил,— в городе, куда ты едешь, людей берут каждую ночь, а иногда даже днем.

— Какую нацию сейчас больше всех берут, Самуил? — спросил мой старик.

— Что ты говоришь, Хабуг,— снова всплеснул руками Самуил,— разве сейчас есть такая нация, какую меньше берут?! Если была бы такая нация, я бы купил документ и вступил в эту нацию. А сейчас я хотел бы со своей семьей скрыться в Чегеме.

— Плохи дела,— сказал мой старик,— если ты, Самуил, торгующий человек, хочешь скрыться в Чегеме.

— Дела даже хуже, чем мы с тобой думаем, Хабуг,— сказал Самуил.

— Как ты думаешь,— спросил мой старик,— чего добивается Большеусый?

— Ни один человек в мире не знает,— ответил Самуил,— чего он этим добивается. Ученые люди голову ломают, чтобы понять это, но никто понять не может.

— Ученые люди не знают,— сказал мой старик,— зато я знаю, чего он добивается.

— Я знаю, что ты скажешь,— воскликнул Самуил,— есть люди, которые говорят, что он сошел с ума. Это не я так говорю, это люди так говорят.

— Нет,— твердо сказал мой старик,— он не сошел с ума.

— Я знаю, что ты думаешь, Хабуг,— воскликнул Самуил,— но умоляю, не говори об этом никому! Особенно в городе, куда ты едешь! Сейчас никому нельзя доверять. Даже собственному мулу не доверяй своих мыслей!

Ну, уж такой глупости я от Самуила никак не ожидал. Я не то, чтобы предать своего хозяина, я жизнь готов за него отдать. Да если ты хочешь знать правду — животные вообще никого не предают. Предают только люди.

— Знаю,— спокойно сказал мой старик,— не то, что в городе, я даже за Кодором не могу так сказать, потому что среди долинных абхазцев уже появились доносчики.

Так они поговорили еще немного и разъехались. Самуил — вверх. Мы — вниз. Меня очень встревожил этот Самуил. Я даже стал опасаться за своего старика. После Кодора он обычно держит язык за зубами, но очень уж он уверен, что доносчики на эту сторону Кодора не перебрались.

Этот странствующий еврей Самуил впервые появился в Чегеме пять лет назад. До этого в Чегеме не было ни одного еврея и многие чегемцы даже не подозревали о существовании такой нации. И они стали приходить в Большой Дом, чтобы поглазеть на Самуила, поговорить с ним, подивиться его знанию абхазского языка.

И только вздорный человек, лесничий Омар, не ходил смотреть на Самуила и пытался отговорить остальных, чтобы они не ходили смотреть на него. Во время николаевской войны с Германией Омар служил в «дикой дивизии» и любил рассказывать о том, как они там в этой «дикой дивизии» рубили людей от плеча до седла. Но чегемцам давно надоели его рассказы, и никто не хотел его слушать. И теперь ему было обидно, что все бегут в Большой Дом послушать Самуила и посмотреть на него.

— Куда прете, куда, куда! — кричал он чегемцам с веранды своего дома, когда они шли знакомиться с Самуилом.— Вы здесь козий помет месили, когда я уже видел евреев!

— В Польше! В Польше! — надрывался он.— Страна такая! Там я видел их! Ничего особенного! Вроде армян! В Польше! В Польше!

Но чегемцы, не желая связываться со вздорным лесничим, молча проходили мимо его дома. И только один обернулся и спросил.

— А эндурцев ты там не видел?

— Эндурцев не видел,— ответил ему Омар,— врать не буду.

К эндурцам у нас очень сложное отношение. Главное, никто не знает точно, как они появились в Абхазии. Сначала выдвигалось предположение, что их турки насылают на нас. Считалось, что турки по ночам на своих фелюгах подплывают к берегу, высаживают их и говорят:

— А теперь идите!

— Куда идти? — будто бы спрашивают эндурцы.

— Вон туда,— вроде бы говорят им турки и машут рукой в сторону Абхазии.

А чегемцы выдвинули другую версию. Они выдвинули такую версию, что эндурцы где-то в самых дремучих лесах самозародились из древесной плесени. Вроде в царские времена это было возможно.

Честно говоря, сам я не знаю, кто прав, но мне кажется, во всем этом есть некоторое преувеличение. Но я отвлекся от странствующего Самуила. Больше всего он поразил чегемцев тем, что говорил по-абхазски.

— Ты абхазский еврей,— спрашивали у него чегемцы,— или ты еврейский абхаз?

— Нет,— отвечал им Самуил,— я еврейский еврей.

— Тогда откуда ты знаешь наш язык? — удивлялись чегемцы.

— Я двадцать лет торговал в абхазских долинных селах,— сказал Самуил,— но мне там сейчас запретили торговать. Потому что там открыли магазины и хотят, чтобы люди покупали в этих магазинах то, чего люди не хотят покупать. А того, что они хотят покупать, в магазинах нету.

— Это мы знаем,— сказали чегемцы,— но ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа?

— Наша родина там, где мы живем,— отвечал Самуил.

Этот ответ Самуила показался чегемцам чересчур простоватым, и они решили его поправить.

— Уважаемый Самуил,— сказали ему чегемцы,— ты наш гость, но мы должны поправить твою ошибку. Родина не может быть в любом месте, где человек живет. Родина — это такое место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю.

— У-у-у,— промолвил тогда Самуил (так рассказывают чегемцы) и закачался, сидя на стуле,— такая родина у нас была, но у нас ее отняли.

— Кто отнял,— спросили чегемцы,— русские или турки?

— Нет,— отвечал Самуил,— не русские и не турки. Совсем другая нация. Это было в незапамятные времена. И это все описано в нашей священной книге Талмуд. В этой книге описано все, что было на земле, и все, что будет.

Чегемцы никогда не думали, что есть такая книга. И они сильно заволновались, узнав об этом.

— Ответь нам на такой вопрос, Самуил,— спросили чегемцы,— еврей, который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, или он узнает об этом от окружающих наций?

— В основном от окружающих наций,— сказал Самуил и добавил, удивленно оглядывая чегемцев: — да вы совсем не такие простые, как я думал.

— Да,— закивали чегемцы,— мы не такие простые.

Чегемцы задавали Самуилу множество разных вопросов, и он наконец устал. И он им сказал:

— Может, вы у меня что-нибудь купите или будете все время задавать вопросы?

— Мы у тебя все купим, раз ты к нам поднялся,— отвечали чегемцы,— по нашим обычаям было бы позорно ничего у тебя не купить.

И они у него все купили, и Самуил был вполне доволен чегемцами. Но на обратном пути у него получилась осечка. Оказывается, Самуил, большой знаток торговых дел, ничего не знал о том, как распределяются блага чегемских гор и лесов. И этим воспользовался Сандро, который провожал его из села.

Была осень, и Самуил сказал, что хотел бы заготовлять чегемские каштаны и продавать их в городе.

— Пожалуйста,— сказал ему Сандро и показал на каштановую рощу в котловине Сабида,— вот эта роща до самой речки в глубине лощины моя, а за речкой уже чужая. Я тебе свою рощу продам, а ты найми греков в селе Анастасовка, и они приедут со своими ослами, соберут тебе каштаны и довезут до самой машины, идущей в город.

И тогда они стали торговаться, но Сандро его и тут перехитрил.

— Что ты со мной торгуешься,— сказал он Самуилу,— я тебе за эти же деньги не только продам рощу, но буду и сторожить ее до твоего приезда. А то сейчас самый сезон. Того и гляди налетят греки и армяне и от твоих каштанов ничего не останется.

— Тогда согласен,— сказал Самуил,— сторожи мои каштаны, а я дней через десять приеду.

— Будь спокоен,— отвечал Сандро,— я даже ни одного дикого кабана не подпущу к твоей роще.

— Не подпускай,— сказал Самуил,— а я найму греков с их ослами и приеду.

— Только ни одному человеку не говори, что я тебе продал каштановую рощу,— попросил его Сандро,— потому что у нас ужасно не любят, когда чужакам продают каштановые рощи.

— Кому ты это говоришь, Сандро,— удивился Самуил,— торговый человек умеет хранить секреты.

Через десять дней Самуил приехал с греками, и они стали ему собирать каштаны, и он им платил за каждый мешок. И когда они, обобрав всю рощу, спустились к речке, Самуил спросил у них, не знают ли они, где сейчас находится хозяин каштанов, растущих по ту сторону речки.

Греки, услышав слова насчет хозяина каштанов, бросили свои мешки и стали смеяться над Самуилом. И Самуилу это очень не понравилось.

— Мне удивительно слышать ваш смех,— сказал Самуил,— интересно, вы меня наняли работать или я вас?

— Хозяин,— сказали греки, наконец перестав смеяться,— конечно, ты нас нанял работать и платишь нам за это деньги. Но нам смешно слышать, что каштаны по ту сторону речки кому-то принадлежат. По местным обычаям это считается лес, лес! А то, что человек собрал в лесу, оно ему и принадлежит.

— А по эту сторону речки,— встревожился Самуил,— каштаны тоже никому не принадлежат?

— Да,— радостно подтвердили греки,— и по эту сторону речки каштаны никому не принадлежат, и сама речка никому не принадлежит... Хочешь, ставь на ней мельницу...

— Мельницу мне незачем ставить, тем более в таком диком месте,— сказал Самуил задумчиво,— но я считал, что каштаны кому-то принадлежат, раз их продают на базаре.

Так Сандро его обманул когда-то, но Самуил ему простил этот обман, потому что все равно выручил за каштаны хорошие деньги да и привык во время приездов в Чегем останавливаться в доме моего старика.

Одним словом, расставшись с Самуилом, мы продолжали свой спуск к реке Кодор. Наконец, когда этот крутой склон мне здорово надоел, мы выбрались на ровное место, где уже хорошо был слышен шум реки. Но тут мы подошли к дому одного грузина, тоже дружка моего старика. Мой старик остановил меня и заглянул во двор. Я тоже заглянул во двор в надежде увидеть жеребенка, но никакого жеребенка во дворе не оказалось. Двор был полон индюками и поросятами.

Под тенью лавровишни на коровьей шкуре лежал дружок моего старика. Увидев нас, он встал и, громко поздоровавшись, стал приближаться к нам. Я понял, что опять начнутся разговоры, и, не теряя времени, стал есть траву на обочине дороги. Хозяин вышел из калитки и, подойдя к моему старику, поздоровался с ним за руку. После этого он довольно насмешливо оглядел меня, и я понял, что он сейчас что-нибудь про меня скажет. Так оно и оказалось.

— Мир перевернулся,— сказал, улыбаясь, хозяин дома,— а ты, Хабуг, как сидел на своем муле, так и сидишь.

— Как сидел, так и буду сидеть,— отвечал мой старик твердым голосом.

Молодец мой старик. Что мне в нем нравится, так это то, что никто его не может сбить с толку. Если уж он что-то сам решил, так пусть хоть всем селом навалятся на него, он все равно будет делать по-своему. И, главное, все знают, что он самый умный в Чегеме старик, все знают, что он своими руками нажил самое большое хозяйство, все знают, что у него была дюжина лошадей, но он выбрал меня.

Так неужели вам не ясно, что если человек во всем умнее вас, так, значит, и в том, что он мула предпочел лошади, проявился его ум. Этим болванам кажется, что, если абхазец сидит на муле, а не на лошади, он себя унижает. Но мой старик лучше всех знает цену любому животному. Другой бы на его месте, если б ему столько говорили против мула, послушался бы людей и, расставшись со мной, отбивал бы себе печенку на тряской лошади.

Ну, так вот. Дружок моего старика предложил ему спешиться и посидеть у него в доме за столом. Мой старик опять отказался, сказав, что он торопится в город. Тогда хозяин окликнул свою хозяйку, и та принесла чайник вина, два стакана и чурчхели на закуску.

И они, конечно, стали пить и закусывать. Честно говоря, в моем старике тоже немало смешных странностей. И тут и там он наотрез отказался зайти в дом, ссылаясь на спешку, а сам пьет и закусывает, сидя верхом на мне. Это называется — он спешит. Раз уж ты решил перекусить, так сойди с меня, дай и мне передохнуть.

— Как дела в вашем кумхозе? — спросил мой старик.

— Да вот все эвкалипты сажаем,— отвечал хозяин.

— Что это еще за эвкалипты? — удивился мой старик.

— Это заморское дерево такое,— отвечал хозяин,— на дрова не годится, а плодов от него не больше, чем приплода от твоего мула.

Опять меня задел.

— Так зачем же вы его сажаете? — спросил мой старик.

— Велят,— отвечал хозяин,— они говорят, что эвкалипт будет комаров отпугивать.

— Да зачем же их отпугивать? — спросил мой старик.

— Они так считают, что от укусов комаров человек малярией болеет.

— Вот бараньи головы,— удивился мой старик,— что ж они, не знают, что малярию гнилой туман нагоняет?

— Не знают,— сказал хозяин, разливая вино по стаканам,— да ведь против них не попрешь: власть...

— Да, не попрешь,— согласился мой старик и, выпив вино, наглядно опрокинул стакан.

— Чтоб этот кумхоз опрокинулся так, как я опрокинул этот стакан,— сказал мой старик.

— Дай тебе бог,— согласился хозяин и снова налил вино в стаканы.

Ладно, думаю, отведи душу, поговори, пока мы не доехали до Кодора, если уж ты уверен, что доносчики все никак не решаются переправиться через Кодор. Но страшно подумать, если доносчики уже на этой стороне Кодора, а мой старик все еще мелет, что ни придет на язык.

На той стороне Кодора он ведет себя потише. Нет, он и там запрокидывает стакан, но говорит при этом не прямо, а намеком. Но я-то знаю, что он то же самое имеет в виду.

Они выпили еще по два стакана, и хозяин спросил у моего старика, как идут дела в их колхозе. Тут мой старик, чтобы быть понятней ему, перешел на грузинский язык, который я почти не понимаю. Но мне и так ясно было, про что он будет говорить.

Между прочим, мой старик, кроме абхазского языка, знает еще грузинский, турецкий, греческий. Он только не знает русского языка, потому что русские живут в городе, а мы там редко бываем. По-русски он знает только одно слово: дур-рак. По-абхазски это слово означает — никчемный, жалкий человечишка. Иногда, когда мой старик злится на кого-нибудь, он вставляет это слово, и люди, которые спорят с ним, теряются, не зная, что ему ответить.

Наконец они попрощались, и мы пошли дальше.

— Эвкалипт,— бормотал мой старик, вспоминая это чудное слово,— они думают, лучше бога знают, где какому дереву расти положено.

Мы стали подходить к реке. Шум ее с каждым мгновеньем усиливался, и я почувствовал, что начинаю волноваться. Дело в том, что я терпеть не могу переходить через всякие там мостки, мосты, стоять на досках парома, когда знаешь, что под этими досками проносится бешеная вода.

Если бы мне дали проходить по мосту или вброд через ледяную воду, то я бы выбрал брод, если, конечно, вода не слишком большая. Насколько я знаю, лошади и ослы тоже так устроены. Мы любим всегда под ногами чувствовать твердую землю. А когда нет под ногами твердой земли, у меня какое-то неприятное чувство. Душа обмирает, а тело сопротивляется, оно не доверяет вещам, которые стоят на воде или висят в воздухе.

Когда мы подошли к реке, там уже стояли какой-то крестьянин с нагруженным ослом и еще два человека. Одним из них был охотник с собакой. Но эта собака меня не тревожила, потому что охотничьи собаки довольно разумные существа, они почти не лают и совсем не кусаются.

Меня немного успокоило, что на берегу стоял ослик с поклажей. Все же как-то легче, когда ты не один должен взбираться на паром. От волнения у меня пересохло в горле, и я потянулся к воде, чтобы напиться. Мой старик отпустил поводья, и я нарочно отошел подальше от этих людей, которые ждали паром. Я боялся, что старик мой воспользуется последней возможностью почесать язык на этом берегу и заговорит с кем-нибудь из них о колхозе. А вдруг кто-нибудь из них доносчик с того берега, а только делает вид, что собирается переправляться туда? Чтобы подольше отвлекать моего старика, я долго, долго пил холодную мутную воду Кодора. Ослик, увидев, что я пью воду, тоже вспомнил, что ему хочется пить, и потянулся к воде. Но хозяин его не пустил. Я-то понимал, что ослик волнуется, как и я, но его глупый хозяин этого не понимал.

А между тем с той стороны реки паром уже приближался. К слову сказать, сколько я ни напрягал свой ум, а у меня, слава богу, есть что напрягать, я никак не мог понять, какая сила движет паром поперек реки. Ведь вода его толкает по течению, а он прет против течения. По-моему, это самая удивительная загадка. Я так думаю, что люди тоже не понимают, почему паром движется против течения, но делают вид, что это им давно известно. И что я еще заметил — в середине реки, где течение сильнее всего толкает его вперед, он именно там быстрее всего движется против течения.

Паром все приближался и приближался, и я чувствовал волнение не только оттого, что предстояло перейти на него. Меня еще волновало, кто первый взойдет на паром, я или ослик. Мне, конечно, не хотелось идти первому. По справедливости, раз ослик сюда пришел первым, он первым и должен взойти на паром.

Я чего боялся больше всего — это выдержат ли мостки, ведущие от берега к парому. Я, конечно, тяжелее ослика. Но ослик с покла-

жей пудов на шесть будет потяжелее меня. И я решил, что если мостки выдержат ослика с поклажей, то они выдержат и меня.

Меня беспокоило еще вот что. Я заметил, что одна доска на мостках треснула как раз там, где был вбит гвоздь в перекладину. Так что гвоздь этот с одной стороны ее совсем не держал. При переходе на паром эта доска вполне могла соскользнуть с перекладины, и тогда ослик или я обязательно сломали бы ногу. И главное, столько мужчин стоит тут в ожидании парома, и ни один из них не обратил на это внимания. И, конечно, в конце концов только мой остроглазый старик, как всегда, заметил непорядок. Мой старик слез с меня, взял хороший камень, отодвинул треснутую доску, вытащил из перекладины гвоздь, выпрямил его, поставил доску на место и там, где она была целой, вбил гвоздь по самую шляпку.

Но вот послышался скребущий звук железной веревки, на особом колесике скользящей по перекинутой через реку другой железной веревке, и паром боком уперся в мостки. Там было человек восемь людей и ни одного животного, так что непонятно было, выдержат меня мостки или нет.

Как я и надеялся, первым пустили ослика. Но хозяин ослика перепутал все мои расчеты. Он сначала снял с ослика оба мешка и перетащил их на паром. Мостки под ним слегка прогибались, но выдержали. К сожалению, он перетаскивал мешки по одному. Если бы он сразу перетащил оба мешка, я бы меньше волновался. Ведь такой солидный, упитанный мул, как я, весит гораздо больше человека с одним мешком.

Перетащив мешки, человек взял под уздцы своего ослика и стал тянуть его на мостки. Ослик стал изо всех сил упираться, очень уж он не хотел идти. Но ведь все равно идти надо, никуда не денешься. Хозяин его упрямо тянул, а тут еще охотник несколько раз огрел ослика прикладом своего ружья. Наконец бедняга осторожно взошел на мостки, а потом спрыгнул на паром.

Теперь была очередь за мной. Я собрал все свое мужество, и, когда мой старик, взойдя на мостки, слегка натянул поводья, я поставил ногу на доску и, не ждя, чтобы какой-нибудь бродячий охотник бил меня сзади прикладом, взошел на мостки и тихонько спрыгнул на паром. Все стали хвалить меня за ум и смелость. Мне, конечно, приятно было это слышать. Ну, ум мне дала сама природа, тут особой моей личной заслуги нет, а вот чтобы мужественно держать себя, пришлось напрячь всю свою волю.

Паромщик оттолкнулся багром, и наша посудина медленно, а потом все быстрей и быстрей пошла на тот берег. Я стоял на дне парома, стараясь не шевелиться и не переступать ногами, чтобы доски днища не обломились подо мной. Старик мой расплатился с паромщиком, мы кое-как вышли на берег и пошли дальше.

Мы пришли в село Анастасовка. Там у сельсовета стояла железная арба под названьем машина. На ней многие люди ездят в город и обратно. Я раньше никак не мог понять, на какой силе двигаются эти машины. Но потом догадался. Однажды мы с моим стариком проходили через село Джгерды. И там я увидел одну машину, стоявшую на улице у ручья. Хозяин ее набрал из ручья полное ведро воды и влил в машину. Потом сел в нее и поехал. Я понял, что эти машины двигаются на водяной силе, как мельничные жернова.

Когда мы проходили мимо машины, старик мой взглянул на нее и сказал:

— Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать...

Это больное место моего старика. Дело в том, что он был лучший скотовод Чегема. Сейчас у него тоже кое-что есть, но раньше было очень много скота. В лучшие времена, говорят чегемцы, у моего старика было столько коз и овец, что, когда их перегоняли на летние пастбища, бывало, головные уже за три километра на чегемском хребте, а задние еще топчутся в загоне. Вот сколько у него было скота.

А ведь начинал он с одной-единственной козы. В Чегеме тогда еще никто не жил. Он первым приехал в Чегем, попробовал местную воду, и она ему так понравилась, что он решил здесь поселиться.

Он тогда только вернулся из Турции, куда многих абхазцев загнали, кого силком, кого обманом. И у него ничего не было. Только юная жена, один ребенок и эта коза. Ее одолжил ему какой-то родственник, чтобы ребенка можно было поить молоком.

В первый же год он на жирной чегемской земле собрал такой урожай кукурузы, что купил на нее небольшое стадо овец и коз. А через двадцать лет упорных трудов мой старик уже имел все — и детей, и хозяйство, и огромный загон скота. И дом его был полная чаша, и гостей, бывало, полон двор, так что жена его и пять дочерей едва управлялись их обслуживать. А молока было столько, что его обрабатывать на сыр не успевали и сливали собакам.

Да, да, держал пастухов! Ну и что?! За три года работы пастух получал тридцать коз, после чего мог уйти и заводить собственное хозяйство. А у вас колхозник за три года и трех коз не заработает. Вот как!

Иногда я вижу своего старика совсем молоденьким, только-только испившим ледяную чашу из чегемского родника, утирающимся рукой и решающим: здесь буду жить! Так и стоит он передо мной: небольшого роста, широкоплечий, горбоносый, упорный, с могучей неукротимой мечтой в глазах.

А теперь что? А теперь всем колхозом они не имеют столько скота, сколько он один тогда имел. Пустомели, все по ветру пустили! То-то же моему старику и обидно. И теперь иногда на лице моего старика бывает такая горечь, что у меня душа разрывается от жалости к нему. Эта горечь на лице его означает: кончилось крестьянское дело. Но иногда он все же надеется, что эти безумцы образумятся и снова каждый крестьянин заживет сам по себе.

Вдруг с одной проселочной дороги выехал на улицу всадник. Остановив свою лошадь, он из-под руки оглядел нас, как бы силясь узнать, кто мы, хотя я могу поклясться всеми жеребятами, которых я любил в своей жизни, что он сразу нас узнал. Это был известный лошадник из села Анхара по прозвищу Колчерукий.

Старик мой поравнялся с ним, они поздоровались и поехали рядом. От Колчерукого я ничего хорошего не ожидал. Так оно и получилось.

— До чего ж тебя кумхоз довел,— закричал Колчерукий, хотя мы от него были в двух шагах и мой старик, слава богу, прекрасно слышит,— что ты на муле стал разъезжать.

Нарочно так говорит, хотя прекрасно знает, что старик мой всегда ездит на муле.

— Я,— спокойно ответил ему мой старик,— и до кумхоза сидел на муле и, бог даст, после кумхоза буду сидеть на муле.

— Знаю, знаю,— засмеялся Колчерукий,— просто так, к слову сказал.

— Хороша под тобой лошадка,— вдруг ни с того, ни с сего брякнул мой старик.

— Да уж,— отвечал Колчерукий хвастливо,— еще не настолько мне задурили голову, чтобы я в лошадях перестал разбираться.

Я как услышал слова моего старика насчет этой лошадки, так

сразу почувствовал, что у меня горло перехватило. Да что хорошего в ней, я спрашиваю?! Все крутит головой, все норовит куда-то в сторону зарысить, якобы от избытка сил и нетерпения. Да это же сплошное притворство и обман! Пусть она, как я, пройдет от Чегема до Мухуса, простоит там голодная всю ночь, а на следующий день вернется обратно. Вот тогда бы вы посмотрели, рысит она в сторону от нетерпения или шатается, как чучело под ветром!

Горько все-таки. Если ты ведешь себя как солидный мудрый мул и не беспокоишь хозяина дерганьем и кривляньем, так они считают, что в тебе лихости мало. Но ничего не поделаешь, так устроен этот мир — мудрость всегда обречена на неблагодарность окружающих.

— Ну, а как дела у вас в кумхозе,— спросил мой старик,— эвкалипты еще не сажают?

— Нет,— сказал Колчерукий,— что это еще за эвкалипты?

— Это такое заморское дерево,— ответил мой старик,— сейчас его всюду сажают, чтобы комаров отпугивать.

— А чего это комаров отпугивать,— удивился Колчерукий,— уж лучше пусть они мух отпугивают, а то совсем мою лошадь заели.

— Они так считают, что комары плодят малярию,— сказал мой старик,— хотя каждый знает, что малярию плодит гнилой туман. В низинных селах, где бывает гнилой туман, там и болеют малярией. А комаров и у нас в горах полно, а малярией никто не болеет. Такой простой вещи уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь.

— Это и ребенку ясно,— согласился Колчерукий,— нет, у нас эвкалипты не сажают. У нас с ума сошли на чае. Чай повсюду разводят.

— Чай? — удивился мой старик.— Наши отцы и деды отродясь чай не пили. Чай пьют русские. Вот пускай они его и разводят себе.

— Говорят, у русских для чая земля не годится,— отвечал Колчерукий,— вот они и решили приспособить нашу землю для чая.

— А где же они его брали раньше? — спросил мой старик.— Ведь русские без чая и дня прожить не могут.

— А разве ты не знаешь? — ответил Колчерукий.— Они его у китайцев покупали.

— Так что ж, китайцы теперь перемерли, что ли? — спросил мой старик.

— Нет, китайцы не перемерли,— отвечал Колчерукий,— но это целая история. Но я тебе, так и быть, расскажу, потому что ты преданный нашему народу человек, хоть и сидишь верхом на муле.

Опять Колчерукий попытался меня задеть. Но мой старик ничуть не смутился.

— Еще бы,— сказал мой старик,— рассказывай, а мы, слушая тебя, глядишь, скоротаем дорогу.

— Так вот,— повторил Колчерукий,— китайцы не перемерли. Скорее весь мир перемрет, чем китайцы перемрут, до того они живучие. Но китайский царь передал нашему Большеусому, что больше не будет русских поить чаем, потому что они убили царя Николая вместе с женой и детьми.

— Что ж китайский царь только опомнился? — удивился мой старик.— Русского царя во-о-н когда еще убили!

— Ты что ж, не знаешь шайтанскую хитрость Большеусого? Он же китайского царя все время обманывал. Он говорил ему, что русский царь вместе со своей семьей живет у него в Кремле и получает наркомовскую пенсию. То в Кремле живет, то на курорте. А больше нигде не живет.

Но тут вмешались англичане. Они сказали китайскому царю: «Ты что, не видишь, что Сталин тебя обманывает? Ты пошли в Россию доверенного человека, и, если русский царь жив, пусть они покажут ему».

И тогда китайский царь написал Большеусому, что он посылает к нему доверенного человека. И если этот человек увидит живого царя Николая, тогда он, китайский царь, снова будет посылать русским чай — пусть пьют, пока не лопнут.

«Хорошо,— отвечал Большеусый китайскому царю,— присылайте человека, хотя мне обидно, что вы мне не верите».

И вот приезжает доверенный китаец и его приводят в Кремль, где как будто рядом с домом Большеусого стоит дом царя Николая. И как будто Николай ему рассказывает, как прежняя власть управляла людьми, а Большеусый ему рассказывает, как теперешняя власть управляет людьми. И как будто они так сдружились между собой, что их дети целыми днями вместе играют и бегают внутри Кремля. И вроде бы они уже сами путают, где чей ребенок. Вроде дело до того дошло, что Большеусый, когда у него хорошее настроение, подзывает к себе своего ребенка, чтобы дать ему конфету. А тот оборачивается и оказывается сыном царя Николая. Но он все равно дает ему конфету.

«Да подойди ты,— говорит ему Большеусый,— не бойся, она не отравленная».

Вот до чего как будто бы они сроднились. Вводят, значит, этого китайца в кремлевский дом и показывают на какого-то человека, точка в точку похожего на царя Николая. А рядом с ним вроде сидят жена и дети.

Китаец долго на них смотрит, а они — на него. А помощники Большеусого ждут, что скажет китаец.

«Ты царь Николай?» — спрашивает китаец у этого человека.

«Да, я царь Николай»,— довольно бодро отвечает этот человек.

«А это твоя жена?» — спрашивает китаец, показывая на женщину.

«Да,— так же бодро отвечает этот человек,— она и есть моя жена».

«А это твои дети?» — спрашивает китаец и почему-то пристально оглядывает детей.

«Да,— уверенно отвечает этот человек,— это мои дети».

«Ты точно знаешь, что это твои дети?» — снова спрашивает китаец и снова пристально смотрит на детей.

«Что я, не знаю своих детей, что ли?» — вроде бы обижается этот человек, точка в точку похожий на царя Николая.

Тогда китаец, глядя на помощников Большеусого, говорит:

«То, что царь Николай за пятнадцать лет не постарел, вы можете объяснить тем, что Сталин ему устроил хорошую жизнь. Но чем вы объясните, что за пятнадцать лет дети царя не выросли?»

Тут помощники Большеусого растерялись, покраснели, побледнели, не знали, что сказать. Тут-то они докумекали, что второпях дали маху, забыли, что дети растут, но было уже поздно. Тык-мык, а сказать нечего.

«Сами удивляемся,— говорят они,— мы их кормим, поим, а они почему-то не растут».

«Выходит, царские дети,— говорит китаец,— при советской власти не растут?»

«Выходит»,— соглашаются помощники Большеусого.

«Выходит, они превратились в лилипутов?»

«Выходит»,— подтверждают помощники Большеусого.

«Нет,— говорит китаец,— не выходит. Вы плохие. Вы мошенники. Вы убили царя Николая и его детей».

«Как же так,— возмущаются помощники Большеусого,— мы ничего не понимаем. Тогда объясни нам, кто этот человек и эти дети».

«Это не царь,— говорит китаец,— это переодетый чекист. А это не царские дети, это дети чекистов».

Тогда помощники Большеусого говорят китайцу:

«Ну, хорошо. Возможно, получилась ошибка. Ты посиди пока в другой комнате, а мы между собой посоветуемся, как быть».

Китайца отвели в другую комнату, а эти начали между собой советоваться. И вот что они решили. Они решили дать китайцу тысячу золотых николаевских десяток, чтобы он своему царю сказал, что видел настоящего царя Николая. И они вошли в комнату, где сидел китаец, и сказали ему об этом.

«Вы дураки,— ответил им китаец,— вы даже до сих пор не знаете, что китайцы взяток не берут».

Тут Колчерукого перебил мой старик.

— Неужто не берут?

— Да,— говорит Колчерукий,— оказывается, китайцы взяток не берут.

— Как же они свои дела устраивают? — удивился мой старик.

— Никто понять не может,— отвечает Колчерукий,— вот такие они, китайцы. Упрямые!

— Ну, а дальше что было? — спрашивает мой старик.

— А дальше было вот что. Помощники Большеусого опять вышли и стали между собой советоваться. Правда, я не знаю, звонили они Большеусому или сами между собой решили. Тот, кто рассказывал эту историю, сам об этом не знает, а я ничего прибавлять не хочу. И так они, значит, снова входят к китайцу в комнату и говорят:

«Если ты не скажешь китайскому царю, что видел настоящего русского царя, мы тебя убьем. А к твоему царю пошлем нашего советского китайца, и он ему скажет все, как мы хотим. И китайский царь ему поверит, потому что все вы китайцы на одно лицо».

«Ничего не выйдет,— отвечает им китаец с улыбкой,— потому что мой мудрый китайский царь все предвидел. И когда он посылал меня к вам, он сказал мне тайное слово, которое я должен повторить, когда приеду к нему во дворец. И это слово вы никакими пытками меня не заставите сказать. Поэтому мой царь изобличит вашего фальшивого китайца».

Тут помощники Большеусого совсем приуныли, и пришлось им обо всем рассказать хозяину. Большеусый пришел в неслыханную свирепость, а сделать ничего не может. Потому что убить доверенного китайца нельзя — придется воевать с Китаем. А воевать нельзя, потому что китайцев, оказывается, даже больше, чем русских.

— Неужто больше, чем русских? — подивился мой старик.

— Да,— уверенно сказал Колчерукий,— сами русские это признают.

— Чем только они кормятся? — проговорил мой старик.

— А у них все в ход идет,— сказал Колчерукий,— жучки, паучки, червячки. Они все едят, а потом все это чаем запивают — и ничего.

— Так чем же кончилась эта история с китайцем? — спросил мой старик.

— А вот чем кончилась,— отвечал Колчерукий.— Большеусый вызвал этого доверенного китайца и говорит ему: «Страна у меня большая, и не всегда знаешь на одном конце ее, что делается на другом. А помощники у меня глупые, что им ни скажешь, все перепутают. Я им сказал: — Берегите царя и его семью, а они все перепутали и расстреляли их».— «Они мне фальшивого царя показали»,— сказал китаец.— «Насчет фальшивого царя не беспокойтесь,— отвечал ему Большеусый,— я прикажу его расстрелять вместе с его фальшивой женой. Можешь так и передать своему царю».— «Это хорошо,— сказал китаец,— но мой царь больше не будет поить русских чаем, потому что он будет горевать за русского царя и его семью».

С тем, значит, доверенный китаец и уехал. Вот с тех пор и решил Большеусый разводить чай на нашей земле, чтобы от китайцев больше не зависеть.

— Это все политика,— сказал мой старик.

— Да, да, политика,— согласился Колчерукий.

Тут Колчерукий стал заворачивать на проселочную дорогу и очень удивился, что мы туда не заворачиваем.

— Ты что, разве не туда едешь? — спросил Колчерукий.

— Я еду в город,— отвечал мой старик,— а ты куда едешь?

— Я еду на оплакивание Карамана,— ответил Колчерукий,— я думал, и ты туда едешь.

— Как, злозадый Караман умер? — удивился мой старик. Похотливых людей наши абхазцы называют злозадыми.

— Да, умер,— отвечал Колчерукий,— и умер через свою злую задницу.

— В последний раз он вроде бы привел какую-то русскую в дом? — сказал мой старик.

— Точно,— ответил Колчерукий,— прямо ничком и умер.

— Да откуда ты знаешь,— удивился мой старик,— неужто она сказала?

— Нет,— ответил Колчерукий,— она только ночью прибежала к сыновьям и сказала, что отец их умер. А сыновья рядом живут. Они пришли в дом и увидели, что отец их ничком лежит на постели в таком виде, что стало ясно, чем он занимался в свои последние минуты.

— Тьфу! — сплюнул мой старик.— Умереть ничком, как бешеная собака, убитая выстрелом?! Может, у других народов и принято умирать ничком, но только не у нас. Настоящий абхазский старик, лежа ничком, никогда не умирает. Настоящий абхазский старик умирает, лежа на спине, в чистой рубашке, окруженный близкими. А этот жил, как кобель, и умер, как кобель. Что ж меня горевестники не известили?

— Видно, не успели,— ответил Колчерукий,— его только послезавтра хоронят.

— Все же я его оплáчу,— решил мой старик,— хоть и порченым он был человеком.

Тут мой старик повернул меня на проселочную дорогу, и мы пошли к дому этого Карамана. Мне это дело очень не понравилось. Если мой старик так будет останавливаться всю дорогу, мы никогда до города не доедем.

— Я тебе скажу, Колчерукий,— продолжал мой старик,— мужчина после семидесяти лет должен забыть про женщину. А самые мудрые еще раньше забывают. Мужчина после семидесяти лет считается по нашим обычаям стариком. А старик должен блюсти чистоту. Он не должен грязнить свою постель женщиной. Дело старика — следить за честью семьи, честью рода, честью села и честью племени своего. Тем более в наше время, когда бесчестие нависло над нашим домом и грозит очумить нас позором. Говорят, среди долинных абхазцев уже появились доносчики, которые рассказывают властям то, о чем мы го-

ворим в нашем доме, на нашем поле, на нашей сходке. Куда подевались абхазские мужчины, я спрашиваю, почему по нашему славному древнему обычаю доносчикам не отрезают уши и языки?!

— Ого-го,— сказал Колчерукий,— слишком многие остались бы без языка и ушей. Но вот ты, Хабуг, говоришь, что после семидесяти мужчина грязнит постель женщиной. Так ведь все от природы зависит. Иной как раз в старости делается особенно злозадым. Что ж такому делать, если ему невтерпеж?

— Чушь! — сказал мой старик и опять сплюнул.— Пусть в руки возьмет топор или мотыгу, и быстро забудет про женщину. У некоторых стариков протухают мозги, кровь плохо движется в теле и застревает в паху, а он, дурак, думает, что у него молодость наступила. И потом — это грех. Грех вливать в женщину прокисшее стариковское семя, грех против будущего ребенка. Если от дурного зерна на поле вырастет хилый стебелек кукурузы, ты его срежешь мотыгой. А ведь ребенка не убьешь. К слову, выродили они чего-нибудь или нет?

— Сын, говорят,— отвечал Колчерукий,— но сам я его не видел. Он эту молодку подобрал пять лет тому назад, когда начался голод на Кубани и оттуда хлынули люди, чтобы спастись от голода. Вот тогда он ее и приманил в свой дом за пару помидоров и кусок чурека. А потом, откормившаяся, отмывшаяся, она ему так приглянулась, что он ее сделал своей женой. Сыновья пытались стыдить и отговаривать его от женитьбы. Они даже пугали его, говорили, что эта женщина без роду, без племени, может отравить его, чтобы прибрать к рукам хозяйство. Да разве злозадого Карамана кто остановит! «Молчите,— отвечал он им.— Я трех жен затоптал и эту затопчу!»

Да не тут-то было. Эта русская молодка, как только отъелась, оказалась до того злозадой, что сама затоптала его. Вот он и вытянул ноги, кое-как продержавшись пять лет.

— Жил, как скотина, и умер, как скотина,— сказал мой старик.

И вот что удивительно. Мой старик презирает этого Карамана, а все-таки едет на его оплакивание. Так уж он устроен. Очень уважает обычаи. Но, слава богу, дом этого Карамана оказался недалеко. Вскоре мы к нему подошли. Ворота были распахнуты, а во дворе толпилось множество народу. Гроб с покойником стоял возле дома под небольшим навесом. С той стороны гроба выглядывали ближайшие родственницы и плакальщицы. Справа возвышалось помещение, крытое огромной плащ-палаткой. В нем устраивают поминальное застолье для приехавших оплакивать покойника.

Нас встретил молодой парень, по-видимому, один из сыновей этого Карамана. Он провел нас к коновязи. Мой старик и Колчерукий спешились. Парень этот хотел взять у моего старика поводья, но мой старик их не дал ему и, вынув изо рта у меня удила и прикрепив поводья к седлу, сказал:

— Пусть мой мул попасется... У меня дальняя дорога...

— Хорошо,— сказал этот парень и, привязав лошадь Колчерукого, повел его вместе с моим стариком на оплакивание.

Недалеко от гроба стоял столик, на котором оставляют шапки, папахи и башлыки. Мой старик и Колчерукий положили свои шапки на столик и, стоя возле него, дожидались своей очереди. У наших такой обычай, что в шапке нельзя оплакивать покойника, как будто бы покойнику не все равно, в шапке ты или не в шапке. Но таков обычай, и все блюдут его.

Дождавшись, когда оплакивающий у гроба был отведен в сторону, мой старик, ударяя себя руками по голове, двинулся к покойнику. Сзади его слегка придерживал за бока особый человек, приставленный для этого дела. Вообще, как я понимаю, смысл такого сопровождения заключается в том, чтобы удерживать оплакивающего от слишком буйных и опасных для его жизни проявлений горя. Ну, например, чтобы он не бился головой о гроб. И это, конечно, понятно, когда умирает хороший человек и оплакивают его близкие люди. Но дело в том, что ко всякому покойнику всякого оплакивающего сопровождает такой человек. В том числе, и к такому несолидному покойнику, как этот Караман. И вот, зная все, что мой старик говорил о нем, не смешно ли думать, что мой старик может покалечить себя в приступе отчаянья при виде трупа Карамана?

— Ох! Ох! Ох! — стонал мой старик, продолжая бить себя по голове и стоя у гроба.— Зачем ты нас покинул, Караман?

Женщины, родственницы покойного, торчавшие из-за гроба, отвечали на слова моего старика дружным рыданьем, я думаю, таким же искренним, как и рыдания моего старика. Нет, мой старик не обманщик. То, что он думал о Карамане, он уже сказал, а теперь он просто выполняет обряд оплакивания. Такой уж он — чтит обычаи.

— Ты видишь, Караман,— рыдая, говорили плакальщицы,— старый Хабуг пришел проститься с тобой, даже не дождавшись горевестника...

— Ох! Ох! Ох! Бедный Караман,— довольно глупо повторял мой старик, видно, ничего больше из себя не мог выдавить,— отчего ты покинул нас?

А то ты не знаешь, отчего он вас покинул? Что ж ты, забыл, что он через свою злозадость и вытянул ноги?!

Так мой старик, не слишком убиваясь, поплакал с минуту, а потом был отведен приставленным к нему человеком к своей шапке, а оттуда уже, нахлобучив ее на голову, он бодро отправился в поминальное помещение выпить свои несколько стаканов и закусить.

Я чего боюсь: как бы он там не начал опрокидывать свой стакан и показывать, что будет с колхозом, забыв, что мы уже по эту сторону Кодора.

Я, конечно, пользуясь тем, что меня не привязали, ел траву. Десяток лошадей, стоящих у коновязи, косились на меня и умирали от зависти. Еще бы! Ведь ни одной из них не позволили вольно попастись в этом углу двора. Мой старик мне доверяет, и недаром. Я ведь в отличие от некоторых глупых лошадей не стану бродить между людьми и не выйду за ворота. Я буду здесь пастись, объедая каждый клочок травы, пока за мной не придет мой старик.

Пока я ел траву, рядом со мной прошла большая хозяйская собака, но я не стал за ней следить, потому что собаки, когда во дворе собирается много людей и животных, падают духом и не решаются ни лаять, ни кусаться. А меня, между прочим, обилие людей никогда не смущает. Но, с другой стороны, у меня вообще нет такой глупой обязанности, как облаивать живые существа. Слава богу, мои обязанности значительно сложней и почетней.

Возле меня появился белоголовый мальчик лет четырех с большим куском хачапура в руке. Я догадался, что это сын Карамана от русской. Абхазские дети такими белоголовыми не бывают. Видно, кровь у этой русской оказалась посильней, чем у этого Карамана, потому что мальчик пошел в нее.

За этим мальчиком присматривала девочка лет двенадцати, явно из наших. Я понял, что это скорее всего внучка Карамана присматривает за его сыном. Ну разве это не смешно? Получается, что внучка в три раза старше сына. Ни одно животное, скажу я вам, не способно так запутать законы природы, как человек. Этот мальчонка долго и внимательно наблюдал за тем, как я ем траву. Видно, впервые видел мула. Ну что ты любуешься мулом, белоголовый русачок,

подумал я, ты ведь сам муленок. Ты ведь сын старого абхазского осла и молодой русской кобылицы. Вот и получается, что ты сам муленок.

Малыш продолжал молча смотреть на меня. А потом, видно, я ему очень понравился, подошел ко мне и протянул мне свой кусок хачапура. Я не стал ломаться и, осторожно взяв у него из руки этот кусок, съел его. Хачапур оказался очень вкусным, и я был от всей души благодарен мальчику. До этого я несколько раз видел хачапур, но никогда не пробовал. Надо же, чтобы я впервые попробовал хачапур во дворе этого злозадого Карамана из рук русского мальчика! Как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Между прочим, после этого я внимательно пригляделся к мальчику и не заметил в нем никакой худосочности или уродства. Мальчик как мальчик, только головенка беленькая. Или мой старик погорячился насчет прокисшего старческого семени, или это скажется потом. Будем надеяться, что мой старик ошибся на этот раз. Надо сказать, что мать этого мальчика я нигде не углядел. Сдается мне, что сыновья Карамана, стыдясь людей из-за ее молодости, припрятали ее куда-нибудь на время оплакивания и похорон.

Наконец мой старик, довольно хорошо взбодрившись поминальными стаканами, подошел ко мне, освободил поводья и взгромоздился на меня. Мы вышли за ворота. Люди продолжали подходить, а из поминального помещения доносился гул возбужденных голосов, доходящих, по нашим понятиям, до неприличия. Не знаю, может, у других народов на поминках принято петь и плясать, но только не у наших. У наших принято пить поминальные стаканы в тишине, слушая мудрую речь того, кому предоставлено говорить. А эти разгуделись. Но, с другой стороны, если подумать, разве этот старый похотливец заслужил почтенных поминок?

Мы прошли проселочную дорогу, вышли на улицу и двинулись дальше. Мы долго шли по улице, и несколько раз навстречу нам ехали машины, а некоторые из них, обдавая нас клубами пыли, обгоняли нас. Я все время озирался по сторонам, стараясь разглядеть на улице или где-нибудь во дворе жеребенка. Но жеребята не попадались. Вдоль улицы паслись ослы, свиньи в большом количестве, иногда коровы и буйволы, а жеребята не попадались.

Несколько раз навстречу нам показывались верховые, и, к моему большому удовольствию, ни один из них не оказался знакомым моего старика, и он ни разу не остановил меня. О том, что нас ни один всадник не обогнал, не может быть и разговоров, я бы этого никогда не позволил. Мой старик меня любит не только за плавный ход, но также за очень бодрый шаг. Ну, разумеется, если кто-нибудь пустится сзади галопом, он нас опередит. Но это не в счет. Верховое животное ценится за бодрый и плавный шаг. А бег — это забава для людей, и при этом довольно грубая. Видывал, бывал со своим стариком на скачках. Очумелые ребятишки верхом на своих лошадях носятся по кругу. Дикость и больше ничего.

Мы проехали село под названием Эстонка. Здесь живет национальность под названием эстонцы, а кто они на самом деле, никто не знает. Но живут тихо, нашим не мешают. Вообще, о них мало что известно.

Одно только известно, что они разводят огромных коров, которые дают в день по двадцать литров молока. Но нашим абхазцам такие коровы ни к чему. Нашему абхазцу неприятно возиться с такой коровой. Она его унижает своей несамостоятельностью. Эти эстонские коровы по горам ходить не могут и сами себя не прокармливают. То и дело приходится их кормить, подмывать, держать в чистом сухом помещении.

Нет, нашим такие коровы ни к чему. У абхазца совсем другой подход. Скажем, одна эстонская корова дает двадцать литров молока, а абхазская корова, скажем, два литра, хотя на самом деле она может дать до четырех литров. Но будем считать два, это яснее покажет глупость другого понимания выгоды. Эстонец от одной коровы имеет двадцать литров, а абхазец заводит десять коров и имеет те же двадцать литров. Эстонец целый день крутится возле своей коровы, а у абхазца всех-то дел — утром открыть ворота скотного двора и выпустить их, а вечером, когда они придут, снова впустить их.

Так что же выгодней — целый день возиться с одной коровой и иметь двадцать литров или то же молоко получать от двадцати коров и не иметь с ними никакой возни? А теперь возьмем со стороны мяса. Ясно, что тому, кто имеет десять коров, проще прирезать телка, чем тому, кто имеет одну корову.

Но теперь пришел колхоз, и абхазцам не разрешают держать больше трех коров. Ну, наши, конечно, пока исхитряются там, где живут подальше от начальника. Но сколько ни хитри, а власть тебя все равно перехитрит, на то она и власть. И никто понять не может, кому мешает скотина, почему ее не дают разводить. Ведь ясно же каждому: чем больше у крестьян скотины, тем больше мяса в город попадет. Им же выгодно, а они этого почему-то не понимают. Потому-то и говорит мой старик: «Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать...»

Становилось жарко. Солнце приближалось к середине неба. Я это понимал и не подымал головы, потому что тень моя топталась подо мной. В одном месте возле развесистого куста ежевики мой старик спешился и ушел за кусты. Я понял, что вино прошло сквозь него и ему захотелось помочиться. Я тоже помочился, воспользовавшись тем, что он отошел. Обычно ему почему-то неприятно, если я на ходу мочусь. Поэтому я на ходу стараюсь сдерживаться, если не слишком сильно подпирает. Когда я на ходу освобождаюсь от навоза, ему тоже бывает неприятно, но совсем по другой причине.

Дело в том, что люди очень ценят наш навоз. Нет, нет, не только мулов, хотя у мулов, конечно, навоз получше, но и других животных. Для людей это почти золото. От нашего навоза земля жиреет и передает свой жир растениям полей и огородов. Крестьяне были бы счастливы, если бы мы только ночью на скотном дворе освобождались от навоза. Так ведь не подгадаешь, чтобы тебе захотелось только на скотном дворе, хотя и там мы им оставляем немало добычи.

В одном месте из калитки выскочила мерзкая собачонка и с визгливым лаем долго бежала за мной. Ей очень хотелось укусить меня за заднюю левую ногу, но она и не решалась укусить, и не отставала, подлая тварь. Конечно, я бы мог ее одним ударом копыта отбросить в сторону, но это означало бы признаться, что она выводит меня из себя. А это унизительно для такого солидного мула, несущего на себе такого человека, как мой старик.

Пришлось сдерживаться изо всех сил, пока эта собачонка не отстала от меня. Я почувствовал, что мои нервы перенапряглись, а сердце закололо. Вот так ничтожная тварь может вывести из равновесия. Когда настоящая, большая собака лезет на тебя, хоть это и неприятно, но это борьба. Тут — кто кого. Подойдет слишком близко — садану копытом. И она это знает, и я это знаю. А эта зудит, зудит, зудит за тобой, и связываться с ней унизительно и терпеть ее невозможно.

Видно, господь бог решил вознаградить меня за мои страдания. Не успели мы отъехать от этой собачонки на сто шагов, как из проселочной дороги выехала телега, запряженная кобылой, рядом с ко-

торой бежал ослепительной красоты жеребенок. Он был белый, как облачко, с длинными, разъезжающимися ногами и чудной гривкой, которую так и хотелось прикусить и потрепать, но, разумеется, не больно.

Телега выскочила на дорогу впереди нас, и я незаметно ускорил шаг, чтобы быть все время рядом с жеребенком. Я постарался ускорить шаг незаметно, чтобы мой старик ни о чем не догадался. Он, конечно, знает о моей страсти к жеребятам, но я стараюсь, чтобы это не бросалось в глаза. Наверно, ему обидно думать, что я еще кого-то люблю, кроме него. Понимает ли он, чудак, что это разная любовь?

Моим старичком я горжусь, а к жеребятам испытываю сумасшедшую нежность. Я купаюсь в наслаждении, когда глаза мои смотрят на них, а ноздри, процедив все остальные запахи, доносят их аромат до самого дна моей души.

Этот чудный, этот потешный жеребенок то шел рядом со своей матерью, то отставал, принюхиваясь на дороге к чему-то непонятному. Потом вдруг, опомнившись и взбрыкнув на несуществующего врага, бежал вперед, развевая хвост и обгоняя телегу.

В одном месте, когда он обогнал телегу, через улицу переходило стадо гусей. Жеребенок, увидев их, так и застыл от изумления. Видно, он впервые увидел гусей. Одна гусыня проходила совсем близко от него и он, наклонив голову, хотел поближе рассмотреть ее, может быть, даже понюхать, чем она пахнет. Он же не знал, дурачок, что гусыня ничем хорошим пахнуть не может. То, что жеребенок наклонился к гусыне, страшно не понравилось одному гусаку. Гусак, вытянув шею, как змея, ринулся на жеребенка. Бедняга от неожиданности так перепугался, что вспрыгнул на месте на всех четырех ногах, а потом развернулся и дал стрекача к матери. Ну чего ты испугался, дурошлеп!

Удрав от гусака, жеребенок подбежал к матери с нашей стороны, так что я его видел теперь совсем близко и меня так и обволокло его сладким запахом. То ли с испугу, то ли еще отчего, он стал на ходу тыкаться в соски кобылы. Наверное, от волнения или потому, что мешала телега, он никак не мог поймать губами сосцы, хотя очень старался, вытянув свою длинную шею. Кобыле, конечно, тоже трудно было подставить ему сосцы (я ее ни в чем не виню), она все старалась не ударить его ногой по мордочке, а он все тыкался, и в конце концов она сбилась с ноги, и тогда человек, сидевший на телеге, гаркнул:

— Ну, ты!

С этими словами он изо всех сил хлестнул кнутом жеребенка! Я увидел своими глазами тонкую полоску, след от кнута на нежной спине жеребенка. Он взвизгнул от боли и помчался вперед. Растерявшаяся кобыла тоже понеслась. А я, потеряв голову от гнева, рванулся за ними, чтобы закусать и затоптать этого живодера.

— Ты что, сбесился! — крикнул мой старик и сам огрел меня кнутом по спине.

Я не почувствовал боли, но опомнился, и мне стало стыдно, что я потерял голову. Да ведь я все равно не смог бы достать зубами этого негодяя.

— Старый мул, — пробормотал мой старик, — так и будешь до смерти бегать за жеребятами?!

Я почувствовал, как от стыда кровь ударила мне в голову. Да, мне стыдно за свою страсть, но ведь мне от этих жеребят ничего не надо. Только любоваться ими, только слышать их запах. Если б этот живодер не ударил кнутом жеребенка, мой старик не догадался бы, за кем я, тайно наслаждаясь, слежу.

Телега, пылившая впереди, снова свернула на проселочную дорогу, и в последний раз мелькнул беленький жеребенок. Я вздохнул и отвернулся. Да, да, конечно, моя страсть не по возрасту. Мул моего возраста и, смело добавлю, моего ума, конечно, должен держаться солидней. Я дал себе слово, чтобы угодить моему старику, больше не обращать внимания ни на одного жеребенка, если они попадутся на нашем пути. Конечно, если хватит сил. Во всяком случае, я постараюсь.

То, что я в порыве гнева рванулся за этим негодяем, напомнило мне другой мой порыв. В отличие от этого, хоть и бессмысленного, но доброго, тот был порывом дикого страха, который привел меня к самым черным дням моей жизни.

В тот пригожий осенний день мы со своим стариком возвращались с мельницы. Мой старик из любви и уважения к моей мудрости никогда не нагружал меня мешками. Так что впереди нас топал ослик, навьюченный мешками с мукой, а старик мой сзади ехал на мне и погонял ослика.

Мы уже взяли самый изнурительный напскальский подъем и шли по ровной тропе, проходившей сквозь каштановую рощу. Изредка, наклоняя голову, я успевал хватать попадавшиеся каштаны. Я это старался делать, не замедляя хода, чтобы не раздражать моего старика. Отчасти из-за этих каштанов все получилось. Из-за них и из-за ослика, хотя главную вину я с себя не снимаю.

Дело в том, что ослик шел впереди и он подбирал самые лучшие и самые близко от тропы лежавшие каштаны. В сущности, он подбирал почти все каштаны, а мне оставались только случайные. И это вызывало во мне зависть и дурной азарт. Я от этого забылся, я только думал, как бы не пропустить какой каштан.

Слева от нас вдруг послышался сильный треск в кустах черники, и я мгновенно почему-то решил, что там медведь. Он же очень любит чернику. От ужаса, сломя голову, я пустился по тропе. Старик мой вскрикнул и от неожиданности свалился с меня. От этого я окончательно потерял голову и бежал, и бежал, и бежал. Так я пробежал с километр и наконец опомнился и остановился. Только теперь я осознал, что наделал.

Вспоминая, что случилось, я содрогался от стыда, раскаянья и позора. Медведь? Какой медведь?! Разве я видел медведя?! И как я, старый болван, забыл, что в это время года никакой ягоды нет и медведю в кустах черники нечего делать. Может, чья-то корова заблудилась или, в крайнем случае, косуля хряснула веткой. А я бежал, сбросив с себя своего старика. Ужас! Ужас! И что еще дополнительно обжигало меня мучительным унижением, это то, что все это произошло на глазах у ослика, который не поддался страху и никуда не убежал.

В самом мрачном состоянии души, не зная, что случилось с моим стариком, я стал возвращаться. Я решил, что, если обнаружу труп моего старика, брошусь со скалы и разобьюсь. Как раз тут рядом напскальский спуск, и там обрыв метров на сто. Но если он остался жив, думал я, пусть он меня три дня бьет палкой и пусть я до конца своей жизни не увижу ни одного жеребенка.

И вот я вернулся и увидел, что мой старик сидит на земле, а ослик (Позор! Позор! Он все видел!) спокойно похаживает возле него и осторожно, чтобы не уколоться о колючие коробочки, из которых каштаны еще не выскочили, вытаскивает их оттуда и ест.

— А-а-а, вернулся, волчья доля, — сказал мой старик, заметив меня.

Понурив голову, я подошел и стал рядом с ним. Он с большим трудом поднялся, и я понял, что он повредил ногу. Проклиная меня

на все лады, он кое-как взобрался на меня, согнал ослика на тропу, и мы двинулись домой. Я чувствовал перед своим стариком ужасную вину и готов был нести любую кару. Меня как-то тревожило, что мой старик меня ни разу не ударил.

И вот мы дома. Старик мой остановил меня у самой кухни. Кряхтя, он слез с меня и крикнул домашним:

— Расседлайте эту волчью долю!

Сильно хромая, он вошел в кухню. С ослика сняли мешки, расседлали его, а потом расседлали и меня. Нас пустили пастись во двор, но мне трава в горло не лезла, и я так уж, по привычке, через силу ел ее.

На другое утро ослика выпустили со двора, и он вместе с другим скотом ушел пастись в котловину Сабида, а меня оставили во дворе. Я чувствовал, что это знак какого-то предстоящего наказания, но какое наказание предстоит, я не знал. И от этого было очень тоскливо. Если бы мой старик меня побил или, лишив еды, запер в сарай, было бы не так тоскливо.

Так три дня в полном неведенье я проторчал во дворе. Мой старик ко мне не подходил. Только внуки его, мальчик и девочка, дети его сына Кязыма, пытались иногда меня утешать. Но у меня было такое плохое настроение, что я ничем не мог ответить на их доброту и ласку.

На четвертый день на некрасивой кобыле в наш двор въехал знакомый моего старика. Он жил совсем в другой деревне. Меня охватило самое зловещее предчувствие. Я живо вспомнил, как этот человек встречался в прошлом году с моим стариком и упрашивал его продать меня. Тогда мой старик, конечно, наотрез отказался продавать меня.

И вот почему-то именно этот человек сейчас приехал к нам. Он спешился, привязал лошадь, и они вместе с моим стариком вошли в кухню. Все-таки у меня еще была маленькая надежда, что этот человек приехал сюда случайно. Я не слышал, чтобы мой старик за ним кого-нибудь посылал. Они долго оставались в кухне, и я сильно волновался от неизвестности.

Но вот они вышли из кухни и стали подходить ко мне, и сердце у меня замерло. Они подошли ко мне и остановились возле меня. Мой старик сказал, что я во всех отношениях великолепный мул. Что ход у меня ровный и быстрый, а выносливость выше всяких похвал. И он сказал, что продает меня только потому, что сильно осерчал на меня за то, что я сбросил его по дороге с мельницы.

Как ни горько мне было слышать это, все-таки я не мог не подивиться его гордости. Ведь мог скрыть, что я его сбросил, но не захотел. Гордый. Через эту проклятую гордость, я думаю, он и продать меня решил. Как это так, он упал с мула, да еще на глазах у ослика. Может, не окажись этого дрянного ослика, он бы меня не так страшно наказал.

Не знаю, за сколько они сговорились, но мой старик продал меня. Шею мне обвязали веревкой, человек этот взял за конец ее и сел на свою кобылу.

Все домашние вышли провожать меня, и старуха, жена моего старика, столько раз кормившая меня кукурузой, причитала по мне, как по мертвому:

— Бедный Арапка, бедный Арапка.

И жена Кязыма, сына моего старика, говорила:

— Бедный Арапка, неужели мы тебя больше не увидим?!

А дети ее, милые дети, обнимали меня, целовали и плакали. И только мой старик не посмотрел на меня, и я старался не смотреть в его сторону, потому что сердце мое разрывалось от горя и обиды.

Моему новому хозяину открыли ворота, и он выехал на своей кобыле, ведя меня за собой на веревке. Мы долго шли к нему домой. Я знал, что счастья в моей жизни больше не будет никогда. Но живое существо, пока оно живет, будь то человек или животное, ищет себе какое-нибудь утешение. И я, шагая за этой тряской, низкозадой кобылой, думал, что, может быть, у нее есть дома жеребенок. И этот жеребенок, думал я, будет последним утешением в моей горестной судьбе.

Часов через десять мы въехали во двор моего нового хозяина. Он отвязал от моей шеи веревку и пустил пастись. Я быстро огляделдвор. Тут было полно кур, паслась пара телят, но никакого жеребенка не оказалось. Я тайно следил за кобылой, не ищет ли она кого глазами, но кобыла никого не искала. Но я все еще не терял надежды. Я думал, что жеребенок может пастись на выгоне с домашним скотом.

Кобылу расседлали и выпустили на волю. Меня оставили во дворе. До вечера я пасся во дворе, ожидая, что, когда вечером скотина вернется домой, жеребенок придет вместе со своей матерью.

Но вот пришел вечер, коровы подошли к воротам скотного двора и, мыча, стали просить выпустить к ним телят. Телята тоже своим матерям отвечали мычанием. Рядом с коровами у ворот стояла кобыла без всякого жеребенка, и душу мою окончательно заела тоска. Господи, и откуда только взялась такая надежда! Как я мог подумать, что найдется жеребец, который покроет эту вислозадую уродку!

На следующее утро хозяйка вынесла мне несколько кочанов кукурузы и бросила их передо мной на грязную землю. А ведь жена моего старика всегда в тазике выносила мне кукурузу. Я, конечно, съел початки, хотя прекрасно понимал, что угощают меня не от большой доброты. Меня собирались отправить пастись с местным стадом, чтобы я, помня об этой кукурузе, вечером снова подошел к дому своего нового хозяина.

Ну что ж, бежать я никуда не собирался. А куда побежишь, если твой хозяин сам от тебя отказался. Не бежать же в лес к медведям. Меня выпустили вместе с хозяйским скотом и этой кобылой, утроба которой ничего, кроме навоза, не способна была выродить. Мы вышли на выгон, и я огляделся. Здесь было около дюжины соседских коров, примерно столько же ослов и лошадей и ни одного жеребенка.

И тут черная туча отчаянья окончательно заволокла мою душу. Внешне я жил, но внутренне чувствовал себя мертвецом. Через несколько дней хозяин оседлал меня, и мы пошли в соседнюю деревню. Все в нем мне было неприятно — и его запах, и его тяжесть, и его привычка грубо одергивать поводья. Я старался идти как можно хуже. Конечно, как я ни старался плохо идти, хуже его кобылы я просто при всем желании не мог шагать.

Но он все-таки был очень удивлен. Несколько раз он сходил с меня, рассматривал мои копыта и бабки и никак не мог понять, что со мной случилось. Он был очень недоволен и все время бормотал проклятья моему старику за то, что тот якобы обманул его.

Пять-шесть раз он выезжал на мне в соседские деревни, и я старался так его трясти, что, думаю, у него селезенка с печенкой поменялись местами. Кончилось это тем, что он перестал на мне ездить и снова перешел на свою вислозадую кобылу.

Меня теперь использовали только для переноски мешков на мельницу или в город на базар. Мой старик использовал меня толь-

ко для того, чтобы ездить на мне верхом. Теперь на мне перевозили груз, но это меня нисколько не унижало. Я же сказал, что я жил только внешне, внутренне я умер. А мертвому мулу нечего стыдиться. Раз я потерял своего старика, мне все было безразлично.

Меня могут спросить:

— Ну хоть что-нибудь тебе понравилось в новом месте?

Отвечаю:

— Ничего!

Ни дом, ни двор, ни хозяин, ни жена его, ни дети, ни скот, ни выгон. Само это низинное село мне было глубоко противно с его обилием мух, с его болотцами, наполненными черепахами, с его вечным ночным воем шакалов.

Однажды на рассвете я из скотного двора перемахнул через плетень и вдосталь потравил кукурузу на приусадебном участке моего хозяина. Сколько мог кукурузных стеблей съел, а что не мог съесть — топтал ногами. Мне было все равно, что бы со мной ни сделали. Я даже хотел, чтобы меня убили.

Утром, конечно, меня сбнаружили в кукурузе. Подняли крик, хозяин меня загнал в сарай, надел на шею крепкую веревку и привязал ее к стене. Потом он вышел из сарая, принес колотушку, которой молотят кукурузу, и, ухватившись за нее обеими руками, стал меня бить.

Он бил меня изо всех сил, он бил меня кряхтя, он бил меня, время от времени поплевывая на ладони. Он бил меня, может быть, больше часу, потому что весь вымок, и перестал бить только после того, как колотушка сломалась о мою спину. Ненависть, ярость и отчаяние мои были так велики, что я ни разу не охнул, пока он меня бил. Я не доставил ему этого удовольствия, и именно это его больше всего разозлило. И, конечно, ему еще было жалко сломанную колотушку.

— Будешь глодать доски, богом проклятая тварь,— сказал он, уходя из сарая.

Я понял, что мне не будут давать есть. Пускай я умру, думал я, но никогда не унижусь до того, чтобы жалобными криками напомнить о себе или начать глодать доски сарая. Три дня без капельки воды, без клочка травы простоял я в сарае, а хозяин каждый день приходил смотреть на меня. Видно, он ждал от меня жалобных стонов и виноватых взглядов, молящих о милосердии.

Так ничего и не дождавшись, на четвертый день он вывел меня из сарая, снял с шеи веревку и отпустил на волю. Через неделю я пришел в себя. Люди давно заметили, как вынослив мул, но не все знают, что у мула есть своя гордость и свое достоинство.

Жить я продолжал с местной скотиной, а хозяин мой и его домашние больше меня не трогали. Утром я уходил вместе с хозяйской скотиной на выгон, а вечером вместе со всеми приходил к их постылому дому. Но, между прочим, на скотный двор меня больше не выпускали. Остальные животные там зимой получали свою вязанку кукурузной соломы. Я ничего не получал, ел только то, что сам добывал в поле. Как я сказал, по ночам я стоял у ворот рядом с вонючим свинарником. Но меня уже ничто не могло унизить, я был мертв изнутри.

И все-таки, как я уже, кажется, говорил, пока живое существо дышит, к нему рано или поздно приходит надежда. Так и ко мне весной пришла надежда. И пришла она очень просто. Я увидел, как на выгоне эту никчемную вислозадую хозяйскую кобылу покрыл великолепный местный жеребец. Я-то думал, что эта кобыла не только такого могучего жеребца, но и обыкновенного осла не сможет привлечь. Однако привлекла, и я все это видел своими глазами. Пожалуй, дело это настолько неясное, что ничего заранее нельзя сказать.

И я тогда подумал, что если кобыла хозяина забеременела, так она обязательно родит жеребенка. А я буду рядом с ним, я буду наслаждаться его близостью, буду любить его и охранять от всевозможных врагов.

И я начал ждать, и я почувствовал, что душа моя, кровоточащая тоской и отчаянием, стала тихо-тихо заживать.

Да, я любил и люблю этого старика, думал я. Но что делать! Это счастье кончилось, и надо скорее о нем забыть. Вот родится жеребенок, которого я буду любить больше жизни, и ради этого жеребенка я должен примириться с домом моего нового хозяина и со всеми его обитателями.

И тогда я подумал трезво: что они мне такого плохого сделали? За что я их всех возненавидел? Ничего особенного. Да, хозяин меня здорово избил и три дня держал без еды. Но ведь мало того, что я потравил и потоптал ему кукурузу, я ведь и до этого ему порядочно крови испортил. Ведь я нарочно коверкал свою походку, чтобы ему неповадно было на мне ездить. Так ведь он, бедняга, не виноват, что у него запах не такой уютный, как у моего старика, голос не такой приятный, повадки не такие мудрые?

А уж хозяйку-то его за что я возненавидел? Подумаешь, бросила кукурузу мне на землю. Ведь она меня не думала этим оскорбить. И я сказал себе: «Арапка, будь терпимей. Не везде живут так умно и сложно, как в доме твоего старика. Может, они сами тарелок не знают, а ты обижаешься, что тебе кукурузу подали не в тазу».

И душа моя стала теплеть к моему новому хозяину и к его домашним, не говоря о кобыле, которая явно понесла жеребенка. Я это чувствовал по ее притихшему поведению. Она даже трясти задом стала гораздо меньше. Теперь я старался на выгоне есть траву рядом с ней, чтобы кто-нибудь ее невзначай не напугал и не повредил жеребенка в ее животе.

Я уже сам хотел, чтобы мой новый хозяин снова меня оседлал, и я бы ему наконец показал свою настоящую походку. Кроме того, я хотел, чтобы беременная кобыла не таскала его по соседним селам. Мало ли что — испугается чего-нибудь, поскользнется, а жеребенок в животе может пострадать. Но он меня не взнуздывал. Я терпеливо ждал, теплея душой к нему и ко всем его домашним, а жеребенок, надо думать, рос себе в животе у кобылы.

И вот что удивительно: как меняется отношение к тому, что человек делал, когда меняется отношение к самому человеку. Теперь, когда я вспоминал то, что было в сарае, я не ощущал ни того ожесточения, ни той обиды. Я даже ощущения боли не мог припомнить. Мне все время припоминалась одна и та же картина, которая казалась мне довольно смешной. Мне вспоминалось выражение лица хозяина, когда у него сломалась колотушка и он от неожиданности растерялся и, взяв в руки оба обломка, все пытался их сложить, словно они могли прирасти друг к другу. И на лице у него проступала какая-то детская обида, он вроде бы говорил: «Я хотел мула наказать, а наказал себя».

И вот однажды хозяин мой пришел на выгон и, поймав меня, надел на меня уздечку. Он повел меня к дому. Я шел гарцующей походкой, радуясь, что наконец-то я ему понадобился. Нет, думал я, больше я никогда не буду таить от него свой знаменитый, свой бодрый и плавный шаг.

Он привел меня во двор, привязал к забору, и тут к нему подошел совсем незнакомый мне человек. Хозяин стал этому человеку нахваливать мой добрый характер, мою прекрасную походку и не-

слыханную выносливость. Хотя все это было правдой, мне все-таки стыдно было его слушать. Ведь сам он, мой хозяин, не имел случая насладиться моим мирным характером и великолепной походкой. Единственное, в чем он мог убедиться, так это в моей выносливости.

И вдруг они заговорили о деньгах, и я понял, что он меня собирается продавать, а вся его похвала — это бесстыдное вранье, которому он сам не верит.

Он сказал этому человеку, что раньше всегда ездил на мулах, но потом, когда у него умер мул, он вынужден был перейти на лошадь, хотя продолжал мечтать о муле. И вот он приобрел прекрасного мула у такого солидного человека, как Хабуг из Чегема. Но оказалось, что он уже отвык сидеть на муле и теперь решил до конца жизни не сходить с лошади.

Невыносимая боль снова обожгла мою душу. А как же мой жеребенок, который еще не родился и которого я уже успел полюбить? Значит, я его так и не увижу никогда в жизни? Боже, боже, и этому человеку я готов был все простить!

Душа моя снова омертвела. Мой новый хозяин надел на меня свою уздечку и, сев на мою неоседланную спину, повел меня в свое село. Мы шли целый день и только к вечеру пришли к нему домой. Я был настолько оглушен горем, что шел, не замечая дороги и не пытаясь ухудшить свою походку.

Мы вошли к нему во двор. Чтобы снова не растравлять себе душу, я даже не думал о возможной встрече с жеребенком на этом новом месте. Но я не мог закрыть глаза и не видеть, что во дворе, куда привел меня новый хозяин, жеребенком и не пахло. Утром вместе с домашней скотиной меня пустили на выгон, и я совсем не думал о возможной встрече с каким-нибудь жеребенком. Я решил больше никого в жизни не любить.

Не скажу, что новый хозяин со мной обращался хорошо, не скажу, что он со мной обращался плохо. Просто в этой деревне царили грубые нравы, как среди людей, так и среди животных. Вот пример.

Однажды мой хозяин привел меня на мельницу, нагрузив меня тремя огромными мешками. Для тутошних мест это обычное дело, здесь никто не сообразует вес поклажи с возможностями животного. Мой хозяин заставлял меня таскать из лесу такие неимоверные вязанки драни, которую он там расщеплял, что только благодаря моей выносливости я тогда выжил. Но животные в этой деревне такие же грубые, и об этом речь.

Так вот, мы пришли на мельницу, хозяин разгрузил меня и привязал к тыльной стороне мельницы. Тут уже привязана была одна ослица и одна лошадь. Потом пришел еще один крестьянин и привез на осле огромные мешки кукурузы. Он разгрузил осла, привязал его рядом с ослицей и отнес мешки на мельницу.

Я думал, что после этих мешков не скоро отдышится этот осел. Но не тут-то было! Как только его хозяин отошел, он стал выказывать явные признаки желания овладеть рядом стоящей ослицей.

Я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Стараясь дотянуться до ослицы, этот чудовищный похотливец порвал уздечку и взгромоздился на ослицу. Ослица заорала от ужаса и боли.

Тут из мельницы стали выходить люди и смеяться, глядя на забавы этого осла, чем доказывали собственную склонность к этим забавам. Вышел и хозяин этого осла и сперва вместе со всеми хохотал, возможно, гордясь мощью своего животного. Видно, он сначала не догадался, что его осел порвал уздечку. Наверно, он подумал, что его осел ее просто сдернул. Потому что заметив порванную уздечку, он пришел в неописуемую ярость, схватил валявшееся тут же полено и, придерживая своего осла за порванную уздечку, стал изо всех сил

колошматить его по спине. Наконец хозяин перестал бить осла, кое-как починил уздечку и привязал свое животное подальше от ослицы. Я понял, что хозяин этого осла не первый раз таким образом избавляет его от похоти. Какие грубые страсти и какие грубые способы избавления от них!

Ни животные, ни люди у нас в Чегеме так не поступают. Сколько раз я стоял на нашей мельнице привязанный вместе с лошадьми и ослами, но никогда ничего подобного не видел. В поле, в лесу, пожалуйста, сколько твоей душе угодно. Чегемские животные стараются это делать красиво, не на глазах у людей. Уж во всяком случае не на мельнице и не у коновязи сельсовета, где полно людей. И вот с такими грубыми людьми и грубыми животными мне пришлось прожить почти год.

Однажды мой хозяин оседлал меня и поехал в гости в одну далекую деревню. Через полчаса я почувствовал, что спина у меня невыносимо горит. Этот болван даже не удосужился оседлать меня как следует. Потник со страшной силой ерзал по моей спине, доставляя мне неимоверную боль. Беда наша в том, что мы, мулы, человеческий язык хорошо понимаем, но сказать ничего не можем.

От боли я пришел в неистовство. Несколько раз я пытался зубами схватить его за ногу, и один раз мне это удалось. Но он даже не слишком быстро отдернул ногу. Местные животные и люди к боли не очень чувствительны, что лишний раз говорит о грубости их натуры.

В ответ на мой укус он изо всех сил ударил меня кнутовищем по голове, при этом, конечно, так и не понял, почему я себя плохо веду. Несколько раз я взбрыкивал, не в силах вынести боль, лягал воздух задними ногами, потом понес, но этот олух так ничего и не понял.

Любой хозяин в Чегеме в таких обстоятельствах почувствовал бы что-то неладное, слез бы с лошади или с мула, осмотрел бы его, переседлал бы. А этот так и ехал.

То, что я ему выдал самую безобразную походку, и говорить нечего. Думаю, я перемолотил ему внутренности, если они у него не из камней сделаны. Да что толку-то! Я попал в край грубых, недоразвитых людей, у которых чувствительности не больше, чем у бревна.

Одним словом, когда мы возвратились из этого села и он меня расседлал, оказалось, что спина у меня протерта до крови.

— Ты смотри,— сказал мой хозяин,— оказывается, у него спина стерлась.

А ты, дубина, не подумал, почему я всю дорогу выходил из себя. Он палец о палец не ударил, чтобы как-нибудь полечить мою рану. Всю ночь спина у меня горела, и я не находил себе места. Утром рану мою облепили гроздья мух, и к невыносимому жжению прибавилась невыносимая чесотка.

И я принял отчаянное решение. Я решил смирить свою гордость, бежать от этого урода и вернуться к своему старику, а там будь что будет. В моем безумном решении была и доля разумной догадки. Умто свой я все-таки не потерял, несмотря на долгое общение с недоразвитыми людьми и животными.

Мой старик всегда хорошо понимал животных и не выносил неумелого обращения с ними. Вот на это я и надеялся. Я не мог рассказать ему, как меня били, как я три дня без еды и без питья стоял в сарае, что за целую зиму мне не подбросили и вязанки кукурузной соломы, но он мог увидеть своими глазами мою стертую до крови спину и все понять.

Как только меня выпустили на выгон, я ушел. Точной дороги в Чегем я не знал, но я хорошо помнил, что от Чегема до первого

села мы шли в сторону восхода и от этого села до этого мы опять шли в сторону восхода. Нетрудно было сообразить, что на обратном пути надо держаться в сторону заката.

И я двинулся в путь. Где по дороге, где сквозь леса и горы, где сквозь заросли съедобных и несъедобных растений — на третий день я пришел в Чегем весь в репьях, опавший, одичалый, с роем мух на кровоточащей спине.

Я толкнул головой калитку Большого Дома и вошел во двор. Дверь в кухню была прикрыта, и я очень удивился этому. Неужто нравы старика изменились за время моих скитаний? Ведь он терпеть не может, чтобы дверь в кухню была прикрыта. Но потом я сообразил, что идет дождь и дует сильный порывистый ветер в сторону Большого Дома. Они прикрыли дверь от ветра.

Собака, увидев меня, залаяла, но потом узнала и завиляла хвостом. Нет, все-таки собаки не совсем лишены разума, подумал я мимоходом. Все, что я пережил, стояло поперек моего горла, и я в отчаяньи пересек двор, вошел на веранду и, головой распахнув дверь в кухню, остановился в дверях.

В ноздри мне ударил самый сладкий в мире запах, запах родной кухни, откуда мне столько раз выносили кукурузу и другие вкусные вещи. В кухне вовсю пылал очаг, и на большой скамье возле него, глядя на огонь, сидел мой старик, и я увидел его родное, горбоносое лицо. Рядом с ним сидел его сын, добрая душа, охотник Иса. А у самого огня, склонившись к котлу с мамалыгой и помешивая его лопаточкой, стояла жена Кязыма. А в стороне от дверей на кушетке сидела с веретеном старуха, и тут же возились дети Кязыма, мальчик и девочка, которых я не раз катал на себе.

— Арапка пришел! Арапка! — первыми увидев меня, закричали дети и, спрыгнув с кушетки, подбежали ко мне.

— Что я вижу! — закричала жена Кязыма и, бросив свою лопаточку, тоже подбежала ко мне.— Лопни мои глаза, если это не Арапка!

Старуха, бросив свое веретено, тоже подошла ко мне. А Иса, милый Иса, простая душа, увидев меня, прослезился.

— Как он только дорогу нашел! — сказал Иса.

Дорога моя была куда длинней, чем ты думаешь, Иса. Я никогда твоих слез не забуду, Иса. Ты благодарный, помнишь, что, когда ты убил медведя в лесу, две лошади и два осла отказались везти его домой. Они хрипели и в ужасе пятились от этой страшной поклажи. И только я, собрав все свои силы и преодолев отвращение, согласился дотащить его тушу до дому.

Да, все они собрались вокруг меня, и лишь мой старик продолжал сидеть у огня и, только повернув голову, сурово смотрел в мою сторону. Нет, нет, я не верил в его равнодушие, я не верил, что все это время он не думал обо мне, не скучал по мне. Но таков мой старик. Ни один человек в мире не умеет так себя в руках держать, как он.

— Арапка вернулся! Арапка! — только и раздавалось вокруг меня. Да, говорил я про себя, вернулся к вам ваш Арапка, вернулся в родной дом после неисчислимых страданий, все так же любящий и преданный своему хозяину.

— Дедушка! Дедушка! — вдруг закричали дети, взглянув на мою спину.— У него рана на спине!

Тут старик мой встал, все расступились, и он подошел ко мне. Молча и внимательно он рассматривал рану. Да, да, говорил я про себя, смотри, что со мной сделали.

— Оказывается, этот гяур даже не умеет седлать мула,— с тихой ненавистью сказал мой старик и прибавил: — Иса, поедешь к нему

и вернешь ему деньги. Я Арапку беру назад, раз ему невтерпеж там жить.

Тут старуха вынесла мне кукурузу и подала ее в тазу, как положено у порядочных людей, а не бросила в грязь. Господи, подумал я, все как прежде, как будто не было долгой разлуки и невыносимых страданий. И опять, как прежде, куры и петухи окружили меня в надежде поклевать отскакивающие зерна. Клюйте, милые, клюйте, думал я, Арапка добрый, он снова дома, он снова счастлив.

Мой старик достал из лампы горящую воду под названием керосин, облил ею чистую тряпку и протер рану на моей спине. Сначала сильно жгло, но потом стало гораздо легче, потому что мухи перестали донимать.

В тот же день Иса уехал к моему первому хозяину с деньгами. Я был сильно обеспокоен, что деньги моего старика пропадут. Ведь сказать, что этот хозяин меня уже продал в другое место, я не мог, потому что понимать-то я понимаю абхазскую речь, а сказать ничего не могу.

Но, слава богу, на следующий день Иса вошел во двор и сказал моему старику, что этот хозяин давно продал меня и даже слышать не хочет об этом непотребном муле. Видно, мошенник, не сообразил сразу, что может за меня дважды деньги получить, а когда сообразил, уже было поздно, проговорился. Я прислушивался к Исе не для того, чтобы услышать мнение этого живодера обо мне. Нет. Я прислушивался к Исе, чтобы узнать, не заметил ли он случайно кобылу с жеребенком. Видно, не заметил. Странно, как можно было не заметить жеребенка, если кобыла в самом деле ожеребилась.

Примерно через месяц рана на моей спине совсем зажила, и старик мой оседлал меня и поехал в село Атары. С тех пор мы с ним неразлучны, и время, когда он меня продал, я вспоминаю, как дурной сон.

Живем мы душа в душу. Ну, конечно, бывают и у нас небольшие стычки. То он мной не совсем доволен, то я настаиваю на своей правоте. То он на меня поварчивает, то я заупрямлюсь, защищая достоинство солидного, знающего себе цену мула. Вот так и живем с тех пор, и другой жизни я себе не желаю.

Но хватит вспоминать. Я возвращаюсь к нашей дороге. Мы со своим стариком продолжали бодро идти вперед, когда вдруг услышали страшный визг свиньи. Это был какой-то скрежещущий, раздирающий душу визг. Через некоторое время я увидел, что в пятидесяти шагах от нас выволокли из калитки свинью. Двое держали ее за ноги, третий держал за уши, а четвертый шел рядом. Свинью явно собирались зарезать, а она об этом знала и визжала с неимоверной силой.

Свинью положили на траву возле калитки. Те двое продолжали держать ее за ноги, одни за передние, другие за задние, а третий, оттянув ей голову к спине, за уши. Четвертый, вынув большой нож, склонился над ней, но почему-то нож не вонзал в нее, а что-то обсуждал с остальными. Свинья, понимая, что надвигается смерть, продолжала визжать изо всех сил. Я почувствовал, что мой старик начал раздражаться. Он терпеть не может, когда кто-то какое-то дело делает нечисто.

А эти явно не могли справиться со свиньей, то ли были пьяные, то ли просто неумехи. Наконец, когда мы поравнялись с ними, тот, что держал нож, сунул его в свинью, и она замолкла. Те, что держали свинью, отпустили ее и немного отошли, довольные сделанным делом.

И вдруг мы со своим стариком увидели страшное зрелище. Свинья, которая казалась убитой, встала на ноги с торчащим по рукоять

из груди ножом и, шатаясь, пошла. Видно, тот, что убивал, не попал ей в сердце.

— Растак вашу мать, дармоеды! — крикнул мой старик, спрыгивая на землю.— Разве можно мучить животное, даже если это свинья!

С этими словами он с необыкновенным проворством погнался за свиньей, догнал ее, схватил за одно ухо, вывернул ей голову, выхватил нож, всаженный ей в грудь, и с силой вонзил его снова. И, конечно, попал ей в самое сердце. Свинья замертво свалилась на траву.

Молодец, мой старик. И что особенно интересно, это то, что он, конечно, немало нарезал всякой живности, но свинью он резал в первый раз. Вообще он только в последние годы стал разводить свиней и продавать, но сам он никогда не резал и свинину не ел.

Воинственно поглядывая на этих примолкших людей и что-то бормоча насчет кривоглазых и криворуких, мой старик взгромоздился на меня, и мы пошли дальше. А эти все продолжали стоять, смущенно переминаясь, то глядя на мертвую свинью, то на моего старика, словно все еще пораженные неожиданным воскрешением свиньи и ее невесть откуда взявшимся забойщиком.

Снова перед нами появился Кодор. Но здесь через него пролегал огромный железный мост. Проходить по нему было неприятно, и я был рад, когда мост кончился.

Над нами с грохотом пролетел аэроплан, и мой старик, остановив меня, из-под руки долго глядел ему вслед.

— Железо-то вы летать научили,— пробормотал он, пустив меня вперед,— посмотрим, как вы мясо научите летать, чтобы вам оставалось только хватать его и швырять в котел.

Что удивительно в моем старике — это то, что его ничем не возьмешь: ни аэропланами, ни машинами, ни конторами, ни большими городскими домами. Он всегда уверен, что внутри у него есть что-то такое, что в тысячу раз важнее всех этих аэропланов, машин и контор. Такая внутри у него есть сила, но объяснить эту силу я не могу. Я ее только чувствую. И не только я. Все ее чувствуют. Ее чувствует даже наше чегемское начальство, и они стараются особенно с моим стариком не связываться. Они даже сквозь пальцы смотрят на то, что он все еще держит пастуха Харлампо.

Самое смешное, что мой старик спокойно проехал чужое село, а когда мы въехали в абхазское село, нервы у него не выдержали из-за наших же абхазцев. Мы проезжали мимо большого кукурузного поля, которое мотыжили десяток колхозников. Старик мой остановился и, видно, захотел прополоскать горло родной речью. Он стал с крестьянами говорить о том о сем. Конечно, спросил у них насчет эвкалиптов, и они ему отвечали, что насчет эвкалиптов у них все тихо.

Разговаривая с моим стариком, они продолжали мотыжить кукурузу и, время от времени подымая голову, спрашивали сами у него насчет чегемских дел. Мой старик сначала охотно с ними говорил, а потом стал сердиться, и я это понял, потому что он стал дергать за поводья так, словно я пытался идти, а он хотел меня остановить. Но, ясное дело, что я стоял на месте, а это он начинал беситься.

— Слушайте,— крикнул мой старик,— как это вы мотыжите?!

— Как мотыжим? — спросил у него один мужчина, выпрямляясь над мотыгой.— Как надо, так и мотыжим!

— Не по-людски вы мотыжите! — крикнул мой старик.— Вы мотыжите по-гяурски!

— Езжай-ка, старик, куда ехал,— сказал этот мужчина, снова берясь за свою мотыгу,— тоже мне учит... да еще верхом на муле...

Нехорошо это он сказал моему старику. Дело не в том, что он глупо упомянул меня. Но он гораздо младше моего старика по возрасту, а по азбахзским обычаям так со старшим разговаривать не положено.

— Дур-рак! — крикнул старик мой по-русски, и я понял, что он в сильном гневе.— При чем тут мой мул, если вы оскотинились!

С этими словами он соскочил с меня, как мальчишка, перелез через плетень, спрыгнул на поле и, наклоняясь к стеблям кукурузы, стал разгребать землю из-под них. Попутно он выдергивал стебли, слишком близко росшие друг от друга, которые надо было срезать мотыгой.

— Совсем оскотинились?! — повторял он, продолжая разгребать землю под стеблями кукурузы. И каждый раз видно было, как из-под них высовываются сорняки, слегка заваленные землей. Дело в том, что эти колхозники ленились выполоть сорняк из-под каждого стебля, а чаще всего просто заваливали корни кукурузы землей. Они это не нарочно делали, а просто ленились. Если было удобно выполоть сорняк одним ударом мотыги, они его выпалывали, а если было неудобно — заваливали землей. Снаружи получалось, что поле нормально промотыжено. Но ясно, что невыполотый сорняк через неделю прорастет.

— Где ваша совесть,— кричал мой старик,— вы что, не в Абхазии родились?!

Колхозники, слегка смущенные правотой моего старика, помалкивали. Старик мой стоял, побледнев, и я видел, что кадык его так и ходит ходуном, словно у него в горле доклокатывают невысказанные им слова.

— Так это ж колхозное,— наконец миролюбиво сказала одна крестьянка,— чего ты убиваешься, старый...

Я почувствовал, что старик мой так и опал.

— Ну и что ж, что кумхозное,— тихо сказал мой старик,— грех так работать... Кукурузу жалко...

Старик мой разжал руку, и несколько кукурузных стеблей, вырванных им, упали на землю. До этого я, честно говоря, надеялся, что он их перебросит мне на улицу. Но теперь у меня так горло перехватило, что я бы, наверное, не смог сделать и глотка. До того мне жалко его стало. Он и ругает колхоз, и в то же время видеть не может нечистую работу, даже на колхозном поле. И терпеть все это невмоготу, и податься ему некуда, вот какие дела.

Старик мой повернулся и, сопровождаемый молчаливыми взглядами крестьян, перелез через плетень и тяжело, ох, как тяжело, взгромоздился на меня. И мы пошли дальше.

Вот так мы шли и шли, а мимо нас пробегали машины то в одну, то в другую сторону, а иногда проходили арбы, запряженные буйволами, а иногда проскакивали нарядные коляски, запряженные двумя лошадьми. В этих краях такие коляски называют фаэтонами. И это уже признак, что близится город.

Постепенно старик мой пришел в себя. Я это почувствовал, потому что ноги его расслабились и перестали сжимать мне живот. Конечно, до конца улучшить настроение ему теперь ничего не сможет. Вскоре старик мой свернул с дороги и подъехал к крестьянскому дому, стоявшему неподалеку. Видно, он решил, что мне пора отдохнуть и чего-нибудь пожевать, да и ему перекусить не мешает.

— Эй, Батал! — крикнул он, подъехав к воротам. В глубине двора стоял дом, а рядом с ним виднелась кухня. Дверь в кухне отворилась, и оттуда вышел человек. Когда он стал переходить двор, я разглядел его и обмер. Такое чудо я видел впервые в жизни. К нам приближался человек, черный, как обугленная головешка. Нет, слыхать-то я о таких слыхал. Слава богу, я — кое-что повидавший на све-

те мул. Но я думал, что такие живут только в заморских землях. И после этого мой старик называет меня Арапкой? Я арап? Нет! Он арап!

Не успели мои глаза привыкнуть к этому арапу, как из кухни высыпала почти дюжина арапчат и побежала в нашу сторону. У меня в глазах так и замелькали черные пятна. Тут из-под дома с лаем выбежала собака, и тоже черная, без единой светлой шерстинки. Господи, подумал я, что же это здесь творится! И вдруг, видно, взволнованный собачьим лаем, на плетень вскочил петух, весь черный, как ворон, и сердито заклокотал — я почувствовал,— дурею. Что же это за чертов край, подумал я, что здесь и люди, и животные, и птицы — все в одну масть! Но тут, слава богу, рыжий телок вышел из-за дома, и куры показались, хоть и не белые, но все же с пестринкой. Чувствую, как-то легче стало.

Старый арап отогнал собаку и, улыбаясь белозубым ртом, подошел к воротам. Только я подумал: на какой же тарабарщине мой старик будет разговаривать с ним, как хозяин поздоровался на чистейшем абхазском языке. Откуда же взялся этот абхазский арап? Значит, придется, видно, крепко поработать головой, чтобы разгадать эту тайну.

Старый арап открыл нам ворота и впустил нас во двор.

— Ты все на том же муле, Хабуг,— сказал он с улыбкой, оглядывая меня.

— Нет, это уже другой мул,— сказал мой старик, слезая с меня.

Трудно даже сказать, до чего мне неприятно было слышать эти слова. Я уже восемь лет ношу своего старика, и мне кажется, что мы всегда были вдвоем. Но когда я такое слышу, мне становится ужасно тоскливо.

Это так горько думать, что у твоего хозяина и до тебя был какой-то мул и, вероятно, после тебя будет. Такова жизнь, я знаю, но так не хочется думать об этом и знать это.

Мой старик спешился, вынул удила из моего рта, приторочил поводья к седлу и пустил меня пастись во дворе.

— Смешная лошадь! Смешная лошадь! — кричали арапчата, петляя вокруг меня и подо мной, так что я боялся невзначай отдавить кому-нибудь из них ногу. Видно, они в первый раз видели мула. Глупышки, думал я, кто из нас смешней, я или вы?

Я хоть и здорово проголодался, но сначала с опаской попробовал траву во дворе этого арапа. Но с первым же клочком убедился, что по вкусу это настоящая абхазская трава и по цвету она вполне зеленая.

Тут из кухни вышли две женщины. Одна была старая и черная, а другая средних лет и белая, как обычная абхазка. Она стала отгонять от меня детей, чтобы они не мешали мне спокойно есть траву, и я понял, что она мать этих детей. Нетрудно было догадаться, что она жена сына старого арапа. И я подумал: вот она белая абхазка, а дети все у нее черные без единого белого пятнышка. Что же это делается, подумал я. Здесь арапская кровь оказалась сильней абхазской, и все дети получились один другого черней, там русская кровь оказалась сильней абхазской, и ребенок оказался чересчур белым. Что ж это делается?

Моего старика пригласили на кухню, но он, ссылаясь на жару, сказал, что посидит на веранде. Вместе со старым арапом они уселись за столом, а белая абхазка и старая арапка стали приносить из кухни и ставить им на стол угощения.

Я ел траву, изредка поглядывая на них и прислушиваясь к их речам. Видя черноту старого арапа и слыша его абхазскую речь, я все никак не мог их соединить, и мне все казалось, что внутри этого арапа сидит белый абхазец и говорит за него. Однако постепенно я привык к этому чудному сочетанию абхазской речи и арапской черноты и стал более спокойно слушать, о чем они говорят.

Мой старик, конечно, стал расспрашивать абхазского арапа насчет колхозных дел. Первым делом он у него спросил, не заставляют ли их сажать эвкалипты. Старый арап отвечал, что эвкалипты их заставляли сажать в прошлом году, а в этом году их заставляют сажать тунгу.

— Это что еще за тунга? — подивился мой старик.

— Это такое растение,— отвечал старый арап,— у которого страшно ядовитый сок. От него мгновенно умирает что человек, что скотина...

— Зачем же им этот ядовитый сок,— встревожился мой старик,— кого они собираются травить?

— Нет,— успокоил его старый арап,— травить они никого не собираются — ни людей, ни скотину. Этот сок им нужен для аэропланов. Аэропланы без этого сока взлететь не могут, могут только ехать по земле, как машины.

— Час от часу не легче,— сказал мой старик.

Тут они выпили вина, и старик мой, опрокинув выпитый стакан, намеком сказал, чтобы дела их врагов так же опрокинулись, как этот стакан. Они продолжали есть и пить, и старик мой стал рассказывать о делах чегемского колхоза. Он рассказал и про низинку, и про табак, и еще про колхозную ферму, заведовать которой приставили никудышного человека. Про ферму он говорил с большой горечью, и только я один знал о ее причине. Дело в том, что мой старик надеялся, что именно его, как лучшего чегемского скотовода, попросят заведовать фермой. Но его никто об этом не попросил, а сам он из гордости себя ни за что не предложит.

— Этот человек,— сказал мой старик,— даже при Николае не мог завести пару овец. Что же он сможет сейчас? Он же загубит всю скотину!

— Точно загубит,— согласился старый арап.

— Если так пойдет дальше,— сказал мой старик,— в деревнях из четвероногих разве что собаки останутся.

— Собаки останутся,— согласился старый арап,— потому что власти к собакам интереса не имеют.

— Попомни мое слово,— сказал мой старик,— будет много железа и мало мяса.

— Это точно,— опять согласился старый арап,— к нам недавно трактор пригнали. Так он с головы до хвоста весь железный...

Они поговорили еще с полчаса, выпили по нескольку стаканов вина, и мой старик стал собираться в дорогу. Старый арап со своими арапчатами проводил нас до калитки. Мой старик попрощался с хозяином дома, сел на меня, и мы пошли дальше.

Я успел хорошо отдохнуть, подкрепиться, и мой шаг был легким и бодрым. Не прошли мы от дома этого арапа и одного километра, как вдруг на небольшой лужайке возле улицы я увидел рыжего жеребенка, стоявшего возле своей матери. Вот это да! Оказывается, встреча с арапом — это хорошая примета. Надо запомнить на будущее.

Меня так и обдало нежностью. Но я сказал себе:

— Держись, Арапка, не позорься перед своим стариком, следи за своим шагом, не выдавай дрожи в ногах.

Я шел, стараясь не смотреть в сторону жеребенка. Но не мог же я нарочно закрыть глаза, чтобы не видеть его. Это было бы просто глупо. Когда мы проходили мимо него, он стоял, забавно раздвинув

свои шаткие ноги, и, весь изогнувшись, покусывал себя под лопаткой. Ох, изведут меня эти жеребята, чувствую, изведут.

Когда мы прошли мимо него, у меня появилось ужасное желание оглянуться. Но я сдержал себя и не повернул головы. Правда, в это мгновенье какая-то наглая муха села мне на веко, и я вынужден был изо всех сил мотнуть головой. И снова на короткое мгновенье я увидел его. Теперь он перестал чесаться и, сияя белым пятнышком на лбу, удивленно смотрел в мою сторону. Видно, что-то в моем облике заинтересовало его. Довольный этой встречей и собственной сдержанностью, я шагал и шагал по дороге.

Часа через два, пройдя еще один мост через неизвестную мне реку, мы вступили в город. Мимо нас беспрерывно пробегали большие и маленькие машины, и я стал невольно привыкать к их неприятному запаху. Теперь вся дорога была выстлана черной смолой. Ходить по ней было хуже, чем по земле, но приятней, чем по камням.

Множество людей проходило взад и вперед, и то и дело слышались слова на разных языках. Когда раздавались знакомые слова, я узнавал грузинскую речь, армянскую речь, турецкую речь и греческую. А когда я не встречал ни одного знакомого слова, я понимал, что говорят по-русски. Я, как и мой старик, по-русски не понимаю ни одного слова, потому что по-русски говорят только в городах, а мы в них очень редко бываем.

Мы подошли к большому дому, где жил Сандро. На вид-то дом большой, да я знаю, что у Сандро здесь только одна комнатушка. Мой старик спешился, ввел меня во двор и привязал к штакетнику забора. Я стал ждать. Городские мальчишки, игравшие во дворе, окружили меня, восхищаясь мной и по неопытности принимая меня за лошадь. Вообще, меня часто принимают за лошадь, а за осла никогда не принимают.

Вскоре из дому вышел Сандро вместе с моим стариком и золотистой длинноногой девчушкой, дочкой Сандро. Мой старик вел ее за руку. Я знал, что он обожает эту свою внучку, да я и сам не мог отвести от нее глаз. Пожалуй, она единственное человеческое дитя, из тех, что я видел, которое по красоте облика я бы сравнил с жеребенком.

— Дедушкина маленькая лошадь! — крикнула девчушка и подбежала ко мне.

Мой старик подсадил ее в седло и, взяв меня за уздечку, вывел на улицу. Я понял, что мы идем рассматривать дом, который собирается купить Сандро. Между прочим, я сразу почувствовал, что он чем-то смущен и что-то хотел бы скрыть от моего старика. Конечно, я был уверен, что он собирается просить у него деньги на покупку дома. Думаю — старик мой тоже был в этом уверен. Я знал, что он сперва немного поупрямится, а потом даст.

Но в том-то и дело, что смущение Сандро никак не было связано с этим. Да мало ли он в своей жизни у него денег вытянул! Нет, нет, я чувствовал, что здесь что-то другое. Пусть с меня шкуру сдерет медведь, подумал я, если тут что-то не скрывается.

Не знаю, почувствовал ли мой старик то, что почувствовал я. Так ведь его сразу не поймешь. Ни один человек в мире не умеет так держать себя в руках, как мой старик. Все же сдается мне, что мой старик на этот раз ничего не заподозрил. Иногда мой ум работает быстрее, чем ум моего старика.

Мы прошли несколько улиц и подошли к калитке какого-то дома. Сандро открыл калитку и пропустил нас во двор. Это был очень маленький дворик с очень сочной травой, с несколькими хорошо ухоженными фруктовыми деревьями и цветами перед крыльцом. Домик был небольшой, но тоже хорошо ухоженный.

Я почувствовал, что дом старику понравился. Особенно он ему понравился, потому что был с участочком земли. Так я думаю.

— Хороший дом,— сказал мой старик, кивнув головой,— вызывай хозяина, поговорим, поторгуемся...

— Хозяина нет,— сказал Сандро,— дом продает горсовет.

— А хозяин что, умер? — спросил мой старик и, вынув у меня изо рта удила, прикрепил поводья к седлу, чтобы я мог попастись на этой жирной, не видавшей скотины траве. Теперь я окончательно убедился, что старик мой ничего особенного в облике Сандро не заметил. Он только думал, что Сандро станет у него выклянчивать деньги, а больше ни о чем не думал.

— Не то чтобы умер,— сказал Сандро и, замявшись, добавил: — здесь жил один грек. Так его вместе с женой арестовали и в Сибирь отправили...

— Вот оно как,— сказал мой старик и замолчал. Сандро тоже молчал. Я же сразу почувствовал, что здесь что-то не то!

— А детей у него не было, что ли? — спросил мой старик, прерывая молчание. Он взглянул на меня рассеянным взглядом, и я почувствовал, жалеет, что вытащил у меня изо рта удила. И напрасно. Потому что я все равно не мог есть траву, зная, какой ураган надвигается.

Я посмотрел на Сандро, и хотя он был немного смущен, но не понимал, что нависло над ним.

— Были двое,— отвечал Сандро,— их забрали в Россию родственники.

— Вот как,— сказал мой старик, все еще сдерживаясь,— значит, родителей сослали в Сибирь, детей забрали в Россию, а дом тебе продают. За какие такие заслуги, интересно?

— Я же сейчас лучший танцор ансамбля,— сказал Сандро.— Сейчас же многих арестовывают, а дома их продают самым заслуженным людям города. Я тебя понимаю, отец. Но не мы же их арестовали. Не я, так другой купит...

— Сдается, что не понимаешь,— отвечал мой старик, все еще сдерживаясь,— и за сколько же тебе продают этот дом с землицей?

Он снова оглядел участок. Мимоходом он взглянул и на меня и, мне кажется, остался доволен, что я неподвижно стою и не ем эту кладбищенскую траву. Мне бы в горло она сейчас не полезла. Я же знал, какой ураган рвется сейчас из груди моего старика, но он его все еще удерживал.

— За две тысячи рублей! — воскликнул Сандро, стараясь обрадовать моего старика выгодностью покупки.

— Две тысячи рублей,— усмехнулся мой старик,— в наше время это стоимость двух хороших свиней. Вот уж небывалое дело, чтобы за две свиньи человек мог купить приличный дом.

— Так горсовет назначил,— разъяснил Сандро,— что ж мне увеличивать цену?

И тут старик мой сказал:

— Сын мой,— начал он тихим и страшным голосом,— раньше если кровник убивал своего врага, он, не тронув и пуговицы на его одежде, доставлял труп к его дому, клал его на землю и кричал его домашним, чтобы они взяли своего мертвеца в чистом виде, не оскверненным прикосновением живого. Вот как было. Эти же убивают безвинных людей и, содрав с них одежду, по дешевке продают ее своим холуям. Можешь покупать этот дом, но ни я в него ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома!

С этими словами мой старик подошел ко мне, вдвинул мне в рот удила с такой силой, что чуть зубы мне не выбил (я при чем?!), сгреб девчушку с седла, чтобы сесть на меня и уехать из города.

Тут-то Сандро опомнился и подскочил к отцу.

— Отец! — закричал он.— Не горячись, прошу тебя! Я ведь для этого тебя и вызвал, чтобы посоветоваться. Я и сам чувствовал, что тут что-то нечисто. Что я, две тысячи рублей не мог достать? Мне бы друзья одолжили!

— А-а-а,— сказал мой старик, помедлив, и снова посадил девчушку на меня,— посоветоваться... Так вот мой совет: возвращайся в деревню. Мать твоя голову мне продырявила своими причитаниями. Время такое, и тебя забрать могут. Или плясуны у них неприкасаемые?

— Ну да, неприкасаемые,— ответил Сандро, вздохнув.— Платона Панцулая уже взяли...

— Чего ж ты ждешь? — спросил мой старик.

— В том-то и дело, отец,— ответил Сандро, помрачнев,— и оставаться страшно и уходить страшно. Уйду — скажут, испугался, потому что был любимчиком Лакобы. А с Лакобой знаешь, что они сделали...

— Прямо уходить не надо,— сказал мой старик, подумав,— я тебе все устрою. Я найму хорошего доктора, он временно испортит тебе колено, тебя выбракуют, и ты вернешься домой.

С этими словами мы покинули этот выморочный дом и пошли к Сандро. Старик мой явно успокоился. Он был доволен, что и сына не потерял, и совесть свою не осквернил. Ночью старик мой переночевал у Сандро, а утром мы двинулись обратно.

Мой старик как обещал, так и сделал. Он нанял хорошего, доверенного доктора из села Атары, тот так подпортил Сандро колено, что он еще месяца два хромал после того, как его выбраковали и отпустили в деревню.

В ту же осень мой старик нанял четырех греков, и они выстроили Сандро дом так, чтобы он стоял на виду, и мой старик со своего двора мог видеть, всегда ли открыта дверь в его кухне, и если не открыта, то криком напомнить ему или его жене, что такая забывчивость позорна.

Теперь после всего, что я рассказал, я хочу спросить: есть ли у вас на примете старик, подобный моему? Если есть — покажите. В том-то и дело, что показать вам нечего.

Мне часто снится один и тот же сон. Мне снится, как будто я на гребне холма, разделяющего котловину Сабида на две части, купаюсь с жеребенком в пыли. Там есть такое место, облысевшее под спинами лошадей, мулов, ослов. Трепыхаясь спинами в теплой пыли, мы их сладостно почесываем, почесываем, а ноги наши весело бьют по воздуху, и кажется, что мы бежим по небу, и мы смеемся, смеемся от счастья, а потом вскакиваем на ноги и отряхиваемся от пыли.

И тут я вижу, что мой старик спускается за мной в котловину Сабида и в руке у него горсть соли, а лицо у него такое, какое редко теперь бывает. По лицу его видно, что крестьянское дело не погибло. И справа по склону холма пасутся его козы и овцы, и слева по склону холма пасутся его коровы и буйволы, и он знает, что крестьянское дело будет вечно и никогда не кончится, и я буду вечно, и он будет вечно, и трудно даже сказать, до чего в такие мгновения мне неохота просыпаться.

Илья Сельвинский

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

★

Нас много одиноких. По ночам
Мы просыпаемся и шарим спички,
Закуриваем. Стонем по привычке
И мыслим о начале всех начал.

В окошко бьются листья золотые.
Они в гербах и датах. Полночь бьет.
А мы все курим, полные забот.
Нас много одиноких. Вся Россия.

1937

★

Не говори ты мне, старина,
Хвост поджав и смущенно халтуря,
Будто свободная наша страна
Связана только в литературе...

Литература не просто струна,
Что нам завещал по наследству прадед:
Если поэзию лихорадит,
Значит, недомогает страна!

1950

★

Куда не пойду — преграда,
Где не ступлю — запрет.
Сердце возьмите! —
— «Не надо».
Душу мою!
— «Нет».
Но есть и в ядах лекарство;
Мы горечь поэзии пьем.
А скучно, когда государство
Идет на дуэль с муравьем.
Но время на лире играет,
Лиризму неведом крах:
Правительства отмирают,
Поэт воскресает в веках.

1952

★

О, милая моя среда,
Где терпят и не плачут,
Где гений вспыхнет иногда,
Но ничего не значит,
Где быть властительницей дум
Имеет право тупость,
Где трусость выдают за ум,
А прямоту — за глупость.

1952

К поэтам

Ты вечно в бою, новатор-народ,
В упрямых поисках ты.
А взглянешь на стих —
опять недород,
Край святой нищеты.

Всех громче чирикают, как посмотрю,
Стайки серeньких птах.
По «Новому миру», по «Октябрю»
Муза ходит в лаптях...

И кажется — пред тобою мир
После атомной войны:
«Гамлета» не писал Шекспир,
«Фауста» не слыхал эфир,
Не было гейневских сатир —
И нет ни на ком вины.

Напротив: радуются! «Не для масс
Сия философская сыть.
Народную толщу нужно сейчас
Манной кашей кормить!»

И кормят. И все довольны вполне.
Но можно ль сказать наперед,
Так ли уж рад голубой пелене
Сам товарищ народ?

Нет, не поверю! Народ-герой
Наследник великих культур,
Не этот колхозник, не тот горновой,
Не этот вот штукатур:

Народ — история всех эпох,
Творчество всех времен,
И хоть
его же создание —
бог,
Но бог это он.

Достойны ли наши чернила его?
Чем помогаем ему?
Руку набив, накопив мастерство,
Даем ли выход уму?

Крича о борениях света и тьмы,
Фырча на «поэзию грез»,
Какие проблемы поставили мы?
Какой разрешили вопрос?

Да и какое решение дашь,
Если давненько для нас
Красный редакторский карандаш
Страшней равнодушия масс?

Отсюда в поэзии робкая стать
И только о том и орем,
Кому из нас председателем стать,
Кому секретарем,

А там уж, как на крылатом коне,
Летим на палочке вскачь:
— Бессмертие — дескать, положено мне,
Ибо я — помзамнач.

Поэт! Раба в себе обуздай,
Дыши озоном планет.
Любовь народа — твоя звезда,
Высшего ордена нет.

В Коммуну эпоху свою торопя,
Не спрашивай: «Где тут брод?»
И пусть редактор боится тебя,
Ибо ты сам — народ!

1958

А. М. Ларина

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В декабре 1938 года я возвращалась в московскую следственную тюрьму после того, как уже в течение полутора лет находилась в ссылке в Астрахани, различных этапных и следственных тюрьмах и, наконец, в лагере для членов семей так называемых врагов народа в городе Томске, где я вторично была арестована и отправлена в тюрьму.

В то время многих жен крупных военных и политических деятелей вновь вызывали из лагерей в Москву — не для того, чтобы облегчить их участь, напротив, с целью ухудшить ее и тем самым уничтожить лишних свидетелей действительно совершаемых преступлений. Примерно одновременно со мной были вызваны в Москву жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, жена второго секретаря Ленинградского обкома партии Чудова, работавшего при Кирове,— Людмила Кузьминична Шапошникова. Все они впоследствии были расстреляны. Томский лагерь был моим первым лагерем заключения. До своего вторичного ареста я пробыла там всего лишь несколько месяцев, там мне пришлось пережить «бухаринский процесс» и расстрел Николая Ивановича. Именно там, где нас собрали вместе в большом количестве, я особенно остро почувствовала трагедию того времени и стала, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени воспринимать ее как трагедию Советской страны. В томском лагере было около четырех тысяч жен «изменников Родины». Этот лагерь был не единственным, а одним из многих такого типа.

Мужскую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор «дядя Кака», прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных — по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и их биографиям (были жены старых революционеров Шляпникова, Бела Куна, жены военных — И. Э. Якира, его младшего брата — тоже расстрелянного, сестры М. Н. Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде) — был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь: жены «врагов народа», как правило, не знающее исключений, никогда ими не бывших. Но мы именовались ЧСИРы — члены семьи изменников Родины. Большинство ЧСИРов в представлении лагерного начальства обладало, я бы сказала, абстрактными «вражескими» качествами, так как оно, начальство, само не понимало, что творится в стране. Приходил этап за этапом. Народ становился сам себе врагом.

Но когда лагерное начальство, в большинстве своем серое и малограмотное, сталкивалось с женами бывших известных руководителей, то они представлялись ему как действительные враги. На всю жизнь остался в моей памяти эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали «обыкновенных» ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга, и начальник, приехавший из ГУЛАГа (Главное Управление лагерей), крикнул во весь голос: «Видите этих женщин, это жены з л е й ш и х врагов народа; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, все им не нравится, все им не так». Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем наконец (как мы думали) добрались до места назначения.

С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, краснощекий, самодовольный начальник направился к воротам Томской тюрьмы. Заключенные в ужасе расходились. Были и такие, которые стали нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места — было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли мы в оцепенении на сорокаградусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения.

В этот день барак походил на разворошенный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовали: «Вот, натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем». Остальные ругали начальника из ГУЛАГа и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь мы не спали, сидели на краю нар (места наши «заросли» спящими человеческими телами) — не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали под сладкий храп уснувших женщин.

11 июня 1937 года Якир был расстрелян. 20 сентября его жена и четырнадцатилетний сын были арестованы в Астрахани, где они находились в ссылке. Сарра Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же в один день с ними.

Теперь шел декабрь 1937 года — мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно-единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о возможности отправлять нам раз в месяц продуктовые посылки; но подтверждать письмом получение посылок не разрешили.

Уже под утро мы разбудили своих соседей, чтобы те уступили нам места поспать, и только успели задремать, как началась поверка. Мы выстраивались в ряд, и дежурный надзиратель, молодой парень, начинал перекличку:

— Хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок; хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок...

И женщины покорно отвечали:

— ЧСИР — 8 лет, ЧСИР — 8 лет (изредка 5).

ЧСИР — звучало менее оскорбительно, чем «член семьи изменника Родины», а для малограмотных — их было меньшинство, но немало — и вовсе ничего не значило. Они с трудом запоминали своё клеймо.

Подойдя ко мне, надзиратель с особым задором выкрикнул:

— А ну-ка, хвамилию?!

— Ларина,— ответила я: так у меня было записано в документах, по делу я проходила под двумя фамилиями, но этого я еще не знала. В этапе почему-то мою фамилию не спрашивали, ее, по-видимому, вписали уже в лагере.

— Ларина?! — закричал надзиратель,— а шпиёнскую молчишь?!

Нетрудно было догадаться, что означает «шпиёнская», и я ответила:

— Бухарина. Но она такая же шпиёнская, как тзоя китайская.

Все испуганно замерли. Стоящая рядом Сарра Лазаревна Якир толкнула меня в бок.

— В карцер, что ль, захотела, в карцер? Не побывала еще — побудешь.

Так прошли первые дни в томском лагере. В карцер, однако, меня не посадили.

Утром мы с Саррой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило ма-

линово-кровавое сибирское солнце («К войне такое солнце».— говорили женщины) и чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека, потому что ходить туда было запрещено, сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки, откуда следили за нами дежурные конвоиры (их называли еще стрелками), и если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: «Стой! Кто идет?» Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страдания. Шутя, мы называли эту дорогу Невским проспектом (среди нас было много ленинградцев) или «главная улица в панике бешеной». Чтобы не замерзнуть, носились по ней толпы несчастных, прикрывая, чем могли, свое тело. Большинство — в рваных телогрейках, холодных бутсах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и меня еще с детства. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. Вопреки изнеженной внешности, скрывающей уже немолодой возраст, она была человеком волевым и с мужеством ожидала надвигавшиеся новые беды. Старый член партии, как в те годы говорили, «выдвиженка из работниц», когда-то она ведала в Ленинграде парфюмерной промышленностью и вместе с женой Молотова П. С. Жемчужиной побывала в Америке, где они были приняты Рузвельтом. В те годы за границу ездили редко, так что это событие осело в памяти. В лагере Людмилу Кузьминичну любили, она пользовалась авторитетом у ЧСИРов, ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней (никакого производства в томском лагере не было).

Людмила Кузьминична предупредила меня:

— Будь очень осторожна, ничего не говори о том, что творится в стране, молчи о Николае Ивановиче. Обстановка тут мерзкая, вчера ты сама могла в этом убедиться. Развито доносительство. Таскают на допросы в 3-ю (следственную) часть. Многие гнусные бабы вызывают на провокационные разговоры, пытаясь заработать обещанную свободу. Время очень тяжелое, а тебе надо быть особенно осторожной. Тебе надо жить! А вот о себе я могу сказать — думаю, что мои дни сочтены [1]. Меня в живых не оставят.

— То есть как сочтены? Вы же свои восемь лет получили,— наивно возразила я.

— Это еще не все, будет продолжение.

Шапошникова рассказала, что ее уже вызывали на допросы в лагере и, наверное, отправят снова в Москву. Я ничего не могла понять.

— Почему? — спрашивала я.— Почему?

— Знаю много, вот почему,— ответила Людмила Кузьминична, оглядываясь по сторонам, нет ли кого-нибудь рядом, но кругом никого не было, никого. «Ленинградка,— подумала я,— близко стоявшая к тем, кто работал с Кировым. Сама говорит — знает много. Ближайшие товарищи Кирова, как они объясняли случившееся, что они думали?» Разве можно было упустить такой случай, разве можно было удержаться и не спросить, и я решилась.

— Людмила Кузьминична! Как все случилось с Сергеем Мироновичем, что вы об этом знаете? Там у вас в Ленинграде говорили же, наверно, знали больше?

— Ах, вот что ты захотела знать!

Покраснев, взволнованная и растерянная, она долго смотрела на меня.

— Что за вопросы ты задаешь, разве можно об этом говорить! — наконец произнесла она.

— Я думаю, нам можно, Людмила Кузьминична, н а м можно!

— Да мне-то все равно умирать, а тебе ведь жить надо. Я не за себя боюсь, за тебя. Хотя... молчать ты умеешь, молчать, как могила?

Как же было не обещать молчать, и она поверила.

[1] После своего освобождения я узнала, что Л. К. Шапошникова была вторично судима и расстреляна. Ее муж Михаил Семенович Чудов расстрелян в 1937 году.

— Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет, по указанию «хозяина».— Именно так она выразилась.— Это поняли многие ленинградские товарищи после выстрела, понимал и Чудов.

Хоть к этому времени я тоже понимала, что Зиновьеву гибель Кирова не была нужна, у меня в голове бродило несколько возможных версий. Когда я уже была арестована, в Астраханской тюрьме (ни в коем случае не в момент убийства) я додумывалась и до самого страшного. Но когда эти мысли, даже еще лишь предположения, начинавшие созревать, подтвердились, я только и смогла произнести:

— Страшно!

— Страшно? — повторила Людмила Кузьминична.— А почему убийство Сергея Мироновича страшнее всех остальных убийств? Это еще легкая смерть — убийство из-за угла, Киров погиб не как враг народа, не как шпион и мучений не испытал. А убийство Бухарина разве будет менее страшным? Не думай об этом, тебе еще много страшного придется пережить.

— Но через кого он действовал? — спросила я.

— Этого я тебе не скажу, это покажет время.— И Людмила Кузьминична, переменив тему разговора, стала вспоминать то лето, когда мы вместе отдыхали в Крыму, в Мухалатке, я с отцом, она с Чудовым. Людмила Кузьминична вспомнила, к моему удивлению, и несколько моих стихотворных строчек того лета, посвященных Чудову:

Что за чудо, что за чудо,
К нам приехал дядя Чудов.
Дядя — Чудов монастырь,
Ленинградский богатырь.

Мне тогда было пятнадцать лет. Чудов был высокий, широкоплечий, могучий человек. «Илья Муромец»,— звала я его шутя.

— Вот богатырь, богатырь, а сдули, как соломинку.

Людмила Кузьминична смахнула слезу. И мы расстались, чтобы не привлекать внимания окружающих.

В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Производство там не было организовано. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок.

Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа: выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая остроглазая Таня Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкина, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолии первых лет Революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные «параши» (слухи — на лагерном жаргоне): к Новому году будет амнистия, к 1 Мая — амнистия, а уж ко дню рождения Сталина — обязательно.

Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой «изменника Родины», но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина невероятных размеров, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнало Дину в капкан. Никакие объяснения на следствии не помогли.

В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку,

капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили.

Нашу завкухней Л. К. Шапошникову бросало то в жар, то в холод: она не знала, как накормить всех нас такими продуктами — капуста и картошка были мороженые. Но ее организаторские способности проявились и здесь. Однажды она пришла к нам в барак и сказала:

— Девчата! — так она называла всех женщин независимо от возраста.— Я придумала вот что: из этого мяса все равно ничего хорошего не выйдет, будет баланда с мороженой картошкой без всякого навара. Давайте, пока морозы, соберем эти туши за неделю и к воскресенью сготовим настоящий мясной суп и даже по котлете, может быть, выйдет. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали все хором. Так поступили и в других бараках, их было, кажется, восемь. В воскресенье мы действительно получили хороший суп и по маленькой котлете. Но приготовить такой обед, как выяснилось, было очень сложно, и, несмотря на огромное количество свободных рук, работа оказалась трудновыполнимой: кухня не смогла вместить такого количества «поварих». И эксперимент не повторился, по крайней мере при мне.

Заметив еще издали Дину, которая за оглобли тянула нагруженную телегу, мы всегда кричали: «Дина едет! Дина едет!» — и бежали к воротам, чтобы помочь ей, подталкивая телегу сзади. Для того, чтобы компенсировать затрачиваемую Диной энергию, исчислявшуюся в лошадиных силах, лагерное начальство распорядилось давать нашей «лошади» двойной паек . К сожалению, паек был такой калорийности (а овес Дина, естественно, не употребляла), что и тройной бы не помог, если бы Людмила Кузьминична не подкармливала ее в кухне.

Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В томский лагерь была заключена молодая женщина — Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она хотя и не как Кармен в Большом театре, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи — а слухи в лагере очень любили, — что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он интересовал. Дина, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была фаршированная голова, как у градоначальника Плюща из «Истории одного города», и что после лагерного обеда она могла бы вкусно закусить. Она и знать не знала о существовании Салтыкова-Щедрина, просто была наша Дина очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется, и когда Кармен шла в своем лагерном одеянии — бутсах и залатанном бушлате б/у по «Невскому», неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой, Кармен на свою спину, а другой, размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана пятью сутками карцера (холодное помещение, хлеб и вода). Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой, стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие тягловой силы спасло ее, и на другой день она вновь впряглась в свою телегу.

Кроме того, что Дина не была ничьей женой, ни «врага народа», ни его друга, она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилось в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле, к полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не заключение, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя, за все двадцать лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственные три березы, которые росли в зоне возле кухни (впоследствии и их срубили). Их ветки уже не только набирали почки, но кое-

где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых молодых листочков. Как хороши были эти березки, возле которых толпились исстрадавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные, серые телогрейки женщины, так они были хороши — на фоне обшарпанных низеньких бараков, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься! Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой: в ботинках из свиной кожи на босу ногу, черной ситцевой юбке, замусоленной, непонятного цвета кофте (новую, доставшуюся ей, одной из немногих, телогрейку складывала вдвое, а то и вчетверо, и подкладывала под голову). Рядом всегда лежала темная матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее: зима впереди, да не одна, а целых восемь («Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов,— пайку-то хлеба сперли»,— рассказывала с возмущением Дина). Дине на кухне другую дадут,— видимо, думала та, которая украла пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут, и Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют: как этап — тащи их на себе. Но и без них несладко.

Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам, да хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек! Уберечься невозможно. А с Диной было легко.

Но вот однажды и Дина разговорилась:

— Что ходишь сюда, скажи, жалеешь меня, что ль? Не жалей, не надо. Ты свою жизнь жалей, а мне тут неплохо. Дети в детдоме, во-первых, сыты,— и она правой рукой загнула палец на левой,— во-вторых, одеты,— загнула второй,— в-третьих, обуты,— загнула третий палец.

— Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль?!

— А какая там свобода! С утра до ночи в порту. Да я и детей почти не видела.

— А почему ты не училась, Дина?

— Почему не училась?.. Советская власть головы не дала,— рассмеявшись, ответила Дина.— Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не болей за чужую свободу, болей за свою. Не болей за чужих детей. Если у тебя есть свои, болей за них. А вот зачем ты себе мужа врага выбрала, такая дивчина? Он-то, говорят, настоящий враг. У-у-у — лютый враг!

А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить!.. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора.

— Знаешь, разное о нем балакают: и что он шибко умный был, а это смерть — шибко умному быть; чуть больше моего надо — и хватило бы. Ну даже, что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверное, видал его. Хоть разок видал, а? — спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась.

— Не рассказывал он мне об этом, может, и видал разок, но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь!

— Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет. Лежу здесь да слышу всякую болтовню, про то, про се...

Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю.

Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимице — Виктории Александровне Рудиной. Жена военного, она до ареста преподавала в школе русский язык и литературу. Сарра Лазаревна Якир и я познакомились с ней в

Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же — из московской Бутырской.

Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости, наверное, потому, что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в двадцатые годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 1905 года. Длинный коридор Саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери. Слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но как ни тесно было в Саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных,— мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала.

Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами — поэтому нас поселили в коридоре. Коридор неширокий, светлый, так как «намордников» на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы, я и Сарра Лазаревна Якир, на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым, шерстяным якировским,— накрылись.

Рядом со мной лежала сумасшедшая ленинградка. Она то садилась и молча рвала свое черное зимнее пальто, раздирая его на мелкие ленточки, выщипывала ватин, то вдруг неожиданно поднимала крик на весь коридор: «Убили Сергея Мироновича, убили — все убили, все и сидим!», то порывисто вскакивала и, подбегая к замерзшему, покрытому инеем окну, как пушкинская Татьяна, хоть и не прелестным, а толстым, опухшим от холода и грязным пальцем, царапала с в о й «заветный вензель» — «С. М. К», Сергей Миронович Киров. После нескольких минут спокойствия, за которые она успевала исчеркать все окна, она начинала истерически кричать:

— Изверги, изверги, изверги, ведь это мы все убили товарища Кирова, нашего Мироныча. Все на одного! Спасайте, спасайте его!

К ночи она успокаивалась, ночью у нее было другое занятие, она вытаскивала из головы вшей, что не составляло никакого труда, в таком огромном количестве они у нее водились. Запустит руку в голову — и улов обеспечен. Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: «Всем поровну, всем поровну, к коммунизму идем».

В коридоре Свердловской пересылки привлекла мое внимание древняя старушка. Она сидела спокойно, разглядывая всех внимательно с высоты своей старческой мудрости. Испещренная морщинами, как печеное яблоко, крохотная, высохшая, непонятно чистая для тюремных условий, в белоснежном кружевном чепчике, аккуратно сидевшем на ее голове, она и места-то занимала меньше всех. Я услышала ее голос впервые, когда она обратилась к лекпому (медбрат — обычно из бытовиков, устроившихся на «теплое» местечко, ничего в медицине не смысливший, но оказывавший легкую медицинскую помощь; уголовники чаще называли его «лекпом» для простоты произношения, не понимая значения слова).

— Сынок, ты бы мне что-нибудь от поясницы дал,— попросила старушка.

— А чего я тебе дам, когда тебе сто десять лет, что тебе поможет!

Все ахнули: неужто сто десять?

— Мне помогает, помогает, таблеточку дай,— просила старуха.

— На тебе аспирин, глотай, много он тебе поможет. Таблеточку ей дай!

— Правда, бабуля, тебе сто десять лет? — спросила я.

— Точно, точно,— сказал «лекпом»,— я ее формуляр видел, она 1827 года рождения.

— Чего ж неправда, когда правда это,— подтвердила бабушка.

— Так ты при Пушкине жила?

— Это при том, что стихи писал? Сказывают, жила.

— Так за что тебя, бабуля, посадили?

— За что — не знаю. Следователь сказал, что я Евангелие читала, а там про Ленина плохо написано.

— Ну это ты что-то спутала, бабуля, не может быть.

— Это не я спутала, это он перепутал.

Бабушка за Ленина в Евангелии получила пять лет лагерей.

Свердловская пересылка запомнилась и тем, что баланда там была всегда с тараканами. Уж парочка обязательно попадалась в миске. Вот эти два обстоятельства — тараканья баланда и сумасшедшая ленинградка — положили начало моему знакомству и дружбе с Викторией Рудиной. Я увидела ее впервые, когда она, пробираясь через тесно лежащие в коридоре тела, подошла к запертой двери и энергично стала стучать в нее, требуя, чтобы пришел начальник тюрьмы. Наконец он явился. Она смотрела на него свысока и, как мне показалось, брезгливо оглядев его с ног до головы, сказала таким тоном, будто он был у нее в подчинении:

— Во-первых, уберите сумасшедшую, ее нужно лечить, а здесь она не дает спать и заражает вшами. Во-вторых, прекратите варить баланду с тараканами, так как полезность сих насекомых для человеческого организма еще не доказана. Поняли?

Начальник тюрьмы выслушал молча и ушел. К вечеру сумасшедшую увели. В обед тараканов стало меньше, они плавали в мисках далеко не у всех — наверно, их вылавливали в котле.

На следующий день меня, Якир и Викторию взяли на этап и отправили в томский лагерь. В Томске Виктория сапожничала, выпросив у начальства для этого необходимый инструмент. Барак, где она жила, находился напротив кухни, в самом людном месте. Когда потеплело, Виктория выбралась на воздух, устроившись у стенки, перед березками, чинить обувь. Высокая, худая и бледная, с воспаленными от недоедания и напряженной работы глазами, она сидела, ссутулившись, в своем старом, когда-то вишневого цвета пальто. Теперь оно выцвело и потерлось на тюремных нарах, это демисезонное пальто, в котором Виктория мерзла всю сибирскую зиму. Положив тряпку на колени, она ловко орудовала шилом и дратвой. К этому времени Виктория уже не справлялась одна и организовала школу сапожников. Все сошло благополучно. Ее школа не была превращена в «школку» и не была разгромлена как контрреволюционная организация. Но мастерство главного сапожника было непревзойденно. Все стремились отдать в починку обувь именно Виктории. Может быть, ее педагогический талант и помог быстро выучить несколько человек сапожничать, но, конечно же, не прекрасное знание литературы помогло ей самой овладеть этим ремеслом. Просто она умела отдавать себя людям. А в условиях, в которых мы жили, работа ее была нужна товарищам по несчастью.

Когда впоследствии Виктория была отправлена в ссылку, в Татарскую АССР, где преподавала русский язык и литературу, один из ее очень способных учеников, отлично окончивший школу, сдавал экзамены в Казанский университет и, не добрав одного балла, не поступил. Виктория объяснила это несправедливой случайностью. С риском для себя (ее могли подвергнуть вторичному аресту) она поехала в Казань к ректору университета. «Как вы нам надоели, мамаша!» — такими словами встретил ее ректор. «Я вам не мамаша, я его учительница, это мой блестящий ученик, но если я вам очень надоела, поднимите трубку, позвоните в известные органы — я ссыльная,— сообщите, что я в Казани, и меня вновь арестуют». Ректор встал, пожал ей руку и сказал: «Не волнуйтесь, ваш ученик будет принят». Обещание свое он выполнил.

Когда я подошла к Виктории, взволнованная разговором с Диной, ее окружали женщины.

— Виктория, милок, подшей сапоги,— просила жена колхозника и сама

бывшая колхозница из Рязанской области.— Сапоги отцовские. Сказал, пригодятся, мол, там, и вот как пригодились, пропала бы без них. Ох, тяжело,— вздохнула она.— Сначала мужа арестовали, ночью и за мной приехали и отвезли в Рязанскую тюрьму. Открыли замок, завели в камеру, тут-то я и поняла — нет его, бога-то!

В томском лагере было шестьдесят женщин, арестованных с новорожденными детьми. Только один Юра был двухлетний. Я часто приходила к нему. Он жил вместе с матерью в «мамочином» бараке и напоминал мне моего Юру— был к тому времени, к весне 1938 года, такого же возраста и даже внешне чем-то на него походил.

Дети подрастали, и надо было их одеть. Людмила Кузьминична добилась, чтобы нам дали байки, и мы шили для детей одежду. Матерей мы звали по имени детей: Любочкина мама, Васькина мама, Ванькина мама. Ванькина тоже подошла к Виктории, чтобы отвести душу.

— Виктория, подумай,— рассказывает она,— подходит ко мне Тельманша (старшая надзирательница Тельман) и говорит: видишь, как Советская власть о детях заботится. Ты в тюрьме сидишь, а твоему Ваньке вон какой костюмчик сшили. И что, думаешь, я ей ответила? «А по мне, дали бы мне рогожу, завернула бы я своего Ваньку и пошла бы я домой, и не надо мне никакого вашего костюмчика». Семья-то была у нас одинадцать человек: восемь детей, я с мужем и маменька с нами жила, я только Ваньку с собой взяла, остальные со старухой и Дунькой остались — ей шестнадцать, она старшая. Тельманша думает, мы хорошей жизни не видели. Сам-от, бывало, поедет в город, купит кило сахару на неделю, и ешь сколь хошь...

Виктория, взволнованная этим рассказом, ответила ей стихами:

Горя-то, горя-то сколько кругом,
Так что о собственном горе своем
Думать становится стыдно.

Но стыдно ли? Не те времена! Мне не было стыдно думать и о своем. И хоть гонишь от себя это «собственное», все равно мысли никак не дают покоя — терзают.

Некрасов писал о жестоких нравах крепостной России: «А по бокам-то все косточки русские... сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Но сколько тех косточек по сравненню с нашими. В бесчисленные пирамиды павших от расстрелов, голода и холода можно было бы их сложить. Что те слезы в сравнении со слезами наших женщин в лагере, оторванных от детей и мужей — униженных и безвинно уничтоженных. «Русские женщины»? Княгини Трубецкая, Волконская, покинувшие роскошную петербургскую жизнь и поехавшие на перекладных к своим мужьям-декабристам в Сибирь? Слов нет — подвиг! Тема для поэта! Но как они ехали? На шестерке лошадей, в шубах, в на диво слаженном возке, «сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал». Да и к мужьям же ехали! Наши женщины — русские и нерусские — украинские, белорусские, грузинские[1], еврейские, польские, немецкие из Поволжья и бежавшие из фашистской Германии коммунистки — сотрудницы Коминтерна и др. (Сталин же — интернационалист!) — эти доставлялись этапом, в теплушках или «столыпинском», ну, а потом от станции до лагеря километры пешком, под конвоем с собаками-овчарками, обессиленные, еле тащившие свои жалкие пожитки—чемоданы или узлы—под окрики конвоя: «Шаг в сторону — стреляю без предупреждения!» или «Садись!» — хоть в снег, хоть в грязь, все равно садись! Да и не к мужьям же ехали! Хоть были среди нас такие мечтательницы, которые наивно надеялась, что

[1] Сталин не щадил и грузин, уж в национализме и семейственности его никак не упрекнешь. Вот тут-то он чист перед историей. Родственников своих, Сванидзе и Аллилуевых, обрек он на самоубийства, казни и лагеря. Привыкшие к мягкому, теплому климату, грузины первыми гибли на Севере. Расстреливали их в огромном количестве. В процентном отношении репрессированных к остальному населению едва ли не первое место им-то принадлежит. Да и по проклятьям, которые слали они вождю и даже матери его, подарившей грузинскому народу такого сына, тоже брали они в лагерях первенство. С грузинским темпераментом проклинали.

в том лагерном потустороннем мире их соединят с мужьями — теми, кто имел десять лет без права переписки, а значит — был расстрелян. Да и мне, если б к Николаю Ивановичу, тогда что мне та дорога!

Но я и надеяться не могла.

Некрасов писал про «Орину — мать солдатскую». Сын ее в долгой и тяжкой солдатчине умер от чахотки. И впрямь: «Мало слов, а горя реченька!». В суровые годы войны, на фронте тоже погибали наши сыновья и безмерно было горе матерей. Но сын-то погибал как герой, защищая Родину, а не безвинно проклят, Родина, тобой! Что же сказать о той, у кого сына увезли ночью в «черном вороне»?! Но даже этой страдалице могла бы позавидовать та мать, чей сын был известен не только знакомым, сослуживцам и соседям, а еще вчера был гордостью всего народа, а ныне выставлен на всеобщий позор. И не прочли мы еще поэмы об этой вечной душевной муке, безмерной подавленности и вечном вопросе в глазах: «А правда ли, и как это могло случиться?» И досталось многим, хоть ненадолго — не пережили — нести на себе этот тяжкий крест за опозоренного и уничтоженного сына.

Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. Зато и проклинала страна его дружно. Я знала, что это такое, хоть была не матерью такого сына, а женой всенародно проклятого мужа. Всенародное проклятие, всенародное глумление — что может быть страшнее этого? Только смерть — спасение от такой муки!

Та, которую я встретила, была не «Орина — мать солдатская», а Мавра — мать маршальская, тоже простая крестьянская женщина. Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва — Астрахань, в июне 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон (бесплацкартный, зато бесплатный) сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшийся со мной и как будто в насмешку пожелавший всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что «Военная Коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела...», что «все обвиняемые признали себя виновными» и «приговор приведен в исполнение». В тот день погибли крупнейшие военачальники — Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков. Начальник Политуправления Красной Армии Гамарник 31.V.1937 года покончил жизнь самоубийством[1].

Казалось, можно было уже перестать удивляться и все воспринимать как какой-то необъяснимый, роковой круговорот ужаса. Уже прошло два большевистских процесса — Зиновьева — Каменева, Радека — Пятакова. Уже покончил жизнь самоубийством М. П. Томский, арестованы А. И. Рыков и Н. И. Бухарин. Я уж не говорю о более ранних процессах, хотя тогда они не вызывали у меня никаких сомнений. Лишь осуждение Н. Н. Суханова на процессе меньшевиков в марте 1931 года заставило задуматься. Николай Николаевич Суханов — известный литератор, революционер, публицист, экономист, в прошлом меньшевик. Суханов довольно часто бывал на квартире моего отца, его беседы с Ю. Лариным нередко длились часами — и, я думаю, еще и потому, что он был увлечен моей матерью. Это вызывало во мне неприязнь к нему. Я ревностно оберегала интересы своего больного отца. И хотя к Суханову у меня было очень двойственное чувство, так как человек он был чрезвычайно интересный, побеждала во мне нелюбовь. Поэтому меня раздражали изысканные манеры Суханова, его европейский вид, габардиновое пальто, серая фетровая шляпа, пенсне. Уже в то вре-

[1] Об обстоятельствах самоубийства Я. Б. Гамарника мне рассказала его жена, с которой я была одновременно в Астраханской ссылке, а затем в одной камере Астраханской тюрьмы.

К заболевшему Я. Б. Гамарнику 31.V.37 г. пришел взволнованный В. К. Блюхер и посвятил его в имеющиеся против него, очевидно, и против остальных военачальников, расстрелянных 11.VI.37 г., клеветнические материалы. Сразу же после ухода Блюхера явились двое: управляющий делами Наркомата Обороны — Смородинов и один из заместителей Я. Б. Гамарника — Вулин, опечатали сейф. Не успели они уйти, как раздался выстрел.

мя я любила, когда по квартире бегал жизнерадостный Бухарин, и его кожаная куртка часто валялась, небрежно брошенная, в кабинете отца.

В те годы меня больше всего привлекал рассказ Суханова о том, что шумный бракоразводный процесс его матери, приговоренной судом к тюремному заключению, послужил темой для драмы Л. Н. Толстого «Живой труп». Николай Николаевич рассказывал это со всеми подробностями, которых я, увы, не помню.

Его многотомные «Записки о революции» вызвали много споров, читались большевистской верхушкой взахлеб, и, несмотря на взгляды, с точки зрения большевизма неверные, признавалась их некоторая историческая ценность.

Все по тем же личным мотивам мне каждый раз хотелось чем-нибудь задеть Суханова, уязвить его. Однажды, заметив, что Суханов меньше слушает отца, увлеченно рассказывающего о новой архитектуре, о городах будущего, а больше смотрит на мать, я, чтобы отвлечь его взгляд от матери, во весь голос запела очень популярный в то время авиационный марш: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Этим я только рассмешила все понявшего Суханова, который потом всегда свой приход начинал с этого марша, и рассердила ничего не понявшего отца. «Ты бестактна,— сказал он мне,— выйди из кабинета!»

Но однажды я больно задела Суханова, сыграв на известном историческом факте. В целях конспирации на квартире Суханова, в то время видного меньшевика, и его жены большевички Галины Константиновны Флаксерман решался вопрос о вооруженном восстании 1917 года.

Как-то я сказала Суханову:

— А все-таки, Николай Николаевич, вас здорово надули большевики в октябре 1917 года, решив в вашей квартире, в ваше отсутствие вопрос о восстании.

Возмущенный Суханов ответил:

— Надуть меня было абсолютно невозможно, да будет известно тебе и твоим родителям! Я нарочно ушел, чтобы дать возможность решить этот вопрос.

Я слышала высказывание Суханова незадолго до его ареста, что в последнее время он разделяет политику ВКП(б) и намеревается вступить в партию.

Николай Николаевич всегда открыто высказывал свои взгляды и тогда, когда не разделял большевистскую политику. Именно Суханов посеял во мне зерно сомнения в отношении процесса Союзного Бюро меньшевиков, и это сомнение после большевистских процессов превратилось в полную уверенность, что и предыдущие процессы — фальсификация.

Но, по-видимому, человеку от природы свойственно не переставать удивляться. Я, мало сказать, удивилась, я была потрясена новым судом и стала искать хоть какие-то объяснения.

В заговор против Советского государства, в связь с Гитлером поверить я никак не могла. Но так как репрессии достигли таких масштабов, что превращались уже во всенародное бедствие, я приписала расстрелянным военным благородную миссию: они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились. И позже, в сентябре 1939 года, во внутренней тюрьме на Лубянке, один из следственных работников, Матусов, сказал мне:

— Вы же думали, что Якир и Тухачевский спасли бы вашего Бухарина. А мы работаем хорошо. Поэтому это не удалось!

И хотя такого заговора, т. е. против Сталина, по-видимому, не было, Сталин его боялся, в этом и есть, с моей точки зрения, причина гибели наших военных руководителей.

Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами увидеть сообщение, но буквы запрыгали, я только и смогла прочесть: «Приговор приведен в исполнение».

Был теплый июньский день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо — чистое-чистое, лишь на горизонте покрытое перистыми облаками. Только природа, только она казалась вечной и чистой. А кругом все расстрелы и расстрелы. Из прошедших по военному процессу я была знакома с Тухачевским, Якиром, Корком и Уборевичем. От этого было еще больней. А поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии.

И вдруг у противоположного окна я заметила старуху и женщину лет тридцати пяти, а с ними девочку-подростка. Они внимательно, как и я, прислушивались к читающим газету, к реакции окружающих. Лицо старухи своими чертами мне кого-то напоминало. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего напротив них, поменяться со мной. Он согласился. Оставалось только объясниться. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя прежде, чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они — свои — теперь уже больше, чем родные. Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я — жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии; имя и отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну, а уж если не поймет, кто я, решила назвать фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я — Михаила Николаевича».

Так я познакомилась с семьей Тухачевского: его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной и дочерью Светланой.

Пассажиры бурно выражали свою ненависть к «предателям»:

— Да разве их зря осудят!

— Да не резон же, только урон!

Да на резон плевать, лишь бы убрать. Об этом свойстве главного убийцы разве мог народ знать? Следовательно, для Сталина резон был. Он действовал смело и уверенно, без риска проиграть. В этом он был не превзойден никем — ни в деспотизме, ни в коварстве, ни в зле и обмане.

— Сами же признались, сами! От улик никуда не уйдешь.

Народ волновался и безуспешно пытался что-нибудь понять.

— Да судил-то их кто: Блюхер, Буденный, Дыбенко! Вот почему-то их же не судят, а они судят! [1]

А довод же, ничего не скажешь. Народ в тот миг не знал, что и Блюхер станет несколько позже «шпионом» и будет расстрелян, и Ворошилов станет кандидатом в английские шпионы и, как рассказал Хрущев на закрытом заседании XX съезда, не будет допускаться на все заседания Политбюро, а спрашивать разрешения, можно ли прийти.

— И что им только нужно было — и положение, и слава!

— И деньги не наши,— добавила какая-то женщина.

— Про Якира я не верю! — неожиданно смело заявил пассажир в вышитой украинской рубашке, сидевший недалеко от меня, весь покрасневший от волнения.— Хоть десять листов в этой газете напишите — не поверю, не поверю! Я Иону знал и воевал с ним, знаю, что он за человек. Фашистский наймит?! Абсурд, вранье! Да еврей же он, на черта ему нужны фашисты! Какие военные маневры под его руководством возле Киева прошли — мир таких не видел! Так это для того, чтобы обороноспособность нашу крепить, а не для того, чтобы...

— Ишь, гусь нашелся! — перебил его другой пассажир.— Якира защищает, он с Якиром воевал, а я, может, с Тухачевским воевал, другой с Корком или Уборевичем, так, значит, все ложь, все «липа»? А зачем это нужно таких военачальников невинных убивать, только врагам на руку!

---

[1] Членами суда были также и другие военачальники: командармы Шапошников, Белов, Алкснис, Каширин и комкор Горячев. Из них лишь Шапошников и Буденный остались в живых. Комкор Горячев покончил жизнь самоубийством в день суда над военными. Все остальные члены суда были расстреляны.

Присутствовали ли перечисленные военачальники на суде, или же их именами воспользовались для того, чтобы показать, что суд состоял из людей авторитетных, мне неизвестно.

Опять же довод! Но защитник Якира не унимался:

— Якир не Тухачевский — помещичий сынок, он-то всех, наверно, и затянул, а Якира туда впутали.

И те, кто восхищался раньше их военным талантом, блестящими стратегическими способностями, героизмом и мужеством, те, кто под их руководством в огне гражданской войны отвоевывал Советскую власть и подавлял армии интервентов, те, кто им рукоплескал и кричал «Ура!»,— теперь, обманутые и растерянные, яростно проклинали. Гибли авторитеты, рушилась вера, меркли светлые идеалы.

— Изверги, наймиты, изменники, пули им мало, четвертовать, повесить их надо было! Слишком легкая им смерть!

И тут же, среди разъяренных людей, сидела окаменевшая от горя и ужаса мать маршала Тухачевского. Как щедра была к нему природа, как оказалась безжалостна судьба! Необычайная одаренность, редкие полководческие способности, духовная красота сочетались с изумительными внешними данными.

Когда в детстве я впервые увидела Тухачевского, я не могла оторвать от него глаз. Так уставилась на него, разинув рот, что вызвала смех окружающих и добродушную улыбку Михаила Николаевича. «И дети любят красивое»,— заметил отец.

Теперь я смотрела на его мать. Мертвенно-бледное лицо и дрожь больших, поработавших на своем веку рук выдавали ее волнение. Она сохранила следы былой красоты, и я улавливала черты, переданные ею сыну. Была она крупная, казалась еще крепкой и удивительно гордой даже в страдании, даже в унижении. Некрасов, словно на нее глядя, писал:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...

И тот, кто хоть раз ее видел, непременно со мной согласился бы. Гнев и проклятия в адрес ее сына ядовитыми стрелами вонзались в материнское сердце. Но ни одной слезы на людях она не проронила. Не причитала, как это бывает с крестьянскими женщинами, когда гибнут их дети — все равно какой смертью,— сраженные ли на фронте, умершие от болезни. Я не одну такую видела. Последнюю — мать В. Шукшина у его могилы. Обезумевшая от горя, опухшая от слез, хватаясь руками за холм из венков и цветов, она уже охрипшим голосом причитала: «Виноватая я, виновата я, не замолила тебя, не замолила, виноватая я».

Мавра Петровна горя своего не могла высказать. Кто бы ей посочувствовал? Оно жгло ее изнутри. Ведь в тот день, когда нас свели трагические события 1937 года, она получила похоронку на сына — самую страшную, какая могла быть.

Но видела я Мавру Петровну и плачущей. Она пришла ко мне уже в Астрахани, после ареста жены Тухачевского — Нины Евгеньевны. Я и жена Якира почему-то были арестованы двумя неделями позже. Мавра Петровна хотела сделать передачу Нине Евгеньевне в Астраханскую тюрьму. Сказала: «Пишу плохо»,— и попросила меня написать, что она передает. Напиши: «Ниночка. Передаю тебе лук, селедку и буханку хлеба». Я написала. Неожиданно Мавра Петровна разрыдалась и, положив голову мне на плечо, стала повторять: «Мишенька! Мишенька! Мишенька — сынок! Нет тебя больше, нет тебя больше!»

Тогда она еще не знала, да, может, никогда и не узнала, что еще два сына — Александр и Николай — тоже расстреляны только потому, что родила их та же Мавра, что и Михаила. Тогда она еще не знала, что и дочери ее были арестованы и осуждены на восемь лет лагерей. С двумя, Ольгой Николаевной и Марией Николаевной, я была в томском лагере. Третья сестра Михаила Николаевича, Софья Николаевна, тоже была репрессирована, выслана из Москвы и бесследно исчезла. Да и четвертой сестре, Елизавете Николаевне, пришлось пережить не меньше. Умерла Мавра Петровна в ссылке. Надо верить, придет время, тронет сердце поэта и Мавра Петровна. Прочтут и о ней.

Вот как далеко увели меня размышления о Некрасове. Не случайно так часто приходили мне на память именно его строки: с детства отец воспитывал меня на стихах Некрасова, любимого поэта многих революционеров.

Я ушла в своих воспоминаниях в более ранний период моих мытарств, и занесло меня в сторону от томского лагеря. А я-то ведь еще в Томске. Я уже писала, что в этом лагере в марте 1938 года мне пришлось пережить процесс. Если возможно оценить пережитое по степени тяжести, то несомненно месяцы следствия до ареста Бухарина — даже не процесс — были самыми невыносимыми. Тогда сознание еще не свыклось с ужасающими обвинениями в «дворцовом перевороте», терроре и против Сталина, и против Ленина в 1918 году, не свыклось со страшными и необъяснимыми не только для меня, но и для Николая Ивановича очными ставками, и не умрет в моей памяти тот вьюжный февральский день 1937 года, когда я провожала в Кремле ослабевшего от голодовки Бухарина на знаменитый февральско-мартовский пленум 1937 года. Суд стал логическим завершением того, что зримо-явно началось для Николая Ивановича в августе 1936 года, когда на зиновьевском процессе были упомянуты имена Бухарина, Томского, Рыкова, Радека и других, но очень тонко, как теперь понятно, подготовлялось Сталиным сразу же после смерти Владимира Ильича.

Никакая самая богатая фантазия не могла вообразить, что внутрипартийные идейные разногласия будут представлены как бандитские преступления, хотя после 1929 года, после разгрома так называемой правой оппозиции, с тех пор как Бухарин перестал занимать руководящее положение в партии, он был всегда под сталинским прицелом и сталинским обстрелом, и это угнетало его. Сталин третировал Бухарина, внушая ему, что его бывшие ученики, которых начали называть унизительно «школка» и разогнали, отправив многих на работу вне Москвы, превратились в контрреволюционеров. Он натравливал на Бухарина отдел печати ЦК и редактора «Правды» Мехлиса, с которым у Бухарина бывали частые стычки. Сталин изредка позванивал Николаю Ивановичу, давал какие-либо указания редакции «Известий», например: Бухарину и Радеку обязательно написать «разгромные» статьи («разгромные» — так он выразился) об историке, революционере-большевике Михаиле Николаевиче Покровском. Он звонил и пробирал Бухарина за то, что в потоке славословий в его адрес автор одной статьи написал, что мать Сталина называла его Сосо.

— Это еще что такое за Сосо?! — вопрошал разгневанный Сталин. Непонятно, что его разозлило. Упоминание ли о матери, которой он никогда не оказывал внимания (как я слышала), или он считал, что и мать тоже должна была называть сына Отцом всех народов и Корифеем науки. Одновременно он «ласкал» Николая Ивановича, проявлял к нему «внимание». Произнес на банкете, устроенном для выпускников военных академий весной 1935 года, тост в честь Бухарина: «Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича, все мы его любим и знаем, а кто старое помянет, тому глаз вон!» Тост на банкете выпускников военных академий даже не за военного руководителя, а за штатского человека, и уже не руководителя партии, а за низвергнутого, но все еще любимого Бухарина! Выпили — и раздались бурные аплодисменты, как у нас говорят, переходящие в овацию. Бухарин растерялся от неожиданности. Сталин как бы измерял температуру отношения к Бухарину. Все было у него рассчитано, каждый шаг, нет, каждый сантиметр шага. Это *теперь* ясно, тогда этого никто, в том числе даже сам Бухарин, и не подозревал. Тост был воспринят как искренний, выражающий отношение Сталина к Бухарину.

Сталин звонил, чтобы поздравить Бухарина с хорошим докладом о поэзии на Первом съезде писателей летом 1934 года. Особенно ему понравилось высказывание о Демьяне Бедном, о том, что тому грозит опасность отстать от

времени. Однажды Сталин позвонил глубокой ночью, был нетрезв, поздравил Бухарина с женитьбой. Звонок разбудил нас. Я подошла к телефону и услышала три слова: «Сталин. Николая попросите!» — «Опять какая-нибудь неприятность»,— сказал Николай Иванович и взволнованно взял трубку. Но оказалось, неприятности вовсе не было. Сталин сказал: «Николай, я тебя поздравляю! Ты и в этом меня переплюнул». Почему «и в этом» Н. И. не спросил, но в чем переплюнул, все-таки поинтересовался. «Хорошая жена, красивая жена, молодая — моложе моей Нади!» Он это говорил, когда Надежды Сергеевны Аллилуевой уже не было в живых. После таких выходок на следующий же день можно было ждать неприятности. Вся эта нервотрепка, к которой, я бы сказала, Н. И. до некоторой степени даже привык,— до августа 1936 года преодолевалась им благодаря присущей ему жизнерадостности. Начиная же с августа 1936 года, то есть с зиновьевского процесса, обвинения против Бухарина стали настолько страшны, что жизненные силы его иссякали на глазах.

Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина. Я долго ждала процесса — целый год. Я понимала, что приговор будет смертным, другого не ждала и хотела скорейшего конца, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича. Но у меня теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдет из жизни гордо. Что он так же, как на февральско-мартовском пленуме 1937 года громко, на весь мир заявит: «Нет, нет, нет! Я лгать на себя не буду!» Эта надежда была ничем не обоснована и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу.

В лагере я уже хорошо понимала, что все обвиняемые, проходившие по процессу, признаются в преступлениях, которых они не могли совершить.

Обычно в лагере мы газет не получали. В первых числах марта 1938 года надзиратель принес газеты, в которых освещался процесс. «Почитайте, почитайте, кто вы есть!» — Он брезгливо и злобно посмотрел на меня, отдал газеты старосте барака, хлопнул дверью и вышел. Эта староста, по фамилии Земская (у меня ее фамилия и внешний вид ассоциировались всегда со змеей), конечно, тоже была чья-то жена, работала раньше в Ленинграде прокурором, а в лагере была осведомителем. Однажды, еще до процесса, Земская уже успела сделать мне неприятность тем, что сообщила в 3-ю часть о том, что у меня имеется книга со штампом «библиотека Н. И. Бухарина» и очень подозрительным названием «Опасные связи». Это была книга французского писателя и политического деятеля XVIII века Шодерло де Лакло, очень живо и остроумно написанный роман в письмах. Он был прекрасно издан в начале 30-х годов советским издательством «Academia». Трудно теперь сказать, почему именно эта книга оказалась у меня с собой. После доноса Земской мне был устроен персональный обыск, и старинный французский роман о светских озорниках забрали как контрреволюционный. Так мне объяснили, когда я обратилась в 3-ю часть с просьбой вернуть книгу.

Итак, нам принесли все газеты, освещавшие процесс, кроме той, где было опубликовано последнее слово Бухарина. Меня очень интересовало, простая ли это случайность, или за этим что-то кроется? Газеты в руки заключенным не давали, староста читала их вслух, сидя на верхних нарах, как раз напротив меня. Читая обвинительные заключения, она иногда отрывалась и поглядывала в мою сторону, чтобы потом донести, как я на все реагирую.

До процесса я думала, что более или менее психологически подготовлена к нему благодаря чтению предварительных показаний против Бухарина, которые присылались ему, когда Николай Иванович еще не был арестован, но уже находился под следствием. Но процесс по наглости и чудовищности обвинений превзошел все мои ожидания. Преступная фантазия его создателя (остальные были исполнителями) достигла апогея. Такого количества преступлений ни один преступник за свою жизнь не смог бы совершить не только потому, что не хватило бы жизни, но и потому, что он обязательно бы провалился на первых нескольких. Шпионаж и вредительство; расчленение СССР и организация кулацких восстаний; связь с германскими фашистскими кругами, с германской разведкой, с японской разведкой; несбывшиеся террористические стремления убить Сталина; убийство Кирова; террористический акт в 1918 году против Ленина, причем не просто совершенный правой эсеркой Каплан, а рука Каплан — это рука Бухарина; умерщвление давно не работавшего из-за болезни Менжинского, Куйбышева, Горького, даже попытка отравления Ежова...

После оглашения обвинительного заключения председатель Военной Коллегии Верховного Суда Ульрих опрашивал обвиняемых, признают ли они себя виновными. И только Крестинский, Николай Николаевич Крестинский[1], смог заявить:

— Не признаю.

У меня брызнули слезы. Это была минута просветления и гордости за него. Мне казалось, что я вижу его добродушное лицо с подслеповатыми, сильно близорукими глазами, в очках. И хотя отрицание вины длилось у Крестинского недолго — его заставили «признаться», т. е. лгать,— это обстоятельство явилось основательной трещиной в ходе процесса.

Сначала я слушала отчет о процессе сидя, потом, чтобы избегнуть взглядов любопытствующих женщин, легла на нары и накрыла одеялом голову. Я почувствовала сильную головную боль, из носа пошла кровь. Возле меня неотлучно была Сарра Лазаревна Якир. Она смачивала холодной водой полотенце, прикладывала его к моему носу и тихо говорила:

— Отупей, отупей, надо стараться ничего не воспринимать, бери с меня пример, я уже отупела!

Неожиданно Земская прервала чтение и властным голосом крикнула:

— Бухарина! Иди-ка мыть коридор, сегодня твоя очередь!

И очередь была не моя, и староста видела, в каком я положении, понимала, что мыть коридор я не смогу. Это сделано было нарочно, чтобы осведомительница могла доложить о моем отказе, что дополнило бы мою «контрреволюционную» характеристику.

— Не волнуйтесь,— заявила С. Л. Якир,— я за нее вымою.

И хоть сама была измучена, пошла мыть длиннющий грязный барачный коридор.

В то время и в таком состоянии, в каком я находилась, в бараке, где не меньше ста женщин устремляли на меня взгляды, когда я не могла взять газету в руки и вдуматься, произвести хотя бы элементарный анализ этого мерзкого судилища, все обвиняемые казались мне на одно лицо, все, кроме все-таки Крестинского. Николай Иванович выглядел в моих глазах гораздо унизительнее, чем спустя много лет, когда я смогла сама прочесть судебный отчет и его последнее слово. В Томском лагере у меня были даже сомнения, действительно ли это был Бухарин, не подставное ли лицо, загримированное под Бухарина. Настолько чудовищными казались мне его признания, что если бы он высказал мне их наедине, я сочла бы его безумным. Многие тогда считали, что на процессе были подставные лица, и Бухарин тоже был не действительным Бухариным. Но мои первоначальные сомнения по мере чтения очень быстро рассеялись. Слишком хорошо я знала Николая Ивановича, чтобы не узнать и его стиль, и его характер. Подставные лица — это была бы слишком грубая и опасная фальшивка вообще, а по отношению к Бухарину в особенности. Да и сам ход процесса — наряду с признаниями стычки с Вышинским — делал неубедительным это предположение.

Спустя много лет, когда я вернулась в Москву, И. Г. Эренбург, присутствовавший на одном из заседаний процесса и сидевший близко от обвиняемых, подтвердил, что на процессе наверняка был Николай Иванович. Он же рассказал мне, что во время судебного заседания через определенные промежутки вре-

---

[1] Н. Н. Крестинский (1883—1938) — старый большевик, видный партийный и государственный деятель. Член партии с 1903 года. Участник революции 1905—1907 гг. На VI съезде РСДРП(б) избран членом ЦК. В Октябрьские дни — председатель Екатеринбургского ВРК. В период заключения Брестского мира примыкал к «левым коммунистам». В 1918—1922 гг.— нарком финансов РСФСР, одновременно в 1919—1921 гг. — секретарь ЦК РКП(б). С 1921 года на дипломатической и государственной работе. В 1919—1921 гг. — член Политбюро ЦК РКП(б). В 1927 году примыкал к троцкистской оппозиции, с которой порвал в 1928 году.

мени к Бухарину подходил охранник, уводил его, а через несколько минут снова приводил. Илья Григорьевич заподозрил, что на Николая Ивановича действовали какими-нибудь ослабляющими волю уколами, кроме Бухарина, больше никого не уводили.

— Может, потому, что больше остальных его-то и боялись,— заметил Илья Григорьевич.

Эренбург рассказывал, что билет на процесс дал ему Михаил Кольцов, со словами: «Сходите, Илья Григорьевич, посмотрите на своего дружка!» И произнесено это было, как показалось Эренбургу, враждебным тоном. Но Кольцов и сам не избежал той же участи.

Состав подсудимых меня поразил невероятно. И на первых двух большевистских процессах, по-видимому, тоже были обвиняемые, не связанные политической деятельностью, общими целями, оппозиционными настроениями ни с Каменевым и Зиновьевым, ни с Пятаковым, Радеком и Сокольниковым, но таких посторонних было намного меньше. По предыдущим процессам прошло много людей, работавших в различных учреждениях на ответственных постах, ранее исключенных, затем восстановленных в партии, бывших троцкистов, давно порвавших с Троцким.

Из принадлежавших к правой оппозиции по последнему процессу вместе с Бухариным проходил только Алексей Иванович Рыков. Томский сразу понял, что ничего не докажешь, потому что доказательства невиновности не нужны, и смог своей твердой рабочей рукой пустить себе пулю в висок. Когда я подумала о нем, мне представились эти крепкие широкие руки, запомнившиеся в тот час, когда Томский нес урну с прахом моего отца к Кремлевской стене.

Я воображала, что по процессу пройдут сторонники взглядов Бухарина: Д. Марецкий, А. Слепков, Я. Стэн, А. Зайцев, В. Астров, А. Айхенвальд, И. Кравель, Е. Цейтлин и другие. Те, кого к этому времени называли унизительно «школка», и сам Бухарин, как робот, повторял на процессе это слово. Те, кого когда-то защищал от нападок Каменева — кто бы мог подумать — Молотов! «Такой «демократ», как т. Каменев, иначе не говорит о них, как свысока: Стецкие-Марецкие. Он иначе не может выразиться о той молодежи, которая вокруг партии и ее руководящих органов начинает подрастать, которая приносит нашей партии громаднейшую пользу...».

Но нет — сторонников бухаринских взглядов в 1928—1929 годах на процессе не было. Не было и Угланова, которого Сталин считал правей Бухарина, не было Фрумкина и т. д. Сторонники Бухарина во время брестских разногласий, якобы совершавшие вместе с Бухариным преступления,— В. В. Осинский, В. Н. Яковлева проходили по процессу как свидетели, почему-то не как обвиняемые. Зато с Бухариным вместе оказались «врачи-отравители», к политике никогда не имевшие отношения. Это были очень знающие врачи, среди них профессор Плетнев, широко известный у нас и за границей. Нужно было «сделать «правых». Кто же ими стал? Чудовищно, но одной из центральных фигур на процессе стал Ягода, бывший наркомвнудел, при котором был проведен процесс Зиновьева — Каменева и другие, небольшевистские процессы. Ягода, к которому Николай Иванович, кроме презрения и ненависти, никаких иных чувств в последнее время не питал. Бухарин считал, что Ягода разложился, забыл свое революционное прошлое, превратился в авантюриста, карьериста и чиновника. Ягода никогда не мог быть ни правым, ни левым, он всегда держался за свой пост, он строго выполнял указания «хозяина», не понимая, как последний его «отблагодарит»! Ни об одном из подлинных преступлений Ягоды на процессе не было сказано ни слова. Он был так же оклеветан, оболган, как и его жертвы.

Пожалуй, лишь один факт, рассказанный Ягодой на процессе и подтвержденный Рыковым и Бухариным, действительно имел место: когда в деревне в связи с коллективизацией начались крестьянские волнения и тяжелые известия с мест дошли до Рыкова и Бухарина, кажется, Алексей Иванович Рыков, а возможно, и Бухарин, обратились к Ягоде как к наркому внутренних дел за точными цифровыми данными о волнениях для доклада на Политбюро или, может быть, на пленуме ЦК ВКП(б), в целях предупреждения дальнейшего их роста и для обоснования своей позиции. Лучше Ягоды этих данных никто не мог знать. Ягода никогда не был в правой оппозиции, но к нему обратился председатель Совнаркома, и он обязан был сообщить ему сведения. На процессе они фигурировали как тенденциозные. Ягода не рассчитал гири на весах; по-видимому, если б он не дал таких сведений, он бы получил только одобрение. Но этой оплошности Сталин ему не простил. О приведенном факте с Ягодой я знаю, так как присутствовала при разговорах об этом Н. И. Бухарина с Ю. Лариным.

Вторым «сделанным «правым», запомнившимся мне, был Акмаль Икрамов, секретарь ЦК Узбекистана. Икрамов тоже никогда в правой оппозиции не был. Более того, выступал против нее. Трудно сказать, какие потенциальные сторонники были у Николая Ивановича. Они наверняка были, но раз они своего мнения открыто не выражали, то знать об этом нам не дано. Калинин, например, однажды встретил Н. И. в Кремле (это было еще до XVI съезда ВКП(б)) и сказал ему: «Вы, Николай Иванович, правы на все двести, но полезней монолитности партии ничего нет. Время мы упустили, у нашего генерального секретаря слишком большая власть, остальное понимайте сами». Шверник также выражал сочувствие позиции Николая Ивановича, но только лично. А возможно, и Икрамов был молчаливым сторонником взглядов Николая Ивановича, хотя он и выступал против правой оппозиции. И Акмаль Икрамов, и Файзулла Ходжаев были удобны фальсификаторам тем, что у Акмаля Икрамова останавливался в Ташкенте Николай Иванович, когда проводил свой отпуск в горах Памира или Тянь-Шаня, тогда же он видел и Ф. Ходжаева.

Куда бы ни ступала бухаринская нога, она обязательно несла за собой «контрреволюцию». Но ташкентских встреч для этого не хватило, надо было придумать еще, и придумали. Подробней об этом эпизоде в дальнейшем. «Вербовка» Бухариным Икрамова так же невероятна, как невероятны лживые показания Икрамова в отношении самого себя — о вредительстве и т. д. Но не налгав на себя, не налжешь и на Бухарина, а этого от него, несомненно, требовали на следствии.

Никогда не были «правыми» упоминавшиеся на процессе Рудзутак, Енукидзе и многие другие, не разделявшие взглядов Бухарина, Рыкова, Томского в 1928—1930 годах.

Ужасающее впечатление произвел допрос Вышинского о годах, проведенных Бухариным за границей до революции. Получалось, что Бухарин жил в Западной Европе и Америке не как политический эмигрант, бежавший за границу от преследований царского правительства, когда провалились многие революционеры, которых в то время предал провокатор царской охранки Малиновский. Оказывается, цель пребывания Бухарина в Европе и Америке состояла в том, чтобы установить связь с полицейскими органами этих стран.

Мне уже и в то время было известно, что в эмиграции, кроме практического участия в рабочем движении, знакомства с Лениным, Бухарин много занимался, пополняя свое образование в Венском университете — слушал лекции Э. Бем-Баверка и Ф. Визера, буржуазных экономистов, представителей так называемой «австрийской школы» в политэкономии. Публиковал теоретические статьи с критикой теории ценности и прибыли — австрийской школы, отстаивая ортодоксальный марксизм. В Вене он написал книгу «Политическая экономия рантье», в которой яростно атаковал антимарксистские взгляды Э. Бем-Баверка, М. И. Туган-Барановского. В первые послереволюционные годы книга была издана в Советской России и была так же читаема в экономических учебных заведениях и в экономических кругах вообще, как популярная «Азбука коммунизма» на рабфаках. В Америке, где Н. И. активно участвовал в рабочем движении и редактировал газету «Новый мир», орган левых социалистов, его очень полюбили американские рабочие. После Октябрьской революции они изредка писали ему письма. В 1928 году представители типографских рабочих Нью-Йорка прислали в подарок Бухарину к сорокалетию длинную красную ленту, на которой по-английски были напечатаны посвященные Бухарину стихи. В ленту была за-

вернута, как тогда называли, самопишущая ручка в золотой, очень тонкой работы оправе. На закрепке ручки было мелко написано по-русски: «Н. И. Бухарин. Этой ручкой, Николай, врагов рабочего класса сражай!»

В странах, в которых Бухарин жил в эмиграции, его арестовывали за участие в рабочем движении, как, например, в Швеции, где привлекался по делу левого социалиста Хеглунда. Там, в Стокгольме, он жил под чужим именем — Мойша-Абе-Пинкус Довголевский. Это всем нам казавшееся забавным длинное имя сохранилось в моей памяти — до последнего времени, приходя к отцу, Николай Иванович так себя и называл. Звонил в дверь, не успеешь открыть, как уже слышится его заразительный смех: «Откройте, Мойша-Абе-Пинкус Довголевский пришел!»

В Австрии, которая находилась в союзе с Германией против России, Бухарин был арестован как иностранец по подозрению в шпионаже и диверсии, что было логичным с точки зрения австрийской полиции, не понимавшей, что русский большевик Бухарин не помощник царскому правительству. Однако в то время я еще не знала, а узнала значительно позже, что в Вене одновременно с Бухариным был и Сталин, и Бухарин помогал Сталину, не знавшему немецкого языка, в его работе над книгой по национальному вопросу.

Когда читали о том, как Вышинский допрашивал Бухарина о связи с полицейскими органами за границей, я не выдержала, сбросила с лица одеяло, села рядом с Саечкой (так я называла Сарру Лазаревну Якир, так ее называли в семье, которой больше у нее не было). Мне уже безразличны стали любопытные взгляды женщин, устремленные на меня. Я внимательно слушала этот унизительный для Бухарина диалог. Он, может быть, не страшнее остальных. Но врезался в память потому, что я почувствовала протест Бухарина. В интересах точности, цитирую этот эпизод по стенографическому отчету.

Вышинский: Может быть, предварительно мне можно задать два-три вопроса биографического порядка?

Бухарин: Пожалуйста.

Вышинский: Вы в Австрии жили?

Бухарин: Жил.

Вышинский: Долго?

Бухарин: 1912—1913 годы.

Вышинский: У вас связи с австрийской полицией не было?

Бухарин: Не было.

Вышинский: В Америке жили?

Бухарин: Да.

Вышинский: Долго?

Бухарин: Долго.

Вышинский: Сколько месяцев?

Бухарин: Месяцев семь.

Вышинский: В Америке с полицией связаны не были?

Бухарин: Никак абсолютно.

Вышинский: Из Америки в Россию вы ехали через...

Бухарин: Через Японию.

Вышинский: Долго там пробыли?

Бухарин: Неделю.

Вышинский: За эту неделю вас не завербовали?

Бухарин: Если вам угодно задавать такие вопросы...

. . . .

Бухарин: Связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии.

. . . .

Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме.

Эти издевательские вопросы Вышинский задавал в расчете на дешевый эффект, для воздействия на несведущих: вот ясно, шпион, скакал из стороны в сторону.

Стремясь еще больше унизить Бухарина, парализовать его волю, Вышинский не остановился даже перед тем, что с точки зрения элементарной логики такие вопросы не выдерживали никакой критики.

Если Бухарин обвинялся в том, что он якобы хотел свергнуть Советскую власть и реставрировать капитализм, спрашивается, для чего ему было в 1912—1913 годах связываться с австрийской полицией — для борьбы с царской Россией? Или с полицией американской и японской — в феврале 1917 года — для борьбы с Россией Керенского? Она и без того была капиталистической.

Угнетающее впечатление произвело на меня упоминание Бухариным о якобы происходивших контрреволюционных разговорах во время его пребывания в Париже в 1936 году с меньшевиком-эмигрантом Б. И. Николаевским. В Париже Бухарин был в служебной командировке и разговаривал с Николаевским по поручению Политбюро. Разговоры происходили в моем присутствии и носили чисто деловой, официальный характер (о Париже, о Николаевском, о процессе я еще расскажу).

Сейчас я написала о том, как я смогла воспринять процесс в условиях Томского лагеря, когда нервы были напряжены до предела, когда на слух трудно было все уловить, когда мне не было известно последнее слово Бухарина, когда временами мутился рассудок, и я уже действительно стала отупевать от нескончаемого потока информации о «преступлениях» Николая Ивановича и других обвиняемых, преступлениях, ничего общего не имевших с политической деятельностью. Все это походило на дешевый детектив.

Приговор к расстрелу я восприняла как запоздалое решение. Я себя заранее настроила так, что для меня Николай Иванович был расстрелян уже в день ареста. Да и сам он во время следствия меня к этому готовил. Исчезла напряженность ожидания, и сознание, что, наконец, кончились его мучения, принесло даже некоторое облегчение, но одновременно ввергло в подавленное состояние. Все окружающее померкло, стало для меня огромным, бездушным серым пятном. И удивительно было думать, что существует на земле жизнь, людское счастье и земные радости. И что мы здесь тоже как-никак живем и дышим, бесцельно толчемся мрачными толпами за этим мрачным забором с охранными вышками, по утрамбованной множеством ног единственной, короткой дороге — нашему «Невскому проспекту».

После процесса, закончившегося 13 марта 1938 года, я в основном лежала на нарах, ошеломленная ужасающим судилищем, ослабевшая от еще большего недоедания, чем обычно, так как и кусок хлеба в горло не шел. Немного оправившись, я стала появляться за пределами барака — в зоне. В этом лагере я была единственной женой, муж которой прошел по открытому процессу. Кроме меня, только жена И. Э. Якира знала о трагической судьбе мужа. Подавляющее большинство женщин ничего о мужьях не знали. И не все, но многие надеялись, что они живы, хотя на самом деле остались в живых считанные.

В те дни я особенно привлекала внимание окружающих. По-разному относились ко мне. Это зависело главным образом от политического развития, интеллектуального уровня, от того, как они до процесса воспринимали Бухарина, как близко они знали Николая Ивановича и некоторых других сопроцессников. Поэтому я чувствовала на себе злобные взгляды тех, кто принимал признания обвиняемых за чистую монету, верил в процесс. Таких, к сожалению, было немало. Но видела я и с болью смотревшие на меня глаза тех, кто все понимал, и страдание многих, кто знал Бухарина, да и не только его.

Жена одного украинского партийного работника подошла ко мне и сказала: «Что нос повесила! Бухарина история оправдает, а о наших мужьях никто никогда и не узнает».

За два дня до моего вторичного ареста, уже в лагере, мне приснился ужасающий сон, будто удав обвил мою шею и душит меня, а в его пасти — голова моего маленького сына, которого удав вот-вот проглотит. Я проснулась оттого, что С. Л. Якир толкала меня в бок, и, вероятно, от собственного крика, покрытая холодным потом.

— Проснись, что с тобой? — услышала я голос Саечки. Я рассказала ей свой сон.

— Вот ужас-то! Ведь и явь, как страшный сон, а тебе еще такие кошмары снятся. Опять что-нибудь случится! Хотя что еще может приключиться, кажется, все уже случилось,— сказала Саечка.

Утром об этом кошмарном сне я успела рассказать и Виктории. Ну, а днем пришел надзиратель и забрал меня и С. Л. Якир в карцер, там нам учинили обыск. На этот раз надзиратель решил отобрать фотографию моего ребенка, во время предыдущего обыска не отобранную.

— Кто это? — спросил он с такой злобой, будто обнаружил еще одного «заговорщика». С фотографии светились глазки моего одиннадцатимесячного малыша. Я его фотографировала после ареста Бухарина в надежде передать Николаю Ивановичу в тюрьму эту фотографию.

— Мой ребенок,— ответила я, чуя недоброе.

— Ах ты, сука,— заорал надзиратель,— еще щенка бухаринского с собой таскаешь!

На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами.

Так уничтожил он, озлобленный чудовищной ложью, в которую он безусловно верил, фотографию моего ребенка, единственную оставшуюся мне радость — взглянуть на его изображение.

— Что вы делаете! — крикнула возмущенная Якир.

— А ты молчи, сволочь якировская, защитница!

Я, потрясенная, не проронила ни слова.

После обыска в карцере нас оставили лишь на одни сутки и отправили в барак.

— Вот тебе и удав, вот тебе и сон в руку!

Около часа, не больше, мы еще пробыли вместе с Саррой Лазаревной, и вновь явился надзиратель.

— Бухарина, собирайся с вещами!

— Куда? — спросила я.

— Куда, куда... Там узнаешь, куда!

Весть о том, что меня забирают, мгновенно разнеслась по лагерю. Многие вышли в зону, чтобы меня проводить. Я увидела издали грустную Людмилу Кузьминичну Шапошникову, огромную Дину, Викторию. С. Л. Якир проводила меня до самых ворот Томской тюрьмы, рыдая, поцеловала, и ворота, ведущие из нашей зоны в тюрьму, закрылись.

Так я рассталась с томским лагерем для жен «изменников Родины».

Из томского лагеря в сопровождении конвоира, одетого не по форме, а в обычный штатский костюм, в пассажирском вагоне третьего класса, я была направлена в новосибирскую следственную тюрьму. Там, в Новосибирске, в то время находился Третий (следственный) отдел Сиблага НКВД, где вели следствие по вновь созданным уже в лагере делам или доследствие по первому делу. Результат, как правило, был печальным: увеличение срока или расстрел. Перед отправкой из лагеря в этап меня недолго продержали в Томской тюрьме, где предупредили, что общение с пассажирами мне запрещается. В вагоне я почувствовала, что этот запрет никак меня не ущемлял: потребности в разговорах с пассажирами и так не было, между нами лежала пропасть, очевидно, всегда отделявшая мир за решеткой от мира за пределами тюрьмы. По крайней мере у меня было именно такое ощущение.

Никто из пассажиров не понимал моего положения, все были заняты своими разговорами и не обращали на меня внимания. Лишь один длиннобородый старик пристально смотрел в мою сторону, на мое истощенное, бледное лицо, на лежавшую рядом шубку (в мае — не по сезону), полусгоревшую в дезинфекционных камерах этапных тюрем, на казавшийся по тем временам шикарным кожаный чемодан, привезенный Н. И. из Лондона в 1931 г., когда он был там на международном конгрессе по науке и технике.

Наконец, его безусловно озадачило мое молчание: даже с моим спутником-конвоиром, как ни странно, довольно интеллигентного вида, я не обмолвилась в течение длительного времени ни единым словом. Между тем его можно было принять и за моего друга, и за родственника, и за мужа. Сопровождающий относился с полным равнодушием к моему присутствию и тоже молчал. Старик же смотрел на меня, не отрывая глаз, что стало меня в конце концов раздражать, но я не могла избавиться от пристального взгляда и невольно тоже поглядывала в его сторону. Его огромная, длинная и широкая борода, лежащая на засаленном пиджаке, казалось, наделена была дополнительным зрением, особым чутьем и помогала видеть происходящее. Сопоставляя наблюдения, старик сделал для себя проницательные выводы. Выбрав удобный момент, в то время, когда мой спутник ненадолго отлучился, он не замедлил спросить меня, куда я еду. Именно этот вопрос должен был подтвердить его подозрения. Я ответила совсем недвусмысленно: «Куда везут, туда и еду». Когда я поинтересовалась этим в Томской тюрьме, то тюремщик, оформлявший мой этап, ответил: «Куда отвезут, туда и приедешь!» — излюбленный метод лагерной и тюремной администрации унижать человеческое достоинство заключенного, скрывая и то, чего вовсе не требовали обстоятельства следствия.

Убедившись, что я заключенная, старик протянул мне кусок белого хлеба, сыр и яйца. Из-за сильного нервного возбуждения голода я не испытывала. Давно не виданная еда доставила мне лишь некоторое эстетическое наслаждение: каким ослепительно белым показался мне тот хлеб, будто такого я никогда не видела; сквозь гладкую и чистую скорлупку яйца мне виделось его содержимое — золотистый желток, запрятанный в плотную массу белка; ноздреватый, со слезинкой, швейцарский сыр, бледно-кремовый, цвета чайной розы, так и просился в рот. Но принять предложенный дар я отказалась. На еду я смотрела с полным равнодушием, лишь как на великолепно написанный натюрморт.

Знал бы старик, кто я, подумала я в ту минуту, возможно, не предложил бы мне и куска хлеба, а быть может, наоборот, поделился бы последним. Всякое бывало в моей жизни!

Позже и мой странный спутник, скорее это был не конвоир, а сотрудник Сиблага НКВД, которому было поручено доставить меня из Томска в Новосибирск, решил меня накормить. Он молча положил на мятой газетной бумаге (лучше сказать — бросил, как собаке) рядом со мной на сиденье пайку хлеба, соленую рыбу и даже кусок колбасы, которая никогда не входила в рацион заключенных. И к этой еде я также не прикоснулась.

Был май 1938 года. Прошло около двух месяцев после расстрела Николая Ивановича. Для себя я тоже ничего хорошего не ждала: сначала казалось маловероятным выжить восемь лет в лагере, а теперь я понимала, что последует еще более суровый приговор. Временами мной овладевало желание уйти из жизни. Казалось, это лучший выход из тупика, в котором я оказалась. Чувство, что зловещий круговорот событий засасывал меня в свою кровавую воронку все глубже и глубже, не покидало меня. В то же время у меня был серьезный стимул выжить: я обязана исполнить волю Николая Ивановича — передать его письмо-обращение «Будущему поколению руководителей партии», которое бережно хранила моя память. Но тогда я очень смутно представляла возможность осуществления его последнего желания и от этого приходила в отчаяние.

В те дни я любила засыпать, чтобы ничего не чувствовать; тем с большей силой обрушивалась на меня катастрофа после пробуждения.

Настроение омрачало и то, что в томском лагере я узнала от прибывшей

туда позже меня жены Ломова[1] — Наталии Григорьевны о судьбе своей матери, которой перед отъездом в астраханскую ссылку я оставила ребенка: в то время ей было уже за пятьдесят. Она и до своего ареста в 1938 г. была болезненная, перенесла тяжелую форму туберкулеза легких. С 1907 г. она участвовала в революционном движении. Впрочем, это мало отличало ее от многих репрессированных в то время. Ее не раз арестовывали и до революции. В Бутырской тюрьме она сидела в 1911 г., вторично оказалась в ней в 1938 г. Все-таки она выжила, моя мать, возвратилась из заключения настолько физически надломленной, что жизнь ее после освобождения из заключения и реабилитации, в течение 18 лет до дня смерти в 1973 г., превратилась в великое мучительное испытание, которое она, прикованная к постели, переносила героически. В январе 1938 г. она была арестована, сыну в момент ее ареста был год и восемь месяцев. Ребенка забрали в детский дом. Сведения эти были вполне достоверны, Наталия Григорьевна узнала об этом от отца Николая Ивановича — Ивана Гавриловича, встретившегося ей случайно. Он рассказал, что с трудом разыскал мальчика и что, несмотря на неоднократные просьбы и письмо, направленное им Сталину, внука ему не отдавали. В конце концов ребенка разрешили отдать деду, но лишь тогда, когда он серьезно заболел и, казалось, был уже безнадежен. Иван Гаврилович был стар и слаб, тяжело переживал гибель сына, и я понимала, что он не в силах ухаживать за внуком, да и не мог его материально содержать: пенсии его лишили сразу же после ареста Н. И., еще до моей высылки в Астрахань. Жив ли Иван Гаврилович, где мой сын — я не знала.

Лишь одна мысль приносила мне душевное облегчение: я радовалась, что вовремя умер отец; по возрасту рано, в сорок девять лет, зато не от сталинской пули, как это случилось с Николаем Ивановичем в таком же возрасте.

Разве могла я предположить, что наступит тот миг, когда раннюю смерть горячо любимого отца я буду рассматривать как некое благо и думать — хоть в этом мне в жизни повезло. Таковы гримасы истории, меняющие наш взгляд на мир.

В вагоне было много детей, со всех сторон слышалось: «мама», «папа»... Мой ребенок расстался со своим отцом, когда ему было десять с половиной месяцев, еще за месяц до того, удивительно рано, он осознанно называл отца «папа». «Папа» — было его первое слово.

«Торопится,— как-то заметил Николай Иванович,— скоро папой будет называть некого».

После ареста Николая Ивановича малыш ползал, искал отца, заглядывал под его письменный стол, под шкаф и звал: «Папа, папа». Детские голоса в вагоне обострили во мне материнские чувства, которые я всячески старалась приглушить. «Нас нет больше в жизни, ни меня, ни сына,— внушала я себе,— мы погибли вместе с Николаем Ивановичем». И хотя я слышала биение своего собственного сердца, от меня осталась лишь загадочная тень, напоминавшая о прошлом и, увы, дававшая возможность мыслить. А мысли были страшными. «Я мыслю, следовательно, я существую» — гласит изречение Декарта, предполагающее, что именно мышление есть основной признак жизни человеческой. Для меня эти два понятия «жить» и «существовать» потеряли свою адекватность. Я мыслила, но не жила, а влачила жалкое существование.

Утром поезд подъезжал к Новосибирску.

«Собирайтесь к выходу»,— неожиданно объявил мой сопровождающий. Я накинула потрепанную шубку, конвоир против обыкновения взял мой чемодан.

---

[1] Ломов Георгий Ипполитович — профессиональный революционер, вошел в первый Совнарком как народный комиссар юстиции, член Ревкома во время восстания 1917 г. в Москве. Экономист-литератор. В первые послереволюционные годы — член президиума и заместитель председателя ВСНХ. Был арестован и расстрелян в 1937 г. Его жена Наталия Григорьевна прибыла в томский лагерь так же, как и я, со сроком — 8 лет заключения как член семьи «изменника Родины», затем тоже вновь была арестована в лагере и направлена в Бутырскую тюрьму, там мы опять встретились. Она обвинялась по одному делу с женой бывшего председателя Совнаркома РСФСР Сергея Ивановича Сырцова в намерении террористического покушения на Сталина. Во время следствия Н. Г. была жестоко избита, били по ребрам, я видела ее спину всю в ранах и синяках. После своего освобождения она умерла, как я слышала, от рака легких. Жена Сырцова расстреляна.

Мы вышли на платформу, прошли через маленький вокзал. Утро было теплое, но лил весенний дождь. Слышались мощные раскаты грома. Сверкающая молния ломаной линией разрезала нависшие тучи. Как всегда явления природы меня ободряли и внушали несбыточные мечты: «Может, Николай Иванович все-таки жив, не расстрелян»,— с быстротой молнии пронеслась мысль и так же мгновенно потухла.

Мы подошли к небольшой легковой машине грязно-оливкового цвета, с брезентовым верхом. «Знаешь, куда везти?» — спросил шофера мой спутник. «Знаю, знаю»,— ответил тот. «Поедешь один, я занят». Шофер вышел из машины, и тут только я разглядела его лицо. Встреча потрясла меня своей неожиданностью: это был тот самый шофер, который ранее обслуживал машину Роберта Индриковича Эйхе, в то время секретаря Запсибкрайкома. Эйхе присылал свою машину встречать Николая Ивановича.

Поскольку на моем тяжком пути произошла эта неожиданная и неприятная встреча с хорошо знакомым мне шофером, несколько отвлекусь от основной темы своего повествования и расскажу о поездке в Сибирь без конвоя, о своей счастливой поездке вместе с Николаем Ивановичем в августе 1935 года во время его отпуска.

Наша поездка в Сибирь преследовала две цели: моя дипломная работа в планово-экономическом институте «Технико-экономическое обоснование Кузнецкого металлургического комбината» была связана с Сибирью. Николаю Ивановичу хотелось свести меня с академиком Иваном Павловичем Бардиным, крупнейшим металлургом нашей страны, руководителем строительства, затем техническим директором Кузнецкого металлургического комбината. Бардин помог нам познакомиться с огромным комбинатом, представил обширный материал для моей работы. Затем мы съездили в Ленинск и Прокопьевск — шахтерские города, основные центры добычи угля в Кузнецком угольном бассейне. Николай Иванович вместе со мной спускался в шахты, беседовал с рабочими, которые встречали его аплодисментами.

Второй причиной, побудившей нас совершить эту поездку, было желание посмотреть Алтайский край, о красоте которого мы много слышали. И действительно, живописный край этот и сейчас живет в моей памяти. Необузданная река Катунь стремительно несла свои изумрудные воды, пробиваясь сквозь препятствия из нагроможденных замшелых камней к реке Бие, чтобы, слившись с ней, образовать великую Обь. Отвесные скалы, окаймлявшие берега Катуни, стояли как верные стражи и направляли реку по задуманному природой руслу. Сверкала от солнца снеговая вершина двуглавой горы Белухи, рядом — темно-зеленые, издали кажущиеся бархатными, поросшие кедровыми соснами горы, сказочно контрастирующие с ледниковой голубоватой белизной Белухи.

В ту пору, не знаю, как теперь, шоссейной дороги к Телецкому озеру не было. Кое-как мы пробирались на легковой машине мимо редких деревень. Заслышав шум машины, на дорогу выбегала гурьба ребятишек (русские — блондины с льняными головками, алтайские — как галчата, с иссиня-черными) с криком: «Покатай, покатай, дяденька!»

Николай Иванович просил шофера (шофер местный, не новосибирский) остановиться. Мы выходили из машины, вместо нас с шумом и визгом, отталкивая друг друга,— мест на всех не хватало — влезали дети. Доставив им удовольствие, мы вновь садились в машину, и так до следующей деревни, где повторялось то же самое. Поэтому только к ночи мы добрались до селения, где вынуждены были заночевать на полу, на грязном тряпье хозяев; ночью не могли уснуть из-за атаки клопов.

Ранним утром верхом на небольших выносливых горных лошадках мы отправились в дальнейший путь. Лошади пробирались вверх и вниз по отвесным горам, и мы еле удерживались в седлах.

Огромное Телецкое озеро лучами заката окрашивалось в золотисто-лило-

вый цвет, его крутые лесные берега прорезали многочисленные ущелья с низвергающимися водопадами, образуя небольшие речушки, впадающие в озеро. Здесь мы пробыли около недели. Нас приютили ленинградские ученые-орнитологи, бывшие там в научной экспедиции. Они предоставили нам одну из двух своих комнат, в которой мы разместились на ночлег (вместе с двумя охранниками, приставленными к Николаю Ивановичу,— о них речь дальше) на полу, расстелив медвежьи шкуры.

Однажды, когда Николай Иванович беседовал с учеными на орнитологические темы, поражая их своими знаниями, дверь неожиданно открылась, и в комнату вошел пожилой алтаец. Он внимательно оглядывался по сторонам, пытаясь узнать, кто из присутствовавших Бухарин. На алтайце была надета телогрейка, вся залатанная, на ногах драная обувь, в одной руке он держал небольшой мешочек.

— Что вам угодно? — спросил один из орнитологов.

— Моя пришла твоя смотреть,— сказал алтаец, обращаясь к орнитологу в черной фетровой шляпе с большими полями, что, очевидно, и заставило гостя заподозрить в нем Бухарина. В его представлении Бухарин должен был быть обязательно в шляпе.

— Да, твоя смотреть,— повторил алтаец, глядя на орнитолога.— Я слышала, она приехала и в этой изба живет.

В своей речи он употреблял только женский род, со склонениями и спряжениями знаком тоже не был.

— Ну, раз «твоя» смотреть, так я не «она»,— сказал, смеясь, орнитолог,— вот ты и угадай, где «она»?

— Не она? — удивился алтаец. Шляпы ни у кого, кроме орнитолога, не было, и это его совершенно обескуражило. Подумав, он посмотрел в сторону курившего трубку второго орнитолога и показал на него.

— Опять не «она»,— сказал, смеясь, тот, что в шляпе, и решил помочь алтайцу опознать Бухарина. Оставались еще трое мужчин, в том числе два охранника.

— Вон тот, смотри! — И орнитолог в шляпе кивнул головой в сторону Бухарина.

— Это она? — удивился алтаец.— Твоя правду говорит?

Н. И. в сапогах, в спортивной куртке, в кепке, а вовсе не в шляпе, небольшого роста, не произвел на алтайца ожидаемого впечатления.

— Бухарин же большая, красивая, а эта что!

Раздался оглушительный хохот, дольше всех смеялись охранники. Наконец подал голос и Николай Иванович.

— Зачем же ты пришел меня смотреть, я же не невеста и, как видишь, не большой и не красивый,— полное разочарование...

Что такое «разочарование» алтаец не знал, но про невесту все понял.

— Моя не надо невеста, моя баба имей. Она тебе лепешка спекла.— И он протянул Николаю Ивановичу небольшой мешочек с лепешками. Они были испечены из первоклассной пшеничной муки и, надо сказать, мастерски. Николай Иванович стал угощать всех присутствующих, что обидело алтайца.

— Моя баба только тебе гостинца спекла, муки мало.

— Но за что мне такая честь? — спросил Бухарин.

— Что? Моя не поняла.

— Почему,— я спрашиваю,— твоя баба только мне лепешки испекла?

— А моя сказала: спеки гостинца Бухарина за то, что она людя любит.

— Народ,— пояснил орнитолог.

— Народ, народ. Да-да-да,— подтвердил алтаец.

— Ну как же вы теперь живете в колхозе? — спросил Бухарин.

— Сказал бы я тебе, да здесь людя много.

— Говори, говори, не бойся.

— Моя все сказала, и так моя понимай — как живем! Говорю, людя много, сказать нельзя.

Удовлетворив свое любопытство, алтаец направился к выходу. Мы все пошли провожать пришельца к озеру, на берегу была привязана его самодельная лодка — выдолбленное сиденье в куске отпиленного толстого ствола дерева. Алтаец простился с Бухариным (больше ни с кем): «Будь здорова, моя хорошая!» И отчалил.

Вечерело, в тишине слышался плеск воды и еще долго виден был удаляющийся силуэт алтайца.

Николай Иванович проводил свой отпуск, как обычно, погружаясь в природу. Жизнелюбие его проявлялось в полной мере. Он купался в холодных горных речках с плавающими льдинками, охотился на диких уток с плотов, плывущих по порожистой Катуни, что было вовсе небезопасно. Стрелял он метко. Утки падали на плот, и он прыгал от восторга. У монгольской границы, куда мы добирались на машине по Чуйскому тракту, Николай Иванович охотился на косуль. Жили мы в те дни у пограничников, они умело коптили мясо. Вечером, после охоты, все вместе — двое охранников, шофер, пограничники и мы — ужинали у костра.

На Алтае много времени Н. И. отдавал живописи. Мне полюбились и потому хорошо запомнились три из привезенных в Москву картин: «Водопад в горном ущелье», «Телецкое озеро» и «Река Катунь». Эти картины экспонировались на выставке в Третьяковской галерее в конце 1935 — начале 1936 г. Когда мы пришли на выставку, у своих полотен Н. И. встретил художника Юона. Работы Юону понравились. «Бросьте заниматься политикой,— сказал Константин Федорович Н. И.,— политика ничего хорошего не сулит, занимайтесь живописью. Живопись — ваше призвание!» Запоздалый совет.

В Чемале, курортном месте, где был в то время дом отдыха ЦИКа, мы почти не жили, больше путешествовали. Но в последние дни нашего пребывания на Алтае «чрезвычайное» обстоятельство приковало Н. И. к Чемалу: он получил великолепный подарок от сторожа чемальского курятника — огромного филина. Из курятника исчезали куры, однажды ночью сторож выследил и поймал вора. Он покорил Н. И. необычно большим размером, красивым оперением, огромными, кирпичного цвета, глазами и удивительно мощным щелканьем. Н. И. решил во что бы то ни стало увезти филина в Москву. Он сам соорудил для него вольеру и, научившись щелкать, дразнил филина. Дуэт приводил филина в ярость, отчего он щелкал еще громче, а Н. И. заразительно смеялся. Сторож курятника сплел из прутьев большую корзину, в которой мы везли его в купе международного вагона. В Москве филин прожил у нас недолго. Негде было его держать, и некогда было с ним возиться. Кончилось тем, что филин был подарен детям Микояна, но Н. И. часто вспоминал его.

До поездки в Кузбасс и на Алтай и на обратном пути мы несколько дней жили у Эйхе, бывали у него на даче в окрестностях Новосибирска и на городской квартире. Судьба еще в 20-е годы забросила известного латышского революционера в Сибирь. Во время нашего пребывания там он был секретарем Запсибкрайкома и кандидатом в члены Политбюро. Роберт Индрикович! И теперь так ясно видится мне этот долговязый, сухощавый латыш, похожий на Дон-Кихота. На его всегда утомленном и казавшемся суровым лице нередко проглядывала удивительно добродушная и приятная улыбка. Как он был увлечен стройкой в Сибири и как был любим и популярен там! Мне хочется напомнить лишь об одном эпизоде из его биографии, завершившем его жизнь. В закрытом докладе на XX съезде партии Н. С. Хрущев огласил письмо Эйхе, написанное в тюрьме и найденное в архиве Сталина после его смерти. В этом письме Эйхе отрицал свою виновность в предъявленных ему обвинениях и сообщил о том, что он оговорил сам себя потому, что к нему применяли ужасающие пытки: били по больному позвоночнику. Мне запомнился еще один штрих в его письме: Эйхе напоминал Сталину и мотивировал свою невиновность, в частности, и тем, что он никогда не принадлежал ни к одной оппозиции. Даже на пороге смерти Эйхе не понимал, что обращается к своему убийце и что принадлежность к оппозиции ни в коей мере не доказывает причастность к преступлениям.

Увы, Эйхе был не одинок в этом заблуждении: сколько людей верили в Сталина, считали свою непринадлежность к оппозиции обстоятельством, оправдывавшим их в глазах палача.

Но в дни нашего пребывания в Новосибирске Николай Иванович, бывший не раз в оппозиции, не казался еще Эйхе страшным. Эйхе ездил с нами по городу, показывал новостройки — Красный проспект, центральную улицу города с большими многоэтажными современными зданиями. Мы вместе с Эйхе взбирались на плоскую крышу еще не достроенного Театра оперы и балета, откуда был виден Новосибирск. Эйхе предоставил в распоряжение Н. И. отдельный вагон (салон-вагон), от чего Н. И. упорно, но тщетно отказывался; таким вагоном он не пользовался и в бытность свою в Политбюро, считая передвижение в нем излишней роскошью. Эйхе убедил Н. И., что, совершая поездку в отдельном вагоне, мы никого не будем стеснять. С квартирами в то время было очень трудно, и мы действительно во время пребывания в Кузбассе жили в вагоне, стоявшем в тупике железнодорожной станции.

Два охранника и собака-овчарка также отправились с нами из Новосибирска в путешествие; сколько усилий ни прилагал Н. И., чтобы от них избавиться, это ему не удалось. В Москве у него в последние годы не было охраны. Единственный охранник — Рогов, выполнявший эту функцию в течение 10 лет, с 1919-го, после взрыва левоэсеровской бомбы в здании Московского Комитета партии в Леонтьевском переулке в то время, когда Бухарин должен был там делать доклад,— был отозван в 1929 году, после вывода Н. И. из Политбюро.

Эйхе объяснял необходимость охраны тем, что во время путешествия охранники будут умерять пыл Николая Ивановича. «С алтайской природой шутить нельзя,— говорил Эйхе,— вы не выберетесь из тайги, этих людей я специально подбирал, они знают край и будут служить вам проводниками». Роберт Индрикович сделал это действительно из добрых побуждений, учитывая отчаянный характер Н. И., опасаясь за его жизнь. Тем не менее Н. И. не исключал и того, что охрана была приставлена для наблюдения за ним, за его связями с людьми. Подозрительность Сталина всегда заставляла его так думать. Мне известно, например, что приезжавший к Бухарину не раз молодой секретарь Алтайского крайкома был арестован; предполагаю также, что наша поездка в Сибирь и пребывание у Эйхе были использованы против Роберта Индриковича.

Шофер был своим человеком в семье Эйхе, за обедом он всегда сидел за столом вместе с нами, принимал участие в разговорах, пользовался гостеприимством жены Эйхе (впоследствии разделившей судьбу мужа и тоже расстрелянной), ездил вдвоем с Н. И. на охоту, встречал нас в Новосибирске и провожал из Новосибирска. То, что в мае 1938 года меня встретил именно этот шофер, заставляет меня предположить, что, вероятно, когда он обслуживал машину Эйхе, он работал «по совместительству».

В Сибири мы были ровно за год до начала следствия. Каково же было мое изумление, когда, знакомясь с показаниями против Н. И., я прочла в них, что его поездка в Сибирь была совершена с целью провоцирования кулацких восстаний и отторжения Сибири от Советского Союза.

Как приятно было заглянуть в своих воспоминаниях в счастливое прошлое и как жутко оказаться вновь в Новосибирске под конвоем, зная, что Николая Ивановича больше нет. Какая радостная и счастливая была наша первая поездка и как ужасны дальнейшие сибирские мытарства, сколько воды утекло за такой короткий срок! Неизменной осталась лишь природа. Где-то, не так уж далеко по сибирским масштабам, Катунь так же несла свои изумрудные воды, так же сверкала на солнце гордая Белуха, а при закате, в торжественной тишине все светилось и играло золотисто-лиловыми красками Телецкое озеро («Фантастика, сказка, а не природа!» — повторял Н. И.), и где-то далеко, в глухом алтайском селении, по-прежнему жил тот колхозник, пришедший «смотреть» Н. И. и сказавший ему на прощание: «Будь здорова, моя хорошая».

Впрочем, в отношении этого колхозника-алтайца, по-видимому, я рисую все в радужных красках, вряд ли он продолжал жить в этом селении,— ему, надо думать, припомнили тот день, когда он пришел «твоя смотреть» и от души угощал Н. И. лепешками. И не постигла ли, я думаю, такая же судьба двух ленинградских ученых-ориитологов, у которых мы жили на берегу Телецкого озера?

Не знаю, были ли охранники приставлены как осведомители, хотя оба они, казалось, за месяц нашей совместной жизни привязались к Николаю Ивановичу. Но служба превыше всего! Один из них в мои трудные дни совершил очень смелый и благородный поступок, который я могу объяснить только неизменившимся его отношением к Бухарину и после процесса. Но об этом дальше.

А пока приходится возвращаться к тяжелым воспоминаниям.

Итак, май 1938 года. Мы стояли напротив Новосибирского вокзала у машины — я и тот шофер, бывший шофер Эйхе, и смотрели друг другу в глаза: я с волнением и в полном недоумении, он, как мне показалось, с наглой самоуверенностью. Правда, грозовой ливень хлестал нам в лицо, и мне трудно было определить выражение его лица,— возможно, я ошибалась. Шофер молча открыл дверцу машины и жестом показал мне, чтобы я села рядом с ним. Мы двинулись в путь, приближаясь, пожалуй, к самому страшному «жилищу» в моей жизни. Проехав небольшое расстояние, шофер, вероятно, решил, что надо что-то сказать (все же мы старые знакомые), и он не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Филина вы довезли в Москву благополучно?

Я была удивлена его вопросом при таких совсем необычных обстоятельствах, но нашлась, что ответить:

— Довезти-то мы его довезли, но филина арестовали.

Шофер даже не улыбнулся. Поскольку заговорил первый он, и я решилась задать ему вопрос:

— Ну, а как Роберт Индрикович? Еще здравствует или и его уже нет?

Шофер промолчал. О судьбе Эйхе к тому времени я ничего не знала, но уже слышала от женщин, прибывших в томский лагерь из Новосибирска, что там вели жестокие допросы, добиваясь показаний против Эйхе. Как я потом узнала, в 1937 году он был переведен из Новосибирска в Москву и назначен наркомземом вместо арестованных поочередно наркомов Яковлева и Чернова [1]. Следовательно, Эйхе тогда в Новосибирске уже не было, а за перемещением с одной должности на другую в то время следовал арест. Так случилось и с Эйхе.

Машина остановилась у здания следственного отдела Сиблага НКВД. Гроза прекратилась, небо прояснилось. В небольшом тюремном дворике в подвальном помещении находился изолятор для подследственных. Его плоская крыша, покрытая дерном, возвышалась над землей лишь на 10—15 сантиметров. Пожилой надзиратель провел меня по асфальтированной дорожке, ведущей под гору, в тюремный изолятор. Вся дождевая вода стекала в коридор изолятора, а из коридора — в камеры.

Надзиратель был в резиновых сапогах, я — в замшевых туфлях, ноги у меня промокли.

Изолятор был небольшой, на шесть камер, по три с каждой стороны коридорчика.

В моей камере могли бы поместиться четыре человека — две двухэтажные нары, между ними узенький проход, но для меня эта камера была одиночной. Двери оказались раскрыты. Маленькое зарешеченное окошко, скорее похожее на стеклянную щель под потолком, не давало дневного света; круглые сутки горела тусклая электрическая лампочка; в проеме между стеклами окошка бегала крыса, другая бегала по камере и, услышав наши шаги, шарахнулась с нар на пол, с пола на нары, исчезла и вновь появилась. Я стояла перед открытой дверью камеры, не решаясь ступить в нее. Даже надзиратель, казалось, был не-

[1] М. А. Чернов прошел по процессу вместе с Н. И.

сколько смущен тем, что ему пришлось бросить меня в эту яму. Он принес ведро, ржавую консервную банку и сказал:

— Отчерпывай отсель воду, а то сюды войти не можно.

Я скинула промокшие туфли, поставила их на верхние нары и, стоя по щиколотку в воде, принялась за работу. Наполняя ведро за ведром, я выливала воду в тюремный двор, пока не остались только маленькие лужицы в выбоинах каменного пола. Я взяла из вещей лишь теплый платок, и надзиратель унес чемодан в каптерку. Этот чемодан Н. И., исцарапанный и пожухлый, со следами раздавленных клопов внутри, хранится у меня и по сей день, как память о пережитом и как единственная сохранившаяся вещь, принадлежавшая когда-то Николаю Ивановичу.

Вычерпав воду, я вошла в камеру. Надзиратель запер дверь, загромыхал засов, щелкнул замок, звякнули ключи. Я стояла в оцепенении и не могла тронуться с места, но скоро пришла в себя: к этому времени я наконец научилась ничему не удивляться. Осмотревшись, я решила расположиться на левой верхней наре — наверху всегда суше. Камера была крайней, правая стенка, соприкасавшаяся с землей, была сырее левой, смежной с соседней камерой. Матрацев, даже набитых соломой, на нарах не было. Я постелила свою шубку, сложив ее вдвое так, чтобы одна половина служила подстилкой, другая одеялом; платок свернула и положила под голову. Казалось бы, устроилась со всеми возможными удобствами. Окошко-щель тоже было с левой стороны. Через него можно было увидеть весеннюю ярко-зеленую травку, растущую по неистоптанному краю тюремного дворика, а во время прогулки заключенных — ступни их ног. Стены камеры были покрыты толстым слоем зеленой плесени, по правой стенке бежали маленькие струйки воды и скапливались в трещинах и ямках разбухшей от сырости стены, отрываясь от нее, падали каплями на пол. И через равные промежутки времени слышалось: кап, кап, кап... Взобравшись на нары, я уснула. Надзиратель, заметив через глазок, что я сплю, разбудил меня и предупредил, что спать днем не положено. Я буркнула что-то в полусне и снова мгновенно уснула. Больше надзиратель меня не тревожил. Я проснулась, искусанная блохами, мучительно чесалось все тело. Пришлось спуститься вниз, раздеться догола, стряхивать блох с одежды, успевшей уже отсыреть (высушивать одежду пришлось теплом своего собственного тела).

В первый же вечер меня вызвали на допрос. Допрашивал сам начальник третьего отдела Сиблага НКВД Сквирский. Не помню, в каком он был чине, но ходили слухи, что он был направлен в Сиблаг с понижением в должности из Одесского НКВД, где был в числе руководящих работников. Спасаясь от дальнейшего падения, он отличался особенной жестокостью.

В небольшом кабинете я увидела человека лет 45—47, похожего на хищного зверя, поймавшего долгожданную добычу. Он сообщил, что допрашивает меня по указанию Москвы, и был, казалось, польщен поручением высокого начальства, что ясно читалось на его самодовольном и неприятном лице.

— Следствию достоверно известно,— заявил он,— что Бухарин через вас был связан с контрреволюционной организацией молодежи, вы были членом этой организации и связным между Бухариным и этой организацией. Назовите членов этой организации. Пока вы этого не сделаете, будете сидеть и гнить в подвале.

Я отрицала прежде всего, что Бухарин мог иметь отношение к контрреволюционной организации молодежи, если даже таковая и существовала, потому что он был революционер, а не контрреволюционер, по этой же причине и я не могла быть связной между этой организацией и Бухариным.

— Хамка! Контрреволюционная сволочь! — заорал Сквирский.— Даже теперь, после процесса, вы осмеливаетесь заявлять, что Бухарин не был контрреволюционером.

— Да, осмеливаюсь, но разговаривать с вами по этому поводу считаю бессмысленным.

— Вы еще скажете, что вообще не имели отношения к Бухарину?

— Нет, этого я как раз не скажу, но я была не связной между контрреволюционной организацией и Бухариным, а его женой.

— Вы были его женой? Нам достоверно известно, что ваш брак — фикция, прикрывающая контрреволюционные связи Бухарина с молодежью.

Я всего могла ждать. Что вот-вот этот Сквирский обвинит меня в том, что я занималась вредительством, что я террористка или еще что-либо в этом роде, но, что он объявит наш брак фиктивным и преследовавшим контрреволюционные цели, такого я и вообразить не могла. Это абсурдное обвинение меня особенно ошеломило, и я наивно попыталась опровергнуть это обвинение тем, что у нас есть ребенок.

— Это еще надо проверить, это еще надо доказать, от кого он у вас, этот ребенок!

В тот момент я была оскорблена этим бессмысленным, нелепым обвинением следователя больше, чем его грубой бранью («хамка», «контрреволюционная сволочь» и т. д.). Однако уже во время допроса я поняла, что разговариваю с человеком не только подлым, но и ограниченным, и мне стали безразличны его крикливые и глупые обвинения.

— Наглость какая! — орал Сквирский.— Осмелиться заявить, что Бухарин не был контрреволюционером! Нет места вам на советской земле! Расстрелять! Расстрелять! Расстрелять!

Я почувствовала безысходность своего положения, и это сделало меня смелой и решительной. Я смогла крикнуть с презрением и во весь голос:

— Это вам нет места на советской земле, а не мне! Это вам надо было бы сидеть за решеткой, а не мне! Расстреляйте меня хоть сейчас — я жить не хочу!

Я думала, что вот-вот этот изверг изобьет меня или сотворит со мной что-то совершенно немыслимое. Но ничего такого не произошло; он с удивлением посмотрел своими злыми ястребиными глазами. Мы сразились на равных, и я была удовлетворена. Следователь смолк, и, казалось, я не ошиблась, уловив даже проблеск уважения ко мне. Он поднял телефонную трубку и равнодушно произнес два слова: «Уведите заключенную».

Пока конвоир не явился, Сквирский успел напомнить мне:

— Будете молчать, сгниете в этой камере!

А я успела ответить:

— Мне все равно.

Моросил дождь. Была поздняя ночь. По полу снова медленно ползли ручейки воды, и я поняла, что вычерпывание воды из камеры — сизифов труд.

После допроса я уже не чувствовала ни сил, ни желания подняться на верхние нары, и я улеглась на нижние — на голые доски, но казалось, что лежу на пуховой перине — только оттого, что не видела перед собой ястребиного лица следователя и что я достойно от него ушла.

А счастье, подумала я, понятие удивительно относительное. Бывают и в несчастье проблески счастья, жизнь все больше и больше убеждала меня в этом. Так, в ту минуту, лежа в камере на воображаемой перине, удовлетворенная своим поведением на допросе, душевным взрывом, бунтом, защитившим мое человеческое достоинство, я была счастлива.

Тишина в камере, нарушаемая равномерно падающими со стены на пол каплями и редким шуршанием «глазка» надзирателя, неожиданно привела меня в состояние неземного, сказочного блаженства. Я, как Алиса в Стране чудес, все падала и падала в глубокий колодец, но в отличие от нее знала, на какой широте и долготе я нахожусь и что я не в Австралии и не в Новой Зеландии, а в стране под названием Советский Союз, в стране диктатуры пролетариата, что в те дни означало: в стране абсолютной сталинской монархии. Мне не надо было, как Алисе, пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думать, что говоришь, не одно и то же. Наш народ в то время хорошо усвоил: говорить, что думаешь, опасно, хотя у меня это не всегда получалось. Словом, о такой

Алисе, не в Стране чудес и не в Зазеркалье, а об Алисе при диктатуре пролетариата Льюис Кэрролл не успел написать.

После допроса я лежала неподвижно на нарах и вполголоса повторяла стихотворение Блока «Перед судом». Несколько строк его мне стали близки, потому что я подгоняла их под свою собственную ситуацию и часто вспоминала в камере. В ночь после допроса я бормотала, не нарушая тишины:

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала.—
Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Оставшись наедине со своими мыслями, я пыталась решить для себя вопрос: права или не права была мечта, что нам лгала? Нам, подразумевала я,— мне и Н. И. Ведь такого страшного конца ни он, ни тем более я не предвидели, следовательно, мечта лгала нам, и, конечно же, решила я, «мечта права, что нам лгала»: хотя и короткое время, но мы прожили счастливо.

В дни после процесса Зиновьева и Каменева, в августе 1936 года, Н. И. мучительно переживал за мою, как он говорил, загубленную жизнь и судьбу недавно родившегося сына. Я могла утешить Николая Ивановича лишь тем, что мне неизмеримо легче в эти тяжкие дни быть рядом и что я не жалею и никогда не пожалею о том, что соединила с ним свою жизнь. И теперь, спустя много лет после его гибели, я могу повторить то же. Возможно, тогда этими заверениями я еще больше растравляла его душу, и он, глядя на меня сквозь слезы, улыбался.

Не знаю, куда бы забрела я в своих воспоминаниях, если бы вдруг на мою ногу не вскочила крыса. Я вздрогнула, отдернула ногу, крыса шлепнулась на пол и мгновенно исчезла. Приученная Н. И. к животным, я не могу сказать, что мучительно боялась крыс, но внезапный ее прыжок мне на ногу вызвал мгновенный испуг и омерзение. Но вскоре я преодолела брезгливость, и крыса стала скрашивать мое одиночество. Ежедневно я кормила ее хлебом, чем удивляла тюремного надзирателя. Хлеб раздавали утром, моя пайка — пятисотка (500 гр.) обычно бывала с довеском, приколотым деревянной палочкой, довесок обязательно доставался крысе, остальной хлеб я мгновенно съедала. Так казалось мне сытнее, да и негде было хранить пайку. Крыса, чувствуя запах хлеба, тотчас выбегала из угла, становилась на задние лапки и просила хлеба. Я хорошо узнавала ее и могла заключить, что кормлю все одну и ту же крысу. Вторая — бегающая между стеклами окошка — так и не смогла проникнуть в камеру.

Первая ночь после допроса запомнилась еще тем, что я неожиданно услышала частое постукивание в стенку. Ни в Астраханской тюрьме, ни в этапных тюрьмах этим способом общения заключенные не пользовались. Я растерянно смотрела на стенку, стараясь понять, что мне сообщают и как ответить, напряженно думала, кто же мне об этом рассказывал. Наконец, забытое всплыло на поверхность сознания.

Давным-давно, лет за десять до того, как я очутилась в одиночной камере, тюремной азбуке перестукивания меня научил известный народоволец Николай Александрович Морозов. Более двадцати лет провел он в Шлиссельбургской, а потом в Петропавловской крепости, где последние месяцы находился одновременно с моим отцом. Осенью 1905 года революция освободила обоих узников.

В дальнейшем Морозова и Ларина связывали общие интересы в области астрономии и древней истории. Во второй половине 20-х годов издавался многотомный труд Морозова «Христос». В этот период Николай Александрович довольно часто приходил к отцу. К сожалению, я не могу передать содержание их бесед. Я не всегда при них присутствовала, кроме того, они были сложны для

моего детского восприятия. Помню только, как Морозов доказывал, что итальянцы и евреи имеют общие истоки происхождения, и, как он думал, это одна и та же нация; он по-своему объяснял разные языковые образования. Ларин это оспаривал. Морозов как ученый работал не только в области астрономии и истории, но и в области физики и химии. Многие его научные труды написаны в заключении.

Для меня Николай Александрович был личностью легендарной, потому что он вынес двадцатилетнее заключение, сохранив себя нравственно и физически. Что-то необычайно светлое виделось мне в его обаятельном облике. Морозову тогда было за семьдесят. Несмотря на длительное заключение, он не был дряхлым стариком: глубокие морщинки уже легли на его умное лицо, большой прекрасный лоб, но сквозь очки смотрели добрые, выразительные и не по возрасту молодые глаза. Я робела, когда видела его, терялась в его присутствии, но желание узнать, как он смог провести больше двадцати лет в заключении, в конце концов взяло верх, и я решилась с ним заговорить. Морозов рассказал мне о своем ощущении времени в заключении:

— Время в тюрьме проходит значительно быстрее, чем на воле, потому что мозг питается чрезвычайно однообразными впечатлениями, стираются грани лет, все сливается.

Он рассказывал также, что было время, когда ему разрешали работать — то ли на огороде, то ли на цветнике — точно не помню. Наконец, время проходило в научных занятиях, следовательно, для этого были созданы необходимые условия. С заключенными соседних камер Морозов общался перестукиванием. Вот это меня особенно заинтересовало, и я попросила его объяснить, как это делается. Николай Александрович взял со стола лист бумаги, разграфил его на шесть рядов: в каждый ряд, кроме последнего, записал в алфавитном порядке по шесть букв, на последний — шестой, осталось три буквы.

— Сначала,— объяснил Морозов,— надо простучать порядковый номер ряда. Затем, через интервал, порядковый номер буквы. Поняла? — спросил он.

— Поняла,— ответила я.

— Проверим,— сказал Морозов и, сжав руку в кулак, простучал о письменный стол одно-единственное короткое слово. Я не сразу смогла уловить, что это за слово. Пока я старалась понять первую букву, Морозов стучал уже вторую, затем третью, и я теряла связь букв. Лишь на третий или четвертый раз я радостно воскликнула: «Христос! Христос!»

На письменном столе отца, возле которого мы сидели, лежала только что изданная очередная толстая книга многотомного труда Морозова. По-видимому, Христос так занимал в то время его мысли, что и слово, которое он дал мне для проверки сообразительности, было то же — «Христос».

Закончив объяснение, Морозов заметил:

— Интересно, конечно, каким образом узники в царское время общались с заключенными соседних камер, и не только соседних — информация могла быть передана по цепочке. Но практически тебе это никогда не пригодится.

Пока я вспоминала все это, стенка безуспешно пыталась со мной связаться, а затем смолкла. И теперь настала моя очередь проявить инициативу. Чтобы восстановить тюремную азбуку в памяти, сначала я решила задачу, которую когда-то мне задал Морозов, и простучала кулаком о нары слово «Христос», затем, чтобы приобрести навык, несколько фраз.

Поздней ночью, когда надзиратель был менее бдителен и подремывал в коридоре, я отважилась постучать в соседнюю камеру. Так не сбылся прогноз народовольца Морозова: его объяснение имело не только ретроспективный интерес, но и пригодилось практически. Мне удалось выяснить, что в соседней камере четверо заключенных: три биолога, и четвертый, с которым я перестукивалась,— бывший сотрудник НКВД при Ягоде. Все четверо были вновь взяты под следствие из лагерей, а по первому приговору имели десять лет заключения. И фамилию, и занимаемую ранее должность мой сосед назвать отказался, но сообщил, что судим вторично, ожидает «вышку», приговор обжаловал, но надежды на его

отмену у него нет, поскольку при Ягоде он занимал ответственный пост. О себе я тоже никаких подробностей не рассказала, только передала, что сижу по статье «ЧСИР» и тоже вновь под следствием.

— О последнем процессе слышали? — неожиданно спросил ответственный сотрудник НКВД.

— Очень приблизительно, подробностей не знаю,— простучала я.

— Сволочи, убили Бухарина! — передал сосед.

У меня потемнело в глазах, и я почувствовала сильное сердцебиение. «Точно, стукач-осведомитель»,— решила я. Подозрительным показалось, почему он упомянул только Бухарина. Почему же в первую очередь не Ягоду, который, казалось бы, должен был быть ему ближе? Наконец, он не упомянул и других обвиняемых. Я попросила его еще раз простучать последнюю фразу.

— Сволочи, убили Бухарина,— снова услышала я, и сомнения мои окончательно рассеялись. Каждая буква этой фразы точно гирями стучала мне в мозг. Выражение «убили», а не «расстреляли», казалось мне, еще больше подчеркивало бандитский характер судебного фарса, лишая его политической окраски. Надо было бы прекратить разговор, провокации я действительно боялась, но соблазн был слишком велик: этому способствовало и мое одиночество, и страстное желание узнать как можно больше.

— Кто же эти сволочи, убившие Бухарина? — решилась я спросить соседа.— Почему вы сожалеете только о нем и не вспомнили остальных осужденных — Рыкова, Раковского, Крестинского и других, наконец, почему не упомянули даже своего руководителя Ягоду?

Мой сосед, поняв, что о процессе я знаю больше, чем он предполагал, прежде чем ответить на мой вопрос, поинтересовался фамилией моего мужа. Этого я не открыла ему, хотя и передала, что мой муж тоже осужден по последнему процессу и расстрелян. Такое сообщение сделало собеседника более откровенным, и я услышала:

— Не обижайтесь, я упомянул только Бухарина потому, что еще с комсомольских лет любил его и считаю, что эта потеря невосполнима.

Что я-то и есть жена Бухарина, сосед не заподозрил, поэтому решил, что я обижена за своего, не упомянутого им мужа.

— Это вовсе не значит,— продолжал он,— что гибель остальных мне безразлична. Судьба Ягоды трагическая. Он старался противостоять террору и сдался под давлением главного преступника. Сволочи мы все, и Ягода, и я, и те, кто нас заменил. Мы стали преступниками, потому что не убили того, кто принудил нас и принуждает тех, кто нас сменил, идти на преступления. Мне осталось три дня жизни, и я не боюсь сказать: этот главный преступник — Сталин!

Нового он мне ничего не открыл, но разговор произвел на меня удручающее впечатление. Оставшуюся часть ночи я не могла уснуть. По-видимому, я зря заподозрила в своем соседе за стенкой осведомителя.

За несколько дней нашего знакомства я привязалась к этому обреченному на смерть человеку, знавшему цену процессам, сохранившему свое прежнее отношение к Н. И. Вечерами я прислушивалась к его четкому постукиванию в стенку и никак не могла воссоединить смертный приговор с мерным стуком его руки. И когда через несколько дней я услышала его последние слова: «Прощайте, приговор утвержден!» — я была потрясена.

Меня знобило, трясло, как в лихорадке. «То же будет и со мной»,— думала я в те минуты.

Ушедший на расстрел сотрудник НКВД толкнул меня на размышления о Ягоде. Еще в томском лагере Софья Евсеевна Прокофьева, жена бывшего заместителя Ягоды — Прокофьева[1], рассказывала мне со слов мужа, что Сталин, рассерженный тем, что Ягода не добился признаний от Каменева и Зиновьева

[1] В томском лагере жены сотрудников НКВД, арестованных позднее Прокофьева, рассказывали, что Ежов вроде бы предлагал ему быть своим заместителем, но Прокофьев, сославшись на состояние здоровья, отказался. Он был назначен заместителем Ягоды в Наркомсвязь. После ареста Прокофьева даже не успели допросить — подойдя к кабинету следователя, он ударился головой о дверной косяк и упал замертво.

в убийстве Кирова на первом закрытом процессе в 1935 году[1], вызвал его к себе и сказал: «Плохо работаете, Генрих Григорьевич, мне уже достоверно известно («достоверно известно» — часто употребляемое следователями выражение, пользовался им и Сталин), что Киров был убит по заданию Зиновьева и Каменева, а вы до сих пор этого не можете доказать! Пытать их надо, чтобы они наконец правду сказали и раскрыли все свои связи». Ягода, рассказывая об этом Прокофьеву, разрыдался.

Софья Евсеевна рассказывала мне также, что Ягода безуспешно пытался противостоять репрессиям над бывшими меньшевиками. Некоторое подтверждение этому я обнаружила позже в стенограммах процесса: Вышинский предъявил Ягоде документ, приложенный к его следственному делу, изъятый из материалов НКВД. В документе сообщается (кем, не указано) о существовании меньшевистского центра за границей и якобы активной работе его в СССР. На этом документе была резолюция Ягоды: «Это давно не партия, и возиться с ней не стоит». На процессе Ягода оправдывал свою резолюцию тем, что он якобы «оберегал от провала и отводил удар от меньшевиков потому, что они находились в контакте с правыми».

Так как эта версия наверняка плод фантазии следствия, надо думать, что Ягода некоторое безуспешное противодействие репрессиям по отношению к бывшим меньшевикам действительно оказывал.

В моей памяти жили и другие эпизоды, связанные с Ягодой. Когда в середине двадцатых годов, возможно, ближе к концу, были репрессированы специалисты из старой интеллигенции, после революции лояльно работавшие в ВСНХ и Госплане, Ларин, усомнившись в справедливости их ареста, просил по телефону Ягоду прислать следственные дела, чтобы, ознакомившись с ними, приехать самому в ОГПУ к наркому и разобраться вместе. Я помню, как курьер привез пакеты за пятью сургучными печатями. Ознакомившись с делами, отец съездил в ОГПУ к Ягоде, и арестованные были освобождены.

В тридцатые годы такое не приснилось бы и в прекрасных снах, даже члены Политбюро не имели доступа в НКВД. В конце 1930-го или начале 1931 г. к Ларину обратился за помощью Сергей Владимирович Громан (в дальнейшем тоже арестованный), сын бывшего меньшевика Владимира Густавовича Громана, до ареста работавшего в Госплане и осужденного в марте 1931 года по процессу «Союзного бюро меньшевиков». Но в то время отец был уже бессилен ему помочь.

Одна деталь биографии Ягоды косвенным образом протянула нить к раздумьям о моем следствии и напомнила тяжелый эпизод, пережитый в недалеком прошлом. Ягода был связан родственными узами с Я. М. Свердловым — женат на его племяннице, дочери сестры. Тем не менее ему пришлось выполнить указание Сталина об аресте сына Свердлова — Андрея и его ближайшего товарища, сына известного революционера-большевика В. В. Осинского — Димы. На такой шаг Ягода никогда бы самостоятельно не пошел и инициатором в этом случае быть не мог. Оба молодых человека (им было в то время года 22—23) учились тогда в одной из военных академий и были хорошо мне знакомы. Их арест меня чрезвычайно взволновал: для всех в той среде, к которой мы принадлежали, это стало событием необъяснимым. Произошло это в 1934 или начале 1935 г., точно не помню.

Об аресте Димы и Андрея я рассказала Николаю Ивановичу, который был крайне удивлен и решил позвонить Сталину, чтобы выяснить причину. Со Сталиным удалось связаться сразу же. «Пусть, пусть посидят,— ответил он,— вольнодумы они» (я не ошиблась, он выразился именно так, «вольнодумы», а не вольнодумцы). На вопрос Н. И., в чем же выразилось их вольнодумство, Сталин ничего вразумительного не ответил. «Похоже,— сказал он,— что у них троцкистские взгляды». Сам факт ареста юношей и характер разговора Сталина

[1] На этом процессе Зиновьев и Каменев признали лишь свою моральную вину за убийство Кирова, поскольку им было заявлено, что Киров убит человеком, бывшим когда-то в оппозиции Зиновьева в Ленинграде.

с Н. И. напоминает эпизод далекого прошлого, связанный с царствованием императора Павла I, о чем как нельзя лучше говорит один сохранившийся с тех давних пор документ:

«Господин генерал от кавалерии фон-дер-Пален. По получении сего посадить в крепость прокурора военной коллегии Арсеньева, который обратился ко мне с просьбой о месте обер-прокурора в сенате и который, надо полагать, вольнодумец.

К вам благосклонный Павел».

Николай Иванович просил Сталина освободить юношей, не усмотрев в их «вольнодумстве» преступления, и грустно посмеивался над ответом Сталина: «вольнодумы они». Полагая, что В. В. Осинский и сам мог говорить со Сталиным о своем сыне, Н. И., хотя и упоминал при разговоре сына Осинского, главным образом просил об освобождении Андрея Свердлова — его отец Яков Михайлович Свердлов скончался в 1919 г.

— Коба, я прошу за Якова Михайловича, в память о нем это надо сделать. Жаль мальчишек, арест их может только обозлить и загубить. Оба они способные, подающие надежды юноши.

— Я этими делами не занимаюсь, звони Ягоде,— раздраженно ответил Сталин и повесил трубку.

Звонить Ягоде Н. И. счел бессмысленным.

И Д. Осинский, и А. Свердлов вскоре были освобождены. К сожалению, эта история имела свое трагическое продолжение, о котором я тогда не знала. Но мысли об аресте Димы и Андрея, так взволновавшем меня когда-то, привели к печальным размышлениям относительно моего следствия: кого могли навербовать следователи в так называемую контрреволюционную организацию молодежи? Конечно же, предположила я, именно они, Д. Осинский и А. Свердлов, станут ее главными действующими лицами.

И если в 1934 г. Д. Осинский и А. Свердлов были всего лишь «вольнодумами», то кем же их могли сделать в 1938 г., в период повальных арестов? По-видимому, террористами, вредителями — изменниками Родины. Арестованный Валериан Валерианович Осинский, отец Димы, уже фигурировал на процессе Бухарина как свидетель обвинения, непонятно почему — не как обвиняемый. Он рассказывал об ужасающих, страшных преступлениях, якобы совершенных не только Бухариным, но и им самим. Это обстоятельство укрепило мое предположение, что Андрей и Дима вновь арестованы.

Одновременно с ними могли быть арестованы многие другие — дети репрессированных родителей. И по возрасту, и по своей биографии я к этой молодежи вполне подходила. Такую конструкцию своего так называемого дела я соорудила.

Мысли о моем следствии перемежались с размышлениями о Ягоде. Не потому, конечно, что долгие годы я носила мозеровские часы, подаренные когда-то Ягодой моей матери, давным-давно, еще в 1925 году, когда они одновременно лечились в Сухуми, и исчезнувшие в тюремных застенках.

Ягоду я мало знала и смутно помнила, кажется, только в детстве единственный раз его и видела, когда однажды в нашей квартире звучали торжественные аккорды бетховенской увертюры к «Эгмонту». Играла жена Ягоды Ида, худенькая, щупленькая, с острым личиком, похожая, как считали многие, знавшие Я. М. Свердлова, на своего известного дядю, а Ягода, опершись локтем о пианино, приложив ладонь к лицу, казавшийся грустным и задумчивым, слушал музыку.

Там, в камере, толчком к размышлениям о нем послужил осужденный на смерть сотрудник НКВД. Меня занимала не столько судьба Ягоды, сколько вопрос, в какой мере он сам был в ней повинен.

Одно воспоминание наплывало на другое, как я ни старалась их гнать от себя, чтобы постараться уснуть. Я не исключала, что следующий день снова принесет сражение со Сквирским,— надо было экономить ничтожные силы. Я основательно продрогла от промозглой сырости на нижних нарах и наконец возвратилась в ужасную реальность, почувствовав, что лежу не на воображаемой перине, а на жестких досках и до боли отлежала худые, костлявые бока. Пришлось напрячься и перебраться на верхние нары, на свою всегда спасающую шубку, свернуться клубком, чтобы согреть ледяные ноги. Но как только я сомкнула глаза, передо мной предстал образ мальчика, сына Ягоды. Он мне вспоминался не только в эту ночь в Новосибирском изоляторе, но не раз за мой долгий мучительный путь. Не потому, что я симпатизировала его отцу, у меня по отношению к нему было только чувство неприязни, тем не менее этот мальчик, восьмилетний Гарик, волновал мою душу и жил в моем воображении.

Вся семья Ягоды была срезана под корень, выкорчевана из жизни: старуха мать арестована, жена расстреляна, две его сестры одновременно со мной были в Астраханской ссылке и там арестованы; наконец, теща Ягоды, сестра Я. М. Свердлова, встретилась мне в томском лагере и еще до моей отправки в Новосибирск была взята в этап — слухи ходили, что на Колыму, не исключено, что расстреляна — мало ли о чем мог поведать многознающий зять. Так мальчик остался без родных. У него были, правда, родственники со стороны Свердлова, отличавшегося от нас, «грешных», лишь тем, что Свердлов не дожил до 1937 года, который скорее всего преподнес бы ему тот же подарок, какой получили его ближайшие соратники и друзья. Тем с большей уверенностью можно об этом сказать, что тому, кто позже стал «отцом всех народов», известно было, как Свердлов относился к нему еще со времен Туруханской ссылки.

Так или иначе, родственники со стороны Свердлова о ребенке не позаботились, как это сделали, скажем, моя тетка, сестра моей матери, и ее муж, взявшие к себе моего сына, которого воспитывали до 1946 года, пока их самих не арестовали; тогда мой Юра снова оказался в детском доме. Впрочем, не будем слишком суровы. Андрей, сын Я. М. Свердлова, был «то тут, то там»,— то в тюрьме, то на свободе. Остальные родственники тоже сидели, как на трясине. К тому же разве можно было забыть, что в ягодинских лапах несколько лет назад оказался и сам Андрей, а «царь-батюшка» его освободил? Сталин любил выглядеть добрым спасителем. Зачем же этим родственникам ягодинский сынок!

Но, оказавшись в томском лагере в одно время со мной, Софья Михайловна Свердлова (фамилия ее по мужу Авербах) беспокоилась о своем маленьком, оставшемся без родных внуке. Ей в виде исключения разрешили послать запрос о ребенке, сообщили его адрес и позволили написать ему. До своего исчезновения из томского лагеря она успела дважды получить ответы от внука. Я видела конверты с надписанным неуверенной детской рукой адресом и читала коротенькие душераздирающие строки:

«Дорогая бабушка, миленькая бабушка! Опять я не умер! Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик».

Второе письмо было еще короче:

«Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук».

О наших осиротевших детях в то время нам знать не было дозволено, переписка с родственниками была запрещена, и это письмо от ребенка, полученное в лагере, стало событием, но, увы, не радостным. Каждая думала о своем ребенке. Мы задавали себе вопрос: что же происходило с мальчиком? Многие, в том числе и я, сходились на том, что до такого состояния ребенка могли довести лишь специальными мерами. Так и мой Юра на втором году жизни был вытащен из детского дома полутрупом. Для меня слова мальчика «опять я не умер» превратились в своего рода символ. В заключении, даже на фоне повседневной безысходности, были особые, невыносимо тяжкие моменты, когда, казалось бы, и выжить было немыслимо, а я все-таки оставалась в живых. В тех случаях я повторяла слова маленького сына Ягоды: «Опять я не умер!»

Впечатление от коротеньких писем мальчика, по-детски, но так поразительно точно выразившего ужас, трагизм своего положения, не выветрилось из

моей памяти. По возвращении в Москву я пыталась узнать о дальнейшей его судьбе, но все мои старания оказались тщетными.

Ну а сам Ягода? Он исчез не бесследно, конец его известен, руки его в крови. Однако повинен он вовсе не в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на процессе. Он виновен прежде всего в том, что пронес через все свои последние годы тайну сталинских преступлений и оказался их соучастником.

Три наркома возглавляли ОГПУ — НКВД — Ягода, Ежов, Берия. Ежов стал профессиональным бюрократом, ограниченным фанатиком, слепо верил в Сталина, беспрекословно подчинялся ему, он не был связан органически с большевиками ленинского поколения, и все уже катилось, как по рельсам, хотя и сам Ежов, как я слышала, под конец своей деятельности не выдерживал «ежовщины».

Берия — человек темной биографии и по своей вероломной психологии свой человек для Сталина.

Ягода отличался от них тем, что был профессиональным революционером, членом большевистской партии с 1907 года, следовательно, не из карьеристских побуждений в нее вступил. Но именно на его долю выпал жребий положить начало истреблению товарищей по партии. Эта акция далась ему не так легко. Но мощная сталинская бюрократическая машина засасывала его непреодолимым вихрем. Поэтому именно Ягода особенно ярко являет собой пример растления личности, духовного перерождения.

И все же я согласилась со своим соседом за стенкой, что Ягода был личностью трагической, пережившей душевную драму. Он падал медленно, внутренне сопротивляясь, и стал лишним для Сталина не только потому, что был свидетелем и соучастником его преступлений (с уничтожением Ягоды можно было бы еще повременить), но и потому, что он оказался непригодным для осуществления дальнейших сталинских грандиозных преступных планов. Трудно теперь отделить, какие преступления Сталин осуществил через Ягоду, какие — действуя за его спиной. Сомнения нет, что с Ежовым и Берия Сталину работать было удобнее.

Бухарин в последние годы относился к Ягоде как к разложившемуся чиновнику и карьеристу, позабывшему свое революционное прошлое. Его ненависть к Ягоде имела причину и чисто психологического характера. Ягода, как рассказывал мне Н. И., был одно время довольно в близких отношениях с Рыковым (что подтвердил и сам Ягода на процессе), оба они волжане: Рыков из Саратова, Ягода из Нижнего Новгорода; одно время и Рыков вел революционную работу в Нижнем, где пользовался большим авторитетом, там они и сблизились. Позже, когда Рыков был в зените славы, заменив Ленина на посту председателя Совнаркома, Ягода особенно дорожил его дружбой. Но, увы, Ягода принадлежал к числу тех друзей, о которых еще Некрасов писал: «...Я с ними последним делился, и не было дружбы нежней, но мой кошелек истощился, и нет моих милых друзей!»

В начале наметившихся разногласий Ягода, знавший лучше многих общую картину положения в деревне, скорее разделял взгляды Бухарина и Рыкова, чем Сталина, цену которому, надо думать, он тогда уже знал. Но как только он почувствовал, что положение оппозиции в Политбюро шатко, он к ней не примкнул. С тех пор Н. И. питал к Ягоде неприязнь и как-то в связи с этим рассказал мне интересный случай.

Летом 1935 г. Николай Иванович приехал к Горькому на дачу. На террасе за чаем сидели Алексей Максимович, его невестка — Наталия Алексеевна (в семье ее звали Тимоша), Н. И. и старик-приживалец, хиромант, кажется, приехавший вместе с Горьким из Италии. Через некоторое время пришел Ягода. Кстати, Ягода наезжал к Горькому довольно часто: он был увлечен невесткой Горького, вдовой его сына. Кроме того, он испытывал тяготение к самому Горькому как земляку. В Нижнем Новгороде Горький был близок семье Свердловых, усыновил старшего брата Я. М. Свердлова, Зиновия, не принявшего революцию и не вернувшегося в Советский Союз.

Итак, Ягода подсел к общему столу.

— Покажите вашу руку, Генрих Григорьевич,— попросил старик-хиромант. Ягода спокойно протянул руку. Старик недолго рассматривал линии на ладони, затем, брезгливо отбросив руку, сказал: «А вы знаете, Генрих Григорьевич, у вас рука преступника!» Ягода разволновался, покраснел, ответил ему, что хиромантия не наука, а пустое занятие, и вскоре уехал.

Самое примечательное в этом эпизоде, как считал Н. И., заключалось в том, что Горький пропустил сказанное мимо ушей, не сделал замечания старику за бестактность по отношению к Ягоде ни при нем, ни после его ухода.

Итак, он преступник? Да, конечно. Он жалкий трус? Безусловно! Его гибель нравственная произошла ранее физической. Но вряд ли даже кто-нибудь из храбрецов хотел бы оказаться на его месте и смог бы изменить положение. В конце 1931 года, после процесса «союзного бюро меньшевиков», Сталин, очевидно, желая спутать карты, сделал заместителем Ягоды Ивана Алексеевича Акулова, человека непреклонной воли, кристальной честности и огромного мужества, пользующегося особым уважением и доверием товарищей. Иван Алексеевич стал наводить порядок в НКВД и очень скоро пришелся не ко двору. Недолго пробыл он и на посту Прокурора СССР: был назначен Секретарем ЦИК СССР. В 1938 году он был расстрелян.

Еще не предъявлен Сталину счет истории за палаческих дел мастерство, составляющее существенную черту его преступной натуры; еще мало кто знает, какими изощренными методами он действовал, загоняя каждую жертву-палача в ею же оборудованные застенки. Так драматическая история Ягоды дала пищу для моих размышлений бессонной ночью в новосибирском изоляторе *.

Между тем утро уже подкралось, что никак не отразилось на освещении в камере: так же горела тусклая электрическая лампочка и ничуть не стало светлее, но в коридоре уже слышался шум, громыхание засовов, водили на оправку, разносили завтрак — синеватую ячневую кашу, политую каким-то противным жиром, долгожданную пайку и кипяток. Тотчас же прибежала крыса, схватила кусок хлеба и, удовлетворенная, быстро шмыгнула под нары. Пожилой надзиратель, заметивший через глазок, что я кормлю ее, вошел в камеру и добродушно проворчал:

— Пошто ты ее, девка, кормишь, разведешь их здеся столько, что житья от них не будет; тут до тебя женщина сидела, так от этой крысы визжала на весь изолятор, покою не давала, а тебе хоть бы что.

— Житья нет и с крысами, и без них — крысы ничего не меняют.

Надзиратель покачал головой и запер камеру.

Так текли дни — серые, безликие, одинаково беспросветные; надо было придумать хоть какое-то занятие, чтобы гнать от себя черные мысли. Я безуспешно пыталась добиться разрешения получать книги. Как-то, заметив в углу камеры на полу ржавый гвоздь, я нацарапала на нарах шахматную доску, из хлеба слепила шашки разной формы, чтобы играть за себя и за противника, но каждый раз ночью, когда я засыпала, крыса и мышиная мелюзга, которую я в расчет не принимала, поедали мои шашки, и я в конце концов предпочла хлеб съедать. По утрам, как молитву, я повторяла заученное наизусть письмо Бухарина «Будущему поколению руководителей партии». Нельзя было забыть ни еди-

* Справка историка. А. М. Ларина только намечает основные контуры процесса перерождения профессионального революционера в чиновника, девизом которого стала личная преданность своему патрону. Покровителем Ягоды с начала двадцатых годов был Сталин. Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский относились к Ягоде отнюдь не однозначно. В состав коллегии ВЧК-ОГПУ (в 1922 году) Ягода был введен под давлением Сталина. Колебаний своим подопечным тот не прощал. Можно предположить поэтому, что именно колебания Ягоды по отношению к группе Бухарина в 1928 году сыграли роковую роль в его судьбе в дальнейшем. Вообще же проблема вывода органов государственной безопасности из-под контроля партии и государства — тема специального исследования историков. Отдельные зарисовки и наблюдения А. М. Лариной будут им весьма полезны.

Кандидат исторических наук В. А. Старков.

ного слова, хотя в те дни похоже было, что оно, это письмо, уйдет со мной в могилу.

Ежедневно меня выводили на десятиминутную прогулку, но весна, которая баловала необычно ранним теплом, к середине мая круто повернула вспять: не раз маленький тюремный дворик покрывался снегом, и зеленая травка у моего окна седела от утренних заморозков, или же лили холодные проливные дожди. Лишь в середине июня пришло долгожданное тепло.

«Эх и вёдро же сегодня! — сказал вошедший в камеру надзиратель.— Начальства нет (было воскресенье), можешь гулять дольше». Во дворе было жарко и необычно тихо. Через окно следственного отдела Сиблага не слышался, как обычно в будние дни, непрерывный треск пишущей машинки, ветер доносил откуда-то дурманящий аромат отцветающей черемухи, а возле моего зарешеченного окошка, в травке, вытянулись на тонких стебельках солнечные одуванчики. Высоко в безоблачном небе стайка стрижей то вихрем снижалась, то стремительно взмывала ввысь, взмахивая изящными дугообразными крылышками.

«Смотри, смотри, Анютка,— стрижи!» — обязательно крикнул бы Н. И., но знакомого голоса не послышалось, и я, еле сдержав слезы, попросила надзирателя вернуть меня в камеру. Мрак в тот момент больше соответствовал моему настроению, чем ясный день в каменном мешке тюремного двора. Возвратившись в камеру, я почувствовала потребность разрыдаться, выплеснуть накопившуюся душевную скорбь, но не смогла. Чтобы скоротать время и отвлечься, я мысленно повторяла стихи. И вспомнились мне строчки Веры Инбер: «...когда нам как следует плохо,— мы хорошие пишем стихи». Мне было «как следует плохо», невыносимо тяжко и одиноко, и хотя я не совсем согласилась с поэтессой в том, что стихи при данных обстоятельствах непременно смогут быть хорошими, я решила, что надо дерзать! Иначе в одиночестве в этом темном подвале, без книг, с одолевавшими меня страшными мыслями, впору сойти с ума.

Так я решила сочинять стихи; записывать их, следовательно, работать над ними, мне не пришлось — ни бумаги, ни карандаша не давали. Надо было сочинять и запоминать. Мне захотелось отразить мое настроение после прогулки в тюремном дворе. Я успела сочинить всего пять строк:

Тучей сгустилась печаль,
Пала на сердце туманом.
Синяя ясная даль
Кажется мглой, и обманом —
Трепет цветущей весны.

Только я стала повторять эти строки, чтобы запомнить их и затем продолжить стихотворение, как неожиданно дверь в камеру растворилась, и вошли двое: Скв ирский, который после первого допроса меня больше не вызывал, второй, как пояснил мне потом надзиратель, начальник управления НКВД Новосибирской области. Пользуясь тем, что в камере потеплело, я лежала в нижнем белье, укрытая платком: берегла юбку, которая уже начала расползаться от сырости.

— Разве в лагере вас не учили вставать перед начальством?! — крикнул Скв ирский.— Встать сейчас же!

— Нас приучали, но я оказалась неспособной ученицей,— ответила я, продолжая лежать.

— Долго будете молчать, княжна Тараканова? Я вас предупреждал; если не раскроете контрреволюционную организацию молодежи — сгниете в этой камере.

— Буду сидеть столько, сколько вы будете держать меня в ней, выбраться отсюда, к сожалению, я не имею возможности.

— Если вы избрали такое поведение — продолжать молчать, имейте в виду, вас ждет расстрел.

— Следовательно, беспокоиться не приходится, я не сгнию в этой камере.

Начальник Новосибирского НКВД, смотревший на меня с любопытством, не проронил ни слова. «Гости» вышли из камеры. Так первое стихотворение, которое я попыталась сочинить, осталось незаконченным.

Время шло, я чувствовала себя все хуже и хуже. Сырость уже давала себя знать, я стала сильно кашлять. Спала я тревожно. По ночам меня стали мучить галлюцинации, а возможно, то был страшный повторяющийся сон: в верхнем углу камеры, под потолком, словно на Голгофе, мне виделся распятый на кресте, но не Христос, а замученный, бледный Бухарин (быть может, это видение мучило меня потому, что этому предшествовали воспоминания о народовольце Морозове). Черный ворон клевал окровавленное, безжизненное тело мученика. В течение нескольких дней я не могла избавиться от повторяющегося кошмара и как-то от ужаса закричала так, что было слышно в коридоре. Вошедший в камеру надзиратель решил, что я испугалась крысы.

— Что кричишь, крыса укусила?

— Да нет, сон страшный приснился.

После посещения Скв ирского я окончательно поняла, что жизнь моя может оборваться ежедневно. И захотелось мне забыться, заглянуть в свое счастливое прошлое, в незабываемый крымский вечер, положивший начало нашему роману с Н. И., и отразить его в стихах.

Стихи далеки от совершенства, но и по сей день они дороги мне как светлое воспоминание. Там были и такие строки:

Я помню тот крымский вечер,
Что начало начал положил,
Невнятно шептал что-то ветер,
Так радостно весел ты был.

В тот вечер мы поздно расстались,
Ты мне ничего не сказал,
Лишь только глаза улыбались,
И крепко ты руку мне жал.

А волны морские сказали,
Что быть тебе скоро моим,
Задорно они хохотали
Шумящим прибоем морским.

Мне было всего лишь шестнадцать,
Шестнадцать волнующих лет.
Увы, мне уж много за двадцать,
А прошлого ярок так свет.

Сравнительно недавно мне пришлось перечитать это стихотворение, и строка «Увы, мне уж много за двадцать» напомнила об относительности восприятия возраста и времени. Из восьми лет — с шестнадцати до двадцати четырех — два последних, с августа 1936 по август 1938, были насыщены мучительными страданиями, и годы эти казались очень длинными, хотя и без того для молодого человека восемь лет — срок немалый. Но как хотелось бы теперь, когда мне более за семьдесят, чем тогда было за двадцать, вернуть мои «много за двадцать»,— конечно же, без той страшной камеры...

Продолжение следует

Юрий Голанд,
кандидат экономических наук

КАК СВЕРНУЛИ НЭП

Перестройка значительно повысила интерес к опыту нэпа. В нашей послереволюционной истории это был единственный период, когда наряду с административными широко применялись экономические методы управления. В наибольшей степени они использовались в сельском хозяйстве, основу которого составляли единоличные крестьянские хозяйства. Однако, хотя крестьяне сами решали основные вопросы производства и реализации продукции, ориентируясь, главным образом, на цены и налоги, сохранялись и административные методы воздействия на различные стороны крестьянской жизни. Пропорции между экономическими и административными методами менялись со временем, и изучение их взаимодействия представляет не только исторический интерес. Конечно, и сейчас подъем сельского хозяйства во многом зависит от ослабления административного пресса.

Сохранение административно-командных методов в период нэпа было частично связано с традициями предшествующего периода «военного коммунизма», когда государство посредством продразверстки забирало у крестьян все излишки сельскохозяйственной продукции, а нередко и не только излишки. Во время гражданской войны и хозяйственной разрухи обеспечить выполнение заданий по продразверстке без применения насилия было невозможно. Другим проявлением административного стиля руководства явились попытки заставить крестьян перейти к общественной обработке земли и иным видам производственного кооперирования, которые приняли широкий размах в первые месяцы 1919 года.

Все эти меры вызвали такое недовольство, что враги Советской власти получили возможность организовать в ряде районов страны крестьянские восстания, которые вспыхнули в середине марта. Выступая 23 марта 1919 года на VIII съезде партии с докладом о работе в деревне, Ленин резко осудил попытки объединить крестьян в коллективные хозяйства методами насилия. Он подчеркнул: «Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, люди, которые бросились в деревню только потому, что они услышали о пользе общественного хозяйства, устали от городской жизни и желают в деревне работать,— когда такие люди считают себя во всем учителями крестьян... Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать!»[1] Вскоре после окончания съезда, 9 апреля, Ленин подписал циркулярное письмо губернским органам власти, в котором указывал, что «недопустимы меры принуждения для перехода крестьян к общественной обработке, в коммуны и другие виды коллективного хозяйства»[2] и предупредил о суровой ответственности за неисполнение циркуляра. После этого попытки форсировать коллективизацию прекратились.

Однако выполнить полностью ленинское указание «не сметь командовать!» было нельзя, пока сохранялась продразверстка. Она лишала

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 38, стр. 201.
[2] Там же, том 50, стр. 495.

крестьян стимулов к увеличению производства и привела к сокращению посевных площадей. Для борьбы с этим явлением осенью 1920 года член коллегии Наркомата продовольствия Н. Осинский предложил образовать губернские, уездные и волостные посевные комитеты, которые должны были устанавливать обязательные для крестьян планы посевов отдельных культур, а также агротехнические правила. Это предложение обсуждалось в печати в течение нескольких месяцев. В ходе дискуссии было обращено внимание на то, что само по себе увеличение посевов еще не гарантирует роста урожаев, ибо при незаинтересованности крестьян на полях может вырасти бурьян. Известный статистик С. Струмилин заметил, что при реализации предложения Осинского для наблюдения за качеством работы крестьян потребуется целая армия контролеров. В этой связи он поставил логичный вопрос: «Как нам пришлось бы оценить производительность такого хозяйственного уклада, где почти над каждым работником поставлен особый лодырь с палкой контроля ради, а над этими лодырями от контроля ввиду малой их надежности еще целая пирамида обер-контролеров и сверх-ревизоров всякого рода?». В качестве альтернативы идее посевкомов ответственный работник наркомата земледелия Н. Богданов предложил так организовать сельское хозяйство, «чтобы государственные производственные задания выполнялись возможно «машинально», чтобы интересы отдельных групп и отдельных хозяев-земледельцев по возможности совпадали с интересами всего социалистического хозяйства». Однако все эти замечания не были приняты во внимание. Осинский назвал положение Богданова о необходимости совпадения частных и общих интересов при социализме совершенно неверным и утверждал, что «наоборот, социализм означает подчинение узких, ближайших интересов отдельных граждан и особенно хозяев интересам целого». В конце декабря 1920 года VIII съезд Советов принял решение об образовании посевкомов.

Таковы были традиции, с которыми страна приступила к новой экономической политике, начавшейся заменой в марте 1921 года продразверстки продналогом. Посевкомы были несовместимы с нэпом, и осенью 1921 года они прекратили свое существование. В результате отмены продразверстки у крестьян появился стимул к увеличению сельскохозяйственного производства и прекратились крестьянские восстания. В 1921—1922 годах страна пережила страшный голод, вызванный засухой 1921 года. От голода и его последствий умерло около 5 миллионов человек. Можно смело утверждать, что если бы не переход к нэпу, то в условиях продразверстки и повсеместных крестьянских восстаний эти потери были бы значительно больше, и страна оказалась бы в катастрофическом положении.

В 1922—1924 годах сельское хозяйство в целом успешно восстанавливалось. Возобновился экспорт сельскохозяйственной продукции, в 1923/24 хозяйственном году (который в то время начинался с 1 октября) было вывезено за границу около 3 миллионов тонн зернопродуктов. С появлением рынка, развитием товарно-денежных отношений во всем народном хозяйстве стала расти товарность крестьянских хозяйств, хотя она еще далеко отставала от довоенного уровня.

Вместе с тем подъем сельского хозяйства тормозился сохранением военно-коммунистических настроений. Хотя переход к продналогу оживил оборот, но остались ограничения росту частнохозяйственного накопления. Крестьянское хозяйство, превышающее средний уровень, независимо от того, каким путем оно вырастало, нередко зачислялось в кулацкое со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности — лишением избирательных прав и повышенными налогами. Сохранился также административно-командный стиль управления. Сельсоветы и волисполкомы свою основную задачу видели в сборе сельскохозяйственного налога и выполнении различных распоряжений вышестоящих органов. Что же касается организации хозяйственного и культурного строительства в деревне, помощи крестьянам в подъеме хозяйства, то эти задачи меньше их волновали. В то же время местные органы власти стремились контролировать всю деревенскую жизнь. Например, во многих деревнях без разрешения сельсовета нельзя

было устроить вечеринку. Командный стиль характеризовал и деятельность сельских партийных ячеек. Они давали указания и Советам, и общественным организациям, в частности кооперативам. С особенной наглядностью этот стиль проявлялся при выборах в Советы, которые в то время проводились на избирательных собраниях открытым голосованием. Как правило, местные партячейки вместе с уполномоченным из волисполкома предлагали списки своих кандидатов и различными методами их навязывали. Это вызывало естественное недовольство крестьян. Оно усиливалось по мере того, как одновременно с хозяйственным подъемом вырастала и политическая активность деревни. Конечно, далеко не все крестьяне, среди которых было много неграмотных и отсталых, проявляли общественную активность, но доля их росла. Одним из показателей такого роста может служить, например, увеличение тиража крестьянских газет: в 1924 году он вырос по сравнению с 1922 годом в четыре раза. Нежелание активной части крестьянства мириться с командным стилем руководства накладывалось на их неудовлетворенность экономическими условиями жизни, особенно в те периоды, когда соотношение цен на сельскохозяйственные и промышленные товары становилось особенно неблагоприятным для производителей сельскохозяйственной продукции.

В наиболее острой форме недовольство крестьян проявилось в Грузии, где в конце августа 1924 года вспыхнуло организованное антисоветскими силами восстание. Быстро разгромленное, это восстание тем не менее оказало большое психологическое воздействие на руководство партии. Выступая 22 октября 1924 года на совещании секретарей деревенских ячеек, И. Сталин заявил: «То, что произошло в Грузии, может повториться по всей России, если мы не изменим в корне самого подхода к крестьянству, если не создадим атмосферы полного доверия между партией и беспартийными, если не будем прислушиваться к голосу беспартийных, наконец, если не оживим Советов для того, чтобы дать выход политической активности трудовых масс крестьянства».

В конце октября пленум ЦК заслушал доклад специальной комиссии во главе с Г. Орджоникидзе о восстании в Грузии. Одновременно пленум обсудил вопрос об очередных задачах работы в деревне и провозгласил курс на оживление Советов. В резолюции пленума указывалось, что «необходимо более правильное соблюдение выборности, устранение незаконного вмешательства в работу Советов». Эта политическая линия затем получила известность как н о в ы й курс.

Однако проходившая в последнем квартале 1924 года кампания по выборам в Советы показала, что на местах не торопились претворять в жизнь провозглашенный новый курс. Сохранялось давление на крестьян для избрания желательных партийным органам кандидатов. Например, в одном из районов Житомирского округа на Украине уполномоченный от районной избирательной комиссии, заметив недовольное настроение избирателей против некоторых намеченных в сельсовет кандидатур, оставил бурное собрание и уехал в район. На другой день собрание проводил новый уполномоченный (начальник милиции), который прежде всего арестовал тех, кто накануне давал отводы намеченным кандидатам. После этого все они были избраны. Другой способ проведения нужных кандидатов был применен в одном из районов Бийского уезда Алтайской губернии. После того, как крестьяне отказались голосовать за список, предложенный избирательной комиссией, были закрыты все выходы из помещения и было заявлено крестьянам, что, пока они не выберут предложенных в списке кандидатов, из помещения они не выйдут. У дверей была поставлена милиция, и желаемый результат был достигнут — весь список прошел в сельсовет.

Подобная практика привела, с одной стороны, к росту удельного веса коммунистов и комсомольцев в составе Советов, а с другой, к массовому отказу крестьян от участия в выборах. В трех четвертях губерний РСФСР на избирательные собрания явилось меньше 35 процентов избирателей, а во многих уездах в голосовании участвовало менее 10 процентов. В то же время наиболее активная часть крестьянства, протестуя против нажима на выборах и недостатков в работе местных органов, выступала на избирательных собраниях с резкой критикой коммунистов. Эта критика мало смущала местные органы, они объясняли ее усилением кулацкой активности, а результаты выборов оценивали как вполне удовлетворительные. По существу, они игнорировали решение октябрьского пленума ЦК об оживлении Советов, считая его чисто пропагандистским, не обязательным для исполнения. Это прямо признал Сталин, выступая на XIII Московской губернской партконференции в январе 1925 года: «Вся беда, товарищи, в том, что многие из наших товарищей не понимают или не хотят понять всей важности этого вопроса [о крестьянстве]. Часто говорят: в Москве наши лидеры взяли за моду говорить о крестьянстве. Это, должно быть, несерьезно. Это — дипломатия. Москве нужно, чтобы эти речи говорились для внешнего мира. А мы можем продолжать старую политику. Так говорят одни. Другие говорят, что речи о крестьянстве — одни разговоры. Если бы москвичи сидели не в канцеляриях, а приехали на места, они бы увидели, что такое крестьянство и как налоги собираются».

Для того чтобы практически претворить в жизнь намеченный октябрьским пленумом ЦК новый курс в деревне, требовалось предпринять конкретные действия, подтверждающие серьезность намерений руководства. И они были сделаны. В конце декабря 1924 года Президиум ЦИК постановил отменить результаты выборов и провести повторно выборы там, где явилось меньше 35 процентов избирателей, или в случае жалоб граждан на незаконные действия органов, руководивших выборами. Категорически запрещалось предлагать на избирательных собраниях список кандидатов в Советы; на избирательные комиссии возлагалась обязанность наблюдать за тем, чтобы на избирателей не оказывалось давление.

Большую роль в обосновании этого решения сыграл председатель ВЦИК М. Калинин. Выходец из крестьян-середняков, Калинин выделялся из всех лидеров партии глубоким знанием и пониманием крестьянской жизни. В начале января 1925 года он констатировал: «Мы переоцениваем наш партийный аппарат, мы иногда думаем целиком управлять через него. Такие попытки, такие явления были во многих местах, где Советы буквально сошли на нет». Оживление Советов, по его мнению, должно было начинаться с открытой дискуссии на избирательных собраниях, где всем крестьянам, включая и тех, кто был настроен враждебно к политике партии, следовало предоставлять возможность выступить. Он исходил при этом из того, что в целом платформа партии соответствует интересам масс, а уязвимы для критики отдельные практические действия, которые «можно исправить только тогда, когда они подвергаются основательной критике». В этой связи Калинин подчеркивал: «Тот, кто боится критики практической работы, тот кто думает: «хороша свобода печати, но чтобы она не касалась меня», «хороша критика, но чтобы она не касалась меня»,— тот близорукий руководитель дела».

Несмотря на такие четкие разъяснения, многие местные партийные комитеты встретили директиву о повторных выборах без всякого энтузиазма и стремились отделаться от ее выполнения, ссылаясь на местные условия. Перевыборы произошли только в одной третьей части СССР, две трети же фактически игнорировали решения высших партийных и советских органов и не произвели перевыборов, хотя их и должны были провести. Особенно негативно воспринимали линию партии уездные организации. Так, работники Курского укома заявляли, что «позиция ЦК в отношении «свободных» выборов и вовлечения беспартийных неправильна, так как, выполняя директиву ЦК, мы не удержим за собой руководства в Советах». Сходные мысли высказал член райкома в Енисейской губернии: «Почему нужно сдавать позиции. Это не большевистский подход к работе. Н е д л я т о г о м ы в с е з а в о е в а л и, ч т о б ы с д а в а т ь б е с п а р т и й н ы м». Выделенная мною мысль была очень типична для оценки деревенскими коммунистами решения о кассации выборов.

Опасения потерять завоеванные позиции имели определенные основания, что показал и ход повторных выборов. Они вызвали значительный интерес и активность со стороны крестьян, в то время как деревенские коммунисты оказа-

лись неподготовленными к новым методам руководства, основанным не на приказе, а на убеждении. В результате, с одной стороны, значительно увеличилась явка избирателей, а с другой стороны, уменьшился удельный вес коммунистов и комсомольцев в Советах. По тем волостям РСФСР, где проходили повторные выборы, явка избирателей увеличилась по сравнению с первыми выборами с 26,5 процента до 44,7 процента. В то же время процент коммунистов в составе сельсоветов уменьшился с 7,1 до 3,6, а комсомольцев — с 4,2 до 2,3. На Северном Кавказе образовались сотни сельсоветов, в которых почти не было коммунистов. Социальный состав сельсоветов после повторных выборов изменился в пользу середняков и стал лучше отражать структуру крестьянства (процент середняков увеличился с 30—40 до 70—75).

Рост общественной активности крестьян рассматривался в то время как фактор, имеющий непосредственное экономическое значение. Политика оживления Советов была призвана создать обстановку, благоприятствующую реализации намеченных весной 1925 года мер по развитию производительных сил в сельском хозяйстве. Эти меры, одобренные XIV Всесоюзной партконференцией и III Всесоюзным съездом Советов, предусматривали снижение на 40 процентов общей суммы сельскохозяйственного налога, вложение дополнительных государственных средств в систему сельскохозяйственного кредита, облегчение найма рабочей силы, расширение права сдачи земли в аренду (причем на арендованной земле разрешалось применять наемную рабочую силу), устранение административных препятствий к мелкой крестьянской торговле, снижение цен на сельскохозяйственные машины и увеличение продолжительности кредита на их покупку, предоставление всем крестьянам без исключения права участия в кооперации. Вместе с политикой оживления Советов эта программа экономических мероприятий являлась неотъемлемой частью нового курса партии.

Новый курс предоставлял большую свободу единоличному накоплению в деревне. Это вело к усилению расслоения в деревне, росту зажиточных хозяйств. Практика зачисления их всех в кулацкие становилась неприемлемой, нужна была новая теоретическая оценка процесса расслоения. Такую оценку дали знатоки деревенской жизни М. Калинин и его друг и земляк нарком земледелия А. Смирнов. В «Правде» 3 февраля 1925 года Смирнов писал: «Мы должны в зажиточной части деревни ясно разграничить два типа хозяйств. Первый тип зажиточного хозяйства — чисто ростовщический, занимающийся эксплуатацией маломощных хозяйств не только в процессе производства (батрачество), а главным образом путем всякого рода кабальных сделок, путем деревенской мелкой торговли и посредничества всех видов, «дружеского» кредита с «божескими» процентами... Второй тип зажиточного хозяйства — это крепкое трудовое хозяйство, стремящееся максимально укрепить себя в производственном отношении, вкладывающее свои свободные средства (зачастую получающиеся в результате жесточайшей урезки своих потребительских нужд, доходящей даже до форменного недоедания) главным образом в живой и мертвый инвентарь хозяйства, улучшенные семена, стремящееся применять при ведении сельского хозяйства все известные ему улучшенные способы обработки... Всякая легкомысленная травля такого рода хозяйства должна быть решительно прекращена... Крайне важно понять, что неверный подход к этой группе создает в деревне панику, которая прежде всего отражается на середняке, создает психологию своего рода производственного пораженчества. Наоборот, наша задача — создать в деревне производственную психологию, психологию накопления ценностей, а не такую, при которой мужик боится завести лишнюю корову («в кулаки запишут»)... Перед нами стоит задача не борьбы с этим здоровым ростом хозяйства, а наоборот, задача использования его сбережений в нужном нам направлении».

Калинин развил и дополнил эти мысли Смирнова в «Известиях» 22 марта. Он дал такое определение кулака: «В литературе, да и в обыденной жизни под кулачеством подразумевается закабаление окружающего населения такими условиями работы или такими хозяйственными сделками, которые являлись бы для одной стороны убыточнее средних сделок в этом роде». С точки зрения чистой

теории это определение представляется весьма сомнительным — ведь эксплуатация существует и при средних сделках. Но, с точки зрения практики, оно весьма удачно, ибо давало критерий, по которому можно было отделить от кулака зажиточного крестьянина и взять курс на сотрудничество с ним. С кулаком, который строит свое благополучие на несчастье своих односельчан, по мысли Калинина, надо бороться, ибо род его деятельности по существу непримирим с советским строем. В то же время он предостерегал против переоценки его влияния: «Вообще кулак из экономической категории в деревне превратился в политического козла отпущения: где что бы ни стряслось — гадит кулак. По глубоко укоренившемуся мнению советского аппарата и значительного числа наших товарищей кулак является первой причиной всех зол в деревне, тем самым, по-моему, он невольно несет уже большую положительную работу: вносит «успокоение» в советское общество, что причины зла и бед найдены, остается найти лишь средства излечения их».

Переоценка роли кулака была связана с тем, что всех зажиточных крестьян зачисляли в эту категорию. Калинин заявил о своем полном согласии со Смирновым и подчеркнул, что «надо раз и навсегда отмежевать от кулачества сильное трудовое крестьянство». При таком отношении к зажиточным трудовым крестьянам логичной представляется положительная оценка процессу расслоения, которую дал Калинин. Он обратил внимание на то, что рост производительности в деревне не может идти без параллельного роста расслоения. «Слов нет, заманчива мечта, чтобы деревня в своем благосостоянии росла, как деревья в культурном саду по усмотрению садовника. Тот, кто думает о подстриженном росте деревни при данном экономическом, политическом и культурном состоянии СССР, является утопистом чистой воды, ибо у нас еще рабочий класс по заработку, а значит и по материальному положению основательно разнороден. Расслоение деревни есть необходимое следствие ее экономического роста». Отсюда вытекало и отрицательное отношение к борьбе с расслоением: «Насильственная борьба с расслоением, поскольку она будет тормозить увеличение производительности, экономически вредна и политически бесцельна». Более того, Калинин считал, что расслоение не только способствует росту производительных сил, но и создает предпосылки для социалистического преобразования деревни. В конце статьи он писал: «Подводя итог сказанного, я утверждаю, что расслоение деревни не только не мешает росту коллективного хозяйства, а наоборот, увеличивает производительность и товарность в сельском хозяйстве и, следовательно, подготавливает элементы к коллективизму и как бы это ни казалось парадоксально, расчищает почву для советской деревни».

Линия Калинина — Смирнова была одобрена в марте 1925 года сессией ЦИК СССР, которая постановила: «Старательное крестьянство при правильном отношении к нему местных властей должно во всей своей массе сделаться еще более прочной опорой Советской власти. Сессия предлагает местным органам власти наблюдать за тем, чтобы не происходило смешения старательного, культурного и хозяйственно-крепнущего крестьянина с кулаком».

Таким образом, весной 1925 года были приняты решения, призванные обеспечить политические и экономические предпосылки для подъема сельского хозяйства. На его основе предполагалось провести индустриализацию страны. Намечалось экспортировать сельскохозяйственную продукцию и импортировать промышленное оборудование, а также направлять на цели индустриализации накопления, возникающие в крестьянских хозяйствах, аккумулируя их через кооперацию, сберкассы и госзаймы.

Успех нового курса партии, предусматривающего отказ от командования, во многом зависел от отношения к нему партийного и советского аппарата на местах, который должен был проводить его в жизнь. Специальные обследования работы партийных организаций и советского аппарата в деревне, проведенные центральными партийными органами весной и летом 1925 года, а также сообщения с мест показывали, что значительное число партийцев сохраняли командно-бюрократический стиль работы. Поощряемая новым курсом активность крестьян вызывала

у них раздражение. «Правда» в обзоре писем в редакцию деревенских коммунистов писала 5 июня: «Деревенский коммунист до сих пор поддерживал свой авторитет не работой и учебой, а только командованием, а тут сразу как-то все граждане стали бойко жить: кричат, спорят, спрашивают дело, а не разговоров. Крестьянин требует, чтобы его учили, дали ему свободу развиваться, а ячейка испугалась и стала в активности крестьян подозревать что-то неладное». Из Екатеринославского округа сообщали, что 10 председателей сельсоветов — коммунистов просили освободить их от работы, объясняя это следующими причинами: «Трудно стало работать, селяне ругаются, вмешиваются во все мелочи работы и только знай, что занимайся с ними разговорами». Убедить же наиболее образованных и культурных крестьян деревенские коммунисты зачастую не могли. Выступая с докладом на Московском partактиве в мае 1925 года Сталин привел такой показательный факт: «Недавно секретарь одной из волостных ячеек на вопрос представителя губкома об отсутствии газет в волости, оказывается, ответил: «А зачем нам газеты? Без газет спокойнее и лучше, а то еще прочтут мужики, и пойдут всякие расспросы, и потом не оберешься возни с ними».

Приверженность деревенских коммунистов к командованию и в то время нередко связывали с пережитками военного коммунизма. Это верно только частично. Не меньшее значение имело объективное положение большинства деревенских коммунистов, занимавших ту или иную платную должность — в Советах, кооперации, других органах. Они отрицательно относились к вовлечению в Советы и общественные организации возможно большего числа беспартийных крестьян именно потому, что боялись потерять эти должности. Для деревенского коммуниста, пришлого или местного, но несколько лет пробывшего чиновником и успевшего оторваться от сельского хозяйства, эта угроза имела зачастую решающее значение, особенно при громадной безработице в городах. В Винницком округе на Украине деревенские коммунисты после доклада о новых методах работы растерянно спрашивали: «Как же нам самим-то быть, куда мы денемся, если беспартийных всюду сажать». О работе коммунистов одной из волостей Воронежской губернии обследовавшая ее комиссия сообщала: «Товарищи настолько свыклись с старыми методами работы, что вне командования не видят никакого спасения. По развитию эти товарищи стоят на низком уровне. Много разговаривают о высокой политике и не умеют разрешать конкретные вопросы хозяйственно-культурной жизни деревни. Авторитетом среди населения не пользуются». Член ЦКК А. Митрофанов, приводя в своей книге это сообщение, делал такой вывод: «В этом и заключается весь секрет. Неавторитетным, никчемным деревенским чиновникам в сущности ничего больше делать не остается, как только командовать». Сами они объясняли свой командный стиль несознательностью населения, наличием контрреволюционных настроений, заявляя: «без дубинки к беспартийному не подойдешь». Крестьяне о таких деятелях говорили: «болтуны и холодовники». В то же время те немногочисленные коммунисты-крестьяне, которые успешно вели свое хозяйство, пользовались большим уважением односельчан.

Вместе с тем было бы неправильным винить только самих деревенских коммунистов в приверженности к административным методам. Во многом их неподготовленность к проведению нового курса была следствием бюрократического стиля руководства свыше. Ответственный работник ЦК партии М. Хатаевич в книге, посвященной состоянию партячеек в деревне, констатировал: «Отношение к работникам сельсоветов со стороны волостных работников такое же высокомерное и казенно-чиновничье и помпадурское, как со стороны большинства уездных и губернских аппаратов и работников к волостным». Сельские ячейки и волостные комитеты заваливались циркулярами, бесконечными заданиями, шаблонными указаниями. Переход к политике оживления Советов не только не уменьшил, а наоборот, увеличил бумажный поток. Как писал замнаркома РКИ Я. Яковлев в «Правде» 12 июня 1925 года, «Циркуляры — нечто вроде народного бедствия в настоящее время». Причем волостные и уездные советские и партийные органы получали циркуляров в несколько раз больше, чем сельские.

Эта проблема — торможение нового курса бюрократическими методами ра-

боты партийных и советских органов была ярко раскрыта в замечательной книге Я. Бурова «Деревня на переломе». Буров, старый член партии, ряд лет работавший у Калинина, в порядке шефской помощи поехал вместе с агрономом Алексеевым в Издешковскую волость Вяземского уезда Смоленской губернии и прожил там почти весь 1925 год, помогая осуществлять новый курс. Его книга основана на дневниковых записях, которые он вел, находясь в деревне.

Вскоре после приезда у Бурова начались постоянные столкновения с секретарем волостного комитета партии Чусовым и председателем волисполкома Китовым, не желавшими отказываться от бюрократических методов руководства. Они встретили с нескрываемым недоверием новый курс партии в деревне. Буров так характеризовал позицию Чусова: «Теоретически он признавал правильными политику и тактику нашей партии в деревне, но тут же доказывал невыполнимость этой политики на практике. Кроме того, все его доказательства насквозь были пропитаны глубоким неверием в крестьянские массы, в силы деревни». В ответ на заявление Бурова о необходимости проводить новый курс Чусов ответил: «Что ты мне все «новый курс» да «новый курс»: даст государство денег на новый курс, тогда и будем проводить его. Да и кроме того, неверно ты понимаешь этот «новый курс» — не может же наша партия сдать коммунистическую власть крестьянству. Для Европы это о «новом курсе» говорим мы и в газетах пишем. А ты всерьез».

Новый курс Чусов считал нереальным, преждевременным. Он говорил агроному Алексееву: «Буров преждевременно старается нашему крестьянину указывать на ошибки Советов, на необходимость участия беспартийных крестьян в работе Советов. Не подготовлено еще наше население ко всему этому... Пускаться в откровенности с нашим темным крестьянином еще не время — не поймет или все истолкует в извращенном виде». Не верил Чусов и в способность крестьян к массовому кооперированию, заявляя, что «крестьяне неповоротливы на всякое начинание». Буров на это задал ему вопрос: «А вы их пробовали здесь поворачивать?», но не получил ответа. Очень характерны для бюрократов всех времен ссылки на то, что народ не поймет или не желает изменений, что он еще не созрел для них; в то же время эти бюрократы сами тормозят процесс подъема масс.

К крестьянам, особенно активным, Чусов относился с недоверием и подозрительностью. Он говорил: «Вообще с мужиком надо быть осторожнее. Мужику, пожалуй, дай волю, так он все приберет к рукам». Крестьяне рассказывали Бурову после первой беседы с ним: «Так с нами не говорили два года... Командуют и больше ничего... Слова ведь нельзя сказать ни на каком собрании. А то просто «кулаком» назовут, как скажешь что-нибудь несогласное». Всю партийную работу Чусов проводил бюрократическими методами. Буров описывает ход волостной партконференции, на которой с докладом выступил Чусов. Это был обычный казенный доклад, из которого явствовало, главным образом, что в волости все обстояло благополучно. Конференция молчаливо «голоснула» прочитанную Чусовым резолюцию по докладу. На вопрос Бурова: «Почему так вяло проходит конференция, почему никто не высказывается, не вносит никаких предложений по докладу?», Чусов ответил: «А зачем эти предложения? О чем еще высказываться, ведь все ясно».

Так же формально осуществлялось руководство из уезда по партийной линии. Буров пишет: «Возьмем, например, инструктирование со стороны уезда низовых партячеек. Приедет инструктор из уезда в волцентр. Прежде всего он кидается к б у м а г е и с удовлетворением убеждается, что протоколы и дела подшиты, имеются «планы», а к ним «календарные расписания», членские взносы уплачены. Ну что же еще, когда все в порядке? Для соблюдения формы приехавший из уезда инструктор участвует в каком-нибудь заседании с местными работниками. Там он в своем выступлении указывает из приличия и «беспристрастия» на некоторые недостатки в работе местных организаций, а последние тут же признают эти недостатки, тоже для «беспристрастия», для «объективности». Затем инструктор уезжает. А между тем, загляни за 5 верст от волцентра,

он убедился бы, что в низовой сельячейке руководство со стороны волорганизации большей частью отсутствует».

Если руководство со стороны уездных органов способствовало развитию бюрократизма в волости, то Чусов, в свою очередь, порождал формализм в работе низовых сельячеек. Буров рассказывает, как секретарь ячейки, работу которого обследовал в его присутствии Чусов, показывал тому планы, протоколы, якобы свидетельствующие о благополучном положении дел. Чусов уехал, вполне удовлетворенный бумажной идиллией, а после его отъезда секретарь признался Бурову, что никакой работы в деревне не ведется. Так создавалась система бумажного благополучия сверху донизу вместо живой работы.

В конце книги, подводя итог своему пребыванию в деревне, Буров писал: «Мы поняли, какое явление загородило нам дорогу к серьезной, практической работе в деревне. Это явление, преградившее нам дорогу, называется «чусовщиной». «Чусовщина» — это сухое официальное, чисто формальное отношение деревенского партийца к работе в деревне, к ее живому строительству, это — бумажное благополучие, нежелание и неумение охватить хоть сколько-нибудь широкие массы крестьянства и привлечь их к работе, это — командование партийной массой и самим населением, то командование, которое является самым опасным, что есть сейчас в деревне, в низовом советском и партийном аппарате... Чтобы «Чусовы» не повлияли скверно на здоровых деревенских партийцев и в особенности на подрастающую в деревне комсомольскую смену, нам нужно серьезно изучить «чусовщину» как явление, а Чусова — изучить как тип. Это изучение с целью исправления, воздействия со стороны партии и будет первым шагом к изживанию «чусовщины».

За четверть века до В. Овечкина Буров вскрыл и описал «борзовщину», то бишь «чусовщину». Он затронул коренные болезни аппарата, и вполне закономерно, что его книгу резко критиковали. Еще до выхода ее в свет Буров по корректуре сделал доклад о своих деревенских впечатлениях на фракции Президиума ЦИК. В прениях слышались такие речи: «Весь доклад Бурова есть фотография теневых сторон нашей деревни, т. Буров ходил с фотоаппаратом и все, касающееся теневых сторон деревни, фотографировал. Отчет неправилен, необоснован, пессимистический». Когда книга была издана, то с критикой ее выступила смоленская газета «Рабочий путь». Ответственный работник Смоленского губкома А. Гагарин писал: «Чусова великолепно знают и в уезде, и в губернии, оказывали и оказывают ему и его работе по сей час доверие, и книга Бурова является публичным вызовом и обвинением не только правильности деревенского партийного курса в одной волости, но и вообще деревенского курса в губернии».

Но нашелся у Бурова и защитник. В «Известиях» поместил большую рецензию на книгу М. И. Калинин. Он очень высоко оценил работу Бурова. Касаясь ее общей направленности, Калинин утверждал: «Общая линия Бурова, безусловно, верна и полностью отвечает директивам партии». В 1927 году при поддержке Москвы Буров вернулся в Издешковскую волость. Но ненадолго. В начале 1929 года, когда началась решительная борьба с «правым уклоном», отдел ЦК по работе в деревне снял Бурова с работы за «игнорирование местных руководящих органов, превращение волости в плацдарм для своих сомнительных опытов и аппаратные методы работы». Увы, в конце концов чусовы победили.

Но до этого пока было далеко. Еще можно было преодолеть «чусовщину» комбинированным воздействием руководства партии и активной части крестьянства. Комиссии, обследовавшие деревню, отмечали, что нередко передовые беспартийные крестьяне, ссылаясь на речи и статьи руководителей страны, вынуждали местные власти отказываться от старых методов управления.

Вернемся к реалиям 1925 года. Еще летом казалось, что перед страной открываются блестящие перспективы экономического развития. Надежды укреплял хороший урожай зерновых. На его основе предполагалось увеличить плановые хлебозаготовки, сельскохозяйственный экспорт и промышленный импорт и, таким образом, создать условия для значительного ускорения развития индустрии. Подъем народного хозяйства намечалось осуществлять, используя преимущественно экономические методы управления. Однако форсированное развитие экономики не удалось. План хлебозаготовок был провален: за октябрь — декабрь 1925 года государство заготовило 176 миллионов пудов вместо 376 миллионов. Это привело к срыву экспорта: план концентрации в портах хлеба был выполнен в том же квартале на одну четвертую часть. Соответственно пришлось пересмотреть импорт, а затем существенно сократить планы промышленного производства и капитального строительства.

Сформировавшаяся к концу 1925 года «новая оппозиция», возглавлявшаяся Зиновьевым и Каменевым, обвиняла в срыве хозяйственных планов зажиточные кулацкие слои деревни, которые не захотели продавать государству свои хлебные излишки. При этом оппозиция ссылалась на опубликованные в августе расчеты ЦСУ, согласно которым 12 процентов хозяйств обладали 61 процентом товарных излишков. Более поздние исследования показали, что эти расчеты были ошибочны. По моим подсчетам, в среднем в основных производящих районах 15 процентов хозяйств владели половиной товарных излишков. В своей массе это были многосемейные середняцкие хозяйства со сравнительно большими посевными площадями. Эти хозяйства, как и те, которые владели второй половиной товарного хлеба, не продавали зерна не из враждебности к пролетарскому государству, а поступая в соответствии со своими материальными интересами. Дело в том, что из-за нереальности планов развертывания тяжелой промышленности и капитального строительства, которые финансировались за счет банковского кредита, в стране возник товарный голод на промышленные изделия и подскочили цены на них. Особенно острым был дефицит промтоваров в деревне. В этих условиях государственные заготовительные цены на хлеб не удовлетворяли крестьян. Они предпочитали продавать его по более высоким ценам внеплановым и частным заготовителям или выжидать повышения государственных цен. Положение осложнялось тем, что государство не могло полностью удовлетворить требования крестьян о повышении заготовительных цен, ибо и без того в экономике были сильны инфляционные тенденции.

Толкование причин хозяйственных трудностей, которое давала «новая оппозиция», логически влекло к отказу от принятого партией курса. Действительно, и оживление Советов, и снятие ограничений накоплению в крестьянском хозяйстве были призваны содействовать индустриализации и общему подъему экономики, а на практике оказалось, что в ответ на заботу государства «неблагодарные» крестьяне срывали планы хозяйственного развития. Сторонники такого толкования не понимали, что правильный общий курс не избавляет от необходимости так вести текущую экономическую политику, чтобы избегать острых конфликтов между интересами крестьянства и государства. Прав был председатель Совнаркома СССР А. Рыков, когда он на XIV съезде партии в конце декабря 1925 года отвечал Каменеву: «Кулак, который нам мог бы дать хлеба, нам его не дал. Это верно, но и середняк нам его не дал, и бедняк не дал. Весь хлебофуражный баланс оказался неправильно рассчитанным... И нельзя срыв наших хозяйственных планов объяснять одним кулаком. Вина не столько в кулаке, сколько в том, что мы перепланировали, вовремя не сигнализировали опасность и не изменили того, что нужно и можно было изменить намного раньше, чем это мы сделали на самом деле».

Концепция «новой оппозиции» была отвергнута XIV съездом партии. Однако сложившаяся экономическая обстановка вынудила отказаться от курса на заготовки зерна только экономическими методами. В ноябре на Северном Кавказе, а затем и в ряде других производящих районов было введено регулирование внеплановых заготовителей на железной дороге: их грузы отправлялись в последнюю очередь, что при нехватке вагонов и паровозов практически вело к невозможности вывезти хлеб в отдаленные губернии. Вскоре сократились и местные гужевые перевозки: с января 1926 года внеплановые государственные и кооперативные организации должны были вести заготовки по тем же ценам, что и плановые заготовители, не переплачивая крестьянам.

Вместе с тем более широкое использование административных методов пока

не затронуло существа нового курса. Линия на оживление Советов продолжалась. Очередные выборы прошли с большой активностью крестьян, явка была даже выше, чем в повторные выборы 1925 года. В соответствии с избирательной инструкцией, принятой в октябре 1925 года Президиумом ВЦИК, было сокращено число лиц, лишенных избирательных прав, и в то же время избирательные права были предоставлены некоторым категориям граждан, по Конституции этих прав не имевших.

Но через несколько месяцев ситуация изменилась. В марте 1926 года, выступая на заседании Оргбюро ЦК, Сталин резко осудил расширение круга лиц, пользующихся избирательными правами: «У нас в некоторых советских органах, у некоторых советских работников развелись большое благодушие и большая готовность понравиться непролетарским элементам, идти им на уступки. Ежели говорят об оживлении Советов, то некоторые советские работники думают, что всех нужно привлечь, не исключая кулацких и других буржуазных элементов». Что же побудило Сталина выступить против избирательной инструкции ВЦИК? Во-первых, он стал разделять взгляды оппозиции на зажиточных крестьян, как слой, срывающий планы социалистического строительства. Вообще надо сказать, что на протяжении 1926—1927 годов Сталин, резко критикуя платформу оппозиции и подготовляя ее организационный разгром, постепенно становился приверженцем, по существу, той же линии. Во-вторых, его обеспокоили факты падения налоговой дисциплины, свидетельствовавшие, по его мнению, об ослаблении контроля партийных организаций над деятельностью Советов. Отличительной особенностью сталинского подхода к различным явлениям было то, что на первый план он всегда выдвигал проблему власти. Он выступал за оживление Советов, но понимал его не так, как, например, Калинин. Если Калинин основной упор делал на развитие самодеятельности крестьянства, то Сталин в первую очередь подчеркивал, что рост активности крестьян должен идти под контролем и руководством партийных органов. Разумеется, Калинин также считал необходимым партийное руководство крестьянством, но по его концепции коммунисты должны были проводить партийную линию путем убеждения, завоевывая авторитет среди крестьян. Сталин же утверждал, что крестьянский беспартийный актив должен занимать подчиненное положение, беспрекословно выполняя указания свыше.

Характерна в этом отношении критика Сталиным статьи ученика Н. Бухарина А. Слепкова «О ленинском наследстве», опубликованной в «Комсомольской правде». В этой статье Слепков так писал о политике оживления Советов: «Коммунисты и комсомольцы должны учитывать, что свой авторитет на этом пути они должны завоевывать делом, примером, идейным воздействием, что им придется, в известном смысле, *конкурировать* в организационно-политической работе с беспартийным активом крестьянства. Чем дальше, тем больше коммунисты должны завоевывать руководящую роль путем победы в конкурентной борьбе, *без административного нажима*». Сталин так комментировал это утверждение Слепкова в письме членам редакции «Комсомольской правды» от 2 июня 1925 года: «Мне кажется также неправильным известное место в статье Слепкова «О ленинском наследстве» о том, что коммунистам и комсомольцам придется *конкурировать* в организационно-политической работе с беспартийным активом крестьянства. До сих пор мы ставили вопрос о создании такого актива вокруг партии, об его воспитании, и это считалось правильным... Не конкурировать нужно с этим активом, а создавать и воспитывать его».

Надо было или терпеливо перевоспитывать и повышать культурно-политический уровень коммунистов с тем, чтобы они смогли руководить методами убеждения, мирясь в течение периода обучения с временными трудностями, или стать на путь отхода от нового курса, что влекло за собой еще более серьезные проблемы. Сталин выбрал второй путь. Смысл его выступления против избирательной инструкции ВЦИК состоял не только и не столько в том, чтобы добиться лишения избирательных прав лиц, впервые их получивших по новой инструкции. Ведь таких избирателей было немного, на последних выборах число «лишенцев» в деревне уменьшилось всего на 40 тысяч. Требование отмены избирательной инструкции являлось для Сталина одним из звеньев в цепи мероприятий, направленных на усиление партийного контроля за деятельностью Советов.

В конце марта 1926 года было принято постановление Оргбюро ЦК о состоянии и работе Кубанской окружной парторганизации, в котором наряду с другими недочетами отмечалось «явно неправильное расширение избирательных прав». В постановлении была также подвергнута резкой критике практика распределения тракторов на Кубани, когда значительная их часть попала в руки единоличников. Причина этого заключалась в том, что кооперативным объединениям из середняков и бедняков трудно было купить дорогой трактор, а государство из-за хозяйственных затруднений не могло оказать им существенную помощь. Запрещение продажи тракторов зажиточным крестьянам тормозило развитие производительных сил деревни, и, кроме того, ослабляло стимулы для продажи ими государству хлеба и других продуктов. По сути, в основе такого запрета лежало нежелание допустить существенные накопления в единоличных хозяйствах. Наметился отход от одного из основных принципов нового курса.

Это же стремление не допустить значительного единоличного накопления проявилось в положении о сельскохозяйственном налоге на 1926/27 год. По этому положению налог был увеличен более чем на одну четверть за счет резкого увеличения прогрессии для зажиточных крестьян, их обложение возросло почти вдвое.

На первый взгляд казалось, что все эти меры давления на зажиточных крестьян не затрагивали основной массы середняков, но более глубокий анализ позволял сделать другой вывод. Нарком земледелия А. Смирнов совершенно справедливо подчеркивал: «Правильное отношение к верхним производящим группам есть залог движения вперед середняка». Данные на начало 1926 года показывали, что потребление в крестьянском хозяйстве достигло 90 процентов довоенного уровня, в то время как вклады крестьян в сберкассы и систему сельскохозяйственного кредита — только 3 процента. Комментируя эти цифры, один из крупнейших экономистов того времени, Н. Кондратьев, говорил: «Не может быть капиталонакопления в деревне в условиях, заставляющих крестьянина направлять свои средства в сторону усиления личного потребления, вместо того, чтобы приобрести лошадь или корову, из боязни прослыть «кулаком» в деревне». Подобного рода речи раздавались и в начале 1925 года, когда обосновывался новый курс. Сам факт их повторения свидетельствовал о том, что на местах сохранялось недоброжелательное отношение к зажиточным крестьянам. Тем более ухудшилось отношение к ним с весны 1926 года, когда и в центре наметился отход от нового курса.

Усиление нажима на зажиточных крестьян означало по существу отступление от неналоговых методов накопления. Идея уменьшения сельскохозяйственного налога весной 1925 года заключалась в том, чтобы не ограничивать этих накоплений, а пустить их через кооперацию в оборот — на индустриализацию и социалистическое строительство. Рыков в докладе на XIV партконференции в апреле 1925 года подчеркивал: «Для того, чтобы изжить недоверие крестьян к кооперации, нужно со стороны партии больше доверия крестьянству. Только в этом случае мы сможем оживить кооперацию. Это доверие со стороны партии к крестьянству должно выразиться в гарантии свободы выборов в кооперацию, в точном соблюдении кооперативных уставов, в уничтожении методов административного вмешательства в работу кооперации и со стороны наших советских, и со стороны партийных органов». Этому и должен был способствовать новый курс.

Однако осуществить на практике меры доверия, о которых говорил Рыков, было, пожалуй, еще труднее, чем оживить Советы. С деятельностью кооперации были связаны непосредственные материальные интересы не только крестьян, но и многих партийных и советских работников. Нередко они брали в кредит в кооперации значительные суммы, которые в дальнейшем не возвращали. Например, летом 1925 года Самарская губернская контрольная комиссия разбирала

персональные дела ряда ответственных работников губернского и уездного масштаба, которые задолжали кооперации суммы, в 10—15 раз превышавшие их оклад. Прямой материальной заинтересованностью объяснялось и стремление членов партии занимать платные должности в кооперации, причем партийные органы зачастую рекомендовали их на эти посты, не обращая внимания на низкую квалификацию и непопулярность среди населения. Местные органы власти стремились обеспечить контроль над работой кооперации, ибо они систематически пользовались ее средствами для удовлетворения текущих нужд, таких, например, как сооружение пожарного обоза, организация избы-читальни, покрытие расходов по созыву районной партконференции. Отказаться от удовлетворения подобных требований кооператив практически не мог, так как в таком случае ему грозили бы еще большие потери от различных административных ущемлений. Показательна в этом отношении изложенная на страницах «Правды» в январе 1926 года история, которая произошла в одном из районов Терского округа Северного Кавказа. Сельскохозяйственное товарищество отпустило местному райисполкому в кредит соль на сумму в 700 с лишним рублей. Все договорные сроки истекли, а исполком, давным-давно разбазаривший соль, и не думал возвращать долг, несмотря на неоднократные устные напоминания. Тогда правление кооператива сделало письменное предложение исполкому погасить задолженность в возможно короткий срок. Президиум исполкома, обсудив это предложение, единогласно вынес следующее постановление: «Усматривая, что своим предложением погасить задолженность за соль товарищество по отношению к рику, как высшей власти в районе, проявило в высшей степени нетактичность, почему на первый раз поставить правлению на вид, а на будущее время при повторении подобных явлений принять меры включительно до представления в Терсельсоюз о роспуске состава правления товарищества». «Правда» так прокомментировала это постановление: «бьют и плакать не дают».

Сохранение административного вмешательства в деятельность кооперации, которое так и не было преодолено, являлось одной из главных причин недоверия к ней крестьян. Но не единственной. Важное значение имели и недостатки в деятельности кооперативов, связанные с низким уровнем политического и культурного развития их работников: бесхозяйственность, растраты, неумение работать. В результате интенсивный количественный рост сельскохозяйственной кооперации, особенно ее специальных видов, который произошел после провозглашения нового курса, далеко не всегда сопровождался качественным улучшением работы. За 1925 год число членов-пайщиков товариществ по переработке и сбыту продуктов сельскохозяйственного производства увеличилось более чем втрое, а в молочных артелях — более чем в четыре раза, но доля их средств в общем балансе кооперативов (своего рода индекс доверия) росла крайне медленно. Особенно заметный разрыв между количественными и качественными показателями работы наблюдался в кредитной кооперации, призванной быть главным каналом аккумулирования денежных накоплений крестьянских хозяйств. Если до революции 60 процентов всех средств сельскохозяйственной кооперации составляли привлеченные средства населения, то в 1925—1926 годах их доля в системе сельскохозяйственного кредита упала до 1—2 процентов. Кооперация работала на государственные средства, то есть являлась скорее государственным учреждением.

Правда, были и подлинные кооперативы, активно привлекавшие средства своих членов и эффективно удовлетворявшие их запросы, главным образом — в районах с сильными дореволюционными традициями кооперативного движения, например, в молочной кооперации Сибири. В целом же деятельность кооперации характеризовалась отмеченными недостатками, и вряд ли было можно их быстро устранить. Как подчеркивал Ленин, для этого требовалась «целая полоса культурного развития всей народной массы», которую «на хороший конец» можно пройти в «одно-два десятилетия». Понятно, что процесс воспитания «цивилизованных кооператоров» мог привести к успеху только в условиях подлинной самодеятельности кооперации. Призыв: «Не сметь командовать!» составлял суть

ленинского кооперативного плана. Поэтому, может быть, самой важной преградой в его осуществлении стала сталинская концепция командного руководства крестьянством, которая была несовместима с самодеятельностью населения, где бы та ни проявлялась — в политической или хозяйственной области.

Надо сказать, что Сталину не сразу удалось добиться одобрения своей линии. Ведь всего за три месяца до упомянутого выступления на заседании Оргбюро он на XIV съезде партии резко критиковал оппозицию за подобные взгляды. В первом полугодии 1926 года на страницах печати, в частности в еженедельнике ВЦИК «Власть Советов» и органе ЦИК «Советское строительство», регулярно публиковались материалы в защиту нового курса. Но к лету точка зрения Сталина возобладала в руководстве страны. Некоторые партработники, которые особенно твердо и последовательно проводили на местах новый курс, были освобождены от своих постов. Так, незадолго до июльского пленума ЦК был снят секретарь Кубанского окружкома С. Баранов. На этом пленуме были одобрены те идеи, которые были выдвинуты Сталиным в марте. Пленум охарактеризовал сокращение числа лиц, лишенных избирательных прав, как извращение политической линии партии. Верный соратник Сталина секретарь ЦК В. Молотов, выступавший с докладом о перевыборах Советов, утверждал, что число «лишенцев» должно увеличиваться в соответствии с ростом буржуазных элементов в городе и деревне. Одновременно Молотов высказал мысль о том, что только бедняки и батраки могут быть прочной опорой партии в деревне, так как они являются «социально близкими» пролетариату. Молотов заявил, что первый период политики оживления Советов, когда было «особенно важно завоевать на сторону пролетариата середняка», кончился, и теперь «мы должны особенно поработать над организацией батрачества и бедноты».

Перенос центра тяжести от союза с середняком к опоре на бедноту отражал общий отход от нового курса. Увеличение удельного веса бедняков в Советах и других организациях давало партии возможность шире использовать административные методы в своих отношениях с крестьянством. Бедняки, как правило, лучше, чем середняки относились к Советской власти, которая оказывала им существенную экономическую помощь. Не случайно комбеды возникли, когда потребовалось взять хлеб у кулаков и середняков.

Середняк тоже вполне лояльно относился к политике партии и Советской власти, но он предъявлял к ней значительно большие требования, в первую очередь по линии обеспечения его хозяйственных интересов. Товарность хозяйства у середняка была много выше, чем у бедняка, поэтому он был сильнее заинтересован в благоприятном соотношении цен на сельскохозяйственные и промышленные товары. Кроме того, середняк был грамотнее и культурнее бедняка и потому предъявлял более высокие требования к деревенским коммунистам. Работать с беспартийным активом, состоящим из бедноты, слабо подготовленным сельским ячейкам было намного легче, чем с активом из середняков. Надежным союзником партии середняк мог быть только в условиях нового курса, но не при отходе от него.

В то же время трудно согласиться с заявлением о социальной близости бедняка к пролетарию. По отношению к средствам производства бедняк был так же далек от него, как и середняк. Бедняцкими были в большинстве случаев ослабленные хозяйства с нехваткой рабочей силы и небольшим наделом, не допускающим рентабельного применения мало-мальски совершенного инвентаря. Такие хозяйства постоянно рождались в результате семейных разделов, дробления жизнеспособных дворов. Частично сохранение бедняцких хозяйств объяснялось и неспособностью их владельцев эффективно работать, пьянством и леностью. В период обоснования нового курса весной 1925 года об этом подробно и откровенно писал на страницах «Правды» А. Смирнов: «Насколько наша современная деревня ненавидит кулака-ростовщика, настолько же с презрением она относится и к лодырю. Старательное трудовое хозяйство и не может иначе относиться к такому «хозяину», который, например, в самый разгар полевых работ вместо того, чтобы наравне с другими трудиться, отправляется, как говорят, «с удочкой у речки

посидеть» или «в лес по грибы». Если такому «хозяину» попадет государственная помощь в виде ли семенной ссуды или денег — он употребит ее куда угодно, только не по прямому назначению, то есть не по производственному направлению. С такой беднотой Советской власти, конечно, не по дороге, и рассчитывать на помощь государства такие хозяйства никоим образом не могут. Мы должны еще раз твердо сказать, что бедняк, который беден потому, что лодырничает или пьет, это не тот бедняк, с которым рука об руку хочет идти коммунистическая партия и Советская власть». Такие бедняки с недоверием и опасением встретили новый курс.

Деревенская верхушка пыталась всех бедняков обвинить в лодырничестве. Но это было неверно. Ведь речь шла о миллионах хозяйств. По оценке специальной комиссии к беднякам в целом по стране относилось 20—25 процентов сельского населения. Объективные условия существования мельчайших хозяйств способствовали формированию иждивенческой психологии. Беднота не верила в собственные силы, возлагала все надежды на помощь государства. С этим неверием было связано чувство зависти к более зажиточным крестьянам, стремление к уравниловке. Поравнительная тенденция периода «военного коммунизма» была как раз связана с такой бедняцкой, а не пролетарской психологией. Стремление всех уравнять в материальном отношении чуждо психологии рабочего класса, ибо сам труд на заводе дифференцирован по сложности, что неизбежно вызывает дифференциацию в его оплате.

В конце 1925 года в деревне стали организовываться группы бедноты. Порой они противопоставлялись сельсоветам и правлениям кооперативов. В феврале 1926 года «Правда» отмечала, что в некоторых селах образование групп бедноты восприняли как возврат к практике комбедов и немедленно делался вывод: «теперь можно нажать на кулака».

Неудивительно, что выдвижение на первый план бедноты вызывало резкие возражения со стороны середняков. Примерно через месяц после июльского пленума ЦК газета «Беднота» опубликовала в порядке обсуждения письмо крестьянина Тульской губернии селькора Н. Гущина, озаглавленное «На кого ставка: на сапог или лапоть?». Автор резко критиковал тех, кто считает бедноту «революционным кадром». Он утверждал, что это представление было справедливо в период революции и гражданской войны, но уже устарело: «В наших условиях деревенская беднота может оказаться, в силу своих бытовых и материальных условий, не революционной, а контрреволюционной, ибо Маркс говорил: бытие определяет мышление, а у голодного, полураздетого, нищего человека есть одна неописуемая злоба ко всему окружающему, в том числе и к правящим». Положение о том, что бедняк должен вести за собой середняка, Гущин назвал похожим на то, что слепой должен вести зрячего. Наоборот, по его мнению, на ведущие позиции в деревне надо выдвигать середняков-культурников, которые «должны организовывать бедняка под руководством партии». В этой связи он критиковал партийные организации на местах за то, что они не привлекают таких крестьян-передовиков, а «суют на руководящую работу таких людей, которые оказались неспособны построить даже свое личное хозяйство». По существу, Гущин предлагал продолжать и развивать новый курс, в то время как уже начался отход от него.

Эти тенденции наглядно проявились в ходе очередной кампании по перевыборам руководящих органов кооперации в конце 1926 года. Характерным примером может служить проведение отчетно-перевыборного собрания в одном из потребительских обществ Смоленской губернии. Участникам собрания от имени партячейки и группы бедноты был предложен список кандидатов в члены правления. Пайщики от себя предложили еще одного кандидата. Когда стали голосовать эту кандидатуру, то счетчики, назначенные председателем собрания, представителем волостного комитета партии, пропустили несколько рук «за», и кандидат не прошел. Возмущенные крестьяне потребовали переголосования, но председатель отказался это сделать. На собрании присутствовал секретарь местной партячейки, и когда крестьяне обратились к нему с вопросом: «Почему происходит явное насилие над волей общего собрания?», он ответил: «Таким образом и при таких условиях происходит классовая борьба во всем Союзе». Многие пайщики стали тут же на собрании подавать заявления о выходе из кооператива.

Отношения между середняками и частью бедноты ухудшались. Крестьянин из Троицкого района Рязанской губернии Миляков на страницах «Бедноты» так описывал положение, сложившееся у них после собраний бедноты: «После этих собраний некоторые из тех, кого называют «беднотой», почувствовали себя хозяевами положения, назойливо вылезли на первый план, распоясались. На общих собраниях пьяные оборванцы лезут вперед, не слушают президиума, прерывают выступающих товарищей... Бедняки в кавычках, каких немало в больших торговых селах, худшие отбросы деревни, из которых любого можно купить за сотку русской горькой, хотят быть вершителями судеб, носятся с нелепыми идеями: «долой середняков из общественных организаций», «поделим прибыль потребиловки по 10 рублей на рыло» и тому подобными. Все это вселяет недоверие и сомнение к работе партячейки, в которую эти типы имеют доступ. Нашей ячейке нужно понять, что выдвижение таких «бедняков» лишает ее авторитета в глазах местного населения».

Еще острее тенденция к отходу от нового курса проявилась на выборах Советов в начале 1927 года. Директива ЦК предусматривала лишение избирательных прав 3—4 процентов взрослого сельского населения в среднем по стране, в некоторых районах допускалось увеличение до 5—7 процентов. Власти внимательно следили за тем, чтобы избирательные комиссии лишали права голоса не меньше крестьян, чем это было установлено директивами.

Нередко число «лишенцев» увеличивалось и в результате «инициативы снизу». Общую директиву использовали для сведения счетов. Прав лишались не только те категории, которые были перечислены в инструкции, но и крестьяне-передовики, и те, кто критиковал местных должностных лиц. Во многих районах число лишенных голоса возросло в десять и более раз по сравнению с предыдущими выборами. Вероятно, рекорд был установлен в одной из деревень Саратовской губернии, где на 400 дворов было лишено избирательных прав 186. Другая особенность перевыборной кампании, выявившаяся в ее начале, состояла в значительном увеличении числа бедняков в составе Советов за счет сокращения середняков: например, в составе сельсоветов Череповецкой губернии оказалось 80 процентов бедняков и 20 середняков.

Такого рода факты вызвали беспокойство у многих руководителей страны. Состоявшийся в феврале 1927 года пленум ЦК принял по докладу Калинина резолюцию о перевыборах в Советы, в которой подчеркивалось: «Всякая попытка такого расширительного толкования инструкции, при котором под категорию лишенных избирательных прав подпадает середняк, должна рассматриваться как грубейшая политическая ошибка». Вскоре после окончания пленума Калинин подписал циркуляр ВЦИК об исправлении ошибок, допущенных избирательными комиссиями, а позднее было опубликовано письмо Рыкова председателю центральной избирательной комиссии А. Енукидзе, в котором указывалось на необходимость восстановления в избирательных правах крестьян-передовиков, даже если они использовали наемный труд. Часть крестьян была восстановлена в правах. Но тем не менее в итоге всей перевыборной кампании количество «лишенцев» увеличилось по сравнению с предыдущими выборами в три раза. В то же время уменьшился интерес крестьян к выборам, сократилась их явка на избирательные собрания.

Если попытаться в целом охарактеризовать итог реализации основных идей нового курса, то можно сказать, что ситуация весной 1927 года мало отличалась от той, которая была накануне его провозглашения. Тот же командный стиль и бюрократизм. Например, обследование одной из волостей Смоленской губернии показало, что волисполком получил за 1926 год из уезда в 8 раз больше бумаг, чем волость получала до революции. Во Владимирской губернии все землеустроители должны были ежемесячно посылать в уездное и губернское земельные управления отчеты о том, что они делали каждый день. Но ситуация не

просто вернулась на два года назад. В некоторых отношениях она стала хуже. Если в момент принятия нового курса руководство страны было едино в намерении практически реализовать ленинский призыв «не сметь командовать!», то в начале 1927 года влиятельная группа во главе со Сталиным пришла к выводу о необходимости использования командных методов. Да и в среде самого крестьянства получила распространение мысль о том, что в деревне не обойтись без административного принуждения. Эти настроения отразила дискуссия, проведенная на страницах «Бедноты» в январе — марте 1927 года.

Она открылась 11 января публикацией в порядке обсуждения письма крестьянина Тульской губернии М. Новикова, озаглавленного «Нужен ли приказ?». Автор утверждал, что по всей стране происходит дезорганизация общинной жизни, в частности, луга вытаптываются скотом, мосты проваливаются и не чинятся, дороги не исправляются. Причина всех этих явлений, по его мнению, состояла в том, что крестьяне занимаются только своими личными делами и не хотят участвовать в общественных работах, а у деревенских властей нет средств заставить их это сделать. Для исправления положения он предложил предоставить председателям сельсоветов и сельским исполнителям право накладывать штрафы на тех крестьян, которые не выходят на общественные работы, не следят за своим скотом, и сажать их на несколько дней в каталажку. Заранее отвечая на возможный упрек в том, что он хочет прибегнуть к палке, Новиков задавал риторический вопрос: «Что тут страшного в том, что власть будет иметь власть не просить и убеждать, не разговаривать, а твердо приказывать?»

После публикации этого письма редакция в течение нескольких дней получила более 60 откликов. Большинство авторов поддержало Новикова, приводя аналогичные примеры общественной апатии из практики своих сел. «В деревне не обойтись без принудительных мер, без приказа... Деревня еще не дошла до того, чтобы самостоятельно проводить мероприятия по благоустройству, самоохране и тому подобное».

Но были и противники Новикова. Ряд принявших участие в дискуссии крестьян резко его критиковали, утверждая, что он фактически призывает вернуться к царским временам с урядником и становым. Вместо этого они предлагали шире развивать самодеятельность населения, приводя из практики своих деревень конкретные примеры того, как именно на этом пути успешно решались деревенские проблемы — строились школы, ремонтировались мосты, дороги. Оппоненты Новикова писали: «Мужик жаждет просвещения, а не кнута, а Новиков хочет рядом со школой поставить тюрьму... Не штрафами и арестами можно поправить дело, а умелым руководством со стороны передовой общественной части деревни». Осуществлять такое руководство были призваны в первую очередь члены партии. И если бы они успешно справлялись с этой задачей, то вся проблема, по мнению сторонников антиновиковской позиции, была бы значительно смягчена: «Если бы все до единого партийные и советские работники в деревне сблизились с крестьянскими массами, уделяли товарищеское внимание каждому активисту и передовику деревни, из крестьянских низов выявились бы новые живые силы для строительства нового быта и оздоровления деревни».

Автор этого высказывания попал, как говорится, в яблочко, ухватил суть проблемы. Вопрос о партийном руководстве крестьянством, или, точнее, о судьбе нового курса, ключевой для понимания всей дискуссии. Не случайно она развернулась тогда, когда уже четко проявился отход от нового курса. Пока развивался новый курс, там, где он претворялся в жизнь в полной мере, повышалось качество работы партийных организаций и увеличивалось число активных в общественном отношении крестьян. Разумеется, и в тот период существовали недостатки, которые отмечал Новиков. Крестьяне издавна жили согласно пословице: «Каждый сам по себе, один бог за всех», и быстро изменить их психологию вряд ли было возможно. Однако общественная атмосфера на селе складывалась так, что активная часть, удельный вес которой возрастал, могла оказывать реальное влияние на поведение всей массы крестьянства. Поэтому в среде крестьянства не получали широкого распространения настроения в пользу административного при-

нуждения. Во время же описываемой дискуссии на селе была уже другая атмосфера. К этому времени произошел поворот к ограничению инициативы наиболее активной, критически настроенной части крестьянства, который так ярко проявился на перевыборах Советов и органов управления кооперации. Вытеснение активных элементов из общественной жизни деревни отрицательно сказалось на настроениях крестьян. В частности, их стало труднее уговорить выйти на общественные работы. В этих условиях, естественно, появилась мысль об усилении административного принуждения. Ведь надо же было как-то решать общие для всего села проблемы. Но, раз встав на путь их решения «твердым приказом», трудно было с него сойти: широкое использование административного принуждения неизбежно ведет к дальнейшему падению общественной активности, а следовательно, к необходимости еще сильнее «закручивать гайки».

В области политической к весне 1927 года новый курс практически был свернут, но этого нельзя сказать о его экономической стороне. Хотя и тут наметился отход от некоторых важных положений, в целом период с осени 1926-го до весны 1927 года характеризовался ликвидацией острого товарного голода и восстановлением относительного рыночного равновесия. Из опыта 1925 года были извлечены уроки, и принятые планы развития экономики носили реальный характер. В этих условиях хлебозаготовки шли относительно спокойно и успешно, хотя работа внеплановых заготовителей была резко сокращена административными мерами.

Ситуация стала кардинально меняться с весны 1927 года в первую очередь под влиянием серьезного обострения международной обстановки, в частности ухудшения отношений с Англией. В выступлениях руководителей страны стала настойчиво повторяться мысль о возможности скорой войны. Лето прошло под знаком усиленной военизации на добровольной основе. Только за одну Неделю обороны в Осоавиахим вступило полмиллиона новых членов. Почти во всех городах были проведены рабочие военные походы и маневры, а в нескольких городах пробные мобилизации.

Все эти события оказали сильное влияние на экономическую и политическую обстановку в стране. Напуганное население бросилось покупать про запас различные товары, опасаясь не только их исчезновения, но и обесценивания денег, как это случилось в мировую войну. В результате возник товарный голод, который еще обострился из-за того, что много средств было выделено на увеличение военных расходов и ускорение темпа развития тяжелой промышленности.

Для борьбы с инфляционными тенденциями и обеспечения рентабельности хлебного экспорта в конце сентября было решено существенно снизить заготовительные цены на зерновые. Наряду с недостатком промтоваров это явилось важной причиной падения плановых хлебозаготовок, которое началось с октября. Положение с ними очень напоминало то, которое сложилось два года назад. Но были дополнительные обстоятельства, еще сильнее его осложнявшие. В отличие от 1925 года в это время была резко уменьшена деятельность внеплановых заготовителей, почти полностью прекращена работа частников. Между тем осенью 1925 года они заготовляли около половины всего хлеба в стране, а, например, в Архангельской губернии частники удовлетворяли 80 процентов потребности в белой муке. В сложившихся условиях сокращение плановых хлебозаготовок привело в конце 1927 года к острой нехватке хлеба в городах.

Определенную роль в падении хлебозаготовок сыграло и сознательное стремление зажиточных слоев деревни попридержать зерно. Здесь сказались последствия нажима на эти слои, который еще усилился после перевыборов Советов. Лишенных избирательных прав стали исключать из кооперативов. В период острого товарного голода, когда кооперация начала отпускать дефицитные промышленные изделия только своим членам, это еще более обострило обстановку в деревне. Ухудшились отношения к зажиточным крестьянам и со стороны части бывших участников гражданской войны, главным образом бедняков, которые говорили, что прежде, чем воевать с внешним врагом, надо уничтожить внутреннего. Особенно эти настроения были сильны в районах, где гражданская война

проходила в наиболее острой форме. Орган сибирского крайкома партии журнал «На ленинских путях» отмечал, например, что подавляющая часть бывших красных партизан настроена так, как это выразил один из крестьян Каменского округа: «Если начнется война, мы, партизаны, пойдем на фронт все добровольно, но прежде перережем всех кулаков и чуждый элемент Советской власти. Мы тогда не будем судить их так, как теперь судят, а будем просто рубить». Все эти обстоятельства побуждали зажиточных крестьян сохранять зерно, как козырь во взаимоотношениях с органами власти и другими крестьянами, тем более что зерно могло храниться долго. Такое поведение было не попыткой наступления на Советскую власть, а скорее средством самообороны.

Таким образом, к началу 1928 года в стране сложилось очень напряженное положение с обеспечением хлебом. Его можно было улучшить разными путями, но каждый из них был связан с большими или меньшими трудностями. Например, можно было импортировать хлеб, но это влекло за собой пересмотр всех планов экономического развития. Предлагалось также повысить заготовительные цены на хлеб, но это предложение было отвергнуто, так как государство не хотело идти на уступки зажиточным крестьянам, которые, как считалось, сосредоточили основную массу товарного хлеба. Да и вряд ли это повышение в тех условиях могло обеспечить поступление хлеба в желаемых размерах. Взятые сами по себе, обе эти меры были недостаточными, ибо не устраняли всех причин хлебозаготовительного кризиса. Главный путь выхода из него состоял в возврате к проведению нового курса.

Вместо этого было решено прибегнуть к жестким административным мерам. Интересно, что еще в декабре 1927 года предложение оппозиции изъять у верхних 10 процентов крестьянских хозяйств излишки хлеба в форме принудительного займа было отвергнуто как нарушающее союз с середняком. А уже через два месяца были применены значительно более жесткие меры к основной массе крестьянства, в том числе и такие, как привлечение к судебной ответственности крестьян, не желающих продавать хлеб государству, обыски, конфискации хлебных излишков, закрытие деревенских рынков. Фактически вернулись к использованию методов из арсенала времен продразверстки.

Все это, по существу, означало отход уже не от нового курса, а от основ всего нэпа. Чрезвычайные меры были необратимыми в том смысле, что простой отказ от них отнюдь не возвращал прежнее положение. Эти меры настолько подорвали доверие крестьян к политике партии, что для его восстановления требовалось бы пойти на новые значительные уступки крестьянам, снизить темпы индустриализации. На это большинство руководителей страны идти не собиралось. Был взят курс на дальнейший отход от нэпа, переход к жесткой бюрократической системе, основанной на административном принуждении. Ленинский призыв «не сметь командовать!» на многие годы исчез из директивных документов, и что еще важнее — о его практической реализации не могло быть и речи.

Опыт тех, теперь уже далеких, лет показывает, что всякая глубокая перестройка неизбежно ведет не только к ожидаемым, но и к непредсказуемым последствиям. Но надо уметь смотреть правде в глаза и не сваливать на якобы неудачный замысел реформ собственные просчеты в его реализации. Важно, чтобы положительные результаты перестройки проявились как можно раньше, что требует особенно продуманной экономической и социальной политики в этот период. Если же из-за допущенных при осуществлении перемен просчетов появится вдруг стремление вернуться назад, то надо иметь в виду, что инерция возвратного движения может быть настолько сильной, что приведет страну даже в еще более сложное положение, чем до начала реформ.

В. Чистяков

ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА В КОНЦЕ АДМИРАЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ

ЭСКАДРА. Крепость Порт-Артур была отрезана с берега и блокирована с моря. Артурская эскадра, запертая на рейде крепости, уже не представляла собой реальной морской силы и медленно умирала. Исход всей войны теперь целиком зависел от помощи извне.

На Балтике спешно формировалась Вторая Тихоокеанская эскадра. Она, не имея по пути ни одной дружественной базы и ни одной угольной станции, должна была пройти по трем океанам 16 тысяч миль, разомкнуть кольцо блокады, соединиться с остатками Первой эскадры и, составив вместе с ней численно превосходящий противника флот, обеспечить России господство в дальневосточных водах. Без владения морем Россия не могла рассчитывать на успех в борьбе с островной империей.

Решение отправить эскадру было принято и высочайше утверждено 10 августа 1904 года на совещании под председательством царя. Командующим был назначен бывший начальник Главного морского штаба, генерал-адъютант двора и вице-адмирал флота Зиновий Петрович Рожественский.

Первоначально главные силы эскадры насчитывали восемь броненосных судов, разделенных на два отряда. 1-й отряд — четыре новейших эскадренных броненосца: «Князь Суворов» под флагом адмирала Рожественского, гвардейский «Александр III», «Бородино» и «Орел»; могучие двухтрубные красавцы, введенные в строй в течение последнего года, они представляли собой монолитную и вполне современную боевую силу. 2-й броненосный отряд также составили четыре единицы: высокобортный океанский броненосец-крейсер «Ослябя», броненосцы «Сисой Великий», «Наварин» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов».

Увы, в отличие от 1-го отряда 2-й не мог быть назван однородным, тем более современным: «Сисой» и «Наварин» были вооружены устаревшей артиллерией, а «Нахимов» (постройки 1885 года) вообще не годился для линейного боя, и то, что его включили в состав главных сил, было скорее актом чиновного оптимизма, нежели здравого смысла. В довершение всего «Сисой» и «Наварин» были изношены: отправленные с Дальнего Востока в Кронштадт для ремонта, они этого ремонта получить не успели и шли теперь обратно в еще худшем состоянии, чем были до того, как определилась необходимость ремонтировать их. Разнотипность судов 2-го отряда бросалась в глаза даже неискушенному наблюдателю: «Наварин» имел четыре дымовые трубы, «Ослябя» три, «Сисой» две, а «Адмирал Нахимов» — одну.

Главные силы японского Соединенного флота, в бою с которыми должен был решиться спор за владение морем, состояли из 12 боевых кораблей — трех броненосцев типа «Миказа», одного броненосца типа «Фудзи», двух броненосных крейсеров «Касуга» и «Ниссин» и шести броненосных крейсеров типа «Асама».

Автор предлагаемой публикации работает инженером в научно-исследовательском институте. Давно интересуется историей отечественного флота, напечатал несколько работ в «Морском сборнике». Взгляд В. Чистякова на обстоятельства и подробности Цусимского сражения, вероятно, небесспорен, дискуссионен, но, по нашему мнению, привлечет внимание и интерес читателей.

В отличие от русской эскадры, сформированной «внезапно из судов или только что едва-едва законченных постройкой, или судов устарелых типов», и в которую было «зачислено все, что возможно» («Красный Архив», 1934 г., № 6), японский линейный флот представлял собой созданную специально для действий против русского флота и прекрасно подготовленную боевую силу, удовлетворявшую всем требованиям современной морской войны.

Очевидно было, что одной лишь эскадры Рожественского недостаточно для получения решающего превосходства на море, и потому снятие блокады с Порт-Артура и соединение Второй Тихоокеанской эскадры с Первой (Порт-Артурской) являлось важнейшим и обязательным элементом русского стратегического плана.

2 октября 1904 года, провожаемая низкими тучами и холодным дождем, 2-я Тихоокеанская эскадра оставила рейд Либавы.

«Для угольных паровых кораблей дотурбинной эпохи,— пишет английский историк Вествуд,— поход из Либавы в Японское море при полном отсутствии по пути дружественных баз представлял собой настоящий подвиг — эпопею, заслуживающую отдельной книги».

Действительно, история военных флотов не знала подобного. Трудности, через которые прошла эскадра, были колоссальны. Однако ни энергия адмирала, ни самоотверженность офицеров и команд не могли уже перевесить стратегической недальновидности чинов «из-под шпиля» (из-под шпица Адмиралтейства). Время, бессмысленно упущенное в первые недели войны, наверстать не удалось.

На Мадагаскаре Рожественского ждало известие, в корне изменившее всю ситуацию: 20 декабря 1904 года Порт-Артур пал, и остатки 1-й Тихоокеанской эскадры были затоплены на его рейде. Эскадра Рожественского осталась одна перед лицом японского Соединенного флота.

С этого момента «замысел операции, вначале имевшей некоторые основания», окончательно приобрел «все признаки опасной авантюры, предпринимаемой с негодными средствами» (М. Петров. Трафальгар, Цусима, Ютландский бой. М., 1926).

Рассчитывать на победу в открытом бою Рожественскому не приходилось, ибо противник располагал и численным перевесом, и качественным превосходством. Следовательно, оставалось либо со всей возможной скоростью идти вперед, в надежде проскочить в Японское море до того, как эскадра адмирала Того успеет пройти необходимый после кампании ремонт, либо признать поражение и повернуть назад.

Второе решение было бы политическим, и принять его единолично Рожественский не мог. Оставалось надеяться на здравомыслие Петербурга, однако там никто не желал видеть обстановку в реальном свете. Ни сам царь, ни кто-либо из высших флотских чинов не решились отдать приказ, отзывающий эскадру обратно.

В распоряжении адмирала оставалось единственное средство — ускорить движение вперед, рассчитывая если не на успех, то на спасение. Однако эскадру ожидал еще один удар и вновь от правительственного кабинета из Петербурга.

Вместо того чтобы спешить на Восток со всей возможной скоростью, адмиралу предписывали... ждать. Ибо в Кронштадте спешно снаряжали в поход подкрепление: старый броненосец «Николай I» и три броненосца береговой обороны — «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков». Моряки называли их «самотопами», и в связи с их полной непригодностью для эскадренного боя Рожественский отказался от этих судов при формировании первых двух отрядов. Теперь под влиянием «разжигающих статей Кладо и других не вовремя взявшихся за перо военных писателей» («Красный Архив», 1934 г., № 6) эти «самотопы» как будто обратились в грозные для неприятеля боевые корабли и им предстояло под командованием контр-адмирала Небогатова составить 3-й броненосный отряд эскадры адмирала Рожественского. Напрасно адмирал пытался убедить Петербург, доказывая, что четыре негодных для боя и тихоходных судна лишь ослабят эскадру, понизят ее ход и растянут боевой строй.

Поддержанные высочайшим мнением чины «из-под шпица» упорно стояли на своем, тем более что Николай, загипнотизированный подсчетами будущего численного равенства сил Рожественского и Того, укреплялся в мысли о том, что исходная стратегическая задача все-таки выполнима.

«Двукратно в телеграмме царя на имя Рожественского указывается, что не прорыв во Владивосток ставится целью эскадре, а завладение Японским морем, т. е. бой с главными силами японского флота и поражение их» (М. Петров. Трафальгар...). Рожественскому, правда, удалось получить разрешение выйти с Мадагаскара, не дожидаясь небогатовского отряда. Однако время, потраченное на тяжбу по телеграфу, было на сей раз упущено окончательно. Перед эскадрой неотвратимо встала перспектива боя с сильнейшим и подготовленным противником. Дальше были еще ожидания...

«Нагнал» Небогатов своего флагмана у берегов Аннама (Вьетнама) всего лишь за две недели до решающего дня. Учиться взаимодействию и совместному маневрированию было уже некогда. Рожественский выстроил отряды в походный порядок и повел их, имея перед собой враждебные воды и ждущий в готовности неприятельский флот.

ЗАГАДКА. 14 мая 1905 года у северных «ворот» Цусимского прохода противники встретились. В 1 час 49 минут пополудни левая носовая шестидюймовая башня броненосца «Князь Суворов» отдала пристрелочный выстрел, и сражение, получившее впоследствии название Цусимского, началось.

Итоги известны. Эскадра, посланная решить исход войны, перестала существовать. 22 боевых корабля пошли на дно, за неполные сутки было убито, утонуло, сгорело заживо и пропало без вести 5045 русских моряков. Россия, потерпев небывалую в истории своего флота катастрофу, на долгие годы была отброшена в разряд второстепенных морских держав.

Однако выстрел флагманского «Суворова» обозначил не только начало. Открыв решающую фазу боя, он завершил цепь событий; исчерпывающего объяснения некоторым из них не найдено до сих пор.

Именно так! Казалось бы, все «белые пятна» Цусимы стерты давным-давно, но «маневр Того» — тот самый, который был начат за минуты до выстрела «Князя Суворова» и справедливо считается центральным тактическим эпизодом боя главных сил,— вызывает споры и ныне и по праву может быть назван главной загадкой Цусимского сражения.

Почему?

Прежде всего потому, что до сих пор не выяснена истинная значимость японского тактического хода; мнения историков на этот счет различны, зачастую противоположны. Одни считают «маневр Того» блестящим образцом флотоводческого искусства, предопределившим решительную победу. Другие же, напротив, склонны здесь видеть грубейшую тактическую оплошность, загнавшую Того в «тесный угол» и поставившую его буквально на грань поражения.

Кто прав?

Сомнения в правильности «общепринятой» версии Цусимы высказывались уже не раз, но вот английский историк Вествуд в 1970 году сделал поразительное «открытие» фактов, лежавших более полувека у всех на виду! Анализируя победную реляцию японского командующего (которую, кстати, две недели строго редактировал японский Морской Генеральный штаб), Вествуд обнаружил, что в описании начальной фазы боя адмирал Того... лжет! Адмирал самовольно поменял местами два следовавших друг за другом тактических действия, в результате чего радикальным образом нарушилась их причинно-следственная связь. И фальсификация затронула не какие-либо частности, но центральный и принципиальнейший «ключ» боя — все тот же «маневр Того»!

Столь явная подтасовка могла быть предпринята лишь с единственной целью. По-видимому, истинная картина боя содержала настолько пагубные для репутации Того характерные подробности, что их — даже при наличии блестящего материального результата — надлежало во что бы то ни стало скрыть.

Вот это-то ловко скрытое японцами нечто и станет теперь главным предметом нашего поиска. Но прежде вернемся к началу суток 14 мая 1905 года и начнем с того, что моряки называют «театром» и «обстановкой».

КОНТАКТ. Из океана в Японское море ведет несколько путей, один из них — по Восточному (Цусимскому) проходу Корейского пролива. Главное достоинство этого прохода в том, что он широк, глубок и сравнительно прост в навигационном отношении. В отличие от остальных вероятных маршрутов внезапное ухудшение видимости (скажем, густой туман) здесь не препятствовало бы, а способствовало успеху прорыва русских судов. Свой главный и единственный шанс на спасение (возможность проскочить незамеченным) Рожественский мог реализовать только в Восточном проходе. С этой точки зрения путь по середине водного пространства между Японией и островами Цусима был выбран правильно.

К началу 14 мая эскадра подошла к южному входу в Корейский пролив. Ночь была темной, горизонт закрывала мгла. Коек командам не раздавали, орудийные расчеты бодрствовали у заряженных пушек. Для адмирала на мостик вынесли кресло, и тот в нем дремал, сломленный усталостью.

Всем на эскадре было ясно, что решительный момент приближается.

В 2.25 выдвинутый японцами в передовой дозор вспомогательный крейсер «Синано-Мару» заметил в предутренней темноте огни неизвестного судна. Приблизившись, японцы распознали «Кострому», плавучий госпиталь эскадры адмирала Рожественского. Все остальное сделалось вопросом времени, причем недолгого.

В 4.25 «Синано-Мару» уже надежно вошел в хвост русской эскадры, и сразу же с его антенн затрепетала искра шифрованной передачи: «Они здесь!..»

Беспроволочная эстафета передала сообщение на север, в корейский порт Мозампо, где уже несколько суток в готовности стояли главные силы японского Соединенного флота.

Если провести аналогию с сухопутной войной, бухта Мозампо была подобна высоте, господствующей над местностью. Отсюда японский флот мог легко перехватить русскую эскадру на любом из возможных путей ее прорыва, и в первую очередь на самом вероятном направлении — в Восточном проходе.

Сообщение «Синано-Мару» достигло флагманского «Миказа» в 4.40 утра. По прошествии двух часов на японских судах пар был поднят до марки, эскадра выбрала якоря и в походном порядке двинулась в собственно Корейский пролив.

ОБСТАНОВКА И ТАКТИКА. Того имел достаточно времени (считая с падения Порт-Артура, почти пять месяцев), чтобы заранее подготовить варианты встречи с русскими на всех возможных путях прорыва 2-й Тихоокеанской эскадры в Японское море. Поэтому, когда около шести утра Рожественский скомандовал курс норд-ост 60° и тем окончательно обозначил свое намерение, адмиралу Того не понадобилось напряженно размышлять, он просто приступил к исполнению заранее разработанного плана «Восточный проход».

Оба командующих прекрасно сознавали, что битва будет решающей. От ее результатов зависел исход борьбы за владение морем, исход самой войны и даже, как объявил Того сигналом по флоту, «судьба империи». Рожественский имел основания полагать, что японский командующий постарается свести необходимый риск к минимуму и применит самые надежные, самые беспроигрышные тактические приемы.

Лучшим способом действий в правильном бою двух броненосных флотов считался в то время «маневр поперечной палочки над буквой «Т», то есть охват головы или хвоста неприятельской колонны. Сторона, осуществившая такой охват, получала возможность сосредоточить на выбранной цели всю мощь огня своего стреляющего борта, в то время как противник, используя лишь половину артиллерии, мог отвечать только в узкие носовые или кормовые углы, причем сосредоточению его огня мешали бы ближайшие к неприятелю свои же корабли. Таким образом флот, выигравший начальную позицию «палочки над «Т», получал над своим противником не менее чем двойное огневое превосходство и в первые же минуты боя мог нанести ему непоправимый урон.

Если бой предполагается в открытом море, а силы врагов примерно равны, успех маневра «палочки» зависит от многих случайных факторов. Совсем иное дело, если один из противников вынужден форсировать подготовленную к обороне узкость. Здесь его путь жестко определен и обороняющаяся сторона может заранее рассчитать маневр, чтобы встретить неприятеля в уже готовой позиции «палочки над «Т».

Эскадре вице-адмирала Рожественского приходилось именно идти в узкость. А главные силы Соединенного флота Японии под командой адмирала Хейхатиро Того обороняли эту узкость.

Следовательно, помимо явного материально-технического превосходства (считая и полуторное превосходство в скорости эскадренного хода), японцы располагали всеми без исключения выгодами внешней обстановки. Для победы им оставалось только исполнить заранее выверенный план.

СБЛИЖЕНИЕ (АДМИРАЛ ТОГО). Путь японцев от Мозампо к месту боя состоял из трех отрезков, рисующих характерную ломаную линию. Сначала Того шел курсом ост-зюйд-ост к северной оконечности островов Цусима (1-й отрезок); затем, круче склонившись к югу, он пересек Восточный проход слева направо и вышел в заранее назначенную точку в 10 милях севернее острова Окино-сима (2-й отрезок); повернув далее на 315°, он вновь начал движение к оси прохода, однако на сей раз уже справа налево и строго придерживаясь географической параллели.

Внешняя сторона действий Того настолько информативна, что восстановление скрытого за ней плана не составляет особого труда. Назначенная им точка поворота, последующий путь поперек прохода — и, наконец, преднамеренная медлительность на последнем участке сближения (за полтора часа прошли 12—13 миль, то есть со скоростью до 8 узлов, тогда как японский эскадренный ход был порядка 16 узлов) — красноречиво свидетельствуют, что: а) место встречи с противником было выбрано в северных «воротах» прохода, то есть на линии островов Цусима — Окино-сима; б) скорость сближения была подобрана так, чтобы к моменту прихода «на вид» неприятеля обеспечить себе позицию впереди и справа от головных судов русской эскадры.

Намерение Того дождаться противника на параллели точки поворота вполне объяснимо. Указанные «ворота» были самой северной и ближайшей к Мозампо узкостью, что позволяло Того надежно упредить русских в назначенном для боя месте и обеспечить себе необходимый запас времени и маневренного пространства.

Исходная позиция справа от русского курса также была обусловлена географическим фактором. Западную границу прохода обозначал непрерывный берег больших островов Цусима, а восточная граница, проходящая по группе мелких островов, была скорее условной, и в принципе позволяла Рожественскому свободу движения вправо, за формальные пределы прохода.

«Проницаемость» восточной границы не могла устроить адмирала Того, давно уже взявшего за правило не оставлять противнику ни малейшего шанса, потому он и назначил исходную позицию для «палочки» именно с востока.

Такая диспозиция надежно отрезала Рожественского от желанных для него просторов Японского моря. Путь вперед и вправо ему закроет стальная японская «палочка», путь влево преграждает твердь островов Цусима. Получается жесткий угол, выход из которого — только назад...

Составленный Того план действий был образцовым. Он был прост, прекрасно согласован с обстановкой и надежно обеспечивал японской стороне начальный тактический перевес.

Разведка у японцев также была поставлена безукоризненно. С рассвета и до начала боя разведывательные отряды неотрывно следили за эскадрой Рожественского, что существенно облегчало Того задачу предварительного развертывания и давало возможность точно согласовывать свои движения с движениями противника.

Совсем иначе выглядят действия Рожественского. Большинство историков полагает, что он вообще не имел сколь-нибудь конкретного плана и, отказав-

шись от каких-либо попыток воздействовать на обстановку, заранее подчинил себя неизбежности боя и поражения.

СБЛИЖЕНИЕ (АДМИРАЛ РОЖЕСТВЕНСКИЙ). Как упомянуто, около 6 утра Рожественский скомандовал эскадре курс норд-ост 60° — на середину Восточного прохода. С этого момента путь его точно соответствовал всем предварительным допущениям адмирала Того.

В 9.50 броненосные силы русской эскадры начали перестроение в боевую линию, то есть в одну кильватерную колонну.

Это перестроение, пожалуй, было единственным движением Рожественского, которое не вызвало впоследствии острой критики. Действительно, поскольку русский адмирал не выслал вперед разведку, он мог, по-видимому, лишь догадываться об истинном месте японских главных сил. Ожидая их внезапного появления, он поспешил загодя изготовиться к встрече и заранее перестроил эскадру из походного порядка в боевой.

Увы, это как будто вполне разумное и соответствующее канонам тактики действие некоторое время спустя свел на нет сам же адмирал Рожественский.

В 12.00 на судах взяли полуденную обсервацию и уточнили место. По прошествии пяти минут, по-прежнему следуя серединой прохода, Рожественский скомандовал эскадре еще одну перемену курса. Исполняя, рулевые поставили курсовую отметку против румба норд-ост 23°, что означало последний отрезок пути. Ни мысов, ни препятствующих движению островов впереди уже не было — карандашная черта прокладки указывала теперь т о ч н о на Владивосток.

В 12.20 на «Суворове» взвился новый сигнал и эскадра начала еще одно перестроение. Следуя за флагманом, 1-й броненосный отряд совершил два последовательных поворота и оказался отделенным от основного строя. Теперь вместо прежней боевой линии получился необычный порядок двух параллельных, смещенных уступом колонн: правую составил отстоящий от левой колонны на 8—10 кабельтовых и продвинутый вперед на половину своей длины отряд четырех новейших броненосцев типа «Бородино».

Этим странным «уступом», который свел на нет все выгоды прежней боевой линии, Рожественский продолжал идти вплоть до появления на горизонте неприятельских главных сил.

В отличие от действий Того, объяснимых и вполне логичных, действия русского адмирала вызывают по крайней мере недоумение.

Во-первых, Рожественский как будто п о л н о с т ь ю отказался от разведки, ограничившись тем, что выслал лишь слабый передовой дозор. Во-вторых, он не оказывал н и м а л е й ш е г о противодействия неприятельским разведывательным крейсерам и они наблюдали за русской эскадрой совершенно беспрепятственно.

Случайно возникшую стрельбу по «Идзуми» он оборвал сердитым сигналом «не бросать снарядов понапрасну», а на семафор командира «Урала» — вспомогательный крейсер «Урал» располагал самой мощной на эскадре радиотелеграфной станцией,— запросившего разрешения перебивать в эфире японские радиопереговоры, он ответил столь же резким и тоже запрещающим сигналом: «Не мешать!».

В-третьих, наконец, перестроение в «уступ»... Зачем адмиралу понадобился строй, в д в о е ослабивший боевую мощь эскадры? Тем более что в условиях ограниченной видимости противник мог открыться в н е з а п н о, и тогда Рожественский, имея слабейшие суда в самостоятельной колонне, рисковал быть разбитым п о ч а с т я м в первые же минуты боя.

Итак, с одной стороны мы наблюдаем стремление к бою, образцовый план и четкое его выполнение; с другой же, напротив, в и д и м о е отсутствие какой-либо руководящей идеи, пассивность и безразличие.

Сближение флотов представляло собой самую первую, н е я в н у ю фазу боя.

«МАНЕВР ТОГО». Время 1 час 20 минут пополудни (по русским часам), мачты противников уже встали над выпуклостью горизонта, и до появления флотов из мглы оставались секунды.

Рожественский в строе «уступа» шел курсом норд-ост 23°, придерживаясь оси прохода.

Того м е д л е н н о продвигался по створу назначенных им «ворот» курсом чистый вест. «Стоп-кадр» в момент визуальной встречи противников нарисовал бы гигантский треугольник: в одной из вершин — русская эскадра, в другой — японская, третья вершина обозначена невидимой точкой пересечения их курсов.

Для завершения «палочки над «Т» Того оставалось повернуть примерно на 55° вправо и лечь на попутно-сходящийся с русскими курс. Простейшее вычисление показывает, что 30 минут спустя после такого поворота «Миказа» вышел бы в точку пересечения курсов в 30 кабельтовых по носу русского головного «Князя Суворова», то есть японская линия пришла бы в позицию и д е а л ь н о й «палочки над «Т», имея русского флагмана в пределах досягаемости орудий в с е г о своего левого борта.

Расчет был точен, исполнение — блестяще. От воли и умения Рожественского не зависело уже н и ч е г о, ситуацию контролировал противник.

Секунды утекали неотвратимо, и призрак катастрофы вставал все явственней. Сейчас по фалам «Миказы» вспорхнет и развернется роковой сигнал, затем последует четкий поворот всей линии вправо на расчетные 55 градусов, затем — «палочка», затем...

Произошло же, однако, иное.

«Миказа» действительно повернул, но не в п р а в о, а в л е в о, и не на попутно-сходящийся, а на встречно-пересекающийся с русскими курс!

Почти одновременно с этим Рожественский скомандовал еще одно, п о с л е д н е е перестроение. Четыре сильнейших броненосца прибавили ход и начали выходить в голову левой колонны, вновь образуя с ней единую боевую линию.

Японцы пересекали русский курс, заходя на л е в у ю сторону эскадры Рожественского. Затем «Миказа» еще круче довернул к югу, и теперь противники сближались почти «лоб в лоб», находясь друг к другу левыми бортами и стремительно сокращая дистанцию.

Невероятно, однако фортуна повернулась к Рожественскому лицом. Гибельная «палочка над «Т» не состоялась. Того вдруг с а м отказался от нее...

Почему?

Впрочем, недоумению на мостиках «Князя Суворова» суждено было перерасти в изумление. Ибо в следующий момент...

«— Смотрите! Смотрите! Что это? Что они делают? — крикнул Редкин (вахтенный начальник броненосца «Князь Суворов» лейтенант А. А. Редкин.— В. Ч.), и в голосе его были и радость, и недоумение.

Но я и сам смотрел, смотрел не отрываясь от бинокля, не веря глазам: японцы внезапно начали ворочать «последовательно» влево на обратный курс!» — рассказывает участник Цусимского сражения капитан 2-го ранга В. И. Семенов в своей книге «Бой при Цусиме».

Изумление и радость лейтенанта Редкина объяснимы. Все японские корабли теперь должны были п о с л е д о в а т е л ь н о, один за другим прийти в некоторую точку и повернуть на 180°, причем эта точка оставалась н е п о д в и ж н о й относительно моря, что значительно облегчало пристрелку русской стороне.

«...А кроме того, даже при скорости 15 узлов перестроение должно было занять 15 минут, и все это время суда, уже повернувшие, мешали стрелять тем, которые еще шли к точке поворота»,— продолжает Семенов.

Несколько мгновений изменили ситуацию в корне. Положение русской эскадры из безнадежного сделалось исключительно выгодным; на долгие четверть часа она становилась б е з р а з д е л ь н ы м хозяином положения. «— Да ведь это — безрассудство! — не унимался Редкин,— ведь мы сейчас раскатаем его головных!..— «Дай-то бог!..» — подумал я...»

Рожественский приказал открыть огонь. В 1 час 49 минут пополудни левая носовая шестидюймовая башня броненосца «Князь Суворов» отдала пристрелочный выстрел. Прицел был взят хорошо, и п е р в ы й снаряд Цусимского сражения миновал неприятельского флагмана лишь с небольшим перелетом.

Этот поворот «последовательно», которым японский адмирал окончательно отобрал у себя все выгоды заранее подготовленной «палочки» и в ходе которого он сам подставил себя под сосредоточенный русский огонь, впоследствии и назвали знаменитым «маневром Того».

МИФ. Традиционно считают, что Того не просто выиграл сражение, но выиграл его как флотоводец, продемонстрировав «высокие образцы» тактического искусства.

Совсем иначе оценивают роль адмирала Рожественского. Считается почти очевидным, что его тактика представляла собой цепь грубейших оплошностей, причем львиная доля всех его так называемых ошибок была совершена им до открытия огня, то есть на предварительных фазах боя.

Обратимся же к ситуации, которая сложилась у северных «ворот» прохода в 1 час 49 минут пополудни 14 мая. Японцы только что вошли в поворот, носовая шестидюймовка броненосца «Князь Суворов» отдала пристрелочный выстрел.

К этому моменту тактическое положение русской эскадры вдруг сделалось исключительно выгодным, так как она выиграла для себя первый залп, получила неподвижную точку пристрелки и возможность бить по противнику всем левым бортом своей линии.

Того же, напротив, оказался в «тесном углу». Связанный выполнением маневра, он подставил себя под русский огонь и вплоть до окончания поворота не мог ответить всеми стволами своей эскадры, то есть он уступил Рожественскому начальное огневое превосходство.

Трудно поверить, но факт: Рожественский, несмотря на все свои так называемые ошибки, незримый тактический поединок выиграл, а Того ту же неявную фазу боя проиграл, притом проиграл ее по всем без исключения пунктам.

Что же дал Того его пресловутый «маневр»?

В 1917 году автор капитального труда о Цусиме капитан 1-го ранга граф Капнист сравнил «маневр Того» со знаменитым маневром Нельсона при Трафальгаре и с прямотой убежденности заключил, что «расчеты... Нельсона и Того были аналогичны» и что «оба адмирала пожали неисчислимые плоды своей разумной отваги».

Отвага подразумевает риск. Безусловно, поворот Того под дулами русских пушек был рискован. И, казалось бы, риск здесь вполне оправдал себя, ибо результатом «маневра Того» явился несомненный тактический успех — японская эскадра пришла в позицию «палочки над «Т» слева от головы русской линии.

Однако можем ли мы объявить отвагу японского адмирала «разумной», а риск, связанный с его маневром, оправданным?

Нет. Мы видели, что для завершения заранее рассчитанного плана Того оставалось лишь скомандовать поворот вправо на 55 градусов, и та же самая «палочка» была бы осуществлена в совершенной безопасности, за пределами досягаемости русских пушек. Следовательно, для достижения той же цели Того избрал не лучший, но худший из всех возможных способов. Мало того! Всеми тактическими преимуществами, полученными им к моменту открытия огня, Рожественский был обязан исключительно «маневру Того», то есть, повторим, японский адмирал сам вручил своему противнику то, чего тот был заранее и безнадежно лишен, и сам подставил свою эскадру под русские пушки. В течение долгих четверти часа «маневр Того» работал не на японскую, но на русскую сторону, и победу Соединенный флот одержал не благодаря, но вопреки странному решению японского адмирала.

Вывод: «маневр Того» явил собой не «блестящий образец», но грубейшую тактическую оплошность, и утверждение о якобы «тактической победе» японского адмирала есть миф.

Однако хотя сущность «маневра Того» ясна, причины его остаются загадкой, и остается тот же вопрос: почему?

ПОЧЕМУ? Вот что пишет американский биограф адмирала Того Эдвин Фальк:

«Визуальный контакт открыл, что русская формация отличается от доложенной разведчиками (то есть от строя двух параллельных колонн.— **В. Ч.**), так как Рожественский в последний момент предпринял попытку вывести 1-й отряд в голову «Ослябе» и выстроить одну боевую линию. В момент, когда Того увидел русские корабли, этот маневр находился в процессе исполнения. Он заметил также, что острова Цусима уже не блокируют русским прямой путь во Владивосток и что в связи с этим неприятель склонил свой курс еще более к северу.

Этот новый курс русских обусловил его решение предпринять атаку не с правой, а с левой стороны, и тем отсечь русских от их цели. Новый русский строй делал такую атаку возможной, ибо фланг 1-го отряда был теперь ничем не защищен и открыт для нападения».

Из построений Фалька следует, что изменение обстановки, столь резко повлиявшее на замысел Того, состояло в появлении двух неожиданных обстоятельств: «нового строя русских» (находившегося, правда, в процессе формирования) и нового их курса, проложенного севернее того, что ожидали японцы — точно на Владивосток. Все это вместе — опять же по Фальку — вынудило Того пересечь курс неприятеля и атаковать русских не с правого, как было перед тем задумано, а с левого борта.

Желая во что бы то ни стало оправдать предвзятое положение о тактическом «гении» Того, Фальк готов принести в жертву этой концепции решительно все — начиная с фактической последовательности событий и кончая нормами здравого смысла. Как мы сейчас увидим, моделирование ситуации «по Фальку» не выдерживает серьезной критики — достаточно обратиться к документам и показаниям очевидцев.

Визуальный контакт, свидетельствует официальный японский историк, состоялся в 1 час 39 минут, то есть около 1 часа 20 минут по русским часам. Рожественский же, показывают русские документы, скомандовал перестроение в 1 час 30 минут пополудни, то есть десять минут спустя. Следовательно, Того увидел именно то, о чем ему доложила разведка и что он ожидал увидеть — строй двух колонн. По свидетельству английского офицера Пэкинхема, наблюдавшего все с палубы броненосца «Асахи», уже после поворота Того на пересечку русского курса «стало возможным разглядеть русские линии во всей их длине. В правой колонне (разрядка моя.— **В. Ч.**) неясно вырисовывались громады четырех самых больших броненосцев...»

Упоминание о «правой» колонне и «линиях» во множественном числе ясно свидетельствует, что даже после решения Того пересечь русский курс Рожественский все еще шел в строе двух колонн и Того внешних признаков перестроения русской эскадры не наблюдал.

Во-вторых, известно, что с 12.05 балтийская эскадра шла курсом норд-ост 23°, и нужды переменять этот курс у Рожественского не было — он и так был проложен точно на Владивосток, и ни в 12.05, ни тем более полтора часа спустя острова Цусима, вопреки утверждению Фалька, не блокировали русским прямой путь к месту их назначения.

Наконец, путь влево был русским уже закрыт берегами Цусимы, так что Того своим заходом налево не препятствовал, а способствовал маневренной свободе Рожественского, оставляя для него открытой всю правую половину румбов.

И все же, хотя объяснения Фалька грубейше расходятся с истинным положением дел, в общей исходной идее биограф японского адмирала прав — причиной броска влево и последующего «маневра Того» мог послужить лишь внешний фактор, обусловленный неким действием адмирала Рожественского.

Каким?

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО. Незадолго до встречи с противником Рожественский должен был, очевидно, предпринять нечто внезапное, заставшее Того врасплох.

Однако мы знаем, что, как ни странно, последний час сближения флотов характерен не столько действиями, сколько очевидным бездействием русской стороны. Достаточно длительное время Рожественский шел в строе двух колонн

прежним курсом норд-ост 23°, а последнее перестроение начал лишь после того, как Того обозначил новое направление атаки.

Единственным действием русского адмирала, которое по-настоящему (а не по Фальку) предшествовало первому повороту Того, было перестроение в «уступ», законченное в 12.30, то есть почти за час до визуальной встречи противников. Так может быть, разгадку «маневра Того» и следует искать в этом странном перестроении Рожественского?

Многие из действий русского командующего принято считать нелепыми. К адмиралу Того историки проявляют больше снисхождения, однако по сути его внезапный отказ от всех своих преимуществ и явно нецелесообразный бросок влево странен не менее (если не более), чем «уступ» Рожественского. Что же получается? Вслед за нелепым действием одной стороны еще большую нелепость производит другая сторона, а результат — ситуация, редкая по своим выгодам для заведомо слабейшего противника.

Случайность? Или же умысел, хитрость?

Попробуем, вглядываясь в действия Рожественского, не подменять их анализ ссылками на патологическую бездарность адмирала.

«ОСНОВА ИДЕИ И ДЕЙСТВИЙ». Рожественский скомандовал перестроение в «уступ» в 12.20 по меридиану Владивостока. Эскадра Того к этому времени миновала точку поворота и лежала на курсе вест, идя со скоростью 7—8 узлов. Не высылая вперед разведку, Рожественский как будто не мог знать ни численного состава, ни места, ни намерений своего противника.

Но... действительно ли русский адмирал вел свою эскадру «вслепую», ожидая внезапного нападения японцев в каждый ближайший момент?

Отнюдь нет. Ибо Того вовсе не обладал полной свободой в определении времени, места и направления будущего удара. То, что Рожественский решил прорываться именно Восточным проходом, уже ограничивало японцев в выборе возможных тактических решений и делало основные черты их плана в известной мере предсказуемыми: Рожественский мог с хорошей степенью достоверности предвидеть, что бой состоится в какой-то из узкостей и противник заранее расположится для флангового охвата. Русскому адмиралу недоставало лишь сведений о численности неприятеля и о назначенном Того конкретном месте встречи.

Однако сведения о количественном составе главных сил адмирала Того Рожественскому были, по сути, не нужны. Он обязан был предположить, что в решающий бой японский адмирал выставит против него максимальную силу, то есть все свои 12 броненосных судов. Рассчитывать на меньшее было бы недопустимой самоуспокоенностью.

Оставалось, таким образом, предугадать место предстоящей встречи. В том, что это будет одна из узкостей Восточного прохода, сомневаться не приходилось. Но где? На какой из сорока миль Того расположится для боя, выстроив «поперечную палочку»?

Сведения нужной точности могла обеспечить лишь разведка, то есть вид деятельности, от которого Рожественский будто бы отказался.

Именно «будто бы». Ибо суждение о полном отсутствии у русских разведки неверно. Такое суждение, основанное на опыте предыдущих войн, можно назвать доцусимским, так как оно не учитывает, что у противников появилось новое, принципиально отличное от прежних средство связи — радио!

Японцы использовали радиосвязь охотно и без малейшей опаски. Они применяли радио точно по назначению, то есть для приема и передачи всяких сообщений. Иное дело русские. «Кораблям эскадры было воспрещено сноситься по телеграфу без проводов и приказано неотступно следить за получающимися телеграммами», свидетельствуют участники (Русско-японская война 1904—1905 гг. Действия флота. Документы. Кн. 3. Вып. 1, С-Пб., 1912).

Рожественский слушал. Японцы — болтали. Позже им придется осознать, что, нещадно эксплуатируя эфир, они сами вручили противнику новое, невиданное дотоле средство разведки!

Оценивая интенсивность искрового сигнала, опытные телеграфисты могли с хорошей точностью определить расстояние до передающей станции. Конечно, в условиях открытого моря этого было бы недостаточно, ибо станция может находиться в любой точке окружности, проведенной из данного центра данным радиусом. Иное дело в узкости. Четкий «коридор» Восточного прохода однозначно давал Рожественскому направление на эскадру Того и место противника на пересечении с упомянутой окружностью.

Теперь становится понятен резкий сигнал адмирала командиру крейсера «Урал»: «Не мешать!» Ибо переговоры японцев были насущно необходимы. Каждая японская депеша (снабженная, кстати, нешифрованной подписью передавшего ее корабля) исправно работала на разведку Рожественского.

ПРИМАНКА. Минутная стрелка обежала первую четверть после полудня. Эскадра идет пока в строе боевой линии, но вот-вот последует сигнал к перестроению в «уступ». Курс — норд-ост 23°, на Владивосток. Японцы к тому времени повернули на вест и уже около получаса на сравнительно малой скорости «поднимаются» к оси прохода.

Рожественский знал, что японцы уже заступили ему дорогу. Он знал также, что главные силы Того находятся на расстоянии всего 35 миль, у северных «ворот» прохода. Наконец, изменение расстояния до передающих станций позволяло ему с хорошей точностью вычислить, что Того прекратил движение встречным курсом и держится теперь на створе «ворот».

Не составляло труда предугадать, что японцы применят самый беспроигрышный тактический прием — «палочку над «Т». Конечно, Того постарается рассчитать ее лучшим образом, согласуя свой ход со скоростью русской эскадры. И, конечно, он расположится для атаки справа от русского курса, ибо маневр влево Рожественскому ограничивали острова Цусима.

Что мог противопоставить японскому плану вице-адмирал Рожественский? Ничего. Поворот назад исключался, маневр был стеснен узкостью, оставалось идти вперед, под неотвратимо нависшую «палочку». Японский командующий назначил место, выиграл время и выбрал наилучшую из возможных позицию. Имея ко всему прочему полуторный запас скорости, он владел инициативой и контролировал обстановку.

«Малочисленной и совершенно слабой стороне,— писал Клаузевиц,— которой уже не может помочь ни осторожность, ни мудрость, в тот момент, когда ее покидает осознавшее свое бессилие искусство, хитрость еще предлагает свои услуги как единственный якорь спасения».

Сложившаяся обстановка означала для Рожественского беспощадный расстрел. Следовательно, последний шанс адмирала — так изменить обстановку, чтобы Того сам отказался от маневра охвата.

«Хитрец вызывает в суждении противника... такие ошибки, которые представляют последнему дело не в настоящем свете и толкают его на ложный путь»,— писал Клаузевиц.

Но что могло бы подтолкнуть на «ложный путь» японского командующего, на стороне которого были все выгоды сложившейся ситуации? Только одно — внезапное предложение еще более верного, решительного и, если угодно, более красивого средства достижения победы.

И вот... В 12.20, исполняя сигнал адмирала, русская эскадра перестроилась в две параллельные колонны. С точки зрения тактики Рожественский совершил недопустимое — расчленил свои силы. Тихоходный и разнокалиберный «музей образцов» (восемь судов 2-го и 3-го отрядов) оказался отделен от боевого костяка эскадры и более не составлял единого целого с четырьмя новейшими броненосцами типа «Бородино». Если бы противник теперь явился вдруг слева на расстоянии прицельного выстрела, участь левой колонны — слабейшей и лишенной поддержки «ведущего квартета» — была бы решена в считанные минуты. Иначе говоря, Рожественский отдавал «музей образцов» на съедение, как бы предлагая противнику разбить себя по частям.

Надо ли удивляться, что впоследствии историки дружно признали «уступ» Рожественского бессмысленным.

Однако новый строй русских, при всей его выгодной для противника нелепости, содержал одну существенную и досадную для Того деталь — по странному стечению обстоятельств «музей образцов», предназначенный в жертву, был выставлен слева от русского курса, то есть с противоположной от японцев стороны. Неприятельскому командующему предлагалась как бы альтернатива — либо прежняя «палочка над «Т», либо отказ от нее и стремительный бросок на левую сторону, где японцам — стараниями русского адмирала — уже обеспечено полуторное численное и подавляющее огневое превосходство.

Приманка, вводящая в искушение, выставлена. Рожественский сделал ход, ему оставалось последнее, самое невыносимое,— ждать.

Волна катила с левой кормовой четверти, встречая на пути хвост небогатовского отряда. В бледной голубизне расплывалось солнце, горизонт закрывала мгла. Команды обедали. Ели торопливо и наскоро, не покидая постов, расчеты, например, прямо у орудий, по-турецки скрестив ноги... Стрелки хронометров, пройдя никому не ведомую черту, начали отсчитывать последний час сближения.

Мыслей адмирала нам знать не дано, известно лишь, что внешне он был непроницаем и суров, как обычно. Однако есть все основания полагать, что в последний час перед боем он переживал самую тяжелую, самую мучительную в своей жизни неопределенность.

Удалось ли угадать? Верен ли расчет «за противника»? Действительно ли Того выбрал лучший вариант и сближается сейчас справа, выдерживая расчетную скорость? Если да, то приманка расположена верно, вынуждая неприятеля к колебанию. Если же нет...

Беспокоили также разведчики — японские, разумеется. С одной стороны, пристальный взгляд их оптики был необходим, ибо что толку в приманке, если тот, кому она предназначена, не видит ее? С другой же... Рожественский желал демонстрировать японцам «слона», однако была и «муха», некая подробность, которую во что бы то ни стало нужно было пока скрыть от адмирала Того.

ЧУВСТВА И РАСЧЕТ. Ставка на здравомыслие противника оправдала себя. Его разведчики, как мы знаем теперь, были на высоте — и Того «увидел» (их глазами) именно то, что желал показать ему вице-адмирал Рожественский.

Однако наивно было бы думать, что Того, едва получив донесение о новом строе неприятеля, «клюнул» на приманку. Увы, нет. В отличие от многих позднейших исследователей он почти мгновенно распознал в «нецелесообразном» строе Рожественского первый шаг хитрости.

Кто-то другой на месте Того, возможно, не смог бы устоять при виде беззащитной неприятельской колонны и немедленно бы скомандовал новый курс и ход до полного. Хейхатиро Того, однако, давно уже не был пылким юношей. Годы службы и опыт войн приучили его к разумной осторожности, тем более что от исхода предстоящей битвы зависело решительно все, вплоть до «судьбы империи».

Главным недостатком приманки Рожественского была ее очевидность. Слишком явственно был подставлен архаичный «музей образцов», и слишком настойчиво призывал он противника отказаться от почти готовой «палочки над «Т».

Приманка взывала к чувствам. Того же предпочитал руководствоваться расчетом. И вновь, как много раз до этого, хладнокровие и осторожность оправдали себя. Несложный расчет показал, что даже если Того немедленно бросится на пересечку русского курса самым полным ходом и кратчайшим путем, то все равно выигрыш драгоценного времени останется за Рожественским. С какого бы румба ни появилась атакующая японская эскадра, русский командующий успеет перестроить свои суда обратно в боевую линию, и тогда состоится то, ради чего и была затеяна вся хитрость с «нелепым» перестроением: слева японцам откроется уже не «музей образцов», а вся русская линия, успевшая изготовиться к бою и ожидающая неприятеля, и вместо «палочки над «Т» произойдет скоротечная и нерешительная стычка на встречных курсах.

Командующий Соединенным флотом не поддался искушению; он остался на параллели островов Цусима — Окино-сима и по-прежнему медленно «поднимался» к оси прохода, не выказывая ни малейшего намерения атаковать левую колонну русских. Ход его по-прежнему был согласован так, чтобы к моменту визуального контакта оказаться впереди и справа от головного русского «Князя Суворова».

Казалось бы, Рожественскому не удалось подтолкнуть своего противника на «ложный путь». Так, наверное, считал и адмирал Того, не зная пока, что истинная ловушка Рожественского явится перед ним час спустя.

НОРД-ВЕСТ 34°. Решительная минута приближалась. Наблюдатели, подняв бинокли, напряженно всматривались в горизонт. Давно уже сходящиеся для смертного боя противники вот-вот должны были прийти на вид друг друга.

«...В 1 час 39 мин. (около 1 час 20 мин. пополудни по меридиану Владивостока.— **В. Ч.**), наконец, вдалеке на зюйд-весте показалась неприятельская эскадра»,— писал японский историк.

Момент настал. Перед нами кульминация умственного противоборства командующих, характерная, если можно так выразиться, чрезвычайной плотностью решений и действий. Главные события, целиком определившие тактическое «лицо» боя, уместились в необычайно короткий (по меркам предыдущих морских войн) промежуток времени — всего 25 минут.

Мы уже знаем, что к немедленному результату хитрость Рожественского не привела и что она по крайней мере в течение часа никак не отразилась на образе действий адмирала Того. Казалось бы, «маневр Того» никак не связан с «уступом», то есть перестроением, предпринятым за час до того русской эскадрой. Но в промежутке между этими событиями противники... увидели друг друга, или, говоря языком донесений, пришли на расстояние прямой видимости. Визуальный контакт флотов непосредственно предшествовал странным действиям японской стороны, то есть «маневру Того». Да, это факт: сначала Того увидел русскую эскадру, а затем, минуты спустя, бросился на пересечку ее курса. Похоже, сам вид русской эскадры заключал в себе неожиданное для Того и не предусмотренное его планами «нечто», которое и обусловило столь же внезапную перемену замысла японского командующего.

Конечно, лучше всех истину мог бы прояснить сам адмирал Хейхатиро Того, но в этом отношении, увы, обольщаться не следует. Свидетельства адмирала столь неточны, что даже далекий от предвзятости историк Вествуд приходит к выводу об умышленной фальсификации. Кстати, многие японские источники грешат тем же, что и донесение командующего Соединенным флотом — неточностями, противоречиями и отсутствием цифровых данных. В некотором роде исключение представляет собой «Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мэйдзи», изданное японским главным штабом вскоре после войны. Вот строки из него:

«Адмирал Того приказал начать бой и... в 1 час 40 мин. приказал своим главным силам — 1-му и 2-му боевым отрядам — лечь на курс норд-вест 34°».

Полезно вспомнить, что для завершения тщательно подготовленной «палочки над «Т» японцам оставалось сделать лишь одно движение — повернуть вправо на курс, сходящийся с русским под углом порядка 60°. Этим маневром Того привел бы свою эскадру в идеальную позицию охвата головы русской линии.

Того же, как известно, повернул не вправо, а влево, что и повлекло за собой все дальнейшее, вплоть до критического для японцев «маневра Того».

Из «Описания» следует, что визуальный контакт и момент японского поворота действительно соседствовали так, что теснее некуда — их разделяла всего одна (!) минута. Однако стоит положить на карту назначенный адмиралом Того новый курс норд-вест 34°, как мы увидим, что он вовсе не означал ожидаемого нами броска на левую сторону русской формации. Напротив! Исполняя «приказ начать бой», японцы повернули не на противника, а от него, и новый их курс норд-вест 34° был не встречным, а попутно-сходящимся с курсом русской эскадры, причем сходился под оптимальным углом порядка 60°!

Находка неожиданная. Оказывается, Того все-таки сделал последнее движение. Оказывается, его внезапному броску на пересечку русского курса все-таки предшествовал штатный поворот вправо — согласно расчету «палочки над «Т». Сравнение различных источников и сопоставление косвенных данных позволяют предположить — с большой долей уверенности,— что Того лежал на курсе норд-вест 34° (то есть продолжал выполнять свою «палочку») не менее пяти минут.

Пять минут!.. Безвестный японский историк дал нам ценнейшее звено событий. Стало быть, «спусковым крючком» неожиданного решения Того был вовсе не факт появления русской эскадры. Нет! Возникло что-то иное и — чуть позже, по прошествии по крайней мере пяти минут и — наверняка уже после того, как Того осуществил расчетный поворот и лег на расчетный курс норд-вест 34°. И можно не сомневаться, что «нечто», которого не было в 1 час 40 минут и которое вдруг явилось в 1 час 45 минут, могло быть связано только с движениями эскадры Рожественского — с ее курсом, скоростью и характером строя.

Мы знаем, что к моменту визуального контакта русская эскадра шла в строе двух параллельных колонн и что Рожественский скомандовал перестроение в линию лишь после поворота Того на пересечку русского курса (даже, утверждают некоторые очевидцы, после того как «Миказа» показался перед носом головного «Суворова»). Следовательно, с 1 часа 40 минут до 1 часа 45 минут русская эскадра шла в том же порядке «уступа», то есть важный для Того фактор — строй противника — на протяжении всех пяти минут оставался неизменным.

Но... что же получается? Получается почти парадокс: внезапное — для Того — изменение обстановки состояло как раз в том, что русский строй вопреки ожиданиям не изменился.

ЛОВУШКА. В сказанном нет бессмыслицы. Русским необходимо было перестроиться перед боем, и Того, без сомнения, этого перестроения ждал.

Для командующего Соединенным флотом все определилось час назад: хитрость Рожественского не удалась, а сам русский адмирал пока — мог полагать Того — не знает о своей неудаче, ибо разведки не вел и сработала ли подставленная им приманка, не ведает. Теперь же, с приходом флотов на вид друг друга, тот факт, что японцы открылись справа от русского курса (в двух румбах по носу головного «Князя Суворова»), лучше всяких слов должен убедить Рожественского, что хитрость его разгадана.

Русскому адмиралу оставался выбор: либо вновь перестроиться в линию и тем хотя бы отдалить предстоящий разгром, либо идти в прежнем строе, то есть всерьез отдать на съедение слабейшие отряды.

Либо — либо. Либо японская «палочка», либо расстрел «музея образцов». Последнее, очевидно, гарантировало бы скорый и безусловный конец всей русской эскадры. Потому, мог полагать Того, обратное перестроение русских в линию должно состояться. В этом убеждал здравый смысл. Поэтому, едва лишь русские встали из мглы, на «Миказа» взвился заранее приготовленный сигнал, и Того начал охват «головы» неприятельской линии, хотя ни «головы», ни самой русской линии пока, конечно, не видел. Но что же с того? Рожественскому некуда деться, он сам скомандует перестроение в одну колонну и сам подставит голову своего «ведущего квартета» под уже пришедшую в движение японскую «палочку».

Секунды складывались в минуты, «палочка» опускалась все ниже, но Рожественский все так же шел строем двух колонн. По-видимому, надеялся на что-то. На чудо?

Эскадры сходились. Того, прямой и бесстрастный, держал «Суворова» в стеклах бинокля. А Рожественский, будто зачарованный видом неприятельской мощи, все медлил. Почему?!

Реконструируя происшедшее, можно представить его так.

Прошла минута, прошла другая. Утекла третья, а «музей образцов» все так же следовал в отдельной колонне. На четвертой минуте Того опустил бинокль — нужды в нем более не было, ибо Рожественский сам уже решил свою судьбу. Время, отпущенное ему на перестроение, истекло. Того мог торжествовать. Получалось, Рожественский перехитрил сам себя. Непростительное его промедление привело к тому, что «музей образцов» из приманки обратился в самую настоящую жертву. Теперь ничто не мешало Того уничтожить русскую эскадру по частям.

Надо отдать должное оперативности японского адмирала. Из драгоценных секунд он не упустил ни одной.

Того отказался от готовой «палочки над «Т» — без сожаления!

Он скомандовал немедленную перемену курса — на противника.

Рукояти телеграфа встали на «самый полный» и перегретый пар, брошенный в цилиндры, толкнул поршни с чудовищной силой. Расшибая волну, броненосцы набрали ход, чтобы как можно скорее «атаковать головные суда левой колонны».

То, что было дальше, Фальк назвал «скачкой вперегонки со временем». Сравнение красочное, тем более что дрожь палуб и режущий лица ветер добавляли напряженности и азарта. Однако в отличие от настоящих скачек результат гонки был предрешен. Того не то что предвидел финал — он знал его. Рожественский недопустимо промедлил, и теперь никакая сила, никакое чудо не могли помочь ему успеть совершить необходимое перестроение. Узлы хода и кабельтовы дистанции — все, втиснутое в расчет, работало на адмирала Того.

«Миказа», мощно вспахивая воду, достиг воображаемой линии, протянувшейся от «Князя Суворова» к Владивостоку. Пройдя ее в доли секунды, он устремился дальше, на левую сторону русского курса. За ним, с очередностью вагонов курьерского поезда, летели махины «Сикисима», «Фудзи», «Асахи»... Обернувшись влево, Того удовлетворенно кивнул — глядя в лоб флагманскому «Суворову», он отчетливо видел, что русские все еще идут в двух колоннах. Расчет, согласно которому Рожественский не мог успеть с перестроением, подтверждался блестяще.

В 2 часа 02 минуты (или в 1 час 42 минуты по русскому времени), когда вся японская линия перешла на левую сторону русского строя, Того довернул еще к зюйду. Теперь противники, имея друг друга в левых носовых четвертях, сближались встречными курсами. Расстояние между «Миказа» и русскими головными броненосцами стремительно сокращалось.

Можно представить себе, что в течение двух-трех следующих минут Того вообще не смотрел в направлении противника. Может быть, демонстрировал хладнокровие. Как бы ни было, вновь подняв стекла «цейсса», он не поверил глазам. Объекта атаки, левой колонны русских, больше не существовало. Не было у них и сумятицы спешного перестроения.

Первым, мощно расталкивая воду, вздымался флагманский «Князь Суворов», а за ним... Да! За ним, заканчивая выравнивать линию, шла в кильватер вся русская эскадра.

Произошло невероятное — Рожественский успел. Вместо разнокалиберного «музея» на Того надвигалась боевая линия, возглавляемая грозным «ведущим квартетом».

Чудо? Нет. Просто расчет Того был неверен, а хитрость Рожественского, обнажив скрытое до поры «второе дно», удалась превосходно.

«УСТУП». Мог Рожественский всерьез рассчитывать, что противник, за плечами которого сорок лет службы, семь лет обучения в Англии, пять войн и несколько морских сражений, с готовностью «клюнет» на примитивную приманку «музея образцов»?

Вряд ли. Тем более что отличительной чертой характера флотоводца Того была скорее разумная осторожность, нежели склонность к риску.

Надо полагать, что Рожественский не надеялся на немедленный результат, и демонстрация отделения левой колонны была лишь, если можно так говорить, демонстрацией его хитрости, это был камуфляж, прикрывающий истинную ловушку — «уступ».

Да, именно эта подробность русского строя была взведенной пружиной ловушки, подготовленной Рожественским. Впрочем, она заключала в себе и главный риск. Можно лишь догадываться, что творилось в душе адмирала в течение долгих пятидесяти минут, пока эскадра шла навстречу невидимому противнику строем уступа.

Удалось ли японским разведчикам разглядеть, что правая колонна русских продвинута вперед? Если удалось, сочли ли они необходимым доложить об этом адмиралу Того? И, если доложили, усмотрел ли Того в «небрежности» русского строя ее истинный смысл, чреватый для него опасными последствиями?

Теперь мы знаем, что Рожественский мог быть спокоен. Расстояние, мгла, стелющийся над морем дым и не слишком выгодный ракурс наблюдения способствовали тому, что Того «будто бы собственными глазами» увидел именно то, что и намеревался показать ему русский командующий, то есть правильный строй двух колонн. Важно, что даже после прихода русских в пределы видимости неприятельские наблюдатели не реагировали на «уступ», не различили его. Скорее всего, убедившись, что русские действительно идут в строе двух колонн, Того не дал себе труда измерить точное расстояние до головных «Суворова» и «Осляби».

«В правой колонне,— писал английский наблюдатель кэптен Пэкинхем,— неясно вырисовывались громады четырех самых больших броненосцев, по сравнению с которыми остальные суда казались пренебрежимо малыми».

Эта впечатлившая англичанина «громадность» головных броненосцев была обусловлена не чем иным, как их относительной близостью к японцам, ибо линейные размеры кораблей первой и второй колонн отличались незначительно — так, шедший впереди левой колонны «Ослябя» длиной даже превосходил адмиральского «Князя Суворова» (более чем на 10 метров!), и, поставленный с ним рядом, он ни в коем случае не мог бы казаться «пренебрежимо малым».

Характер «уступа» русских сам, что называется, лез в глаза, но Пэкинхем, об аккуратности и педантизме которого ходили легенды, ни словом не упоминает о какой-либо особенности строя Рожественского, молчаливо подразумевая, что это был правильный строй.

Если бы русские действительно шли в правильном строе двух колонн (то есть «Суворов» находился бы точно на траверзе левого головного — «Осляби»), то для исполнения маневра, которого ждал Того, правой колонне — 1-му отряду Рожественского — предстояло бы пройти вперед всю свою длину.

Вычисления адмирала Того были точны, однако посылка была неверная. Как и Пэкинхем, Того не видел, что правая неприятельская колонна уже продвинута вперед на половину своей длины и что для обгона «музея образцов» ей потребуется не 25 минут (расчетные), а вдвое меньше.

В 1 час 45 минут (по меридиану Киото) Того принял решение и скомандовал перемену курса — круто влево, навстречу русским.

Он не знал пока, что в его распоряжении нет и половины расчетного времени и менее всего мог предположить, что сам подгоняет свою эскадру в распахнутую дверцу ловушки.

В 2 часа 5 минут (тоже по меридиану Киото) балтийская эскадра закончила формирование линии и, грозно развернув башни на левый борт, изготовилась к встрече. «Уступ» Рожественского, не разгаданный противником до последней минуты, сработал точно в соответствии с замыслом. Ловушка, подготовленная русским адмиралом, захлопнулась.

«ТЕСНЫЙ УГОЛ». Роли противников поменялись, почти побежденный Рожественский воспрянул, а Того, почти торжествовавший победу, вдруг явственно ощутил могильный холодок поражения.

Да, именно так. Новая позиция японцев была не просто невыгодной, но в прямом смысле слова гибельной.

«В то время как Того рассчитывал, что в начальный период боевого соприкосновения корабли левой русской колонны будут закрывать его от прицельного огня правой, последняя уже завершала перестроение и выходила в голову левой колонны... Так что если бы Того не отказался от своего намерения и продолжал бы «спускаться» на контркурсах с русской линией, то в определенный момент броненосным крейсерам его арьергарда противостояли бы четыре броненосца типа «Суворов», и японские крейсера... в течение нескольких минут были бы разнесены в клочья».

Последнее верно. Не уступавшая русским в средствах нападения японская эскадра существенно уступала им в средствах защиты. Крейсера японского арьергарда, хотя и называясь «броненосными», не могли противостоять русским снарядам калибра 305 миллиметров, и потому прохождение на контркурсах «под розгами» прицельного огня было бы для них равносильно безусловной гибели.

Здесь, конечно, Того было уже не до жиру, быть бы живу. Движение навстречу русским означало катастрофу, разгром, потерю на первых же залпах половины корабельного состава. Спасением мог быть только поворот обратно, причем немедленный, ибо жерла русских пушек уже пришли в движение, нащупывая цель.

Скорейшим способом перемены курса был поворот «все вдруг», то есть одновременный поворот всех судов линии на 180°. Скорейшим, однако не лучшим. При повороте «все вдруг» порядок судов в колонне менялся на противоположный, и по окончании маневра флагманский «Миказа» оказался бы замыкающим, а линию возглавил бы последний из концевого отряда крейсеров. В результате Того со своим штабом оказался бы выключенным из руководства боем, ибо эффективное управление — из-за ненадежности и уязвимости тогдашних средств связи — мог осуществлять только головной корабль, и чаще всего по принципу «делай, как я».

Мог ли Того решиться на такое? Мог ли он сам, добровольно, в первые же секунды боя устраниться от командования и вверить «судьбу империи» какому-то младшему флагману, еще и ошарашенному внезапно свалившейся на него ответственностью?

Нет, ни в коем случае. К победе ли, к поражению, но в голове эскадры должен идти «Миказа», тем более что в глазах всей Японии флагманский корабль и сам флагман составляли нераздельное целое.

Значит, оставалось последнее. В 1 час 45 минут пополудни на фалах развернулся сигнал, предписывая эскадре поворот «последовательно» влево на обратный курс.

Того знал, что дарит противнику неподвижную точку пристрелки и драгоценные 15 минут. Он знал, что уступает Рожественскому важнейший первый залп. Он знал, наконец, что все орудия левого борта русской линии нащупывают сейчас одну и ту же цель — головного «Миказа» под флагом командующего Соединенным флотом.

Выхода, однако, не было. Из всех зол Того выбрал меньшее, хотя само по себе отнюдь не малое. Получалось почти как в сказке: прямо пойдешь — арьергард потеряешь, обратно пойдешь — голову расшибут...

Вот этот-то поворот, необходимую плату за одну лишь возможность спасения, маневр, посредством которого Того буквально уносил ноги, и оценили впоследствии как «блестящий образец» и назвали «маневром Того», по аналогии с «маневром Нельсона». Но слова остаются словами. А обратившись к фактам, видим здесь полную и решительную тактическую победу адмирала Рожественского. Хитрость его удалась, дерзкий замысел воплотился, и Того пришлось лихорадочно выбирать между поражением безусловным и поражением весьма вероятным.

Здесь можно было бы подвести черту. Ответы на все «почему» как будто получены, причины события ясны, и загадки «маневра Того» больше не существует. Однако...

Однако в 1 час 49 минут пополудни битва не кончилась, а только началась — выстрелом «Суворова». Результат известен. Сутки спустя Россия потерпела поражение, балтийская эскадра перестала существовать, было убито, утонуло, сгорело заживо и пропало без вести 5045 русских моряков. Вновь, хотя и по другому поводу, возникают «почему».

Почему бой, начатый с явным преимуществом русских, обернулся для них катастрофой? Почему начальный тактический выигрыш Рожественского не имел продолжения и не только не привел к победе, но и не позволил эскадре уйти от поражения?

ТРАГЕДИЯ. После того, как Рожественский привел эскадру в исключительно выгодную позицию, ведущая роль перешла к артиллеристам. В течение завоеванной адмиралом четверти часа им предстояло закончить пристрелку, перейти к стрельбе на поражение и нанести противнику возможно больший урон. Иначе говоря, реализовать созданное Рожественским тактическое превосходство.

Время 1 час 49 минут пополудни. Цель — неприятельский флагман «Микаса». За первым выстрелом «Суворова» согласно загрохотала вся эскадра. Часы ожидания истекли, наступил бой.

«Сердце у меня билось, как никогда... Если бы удалось!.. Дай, господи!.. Хоть не утопить, хоть только выбить из строя одного!» — вспоминал В. И. Семенов.

Пушки ревели, взбитая снарядами вода вставала стеной. Адмирал, впервые за долгие часы ставший лишь наблюдателем, молча стоял у прорези боевой рубки. Теперь ответственность за исход сражения целиком легла на артиллеристов.

«Я жадно смотрел в бинокль... Перелеты и недолеты ложились близко, но самого интересного, т. е. попаданий... нельзя было видеть: наши снаряды при разрыве почти не дают дыма, и, кроме того, трубки их устроены с расчетом, чтобы они рвались, пробив борт, внутри корабля. Попадание можно было бы заметить только в том случае, когда у неприятеля что-нибудь свалит, подобьет... Этого не было...»

Попаданий как будто не было. Японские корабли, последовательно проходя точку поворота, оставались как будто невредимыми. По мере их прихода на новый курс ответный огонь усиливался.

«Началось с перелетов. Некоторые из длинных японских снарядов на этой дистанции опрокидывались и, хорошо видимые простым глазом, вертясь, как палка, брошенная при игре в городки, летели через наши головы... После перелетов пошли недолеты. Все ближе и ближе... Осколки шуршали в воздухе, звякали о борт, о надстройки...»

Наконец повернул последний в японском строю — крейсер «Ивате». Время, отпущенное Рожественскому для решительного удара, истекло. Ни потопить, ни даже «выбить из строя хоть одного» русским артиллеристам не удалось. Позиционное преимущество окончательно перешло к неприятелю, огонь его креп, попадания учащались, и, хотя до формального окончания боя оставались сутки, участь русской эскадры была уже решена.

Казалось бы, ясно, что в предоставленные им четверть часа русские артиллеристы не смогли добиться главного — попаданий. Приведенные своим адмиралом в редкостно выгодные условия, они — увы! — оказались не на высоте и «провалили» бой.

Об этом впоследствии с горечью писал сам З. П. Рожественский:

«...Я ввел в бой эскадру в строе, при котором все мои броненосцы должны были иметь возможность стрелять в первые моменты по головному японской линии с расстояния прицельной их досягаемости для главных калибров... Очевидно... первый удар нашей эскадры был поставлен в необычайно выгодные условия... Выгода этого расположения нашей эскадры должна была сохраняться от 1 часу 49 минут до 1 часу 59 минут или несколько долее, если скорость японцев на циркуляции была менее 16 узлов. Но, без сомнения, наша неспособность воспользоваться этой выгодой лежит всецело на моей ответственности; я виноват и в дурной стрельбе наших судов и в том, что она не удержалась так, как я им предоставлял возможность держаться».

Так при невольном содействии самого адмирала, не дожившего до вскрытия некоторых поистине ошеломляющих фактов, родился еще один миф, наиболее правдоподобный и долговечный из всех: миф о никудышной боевой подготовке и якобы «дурной» стрельбе русских морских артиллеристов.

КАРТОННЫЙ МЕЧ. В 1892 году решением Морского технического комитета (МТК) на вооружение русского флота был принят облегченный артиллерийский снаряд, превосходящий по своим бронебойным свойствам все зарубежные образцы. За счет снижения веса начальная скорость снаряда была увеличена почти на 20 процентов, что позволяло поражать броню на невиданных доселе дистанциях — до 5,5 километра. Конструкция запальной трубки, которой снабжали новый снаряд, отвечала той же цели — улучшить его бронебойное действие. «Нарочито замедленное действие этого взрывателя предусматривалось для того, чтобы снаряд, пройдя первую... преграду, взорвался внутри корабля».

Новому снаряду, казалось, не было равных на всех флотах, и русские моряки всерьез считали, что располагают лучшим в мире оружием.

Никто не подозревал пока, что на первый взгляд прогрессивное решение МТК было на самом деле роковым и расплата за него наступит тринадцать лет спустя, в северных «воротах» Цусимского прохода. В отличие от русского японский снаряд не обладал повышенной бронебойностью. Прилежно следуя за английскими учителями, японские проектанты сделали ставку на фугасное действие разрывного заряда.

«Японские снаряды, не в пример нашим, рвутся не только от удара об твердый предмет, но и об воду, причем выпускают черный дым, дают массу осколков и поднимают громадный столб воды. Это, собственно говоря, не снаряды в нашем смысле, а прямо особого сорта мины, которые... производят одинаковый эффект как на дальнем, так и на ближнем расстоянии... Очень обидно и горько, что у нас не могли додуматься до такой простой идеи...» — писал в своем донесении командир крейсера «Олег» капитан 1-го ранга Добротворский.

«Казалось, не снаряды ударялись о борт и падали на палубу, а целые мины... Они рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в их полете. Поручень, бакштаг трубы, топрик шлюпбалки — этого было достаточно для всесокрушающего взрыва... Стальные листы борта и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей; железные трапы свертывались в кольца; неповрежденные пушки срывались со станков...» — вспоминал после Цусимского боя В. И. Семенов.

Так выглядело на практике то, что в книгах называется «сильнейшим фугасным действием». Ставка японцев не на бронебойность, а на силу взрывчатого вещества торжествовала успех. Пикриновая кислота — она же лиддит, она же знаменитая «шимоза» — исправно разрывала борта, вспучивала палубы, выкашивала людей смертельным разлетом осколков...

«А потом — необычайно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает! Я видел своими глазами, как от взрыва снаряда вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней! Такие трудногорючие материалы, как койки, чемоданы, сложенные в несколько рядов, траверзами, и политые водой, вспыхивали мгновенно ярким костром... Временами в бинокль ничего не было видно — так искажались изображения от дрожания раскаленного воздуха...» (Вл. Семенов. «Бой при Цусиме», С-Пб., 1912).

В довершение всего «шимоза» давала выброс удушливого дыма, который действовал, по сути, как отравляющее вещество. Люди, вдохнувшие его, умирали потом в мучениях...

На мостиках, палубах, в башнях и казематах русских броненосцев творился ад. В силу вступал еще один фактор, предусмотренный конструкторами «шимозы». По их расчетам, картины разрушений и смерти должны были нравственно сломить бойцов, и цельный организм экипажа должен был обратиться в скопище зараженных паникой существ, утративших волю и желающих лишь одного — спасения. Но вот эти расчеты не оправдались. Паники не было. Истекающие кровью, обожженные, отравленные газами русские моряки не покидали постов до конца, и орудия, которые могли стрелять, стреляли.

Нет, дух экипажей не был сломлен. До последних мгновений люди верили, что они платят смертью за смерть, что снаряды их попадают в цель и что на японских судах — несомненно! — творится нечто подобное. И что, возможно, пе-

релом близок, и надо лишь продержаться, потерпеть, пересилить, превозмочь, выдюжить.

Увы. Ни стойкость, ни мужество, ни даже профессиональное умение не могли перевесить неравенства средств, ибо ответный ущерб, наносимый неприятелю русскими снарядами, был ничтожен.

Прежде всего сказались дистанции боя. Расстояние между противниками превышало предельные 5,5 километра, и потому главное свойство облегченного русского снаряда — его бронебойность — переставало работать. Ни русский, ни какой-либо другой снаряд в мире не мог пробить на этих дистанциях лист 203-миллиметровой крупповской брони.

Во-вторых, конструкция взрывателей. Их «нарочитое замедление» приводило к тому, что при попадании в небронированные поверхности русский снаряд пронзал оба борта навылет, не успев взорваться.

В-третьих, фугасное действие пироксилина. Оно (особенно в сравнении с японской «шимозой») было чрезвычайно слабым. Даже если взрыватель «с замедлением» ухитрялся сработать, то разрыв заряда причинял неприятелю ничтожные повреждения. Ни о настоящем фугасном, ни об осколочном, ни тем более о зажигательном действии русских снарядов не могло быть и речи.

В-четвертых, наконец, заполнявший снаряд пироксилин имел повышенную влажность (до 30 процентов), и, даже когда взрыватели срабатывали нормально, добрая половина русских снарядов не разрывалась.

«Выйдя на верхнюю палубу, я прошел на левую сторону между носовой 12-ти- и 6-дюймовыми башнями посмотреть на японскую эскадру...

Она была все та же!.. Ни пожаров, ни крена, ни подбитых мостиков... Словно не в бою, а на учебной стрельбе! Словно наши пушки, неумолчно гремевшие уже полчаса, стреляли не снарядами, а... черт знает чем!.. С чувством, близким к отчаянию, я опустил бинокль...» (В. Семенов).

Ни сам Семенов, ни кто-либо еще из русских моряков не подозревали тогда об истинном соотношении сил, обусловленном качеством оружия. Точный анализ, проведенный десять лет спустя, вскрыл поистине ошеломляющую картину. Выяснилось, что по весу выбрасываемого в минуту взрывчатого вещества (главный поражающий фактор) японцы превосходили русских не в два, не в три, не в пять, но... в пятнадцать раз! Если же учесть относительную взрывную силу «шимозы» (по сравнению с пироксилином бо́льшую по крайней мере в 1,4 раза), соотношение в пользу Того и вовсе устрашает — больше, чем двадцать к одному! И это при условии «штатной» сухости пироксилина и нормальной работы взрывателей, то есть если бы разрывался каждый из русских снарядов, попавших в цель. Введя еще одну поправку, получаем, что соотношение сил в пользу японцев — до тридцати к одному!

Благословляя моряков «кровью смыть горький стыд родины», царское правительство вручило им картонный меч. Ни искусство адмирала, ни мастерство специалистов, ни стойкость и мужество команд не могли спасти от гибели эскадру, посланную в бой с преступно негодным оружием.

Но что же все-таки русские артиллеристы? Действительно ли их подготовка была никуда не годной, а стрельба «дурной»? Нет. И японские корабли «вовсе не были такими невредимыми, какими казались», говорят историки, основываясь на свидетельствах очевидцев.

Прежде всего для многих, кто находился на палубах японских кораблей, «маневр Того», вовсе не показался «блестящим образцом», ведь сразу же вслед за поворотом «Микасы» дал себя почувствовать сосредоточенный русский огонь.

«Первый пристрелочный выстрел с «Суворова» дал перелет, но вскоре верный прицел был найден, и, согласно наблюдениям находившегося на борту «Асахи» британского морского атташе, русские снаряды хорошо ложились вокруг японских броненосцев. Припомнив похвальные отзывы о русской стрельбе и наблюдая «хорошую точность» и «кучность» огня русских броненосцев, британский атташе готов был думать, что Того загнал свои корабли в безвыходный «тесный угол», читаем мы в книге Вествуда «Свидетели Цусимы». Вот что писал сам этот вышеупомянутый атташе, кэптен Пэкинхем:

«Первый пристрелочный выстрел Рожественского лег всего лишь в двадцати двух ярдах (около 20 м, меньше ширины корпуса броненосца!) по корме «Микасы»... и быстро последовавшие за ним другие русские снаряды ложились почти так же близко... Часть русского огня преследовала «Микасу» в то время как остальная часть, постепенно усиливаясь, концентрировалась в точке японского поворота. Я с интересом наблюдал, как каждый последующий корабль приближался к «горячей точке» и входил в нее, с удивительным везением избегая серьезных повреждений».

Как видим, о «дурной стрельбе» нет ни слова. Напротив, отмечена четкая концентрация огня в двух точках, причем в считанные минуты! Что же касается «удивительного везения» японцев, то здесь Пэкинхем вполне искренен,— он не мог знать, что русские снаряды почти безвредны. Между тем «первые русские залпы избавили японцев от приятных иллюзий. В них не было и намека на беспорядочную пальбу, напротив, для дистанции в 9 тысяч ярдов это была необычайно точная стрельба, и в первые же несколько минут «Миказа» и «Сикисима» получили ряд попаданий шестидюймовыми снарядами. Того, отдав команду, уже не мог отменить маневра, и потому ощутил неприятную тревогу».

И вот, наконец, что по тому же поводу писал уже знакомый нам Эдвин Фальк, биограф и почитатель таланта адмирала Того:

«Процент попаданий у русских был низок, однако их снаряды столь плотно ложились вокруг японского флагмана, что тот терпел попадание за попаданием». Отмечая факт, американский историк почему-то стесняется быть точным. Дело в том, что особой «плотности» русского огня быть не могло, ибо стреляли по «Миказа» только пять головных судов, а остальные семь сосредоточили огонь по точке японского поворота. Следовательно, те «попадание за попаданием», которые Фальк не в силах отрицать, могли быть обусловлены только исключительной точностью русской стрельбы. Кстати, судя по японским источникам (которые склонны занижать собственные повреждения и потери), «Миказа» получил в этом бою около тридцати попаданий снарядов крупных калибров.

Много это или мало?

Если учесть, что успех артиллерийского боя всегда «питает сам себя» и что разрушения на русских кораблях нарастали лавиной (пожары, гибель людей, выход из строя орудий и приборов управления огнем), то можно с высокой степенью уверенности заключить, что большинство попаданий «Миказа» получил в краткие минуты полной интенсивности русского огня, то есть во время «маневра Того». Тем более что по завершении поворота «Миказа» занял позицию в голове японской «палочки» и с тех пор находился в зоне досягаемости лишь одного-двух русских головных броненосцев (которые, кстати, более остальных терпели от сосредоточенного японского огня).

«Шестидюймовая бортовая броня «Микасы» была дважды пробита русскими снарядами с дистанции 8000 метров, и примерно в это же время (на протяжении первых 15 минут боя.— **В. Ч.**) 12-дюймовый снаряд разорвался на правом крыле мостика, едва не задев осколками самого Того».

Нетрудно представить, что осталось бы от мостика и от командующего Соединенным флотом, если бы начинкой русского снаряда была «шимоза»! И это в первые минуты боя, в самом начале того, что было признано впоследствии «блестящим» японским образцом!

От русского огня терпел не только «Миказа». Русских попаданий (судя по отметинам, их было всего 150) не избежал ни один из японских кораблей. «Броненосный крейсер «Асама» был вынужден покинуть линию уже в 2 часа пополудни (то есть на протяжении тех же 15 минут! — **В. Ч.**), после того как три последовательных попадания вывели из строя его руль». Так обошелся «Асаме» почти мгновенный его проход через «горячую точку». Что было

бы с ним да и с остальными судами японского арьергарда, если бы русские снаряды взрывались, а не просто долбили металл «мертвым весом»?

«Вполне возможно,— полагает Вествуд,— что если бы разрывалась большая часть русских снарядов (если хотя бы пироксилин в них не был сырым! — **В. Ч.**), то результат сражения мог бы стать иным».

Нет, орудия эскадры стреляли не в белый свет. Адмирал был неправ, принимая на себя вину. Упрека не заслужил ни он сам, ни его подчиненные. Русские артиллеристы оказались на высоте и вполне достойными своих товарищей со славных «Варяга» и «Стерегущего». Но им вручили «картонный меч».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Победителей не судят. Побежденных же, напротив, вправе осудить любой. Едва лишь известия о разгроме достигли обеих столиц, как вновь в газетах запестрела фамилия «Рожественский».

Кто должен понести личную ответственность за гибель тысяч людей, потерю флота и постигший Россию национальный позор?

Получивший четыре тяжелых ранения (в том числе и проникающее ранение черепа) и впавший в беспамятство адмирал был снят с погибавшего «Суворова» подошедшим миноносцем и сутки спустя попал в японский плен. Затем месяцы лечения, путь через охваченную революцией Россию в Петербург.

Весь остаток жизни был для Рожественского прямым продолжением цусимского ада. Пресса, незримо, но умело направляемая господами «из-под шпица», объявила его главным и едва ли не единственным виновником национальной катастрофы.

«Это были господа, отнюдь не исповедовавшие идеи «зло для зла»... Цели их были чисто практические, «шкурные». Надо было во что бы то ни стало сохранить в общественном сознании ту картину боя, которая была наспех, в первые же дни создана патентованными стратегами... Ведь если бы... выяснилось, что не отсутствие таланта и тем более мужества и самоотвержения, а полная негодность оружия, с которым люди, верные долгу, были посланы не в бой, но на бойню, были причиной этого неслыханного разгрома? Если бы каждому до очевидности ясно стало, что виноваты не те, что «не все погибли», а пославшие их на бесславную гибель? Что бы случилось? Что могло бы случиться? Какими последствиями могло бы грозить такое просветление общественного сознания для господ, мирно проживающих под шпилем адмиралтейства и даже вне его?..» — спрашивал позднее В. И. Семенов, вспоминая обстоятельства Цусимского боя (Семенов В. И. «Цена крови». С-Пб., и М., 1910 г.).

Впрочем, многие современники заблуждались искренне. То, что истинным победителем в Цусимском бою оказалась неодушевленная «шимоза» и что, таким образом, сугубо техническая частность свела на нет блестящий успех флотоводца, не умещалось в сознании морских теоретиков «доцусимской» школы. Верно оценить происшедшее мешали сложившиеся еще во времена паруса «вечные и неизменные» принципы...

Россия получила жестокий урок. К чести ее, несмотря на потуги господ «из-под шпица» свалить все на личность, выводы были сделаны правильные. Однако тот, кто так дорого заплатил за науку, не увидел возрожденного флота.

Бывший командующий пережил свою эскадру на три года семь месяцев и семнадцать дней. В ночь на новый 1909 год сердце его остановилось.

...Провожавших было немного — родственники, близкие друзья и те, кому полагалось по службе. Печальную колесницу сопровождал по Невскому батальон лейб-гвардии Семеновского полка. Гроб был покрыт Андреевским флагом, поверх его утвердили парадную треуголку адмирала и перекрещенную с ножнами шпагу. Падал редкий снег, было морозно.

Процессия долго шла до ворот Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры. Там тело предали земле, и над последним пристанищем адмирала треснул винтовочный залп салюта. Моряк и честный воин, способный в иных обстоятельствах умножить славу русского флота, закончил свой путь.

Юрий Оклянский

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФЕДОРА АБРАМОВА

(К СЕГОДНЯШНИМ СПОРАМ)

Наверное, всегда не вредно помнить о мудрости, остерегающей, чтобы вместе с водой не выплеснуть из ванны и ребенка. Слишком уж часто преуспевала в этом критика. Однако в эпоху застоя больше в чести были другие навыки и нравы. Многие настропалились так высоко взбивать мыльную пену, что и крупную величину бывает за нею не углядеть.

Вот не так давно изданная (1987) книга — литературный портрет действующего среди нас мастера, чьи герои — люди деревни. Книга оповещает, что в ней рассматривается «творчество крупнейшего писателя современности».

Или вот вступительная статья к Собранию сочинений (1981) здравствующего патриарха современной литературы. Статья уведомляет, что читатель знакомится «с творчеством одного из крупнейших писателей XX столетия».

Слов нет, оба современника достойны немалых похвал. Но все-таки... Поневоле вспомнишь, как лет сто с лишним назад некий льстец, встретив на общественном рауте тогдашнюю знаменитость Петра Боборыкина, сказал ему: «Вы лучший писатель России!» — но, заметив в зеркале поднимавшегося по лестнице Чехова, живо обернулся и добавил: «И вы тоже!»

Меньше всего хочу бросать тень на труды собратьев по перу. Меня интересует другое — состязательность комплиментов в современном научно-критическом обиходе.

Как же на бирже этих величаний и похвал «зазеркалья» должен котироваться ныне Федор Абрамов? В особенности среди неослабевающего к нему читательского внимания и даже ажиотажа, который он вызвал как один из провозвестников перестройки? В обстановке своеобразного «абрамовского бума» последних лет?

Как же назвать его?

Подходящие слова не замедлил найти Феликс Кузнецов. На первых же страницах своей работы он определяет Ф. Абрамова как «...писателя общенародного, общегосударственного и — не боюсь сказать — мирового значения» [1].

[1] «Новый мир», 1985, № 6, с 231.

Работа Ф. Кузнецова посвящена по преимуществу публицистике Абрамова, но критик затрагивает почти все творчество писателя. Статья содержательна, украшают ее и мемуарные вкрапления. Но по прочтении остается привкус, как в детстве, когда пересосал дешевых леденцов. Тона преобладают сугубо величальные. Нет даже попытки отметить издержки и слабости произведений значительного художника.

Между тем в глубоком, непредвзятом исследовании было бы больше уважения и нему. Еще «не прочитано», в частности, осмысление им находящейся ныне в фокусе общественных интересов темы сталинизма. Оно у Абрамова глубоко и своеобразно, недаром писателя называют среди тех, кто своими книгами и судьбой, подобно А. Твардовскому, Ю. Трифонову, А. Яшину, В. Тендрякову, В. Шукшину, выстрадал нынешние перемены.

Характеры и коллизии, развитые Абрамовым в его летописи послевоенного разорения деревни, вместе с новыми публикациями А. Платонова, В. Гроссмана, А. Бека, А. Рыбакова, Б. Ямпольского, Л. Чуковской и других писателей помогают постичь многоликую и разветвленную природу сталинизма, его социальные и психологические превращения.

Совсем не эффектно, чаще неторопливо, изо дня в день, как натужный труд пахаря в борозде и обычный круговорот сельской жизни, текут события в романах Абрамова. «Братья и сестры» — весна и лето 1942 года. Всего несколько месяцев военного лихолетья в глубоком тылу России... «Две зимы и три лета» — первые послевоенные годы. Как короткая зарница, мелькнула радость Победы и снова — тяжкая борьба за жизнь, изнурительный труд. А три года спустя — события следующего романа «Пути-перепутья», год 1951-й, когда, как судачат между собой пекашинцы: «Академики какие-то... Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить...», а сам товарищ Сталин «...им мозги вправлял». Разгул и, пожалуй, один из высших пиков барского пренебрежения к деревне и сталинских методов руководства страной...

«Пути-перепутья» (1972) — роман по преимуществу социально-политический. И недаром в качестве одной из главных фигур на передний план повествования выдвигается секретарь райкома — «первач» Подрезов, история его жизни, многие лица из партийной и хозяйственной иерархии, его среда, окружение.

Подрезов — убежденный и ярко выраженный сталинист. В романе есть образ, олицетворяющий собой то, к чему влечется его гражданственная страсть, в ком видит он идеал политического деятеля. Образ этот открывается читателю в самом конце книги, и он почти гротесковый. Оказывается, Подрезов в своей районной столице давно уже ощущает себя маленьким Сталиным. Он даже и шинелью обзавелся сталинско-ворошиловского покроя, длиннополой, с огромными отворотами на рукавах, какую носили в двадцатые годы. И бывали минуты, когда он, как с богом, мысленно беседовал с любимым вождем.

Нерассуждающая энергия, фанатизм, культ воли, упование на командно-административные методы руководства, догматическая фразеология при достаточно беспринципном практицизме («любой ценой», «цель оправдывает средства»!), двоемыслие и двоедушие, психология раболепия и трепета перед вышестоящими при нередком попутном самовозвеличивании («вождизм»), пренебрежение к запросам и потребностям масс с непрестанными посулами и обещаниями «светлого будущего» — таковы характерные черты этого общественного типа.

Ко времени, когда писался роман «Пути-перепутья», литература уже создала образы руководителей такого склада. Таковы директор завода Вальган из романа Г. Николаевой «Битва в пути» (1957), верховод нескольких отраслей тяжелой индустрии, а затем посол Онисимов из романа А. Бека «Новое назначение» или комиссар Гетманов в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Конечно, возможен сталинизм и без Сталина, но большинство сталинистов обожествляет в своем кумире достигшую высшего совершенства идею единоличной власти.

В романе Ф. Абрамова «Пути-перепутья», пожалуй, впервые в нашей литературной печати с равнозначной психологической тщательностью и многоплановостью изображен не хозяйственный руководитель сталинского толка, а политический деятель, партийный работник. Причем художественно обследованы корни этого явления не в городе, а в деревне. И что особенно важно и чего нет даже в приблизительной степени ни в одном из названных произведений, прослежены повседневные и длительные отношения такого руководителя с самой низовой массой. Его постоянное воздействие и влияние **на народ**.

Подрезов — человек местный, «корневой», уроженец самого глухого уголка в северной лесной стороне. Народная закваска сказалась не только на внешнем облике, могучем, даже богатырском сложении Евдокима Поликарповича, но и во многих его наклонностях и привычках. Знание местных условий, огромная энергия и воля — вот самые сильные его козыри в руководстве людьми.

Подобно Вальгану и Онисимову, Подрезов — «вождист» первого призыва, вся его сознательная жизнь прошла в десятилетия, когда у руководства страной стоял Сталин. В романе есть даже точная дата — Подрезов впервые ступил на общественное поприще в 1924 году, семнадцати лет.

Свою внутреннюю философию Подрезов держит про себя, высказывает неохотно. Прорывается она разве лишь иногда, в общениях с людьми, которым он доверяет. Таковы застольный спор с Анфисой и разговор во время ночевки у реки с председателем колхоза Лукашиным — сцены, ключевые в романе. Затронута тема, самая больная и тяжелая для тогдашней деревни, — «выгребаловка» подчистую.

Первый разговор происходит в гостях у Лукашина, затевает его Анфиса Петровна, былой «бабий председатель» военных лет. Она напоминает Подрезову о тех временах, когда они здесь, на Пинеге, «фронт держали» и когда секретарь райкома подбадривал изнуренную и оголодалую массу обещаниями: «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть...» И вот уже шесть лет, как мир, а в колхозах по-прежнему устраивают «выгребаловку», райкомовские «...уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят», чтобы колхозники даже в голенищах сапог не унесли горстки зерна, люди работают за палочки в ведомости, а «...бабы все еще.... досыта куска не видели...»

Ссылки на последствия войны стали для заезжих понукальщиков удобной отговоркой. «Да ведь войны-то и раньше бывали, — горячо высказывается Анфиса Петровна. — После той, гражданской, уж на что худо было... А года два-три прошло — ожили».

«Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?» — в упор спрашивает Подрезов. — «А сам-то ты не знаешь! — сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза Подрезова».

Кроме надоевших ссылок на последствия войны, Подрезов ничего на это возразить не может. И заканчивает неожиданным признанием: «Я тебе только одно скажу, Анфиса... Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю».

Надо перенестись в обстановку тех лет, чтобы оценить смелость такого заявления. Не только для Анфисы, но и для многих пекашинцев подобные слова — откровение. Они-то считают, что плохо только у них. Газеты полны победных сводок, по радио звучат бравурные марши, в кино из бункеров колхозных

комбайнов текут реки отборной золотистой пшеницы, которые слагаются в моря и океаны... Страна купается в изобилии! Даже динамик в колхозном клубе гремит хоровой песней из кинофильма «Кубанские казаки»: «Налетай, не сеевай, наступили сроки — урожай мой, урожай, урожай высокий!»

Откуда же им тут, в лесной глуши, знать, что происходит на самом деле? Может, плохо только у них в районе да еще в двух-трех соседних, на худой конец, в области. А уж дальше, конечно, — «большая жизнь», та, которая в книгах, в кино, в газетах, на лекциях и в песенных хорах...

Надо сказать, что пекашинцы ввиду удаленности и лесной обособленности их мест вообще осведомлены хуже, выражаясь современным языком, информированы меньше, чем иные сограждане, хотя и те тоже, конечно, похвастаться информированностью не могли. И поэтому с особой доверчивостью попадают во власть казенно-бюрократических легенд и выдуманных идиллий о положении в стране. Недаром и Михаил Пряслин, и Илья Нетесов, да и сама Анфиса так томятся по этой «большой жизни», которая якобы обошла стороной Пекашино. Их жизнь здесь, в Пекашине, «неиастоящая», а вот там, где-то за лесами, есть жизнь настоящая...

«Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался глазами на центральную газету... Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах... А что в Пекашине? Какая жизнь?» («Две зимы...»)

Казенные легенды о благополучном положении в стране и успешной политике, проводимой сталинским руководством, владеют умами лучших пекашинцев — эта мысль последовательно выражена в романах Ф. Абрамова. И когда Анфиса, Михаил Пряслин или даже Лукашин совершают некоторые опрометчивые и ложные шаги на общественном поприще, то ли притесняя верующих, то ли подключаясь к несправедливым гонениям на бывшего военнопленного, то ли ужимая и без того лишенных укосов владельцев личных коров, они действуют так чаще всего по неосведомленности, доверясь официальным представлениям, не умея противостоять им, не до конца сознавая, что делают.

Но есть человек, который лично или через своих подчиненных подталкивает и нацеливает их на это, — высший авторитет в районе, представитель этой «большой жизни». С него и спрос другой. Он политик, он читает закрытые бюллетени, слушает доверительные инструктажи, он лицо приобщенное, информированное. Он з н а е т. И он первым протыкает намалеванный задник парадных декораций, произнося смелые и ошарашивающие слова: «В других краях и областях не лучше живут».

Какие выводы должны следовать отсюда?

Разговор о «выгребаловке» продолжается у Подрезова с Лукашиным в тот же день на речной ночевке в лесу.

«А в общем-то я обманщик...— неожиданно признается сам Подрезов.— Права твоя Анфиса...» И продолжает: «Накормить людей досыта — это всем задачам задача. Посмотри, ведь что у нас делается... Десять лет у людей на уме один кусок хлеба...» — «Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим...— подхватывает его мысль Лукашин.— Ленин после той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд...»

Два руководителя ведут, по существу, разговор о политике продразверстки, свойственной природе «военного коммунизма», да и любого «казарменного коммунизма», которая проводится в деревне начала 50-х годов. А Лукашин осторожно подталкивает собеседника к мысли, что не худо было бы заменить произвольную «выгребаловку» (продразверстку) экономически обоснованным продналогом, как предложил Ленин после гражданской войны, объявив о рыночной политике нэпа...

Подрезов на подобные доводы только «...промычал неопределенно... и поглядел по сторонам». «И Лукашин поглядел». Действительно, разговор рискованный. 1951 год. Страх висит, кажется, над собеседниками даже в лесном уединении. Оба ощущают себя мало что сеятелями крамолы, едва ли не заговорщиками.

Подрезов, как хочет показать автор, — искренний, добросовестный сталинист. Он предан делу, как его понимает. Недаром стены его домашнего кабинета как главными трофеями жизни обклеены плакатами военных лет, среди которых выделяется известное изображение пожилой женщины, в платке, чье гневное лицо озарено последним, решающим призывом — «Родина-мать зовет!». Ведь это Подрезов, а не кто-то другой, с конца 1942 года командовал «бабьей войной» в районе.

Однако же Подрезов не отделяет свою «деревянную столицу» от себя, здесь он хозяин, удельный князек, для которого «государство — это я». Ради то ли своих, то ли районных амбиций он способен и на такие сделки с совестью, которые граничат с преступлением (очковтирательская история заведомого завышения сырьевой базы Сотюжского леспромхоза или близкая ей по духу многолетняя эпопея «потайных хлебов», то есть дополнительных, нигде не учтенных земель, засеваемых не без его ведома в образцово-показательном колхозе, и т. п.). Он железной рукой проводит самые разрушительные и вредоносные для дерев-

ни директивы (например, сеять хлеб в мерзлую землю), чтобы только его район и он сам занимали подобающее место в общем строю.

При всем том, по замыслу автора, Подрезов кто угодно, но только не оголтелый карьерист. Он искренне полагает, что служит самым возвышенным общественным целям и что служить им иначе нельзя, других способов пока не найдено, а изыскивать и выдумывать некие особые пути не его ума дело.

Иначе говоря, как хочет показать романист, Подрезов — человек **лично порядочный.** Все его пороки и беды, нравственные метаморфозы и грехопадения как в частной жизни, так и на общественном поприще проистекают от самой логики той бесчеловечной системы идеологических понятий и того неправого дела, которому он взялся служить.

Такое желание оценить методы «культового» руководства, его философию, этику и управленческую практику как бы вне всяких поползновений героя на их корыстное и карьеристское использование, стремление художественно исследовать эти взгляды и способы поведения, что называется, сами по себе, «в чистом виде», были в какой-то мере характерны для литературы после XX съезда партии. Известное жизненное оправдание таких трактовок заключалось разве в том, что героями избирались сталинисты «первого призыва», еще не растратившие искренности убеждений.

Людьми «лично порядочными» изображены и литературные собратья Подрезова — и Вальган, и уж тем более Онисимов... Последний отличается особенной щепетильностью. Его внутренняя чистоплотность передается в романе через его почти болезненную опрятность (черта в духе Андрея Болконского!). Кроме как в совершенно белоснежной, безукоризненно накрахмаленной сорочке, что постоянно отмечает А. Бек, он и на людях не появляется, а на новой дипломатической службе тут же, без нужды, отказывается даже от положенных ему надбавок к зарплате...

Более зрелое и глубокое осмысление подобного жизненного явления мы находим в образе комиссара Гетманова в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

С углубленной психологической тщательностью В. Гроссман показывает, как, казалось бы, самые несочетаемые личные свойства руководителя сталинского типа уживаются с его общественной позицией. В обворожительной искренности рубахи-парня, с какой Гетманов восторгается воинским мужеством своего сотоварища — комкора Новикова, целует его и почти одновременно строчит на него донос (после того, как Новиков, сберегая людей, на восемь минут задержал ввод танков в Сталинградский прорыв), есть даже нечто поражающее воображение. Это — **державное** поведение. Дескать, как личность я восхищен, но как должность — клеймлю и уведомляю.

Столь же искренне, оставаясь самим собой, Гетманов обладает способностью быть сразу и «слугой народа», и худшим сатрапом.

Срезая у себя в обкомовском кабинете последние граммы с колхозных трудодней, ужесточая нормы выработки на производстве и повышая розничные цены, подстегивая с помощью партийных накачек и «раздраев» подчиненных, Гетманов где-нибудь у крыльца сельсовета или в заводском цеху растроганно вздыхает с колхозниками или работницами об их нелегкой доле, сокрушается по поводу нехватки продуктов питания и тесноты в общежитиях. Никаких нравственных сомнений и вопросов для него в этом нет.

Гетманов — политический игрок, действующий по сценарию долголетней и большой политической игры, режиссерские нити которой стянуты в Кремле. Демагогическая система идеологических понятий и фраз — родная стихия для Гетманова — не только не стесняет, но и открывает простор энергии карьеризма. Присущий этой системе разрыв слова и дела включает в себя и многоликую театральщину в поведении руководителя.

Главное для Гетманова — власть и карьера. Большинство же остальных душевных движений и поступков, как выясняется в конечном счете,— лишь очередные роли «на публику», которые искренне и небездарно исполняет Гетманов.

В романе «Жизнь и судьба», содержащем мощное художественное обличение всей идеологической, нравственной и поведенческой системы сталинизма, В. Гроссман уже не питает никаких иллюзий насчет «личной порядочности» долгие годы процветающих политиков сталинского толка.

Более того. Как убедительно показывает романист, сталинизм — это не просто идейное заблуждение, ошибочная система понятий и чувствований, но преступная идеология, которая с легкостью втягивает вверившихся ей руководителей в запутанные лабиринты неизбежных сделок с совестью, закулисных махинаций и бесчеловечных деяний, прямой уголовщины.

Фигурально говоря, для Гроссмана уже не существует традиционных «двух сторон» в оценке Сталина и сталинизма — положительной и отрицательной. В преступной идеологии незачем выискивать плюсы. Потому что злодеяния и беды, принесенные сталинизмом, не идут ни в какое сравнение с теми уступками общенародным интересам, разуму и прогрессу, к которым он вынужденно прибегал ради самоспасения и маскировки. А это уже та степень бескомпромиссности взгляда, до которой мало кто поднимался из писавших одновременно с В. Гроссманом романистов.

В самом деле, в подчеркнутом противопоставлении пагубной общественной позиции и личной порядочности героя,

которое в фигурах Вальгана и Онисимова так или иначе проводят Г. Николаева и А. Бек, есть все-таки нечто искусственное. К идеализации личных достоинств Подрезова приходится не раз прибегать и Ф. Абрамову. Реалистическое психологическое письмо в обрисовке характера нередко сменяется в таких случаях аляповатыми романтическими напластованиями в духе невысокой беллетристики.

Романы Г. Николаевой и А. Бека, писавшиеся под воздействием идей XX съезда партии, кончаются однотипно: герои сходят со сцены. Вальган терпит служебный и общественный крах, а Онисимов умирает от неизлечимого недуга. Развитие болезни совершается параллельно осознанию героем безвыходного тупика его внешне почти безукоризненной, а по сути глубоко неправедной жизни. Нечто подобное происходит и с героем романа «Пути-перепутья». События в произведениях Г. Николаевой и А. Бека совершаются вскоре после смерти И. В. Сталина. Со смертью вождя, хотят сказать романисты, часы истории пробили конец и самому сталинизму, главнейшим его понятиям, этическим нормам и методам руководства.

В жизни, как мы знаем, все оказалось гораздо сложнее. И не только по длительности и протяженности переходной исторической полосы, которую в реальности, по-видимому, суждено занять этому процессу. Главное — в другом. В конце 50-х и 60-х годах еще лишь отдаленно сознавалось, что сталинизм — это не только конкретные лица с присущими им образом мышления, поведения и командно-административными методами руководства. Но вместе с тем и прежде всего это определенная социальная структура, система производственных и общественных отношений, законоположений и социальных институтов, которые, доколе они существуют, будут с неизбежностью порождать в новых и новых формах все те же по сути взгляды, понятия, способы поведения и командно-административные методы управления. Так что новые «наследники Сталина» будут и дальше являться независимо от того, связывают ли они сами свою деятельность с этим именем, или нет.

Осознание этого факта стало очевидным в нашей стране лишь три десятилетия спустя. Да и поныне сопровождается нередко попытками свести сложную и трагическую реальность к идеологическим стереотипам. Дурманящему соблазну поддаются порой даже и смелые головы.

Один из примеров тому — статья уважаемого мною писателя «Очевидная несовместимость», где автор заново стремится обосновать распространенный тезис: «Нет, социализм и сталинизм — понятия и категории несовместимые» («Московские новости», 1988, 24 апреля). Но совмещались же?! Более того, сталинизм и есть казарменный социализм.

Вот почему полезно, мне кажется, не ограничиваться благородными, но отвлеченными понятиями, а включиться в начавшееся ныне уяснение — в чем заключаются сущность и особенности заложенной Сталиным системы управления, хозяйствования и духовной жизни.

Ф. Абрамов поставил эти проблемы уже в 60—70-е годы, в том числе в завершающем пекашинскую хронику романе «Дом» (1978).

Материально жизнь пекашинцев сильно изменилась за те двадцать лет, что отделяют действие в этом произведении от романа «Пути-перепутья». Устранены самые кричащие несправедливости прежней поры, в деревню перекачаны огромные государственные вложения. Пекашино стало «сытым». Но многое ли изменилось в главном — в труде, в народовластии, в методах руководства сельским хозяйством?

После Подрезова на посту первого секретаря райкома уже в хрущевские времена долго работал выпестованный им Фокин. Это при нем, стало быть, Михаил Пряслин, как и все пекашинцы, три года подряд добросовестно пытался переселить южную «королеву полей» — кукурузу в здешние суровые края, а когда убедился в бесплодности затеи и возроптал, то «...Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров».

Некогда Подрезов закручивал выполнение плана весенних работ так, что вынуждал пекашинцев сеять зерно в мерзлую землю, а два десятилетия спустя, при его преемниках, для выполнения плана по пахоте трактора выворачивают глину наверх на полметра, и, как с содроганием наблюдает Михаил, семена лежат, «как в могиле», под глиняными плитами, которые «...не то что ростку — мужику ломом не пробить».

При Подрезове, даже в самые безлюдные военные годы, поля в лесу — навины — распахивались и засевались. Бабы и подростки по клочку отстаивали их от лесных зарослей. А во что теперь превратились «пекашинские гектары Победы»? В заболотины, в рощи осинника, через которые пришедший сюда Михаил едва может пробраться. «Хорошо растет осинник на слезах человеческих!» — вырывается у автора.

А Таборский из романа «Дом», управляющий отделением совхоза (так преобразован и наречен теперь былой пекашинский колхоз)!.. Он мягко стелет, да жестко спать. Опирается на местную «жулябию», как прозвал Михаил группу спевшихся руководителей. Низовая руководящая мафия застойных времен очень точно обрисована в романе Ф. Абрамова. «Как спелись, сволочи...,— замечает Михаил,— так и продолжают жить стаей. И только наступи одному на хвост — сразу все кидаются». Если надо, то умеют и «руками народа заткнуть

глотку». Михаил пытается вывести на чистую воду развалившего хозяйство Таборского — и на него тотчас поступает в райком «коллективка» за подписями девяти механизаторов: «Примите меры... Срывает и дезорганизует...»

Руководит же Таборский еще более самочинно и бесконтрольно, чем командовали некогда председатели колхоза Лихачев и Першин. Да к тому же теперь и формально не подотчетен рядовым пекашинцам, а по службе и вовсе «непотопляем»...

Так что же лучше — улыбчивые и дипломированные чиновники типа Фокина и Таборского или крутой, неотесанный, но самобытный выдвиженец Подрезов? Разница, конечно, есть. Но это разница оттенков, свойств личностей, принятых стереотипов поведения, а никак не сущностей социальных явлений, которые воплощены в этих характерах и составляют их определяющую и главную черту.

Фокин и Таборский во всех смыслах — законные преемники и наследники Подрезова. А если уж брать глубже, то все они принадлежат к разноликой генерации, восходящей к общему духовному отцу, тому самому, который неспроста именовался гениальным вождем всех времен и народов, хотя кто-то из них на словах, может быть, даже и попытался бы от этого родства отречься...

Роман «Пути-перепутья» писался еще на волне идей XX съезда партии. В конце произведения карьера Подрезова обрывается так же плачевно, как у Вальгана и Онисимова.

Сцены районного совещания, где совершается падение Подрезова (им отведена роль одной из кульминаций в сюжете), принадлежат к числу наиболее искусственных, художественно слабых в романе. Они многоречивы, поверхностны, декларативны, читателю заведомо предлагается многое брать на веру.

Правда, 1951-й — это еще не 1953-й. Но по этому случаю романистом припасена мотивировка, отягчающая вину персонажа. Научно-технический кругозор Подрезова отстает от запросов дня. Недаром на том же районном совещании против Подрезова ополчается директор Сотюжского леспромхоза инженер Зарудный... Сам по себе Зарудный обрисован достаточно схематично и напоминает скорее деловых «людей со стороны» начала 70-х годов — яростных поборников научно-технической революции в духе персонажей пьес И. Дворецкого и А. Гельмана, бывших героями дня в пору, когда завершался роман, чем современника других действующих лиц произведения. Трудно понять, откуда взялся такой человек в северных лесах в 1951 году и тем более — почему он действует так вызывающе дерзко в обстановке всеобщего страха. Впоследствии Абрамов скорректировал себя. НТР, если судить по картинке Сотюжского леспромхоза из романа «Дом», даже и через двадцать лет так и не осенила своим крылом здешнюю лесную глухомань...

Так что провинности перед грядущей эрой научно-технического прогресса относятся больше к сюжетным хитросплетениям произведения, нежели к существу того социально-исторического типа, который выведен в романе. Но, как бы там ни было, автор романа «Пути-перепутья» утверждает, что время Подрезова прошло, кончилось, и сам он бесславно исчезает с общественной арены...

За этим по преимуществу сюжетным разрешением социальной коллизии, оставшейся не разрешенной в жизни, обычно следовали и критические истолкования. Решительно и однозначно списать Подрезова в небытие спешат даже и некоторые современные исследователи творчества Абрамова.

«Образ Подрезова как верстовой столб обозначает конец определенного этапа жизни, когда усвоенные этим недюжинным человеком методы руководства еще, как говорится, с грехом пополам «срабатывали» [1],— пишет А. Турков.

Более жизненную и гибкую трактовку дает в своей талантливой книге И. Золотусский. Он по справедливости отделяет Подрезова от «подрезовщины», обозначая этим словом «...ту систему хозяйствования, при которой и народ, и те, кто стоит над народом, как бы не вольны в своих действиях». К сожалению, критик на том и останавливается, а несколькими страницами ниже как-то незаметно даже и вовсе переключается на привычные толкования. «Действие романа,— пишет он,— относится к началу пятидесятых годов. Подрезов и подрезовщина доживают свои дни. Они еще в силе, в полной силе, но их век уже измерен» [2].

«Подрезовщина», то есть сталинизм, в таких рассуждениях волей или неволей принципиально размежевываются с последующим неосталинизмом, хотя между ними гораздо больше общего, чем различий.

Разноликие и разномастные подрезовы, как показывает Абрамов, разоряли не просто деревню, они разоряли человеческие души. Так что «подрезовщина» — это не только командно-административные методы руководства, не только образ мысли и поведения управленческой бюрократии, но и верноподданническая мораль, психология подневольного «маленького человека», философия «винтика», внедренная и взлелеянная деспотией.

Из многих нынешних публикаций обществоведов и критиков, обсуждающих проблемы сталинизма, ближе всего к разделяемой мною точке зрения статьи Ю. Буртина в журнале «Октябрь». Отталкиваясь от поэмы А. Твардовского «По праву памяти», автор подробно касается «причин прочности сталинских умонастроений среди части населения страны».

---

[1] Турков А. Федор Абрамов. Очерк. М., 1987, с. 117—118.

[2] Золотусский Игорь. Федор Абрамов. Личность. Книги. Судьба. М., 1986, с. 53, 59.

Интересно подразделение общего порядка, которое проводит исследователь. «Многие факты указывают на то,— пишет Ю. Буртин,— что современный сталинизм — явление по своей социально-психологической природе весьма сложное и неоднородное. Есть сталинизм, так сказать, начальственно-бюрократический и есть массовый, «низовой» [1].

Пожалуй, как никто другой, Ф. Абрамов художественно изобразил и осмыслил психологию сталинизма, усвоенную в народе, исследовал его внедрение в самые глубокие поры народной жизни.

Абрамов всегда считал высшей патриотической отвагой художника видеть народ не только в его достижениях, но и в слабостях, столь многое определяющих в исторических судьбах страны. Создав живую галерею образов «светоносных людей» из народа (типа Михаила и Лизы Пряслиных, Анфисы Петровны, Ильи Нетесова и др.), чутко оцущая лучшее в народной душе, в вековых традициях и идеалах, связанных с утверждением нации, Абрамов был противником псевдонародности. «...Сегодня, когда так обострились в мире национальные проблемы,— писал он,— необходимо поглубже взглянуть на народ, всерьез разобраться в том, что же такое народ и национальный характер. Только ли великое и доброе заключено в нем? Не пора ли от односторонней, порой идиллической трактовки его перейти к трезвому разговору о всей сложности и противоречивости народного организма, его бытия? И не единственно ли правильное отношение к своему народу — ради его же блага, ради его духовного здоровья — видеть в нем наряду с истинно великим и его слабости, его недостатки?» Из этого убеждения вырастает и проза писателя.

Прямо надо сказать: мало кто из героев романа Абрамова избежал бацилл «подрезовщины», да и трудно их избежать. В самый разгар уборочной страды Лукашина вызывают в райком. Сорок семь верст проскакал он верхом. Клуб понабит такими же, как он, работягами, собранными с полей и лесов района, народу не продохнуть. Что же стряслось? Секретарь райкома Фокин делает доклад о трудах товарища Сталина по вопросам языкознания.

Почти никто из собравшихся ничего не понимает. Ясно одно — неспроста же сам Сталин должен давать отпор академикам. И мысль в голове Лукашина делает привычный поворот: «Слушай, Гаврило,— спрашивает он уполномоченного райкома Ганичева,— а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство...» «А чего же больше?..» — раздается категорический ответ.

А уж на хмельных своих посиделках и пересудах пекашинские мужики превращают дошедшие до них отголоски смутных сведений о внутриполитических событиях в стране в фантастическую мешанину небылиц. Так, например, о прошлогодней кампании борьбы с космополитизмом один из собеседников говорит: «В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году — академики... Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут...»

Мешанина-то мешаниной, но народная молва по своему существу вторит Фокину и Ганичеву, перепевает «подрезовщину». И это — самое страшное.

В художественной хронике у Подрезова есть два сподвижника, два безупречных рыцаря.

Один из них — уполномоченный Ганичев по прозвищу Железные Зубы. Это исступленный догматик, потерявший в своем фанатизме большую долю человеческого облика. Чтобы успешней устраивать свои «егерские» облавы на людей по сбору налогов или подписке на заем, отворачиваясь от окружающей нищеты и несчастий, или, как он выражается, чтобы не «получилось раскисание да благодушие», он непрерывно самовозбуждается зубрежкой «Краткого курса», чтением трудов товарища Сталина, других теоретических пособий и газет. «...Подработаешь над собой, подзаправишься идейно, как следует,— в хорошую минуту самодовольно изрекает он,— все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет».

Но есть в романе и другой безупречный рыцарь идеи. Фигура глубоко трагическая. Человек, чья душа открыта всем проявлениям добра, полный доверчивости к высоким словам, призывам и обещаниям. Он все принимает за чистую монету и все исполняет беспрекословно и даже с избытком. Это пекашинский кузнец, сельский коммунист Илья Нетесов.

Подобно Михаилу Пряслину, он искренне верит, что «пятнадцать лет до коммунизма осталось», а, может, и меньше. И надо только напрячься, перетерпеть еще одну невзгоду, вот эту, а, может, еще ту, а там уже все будет хорошо.

В честнейшем исполнении общественного долга Нетесов, сколько ни ломит на работе, остается без коровы. Не один год семья копит деньги хотя бы на покупку козы. Но их приходится выложить сначала на «мясной налог», а затем под давлением Ганичева на «образцово-показательную» сумму подписки на заем. Сцена, когда добрейший Илья Нетесов бьет по лицу протестующую жену Марью, одна из самых тяжелых в романе «Две зимы...»

Последствия через несколько лет будут печальны. Заболевает туберкулезом и умирает любимая дочь Нетесова Валя. Не выдержав гибели дочери, сходит в могилу и Марья. Одинокий, оглохший от горя, Нетесов продолжает работать с тем же безропотным усердием. Сцены,

---

[1] Октябрь, 1987, № 12, с. 199.

когда обобранный, несчастный Нетесов, один из немногих, механически аплодирует на митинге, созванном по случаю сверхплановой вывозки из Пекашина почти всего урожая, или когда он безропотно соглашается вернуться с хорошо оплачиваемой леспромхозовской работы в колхоз, потому что и в колхозе ведь тоже кому-то надо работать, нельзя читать без комка в горле. Быть может, одно из самых страшных преступлений и зол сталинизма — надругательство над такой верой и преданностью, какая была у Нетесова!

Наивное безмыслие, холопская покорность и циничное ловкачество, которые насаждает и взращивает «подрезовщина», неотлучно сопровождается страхом. Страх не только зацепился за верхушки сосен над той лесной полянкой на берегу реки, где уединенно толкуют у костра Лукашин с Подрезовым, он будто колпаком надвинут на каждый дом в Пекашине, вкогтился в любого человека и делает беззащитным каждого на виду у всех.

Здесь каждый боится сказать «лишнего», хорошо знает, что бывает за «длинный язык». И даже беседы на хмельных мужских посиделках у речного леспромхозовского склада или в житовской бане — «клубе», как ее тут прозвали, ведутся с оглядкой и выбором тем. И мертвецки пьяные мужики здесь, если и встревают в общий разговор и несут околесицу насчет политики, то только в тонах повышенной бдительности. Особенно навострился в этом Ефимко-торгаш, о котором романист замечает: «Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально».

Страх и есть хотя и не имеющее образа и вида, однако же неотвязное и вездесущее действующее лицо той сюжетной линии романа, где повествуется об аресте Лукашина.

Отправной факт, как и все в прозе Абрамова, буднично прост. Скоро заморозки, а строительству скотного двора не видно конца. Никакими силами нельзя подвинуть плотницкую ватагу пекашинского одноногого «Стеньки Разина» — Петра Житова, работать за «пустой трудодень». Мужики отлынивают, пьянствуют, шабашничают на стороне. Людям надо жить, и им надо платить. А если нет, то с наступлением холодов без теплых помещений передохнет колхозная скотина. Но ни одним граммом зерна не имеет права распорядиться председатель, пока не выполнена «первая заповедь». И ждать нельзя. Что же делать? Вот тогда-то Лукашин и вырывает листок из блокнота, чтобы написать на нем распоряжение колхозному кладовщику: выдать авансом по 15 килограммов ржи на плотника...

Недавний фронтовик и инвалид, Житов наделен мудростью битого и много повидавшего в жизни человека. Спокойно прочитав председательскую записку и отложив ее в сторону, он произносит отрезвляющие, беспощадные слова: «А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника». «Зря?.. Почему зря?» «Да потому... Чего он даст нам, этот коровник?.. Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели... Ну-ко прикинь, чего нам стоит литр молока. Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платят? Одиннадцать копеек...»

Лукашин молчал. Ему нечего было возразить».

Действительно, это был отзвук на те самые мысли о «выгребаловке» подчистую, о продразверстке, присущей практике военного коммунизма, о чем они говорили тогда с Подрезовым у костра на берегу. Теперь в ином виде мысли эти вернулись к нему из уст верховода пекашинских мужиков.

Неурочная раздача хлеба плотникам вызывает волнения в голодной деревне. Толпа баб, старух и подростков, сгрудившихся у крыльца колхозного амбара, чуть ли не штурмует склад. «Кому в рот, кому в рыло?» — кричат они. В упирающегося кладовщика с подначки заводилы уличных сорванцов летят камни и палки.

Лукашин арестован... Пекашино встревоженно шепчется, вполголоса сочувствует. Лукашин пострадал за людей. И по 15 килограммов ржи на плотника — это ведь такая малость. Лишь подмога для окончания работ, только пропитание строителям. К тому же Иван Дмитриевич — фронтовик, чуть не все послевоенные годы ради колхоза себя гробил, надрывался. И много-много хорошего, как теперь выясняется, пекашинцы, все вместе и каждый в отдельности, задолжали своему колхозному вожаку. Но вот открыто вступиться за арестованного решается один Михаил Пряслин.

Он ходит по домам, собирает подписи под составленным им нехитрым письмецом в защиту председателя. И что же? Михаил вдруг перестает узнавать знакомые лица. Людей будто подменяют, как только после беспредметных ахов и охов дело доходит до подписи в коллективном письме.

Юлящие, ускользающие взгляды, уклончивые речи, а то и прямые, жесткие слова отказа. Все боятся. Настолько, что иные даже, прослышав уже, что Пряслин ходит по деревне с письмом, прячутся, загодя запирают двери: «...какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пущайте!»

Многое в поведении односельчан проясняет Михаилу разговор с Петром Житовым, этим витязем безнадежной истины. Житов, искренне жалеющий Лукашина, тоже отказывается поставить подпись. И открыто называет причину. Письмо это, по его словам,— «коллективка», которую можно подвести «под антисоветскую агитацию» — «пришпандорят так, что костей не соберешь».

Конечно, обыкновения тех времен были фантастичны. Совершенно невинное

письмецо, составленное Михаилом, при желании можно было истолковать как угодно. Точно так же, между прочим, как службе госбезопасности передали «дело» Лукашина, которое, казалось бы, трудно притянуть к «политике». Так что риск, о каком говорит Житов Михаилу, ссылаясь на случаи из собственной жизни, существовал.

Бесстрашие Михаила — это смелость небитого. По молодости лет он еще не знает, не видел и не пережил того, что уже изведали сам Житов и пекашинцы старшего поколения. Но отвага Михаила питается также свежестью и силой чувства, той органической потребностью натуры в истине и справедливости, о которой Лиза Пряслина говорит: «Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...».

Это чувство есть у Лукашина, есть у Михаила. Но под влиянием жизненных ударов и невзгод оно уже сильно притупилось, ослабло и выветрилось у Житова и многих пекашинцев. Душевные провалы заняли усталая покорность и страх.

Но если на стороне Житова и не мудрость жизни, то настрой односельчан он ощущает лучше Михаила. Только пять подписей удается собрать тому за два дня хождения по деревне.

Растерянный, подавленный, разъяренный, наблюдает человеческие превращения Михаил Пряслин. «Ну и дьявол с ними...— в отчаянии и бешенстве думает он на улице ночного Пекашина.— Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал — кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки».

Сцены подворного обхода Михаилом Пекашина, которыми завершается роман, несут особенную смысловую и художественную нагрузку. Ведь речь идет фактически о глубоком проникновении «подрезовщины», то бишь сталинизма, в психологию и обыденное сознание народа. И столь бесстрашно, подробно и тщательно, как написал здесь об этом Абрамов, до него, пожалуй, не писал никто.

Не случайно этим сценам у Абрамова предшествовал как бы развернутый художественный «этюд». Некоторые вещи там названы своими именами даже откровенней и резче, чем, может быть, посчитал нужным или сумел сделать автор в романе.

Рассказ «Старухи» был написан в 1969 году, но после долгих и безрезультатных странствий из одной редакции в другую увидел свет лишь восемнадцать лет спустя («Наш современник», 1987, № 3). Тем более стоит приглядеться к этому произведению. Перед нами, бесспорно, один из лучших рассказов Абрамова.

Повествование ведется от первого лица. Действие происходит «в наши дни». Сохранено даже имя-отчество рассказчика — он писатель и Федор Александрович. Так что случай, возможно, списан «с натуры».

Рассказчик приезжает в родную северную деревню, за которой легко угадывается Веркола. И прямо с дороги в доме своей названой престарелой тетки Любы, по прозвищу Любка-прыть, попадает на старушечьи послеобеденные посиделки, собрание здешнего «старушатника».

Кого здесь только нет! Фиклистовна-слеза, Олена-горло, Маша-репка, Сусалешачиха, Оля-дева... Всех не перечесть! И за каждым уличным прозвищем — характер, судьба. На семи неполных журнальных страницах столько живых лиц, повадок, манер, и, главное, каждая старая крестьянка раскрывается через свою особенную, яркую, сочную речь. Северный хор голосов! В нем развивается и звучит целое, но и не теряется отдельный голос. О чем только здесь не гомонят, не судачат. Хотя вроде бы и новостей в деревне особых нет, как говорит одна из старух,— «какие у кулика на болоте новости, так же и у нас. Кто родился, кто напился, да кто убился — вот и все новости». А поди ж ты! Оказывается, так красочно можно рисовать, что произошло за день в деревне. Кому только они не перемывают косточки, не забывая подковырнуть и друг дружку. И все это озорно, остроумно, весело, молодо. На самих старух залюбуешься, а голосами их заслушаешься.

Понятно, почему так часто наведывается сюда писатель, почему он свой человек в «старушатнике». Но вот, осмотревшись, рассказчик замечает в доме тетки одно новшество. На передней стене, между божницей и фотографией теткиного любимого внука Вани, висит портрет Сталина. «Да, да, самого Иосифа Виссарионовича... Помните — влажный зачес назад прямых, еще темных волос над низким и узким лбом, тяжелые каменные скулы азиата и поотечески ласковые, в легком прищуре глаза...

Изумлению моему... не было предела. Ведь это не в горде я вижу, не у какого-нибудь воздыхателя по тому золотому времечку, а у тетки, старой неграмотной крестьянки,— ей-то зачем это добро?»

Из озорного рассказа, которым потчует гостей Любка-прыть, получается, что портрет на стене появился более или менее случайно. С давних времен валялся где-то на чердаке. А тут она ненароком прослышала от колхозного «попа» (так она на своем языке зовет здешнего освобожденного парторга), что на того из «вожжей» (вождей), «который с усами... послабление ноне вышло». Рамка хорошая, под стеклом. Зачем добру пропадать? Пусть висит.

Ее рассказ встречается чуть не хором ахов и причитаний. Оказывается, и у других бережливых хозяев в амбарах и на подклетях сохранились разные портреты

и картинки былых времен. И рамочки у иных не скупее этой. Зря лишь краса пылится. Как говорит Маша-репка, «все бы потеплее зимой было, закрыла бы какую щель...»

Пересудами, возможно, все бы и закончилось. Но тут Олена-горло приносит потрясшую всех весть. Оказывается, молоденькая скотница — «соплюха Полька» сразу взяла в магазине три бутылки «шипаиского» и собирается пить их в летнюю жару «заместо квасу». А стоят эти три бутылки больше, чем месячная «пензия» каждой из старух. Потому что они, «старухи,— «двенадцатирублевки». А «Полька-соплюха» ноне за один месяц «двести шестьдесят рубликов огребла». А, говорят, с таких деньжищ «пензии» в деревне даже и «по восемьдесят рублей» исчислять будут. Вот этото сообщение и перебаламутило мирный послеобеденный «старушатник».

Что тут поднялось! Старухи, сморкаясь и плача, жалуются писателю на свою горькую участь. Но он и без того знает судьбу каждой. Это те самые великомученицы, которые вынесли на себе самое тяжелое бремя — коллективизацию, «бабью войну» в деревне, «похоронки» с фронта, раннее вдовство. безотцовщину, послевоенную разруху, лютые холода на лесозаготовках и ревматизмы на сплаве, голод, непосильные налоги и займы. Словом, это родные сестры тех крестьянок, что изображены и в романах Абрамова.

И хотя большинство старух живет теперь с детьми, одеты и накормлены, но где же справедливость? Итог страшной, нечеловеческой жизни — двенадцать рублей пенсии!

Писатель, оказывается, не раз уже хлопотал в разных инстанциях, чтобы восстановить справедливость. Но получал ответ: «По закону». Пенсия, дескать, начисляется с зарплаты. Логика, выходит, такая: «Раз тебе годами ничего не платили за твою работу, раз у тебя годами задаром забирали выращенный тобою хлеб, молоко, масло, овощи, значит, тебе не положено и нормальной пенсии».

Взволнованный жалобами и стонами старух, писатель решается действовать немедленно. Ему приходит мысль обратиться прямо на текущую сессию Верховного Совета с письмом от группы престарелых колхозниц.

Старухи встречают это предложение с радостью: «Напиши, напиши, Олександрович,— разом воспрянули старухи...» Под их одобрительные возглашения и причитания писатель тут же принимается за работу.

Наконец письмо готово. Остается только поставить подписи: «Ну, кто самый храбрый?» И вот тут наступает сюжетная ситуация, которая в разных видах варьируется и в сценах романа: «Старухи молчали. Их, еще какую-то минуту назад жалкие, размягченные слезами старые лица начали каменеть на моих глазах».

Причину неожиданно наступившего перелома в настроении старух, еще не до конца всеми ими сознаваемую, открыто высказывает наиболее грамотная из них: «...вас куда, старых дур, поиесло? В политику...» В политику... Слово это, как электрический ток, встряхнуло старух... И каждая тут же начинает говорить, почему ей лично бумага эта не к выгоде: «Да, да, неладно едак. У меня Миколай партейной — чего ему скажут?». «Да и у меня Надежда учительница. Тоже по головке за такую матерь не погладят. Куда, скажут, смотришь?..»

И те самые женщины, которые еще недавно молили рассказчика написать письмо и даже с благодарностью вспоминали его мать-покойницу, начинают уже сомневаться в его добрых намерениях, корить и даже совестить его: «Нехорошо, нехорошо, Федор Олександрович. Мы люди темные, неученые, а ты ведь все ходы-выходы знашь...» И что уж вовсе кажется почти невероятным, если бы не было чистой правдой,— принимаются тем же дружным хором восторгаться и ликовать от своего нынешнего положения: «Господи, мала пензия! Да раньше в колхозе робили и за работу ничего не получали. А сичас сидим — пасть целый день дерем,—и денежки идут...» «Хорошо, хорошо, бабы. Двенадцать рублей тоже не валяются. Одного хлеба сколько можно купить...» «Да и на чаек-сахарок чего останется. Ведь уж так по доходам и живи...» «Нет, нет, спасибо Советской власти! Не забыли нашу старость. Я кажинный божий день за ей молюсь и сичас помолюсь...» И старухи, одна за другой, повернувшись к божнице, творят крестное знамение.

Письмо́, конечно, никто так и не подписал. О нем будто забыли. Перекрестившись, «в сопровождении... хозяек гостьи вышли на крыльцо, довольные, говорливые,— так-то хорошо посидели!»

«Я остался в избе один,— завершает рассказчик.— Вернее, вдвоем с Ним. Давно, давно не верю во всякую чертовщину, но, честное слово, в эту минуту мне показалось, что Он своим прищуренным глазом внимательно смотрит на меня. Смотрит и самодовольно улыбается: «Надо знать своих земляков, товарищ писатель»...

Ну что я мог возразить на это?»

Первопричиной страха и народной пассивности, с которыми неутомимо сражался художник, Абрамов, как видим, считал сталинизм. Созданную им систему общественных отношений, понятий и представлений, которые подавляли и уродовали народную душу, закрепляли и приумножали в ней самые темные инстинкты прошлого.

«Подрезовщина», если следовать духу произведений Федора Абрамова,— всего лишь одна из кличек и прозвищ сталинизма. Причем — как «руководящего», так и «низового».

В мире журналов и книг

Путем сомнения

При знакомстве с возвращенными читающей публике сочинениями Андрея Платонова невольно может создаться впечатление, что в условиях сталинского режима все лучшее, значительное, «острое» писалось им в стол, впрок, а печаталось лишь «проходное», подцензурное. Отчасти это так. Но все же, несмотря на существование борьбы с инакомыслием, писатель еще в конце 20-х — начале 30-х годов успел открыто высказать некоторые сокровенные (по-тогдашнему — крамольные) мысли об обществе, человеке и его взаимоотношениях с эпохой в очерках «Че-Че-О», рассказе «Усомнившийся Макар» и хронике «Впрок». Именно эти произведения после их публикации сыграли в его судьбе роковую роль. В них Платонов дерзнул во многом усомниться, что не прощалось, и в одиночку двинулся путем сомнения — через страдания — к страждущему человеческому сердцу, к истине.

Увы, на разум и совесть долгое время не было спроса. Но сейчас возрождается их исконная и искомая суть: воскресает человеческое в человеке. Вещее платоновское слово призывает нас опомниться, пристальнее вглядеться в смысл и связь явлений, мало-помалу уяснять их, быть терпимее к окружающему и добрее к ближнему. Каждая новая публикация из наследия писателя зовет нас отправиться вслед за мыслителем и его неприкаянными героями в бессрочное путешествие ради поисков идеала, поисков истины. Как тут не вспомнить, что жанр «Чевенгура» первоначально определялся Платоновым как «путешествие с открытым сердцем».

В дороге мы застаем автора очерков «Че-Че-О», который в 1928 году был откомандирован «Новым миром» в отчий Воронеж. В поезде, столкнувшись с «явным бюрократическим активом», ехавшим строить светлое будущее в Центрально-Черноземной области, писатель задумался о необходимости издания генеральной карты организационного устройства СССР, чтобы не было путаницы: под чьим непосредственным руководством находится каждый человек в любой точке жизненного пространства. Но, поразмыслив, Платонов вскоре понял, что затея эта вряд ли даст ответ на вопрос: «кто умнейший актив, а кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции», ибо «сам СССР есть схема в натуре».

Воронеж подтвердил дорожные опасения молодого путника, что «современная служащая провинция резко перерождена бюрократизмом». Уже тогда писатель предположил, что бюрократизм — это гибельная и губительная черта не только российской глубинки и исходит он не только от хищных устремлений развращенных чиновников. Причина его кроется в отождествлении партии и государства, произвола и закона, объединении одиночных личностей в безликие, покорные «массы» и разобщении людей. Предложенный автором выход («Отпустить бы всех людей из учреждений на свободу, чтобы они наделали побольше съедобных, носильных и жилищных вещей, дабы никто не серчал от нужды и дабы сами они перестали поедать чужие мягкие вещи») был прост и... невыполним, ведь тогда разбухавшему бюрократическому аппарату пришлось бы лишиться жадной власти и сытых привилегий.

Проверить эту догадку предстояло «нормальному мужику» Макару Ганушкину, герою рассказа «Усомнившийся Макар» (1929), который отправился в Москву, «чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей». Попав в столицу и увидев многолюдную, шумную, но безучастную к конкретному человеку жизнь большого города, он возрадовался и опечалился одновременно: «Ничего себе властишка! — оценил Макар.— Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

Не находя себе места в мире, мужик и наяву мучается тревогами и сомнениями, и во сне (когда привиделся ему

А. Платонов. Усомнившийся Макар. Рассказ. Литературная учеба, № 4, 1987.

А. Платоков. Впрок. Бедняцкая хроника. Дон, № 12, 1987.

А. Платонов. Че-Че О. Областные организационно-филогофские очерки. Молодой коммунист. № 3, 1983.

мертвый идол верховной власти) тоже не получает ответа на томивший его вопрос: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» Ганушкин мается непонятным сном, потому что из-за природной глупости не в состоянии понять, что оттого идол и мертв, что мертва всякая вселенская мысль, не согретая сочувствием и заботой о людях, о конкретной человеческой душе.

Но явь оказывается страшнее сна. Боясь потеряться в мире больших величин и грандиозных свершений, Макар ищет ответ в реальной действительности, но находит правду только в... дурдоме: «Наши учреждения — дерьмо,— читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина.— Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки... Другие больные душой тоже заслушались Ленина,— они не знали раньше, что Ленин знал все».

Макару открылась правда, и он пошел бороться за «общебедняцкое дело» в учреждения,— но сам, как свежий человек из «низов», только пополнил ряды советских чиновников. Захлопнувшаяся за Ганушкиным дверь присутственного места надежно отгородила его от трудящихся. Поиски истины завершились обретением теплого местечка. Действительность истребила мечту, и «нормальный мужик» закономерно выродился в обезличенную формулу совслужащего.

Теперь, из нашего позднего далека, ясно, что́ в этом рассказе вызвало державный гнев Сталина. Именно — сама попытка сомнения в безгрешности верховной политики; догадка о том, что государство народа на деле вырождалось в государство над народом. Такое умозаключение писателя расценивалось тогдашней критикой не иначе, как «клевета классового врага». Но, читая сегодня «Усомнившегося Макара», убеждаешься, что «клевета» Платонова достовернее «классовой правды» иных его критиков. Ведь, казалось бы, не так трудно понять, что остановка в пути, ведущем через сомнения и страдания к истине,— это не столько прерванное движение мысли, сколько умолкнувший голос рассудка; это тупик существования. Платонову вообще были чужды оглядочные повадки приспособленцев — думать, что́ говоришь, а не говорить, что думаешь: не вняв отъявленным критическим разносам, он пишет пьесу «Шарманка» (1929), повесть «Котлован» (1929/30), роман «Чевенгур» (1927/29) и в 1931 году обнародует «Впрок».

Удачно найденный жанр повествования — бедняцкая хроника — помогает увидеть «сплошную коллективизацию» и уничтожение «кулака как класса» объективно, без оптимистической истерии тех лет. С точки зрения исторической правды, «Впрок» дает исследователю гораздо больше реальных фактов о «колхозном строительстве», чем бодрые официальные «документы», поскольку в нем авторская непредвзятость к происходящему зиждется на убеждениях, а не предубеждениях. С художественной точки зрения, хроника генетически продолжает духовные поиски и использует формальные черты древнерусских письменных памятников: бесстрастность; отсутствие сюжета; совмещение в одном лице летописца, свидетеля и участника событий; опыт, оплодотворенный страданием; горний полет мысли и чувства; прямое обращение в будущее, завет потомкам. Но главное, что роднит ее с древнерусскими текстами,— это синтез мечты и реальности, трагедии и сатиры, бытия и слова. «Впрок» основан на традиционном подходе русской классической литературы к исследованию человека, при котором писатель убежден в изначально очевидной значимости личности.

«Душевный бедняк», от имени которого ведется повествование, путешествует по колхозам и везде видит их оскудение, разлад, разобщенность душ. Вот один из встреченных на его пути: «Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию...» А вот другой — «главарь района сплошной коллективизации» Упоев, который посеял крапиву на десяти гектарах, когда прочитал в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!», за что поделом получил выговор. Причина его революционного рвения была наивна и благородна: «Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей».

Герои хроники тем и отличаются друг от друга, что одни изо всех сил делают новую жизнь, а другие-«прочие» безотчетно существуют. Но когда у ревнителей социализма дело доходит до «заблудших», явь опять становится страшнее сна. Стоит послушать речь рабочего судьи о наказании вечного батрака Пашки, чтобы убедиться в этом:

«Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество... Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться».

Впрочем, несмотря на кажущуюся абсурдность подобных эпизодов, в них отразились реальные бедствия общества. Трагедия народа требовала от писателя осмысления на новом уровне при помощи нового языка. И он создал его и вложил в уста своих героев политизированный демагогический жаргон, до сих пор невольно вызывающий ледяной озноб, когда слышишь его от современников. Сочетание в хронике действительного и вымышленного, возвышенного и безобразного, интеллектуального и чувственного создавало особый художественный мир Платонова — тревожный, нежный и ранимый,— но при жизни автора получивший такую оценку: «Повесть Платонова «Впрок» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации — периода ликвидации кулачества как класса и является контрреволюционной по содержанию» (Фадеев А. Об одной кулацкой хронике. Красная новь, № 5—6, 1931 г., с. 206).

Это был настоящий приговор художнику и мыслителю. И он, словно предчувствуя грядущее вынужденное творческое затворничество из-за почти полной невозможности честной общественно-литературной деятельности, тоже торопился создать «Впрок», свою летопись разлада и ослабления «напряженного сочувствия между людьми», вовремя и как бы впрок. Труд Платонова как документ эпохи был весь обращен в будущее, в назидание потомкам, всем, кто пойдет вслед за писателем путем сомнения к истине. Как тревожны, мажорны и знаменательны последние заветные строки хроники:

«Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно».

Время такого разговора наступает. Теперь от каждого из нас зависит, насколько он будет откровенен, созидателен и спасителен, ведь сомнений, разочарований и страданий накопилось много, а истина так и остается единственной, желанной, искомой, но недоступной.

А. Знатнов

Жизнь после смерти

Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, никогда до сих пор не издавались. А те, что образуют, так сказать, ее костяк, не имели и журнальных публикаций, напечатаны впервые. Между тем почти все эти произведения я уже читал когда-то, лет двадцать назад.

Вот судьба! Молодой прозаик быстро и твердо заявляет о себе. Уже в ранних его рассказах — все признаки самостоятельного и зрелого таланта. Живой, чистый, точный язык, свободный как от штампов современного «канцелярита», так и от столь распространенного ныне тяжелого, назойливого стремления на каждом шагу демонстрировать свою «русскость», деревенские корни и верность тому или иному местному диалекту. Четкость сюжетного развития, определенность характеров, отличное знание современного города, такого разноликого на разных этажах социальной пирамиды, экономность и выразительность бытовых, речевых, психологических деталей. И ничего от того юношеского эгоцентризма, который только себя и видит, только себя — под разными именами — и умеет писать. Совсем напротив: чеховский, шукшинский интерес к людям, к многообразию человеческого мира, объективность, гуманность.

Владимир Савченко. Редкий день. Повести и рассказы. М., Московский рабочий, 1988.

Молодой писатель не остается незамеченным. Он участник Всесоюзного совещания молодых 1963 года, на него обращает внимание В. А. Каверин, и вот уже малоизвестное имя В. Савченко стоит рядом с именем одного из старейшин нашей литературы под инсценировками и экранизациями его произведений. А главное, в «Новом мире» Твардовского, где и самым признанным, самым маститым нечасто выпадал счастливый билет, в 1966 году напечатан его рассказ «Письмо» (в сборнике — «Редкий день»); два других рассказа заверстаны для того же номера журнала. Это «Стрелять буду!» и «Генерал» (в сборнике — под вычурным, «на западный манер», и не идущим к делу заглавием «Как сон, долгие арбатские переулки»). Принята редакцией — с намерением при первой же благоприятной возможности ее напечатать — и повесть «Неудачник», наиболее значительное, на мой взгляд, произведение Владимира Савченко.

Но... нет и нет этих благоприятных возможностей. Жесткая правда рассказов В. Савченко, не уклоняющегося от «трудных» тем, бестрепетно анализирующего реальные противоречия нашего бытия, плохо вяжется с казенным оптимизмом, с идеологической нормой утверждавшегося «застоя», с каждым годом все более непробиваемой и деспотичной. Чистенький студент, стесняющийся своей связи с немолодой дворничихой. Акти-

вист-дружинник, гроза двора и окрестных переулков, раздраженно-подозрительный ко всему нестандартному, выходящему из ряда, с темным азартом выслеживающий трех не понравившихся ему интеллигентов («Если все будут судить обо всем, что это будет?.. Кто они такие, чтобы судить о политике?..» — «Генерал»). Курсант-часовой, эстетик оружия и армейской дисциплины, исполненный горделивого сознания, что «...как бы ни было, армия всегда будет играть роль», мечтающий о бое. Разве же это были темы, герои, конфликты, нравственные оценки? Нет, конечно: по всем понятиям тогдашнего Главлита тут был полный состав новомирской крамолы — чистой воды «очернительство и абстрактный гуманизм». Сверстанные рассказы не увидели света, повести же не дошли и до набора.

Молодой писатель затягивает пояс потуже. Хотя питается он в основном кефиром, запас бодрости в нем велик. В журнале, где лежит его проза, печатает, под своим именем и под разными псевдонимами, рецензии по разделам «Политика и наука» и «Коротко о книгах» — благо есть у него живой интерес и к социологии деревни, и к философии, и к истории Отечественной войны, и к парламентским системам современного Запада. Однако вот и 70-й год, конец «старому» «Новому миру», а с ним — и надежде на то, что эта (да и вообще т а к а я) проза может иметь хоть какую-то перспективу. А по-другому о нашей современности он не хочет, не может писать. (То есть вообще-то может, конечно. Есть же у него и вещи совсем иного плана, высокопоэтичные психологические и лирические этюды — цикл миниатюр «Капли времени». Но и они могут получаться, наверное, только как дополнение и контраст к чему-то главному, чем живет и болит душа.)

Если называть вещи своими именами, то это была просто-напросто смерть. Вот мы говорим сейчас: «эпоха застоя». Мужественно признаем, что ее влияние испытала на себе и литературная сфера: возобладала всяческая серость, расцвел, по слову Твардовского, особый жанр «секретарской литературы», на тех, кто шагал в ногу, а того лучше — опережал указания начальства, щедро сыпались всевозможные блага: многотомные собрания сочинений и миллионные тиражи, хлебные должности, премии и звезды. Меньше внимания уделяется тому факту, что писателю (критику, публицисту), который не хотел приспосабливаться, не оставалось ничего, кроме как умереть.

Правда, форму своей творческой смерти он волен был выбирать себе сам. Мог (при определенных условиях) уехать. Мог перестать писать. Мог писать «в стол» с неопределенной надеждой на то, что «рукописи не горят». Мог, наконец, принять условия игры, писать то, что проходит, просто зарабатывать на хлеб писательством — своим единственным ремеслом, утешая себя тем, что не лжет, и отказавшись от притязаний на большее. Все эти возможности были почти одинаково счастливы...

Сегодня порой приходится слышать [1], что ситуация вовсе не была такой уж безотрадной. Разве не появлялись, мол, тогда и такие произведения, как «Дом на набережной» Трифонова, «Прощание с Матерой» Распутина, «Кануны» Белова или «Буранный полустанок» Айтматова, несшие в себе сильный социально-критический заряд? Разве не предвосхищали и не готовили они нашу нынешнюю гласность? Так. Но вспомним, во-первых, как мало было подобных книг, как редко и трудно, подчас изодранные в кровь, прорывались они к читателю. Во-вторых, какова была их последующая судьба, как обходилась с ними критика, либо вовсе замалчивавшая их гражданский смысл, либо — в том числе из лучших защитительных соображений — толковавшая его в таком мирном, успокоительном духе, что и самая жгучая вещь проходила, не оставив в общественном сознании сколько-нибудь заметного следа. А главное, все сказанное относилось лишь к очень немногим, к писателям такого ранга, по отношению к которым политическая конъюнктура делала невыгодным слишком грубый зажим, диктовала более гибкую тактику — кнута и пряника. На молодого литератора, которому еще только предстояло «пробиться», все это ни в какой мере не распространялось.

И тогда умер Владимир Савченко как писатель современной темы. И никто не заметил его смерти, потому что он ведь, собственно, еще и не успел тогда родиться для сколько-нибудь широкого читателя. Как не успели или едва успели родиться и многие другие тогдашние молодые прозаики, включая и тех, что были известны мне по старому «Новому миру» (например, А. Макаров, А. Азольский, Н. Баранская, Ю. Аракчеев), кое-кто из них только нынче и пришел в литературу.

Умер один В. Савченко, родился другой — автор исторических повестей о на-

[1] Главным образом из уст тех, кто тогда начальствовал в литературе, или успешно делал свою карьеру, или же, как мы недавно прочитали, нашел «выход... не в социальной активности, а в посильной духовной самореализации» «под ленивым давлением требующего лишь внешней лояльности брежневского режима» («Новый мир», 1988, № 8, с. 237), нисколько для них не обременительным, совсем напротив. Все эти люди сейчас единодушны в своих жалобах на нынешний «либеральный террор», и в остром недоброжелательстве к «старому» «Новому миру», и в горделивом предпочтении «внутренней свободы» свободе «внешней». Все они — от П. Проскурина до процитированной А. Латыниной — без ложной скромности убеждают публику в исключительной ценности духовных богатств, накопленных ими в якобы «застойные семидесятые». Но никому этих богатств не показывают — и, кажется, понятно почему: нарядившаяся в чужие цитаты себялюбивая пустота, толкующая о глубине и «созидательности» своих идей, в действительности ровно ничего не предлагает, кроме полемических колкостей и общих мест и вряд ли способна кого-либо увлечь. Тем более по нынешним серьезным временам.

родовольце Николае Клеточникове, затем о Чернышевском; обе они вышли в выпускаемой Политиздатом серии «Пламенные революционеры». И опять-таки: какая «обыкновенная история», какой типичный для пережитых нами лет оборот писательской судьбы!

Когда-нибудь будущий историк литературы поразится тому, какое непропорционально большое место заняла вдруг в нашей литературе историческая тема. С конца 60-х годов прозаики, до той поры безраздельно преданные современности, стали один за другим переключаться на историю, критики — на книги о Гоголе, Лермонтове, Грибоедове, Державине, Фонвизине, Достоевском, Островском. По этому поводу наговорено немало глубокомысленных слов. В том смысле, что такой всеобщий интерес к истории есть свидетельство углубления нашей общественной мысли, ее особенной зрелости, возвращения к истокам, восстановления связи времен и пр. и пр. Отчасти это и так, но в еще большей степени подобное массовое производство «Тыняновых поневоле» представляло собой, конечно, знак беды — в том числе и для прогресса в само́м историческом сознании.

Обе исторические повести В. Савченко — с серьезными художественными достоинствами, обе написаны, чувствуется, на основе тщательного и добросовестного изучения материала. Среди книг серии они на хорошем счету... И тем не менее мысленно сравнивая их с прежним, неизданным Савченко, я не мог подавить в себе чувство горечи и сожаления: разве так он умеет писать! В том материале, который он знает без изучения, насколько же был он более свободен, краток, энергичен, ясен, сложен, неожидан, психологически тонок, богат мыслью! И вот наконец перед нами его новая — старая! — книга, его первенец, родившийся через шесть и двенадцать лет после своих младших сестер...

Вероятно, чтобы не отпугнуть покупателя, под произведениями сборника нет дат, в издательской аннотации — тоже ни слова о том, когда все это писалось. Любопытно, заметит ли читатель, что перед ним рассказы и повести, написанные почти четверть века назад? Я думаю, нет, не заметит. Прежде всего — никакой старомодности в письме. А для той категории читателей и критиков, в сознании которой современность прозы ассоциируется с некоторыми специфическими формами художественной условности,— вот, пожалуйста, «Пустырь», экспериментальная философская повесть-притча с сильным элементом остранения. Можно, пожалуй, заключить, что В. Савченко, одним из первых вступивший на ту дорогу, по которой пошла преобладающая часть нашей «городской» прозы 70—80-х годов (жесткое, свободное от прекраснодушия, от каких-либо иллюзий нравственное исследование современного героя), пока что ни от кого не отстал.

Это во-первых. А во-вторых, и быт, и человеческие отношения, и главные общественные проблемы у нас и сегодня все еще, в общем, те же. Так что и в данном смысле книжка В. Савченко вполне про нас. Правда, в ней не видно никаких примет перестройки, зато отлично изображен тот «застой», который на протяжении столь долгого времени определял наше существование да и по сей день отнюдь не устранен, а в основаниях своих даже не поколеблен.

Больше всего для проникновения в нравственно-психологическую атмосферу «застоя» дает повесть «Неудачник», в чем-то — при полном внешнем несходстве — перекликающаяся с тогда же написанной вампиловской «Утиной охотой». Описана жизнь, потерявшая смысл, ставшая — вся, в самых разных своих проявлениях — какой-то внешней, невсамделишной, условной. Жизнь обыденная, привычная, знакомая наизусть, в том числе и в своих обычных мелких хитростях и обманах, но вместе с тем как бы и не своя, как бы отчасти чужая тем, кто тянет ее изо дня в день. И сами люди словно бы немного чужие самим себе, это они и не они, раздваиваются, играют, живут не всерьез. Однако же живут. Условна их работа, однако работают...

Вот герой повести, инженер заводского технадзора. Он может подписать процентовку строителям, нарушившим технологический график, может не подписать — то и другое при данных условиях почти одинаково плохо, а виноватого в том, что все в целом делается не так,— где же его найдешь? Допустим, «все дело в системе», как сказал однажды, свалившись с неба, некий твой сослуживец, но если ты и пришел — давно уже — к такому убеждению и даже готов его высказать, не оглядываясь на сидящего в углу Пашку (при котором замолкают или переводят разговор), то как же все-таки быть с процентовкой?

Вот героиня, балерина, «молодая восходящая звезда»: «Я прихожу на собрание, вот вчера была на комитете, и сижу, как дура: они там что-то решают, у них обязательства, какое-то соревнование, у меня что-то спрашивают, а мне смешно: боже, думаю, как они не видят, что это смешно! А потом становится страшно: они такие, как я, ничем я не лучше их, почему им не смешно, а мне смешно? Или: читали либретто этих Нелидовых... Ведь это убожество! Кусочек скучной пропаганды, как скажет мама, а не балет, и я должна танцевать. А они, и не одни Нелидовы, с таким увлечением обсуждают, так серьезно, боже! Но ведь я с ними должна работать, понимаешь, с ними? Какая же это работа... Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь: что делать, надо держаться. Что еще ты можешь сказать? Крепись, держись. А сколько можно держаться? Пойми ты, это жизнь, жизнь!»

Условны убеждения, взгляды, идейность. Преуспевающий журналист, первый зам. редактора большой газеты, напечатал в ней «лихую», можно понять —

обличительную, разносную «статью о студентах». Студенты эти, оказывается, что-то писали, высказывали какие-то собственные взгляды — о чем не упоминалось в статье, хотя и явилось настоящей причиной ее появления. Имея в виду эту статью, герой спрашивает своего однокурсника, новоиспеченного зав. отделом той же газеты:

— Как у вас, кстати, к этому относятся?

— Как, старина, относятся? Как надо.

— А ты как?

— Тоже как надо.

— Я серьезно?

— И я серьезно. У нас, старина, люди цельные.

— ...Послушай, а если бы тебе поручили написать про них? Написал бы?

— Я, старина, нормальный, здоровый человек, и у меня семья, дети, любимая работа.

— Написал бы, хотя сам думал иначе?

— Почему иначе, старина? А если я сам так думаю?

— Ах, так? Тогда, конечно.

— Так, старина. Как живешь? На свадьбу скоро позовете?

Но не будет свадьбы. Потому что и любовь этих нормально-условных людей тоже условна. Секретарша Тоня: «Она смотрит на меня и смеется, пока я подхожу, и медлит, подпуская близко, и, улыбаясь, отступает в коридор и щурится, показывая, что не будет против, если я ее легонько обниму и поглажу... Мне она приятна, и она это знает и играет, но дальше игры мы не пойдем, ей это не нужно, и я ее понимаю». Невеста героя, та самая балерина, когда-то пленившая его своей детской бесхитростностью и простотой: «Звоню к Светлане, Семеновна подходит к телефону.

— Светочки нет,— отвечает и закрывает трубку, шепчет Светочке, которая стоит рядом с ней и тоже шепчет».

Не будет свадьбы, потому что какой же он, в самом деле, жених — простой инженер со своими вечными ста шестьюдесятью в месяц, снимающий комнату в коммуналке, а там, на другом конце провода, она, дочь «государственного человека», в огромной квартире, где все комнаты, включая комнаты для гостей, «тяжело и дорого убраны»...

Тон повести — сдержанный, спокойный; авторский взгляд на весь этот мир пристален, но не зол и без малейшей примеси гротеска. И однако же все повествование проникнуто одним чувством, которое, в какой-то неуловимый момент возникнув, постепенно усиливается, уплотняется, разрастается и к концу все собой пропитывает и заполняет. Это чувство — тоска. Она, конечно, тяжела — и герою, и читателю, ох, как тяжела! Но в самой ее тотальности и непереносимой остроте есть, с другой стороны, и что-то обещающее, обнадеживающее, некая потенциальная энергия, подобная силе все круче сжимаемой пружины...

Сегодня эта тоска двигает перестройку и утоляется ею. Но еще не утолена вполне и при первых признаках нового разочарования опять забирает сердце в кулак.

Книга, таким образом, не отстала от времени, и за судьбу ее можно не беспокоиться. А что автор? Как теперь сложится его дальнейшая творческая судьба? Сможет ли он вернуться в мир, который ему пришлось покинуть двадцать лет назад? И что это вообще значит — вернуться,— если в литературе имеет значение только новое, только открытие, только движение вперед?

Ю. Буртин

«Поговорим о жизни нашей...»

«Стыдно быть молодым писателем», — круто сказал мне однажды поэт, у издателей и критиков все еще числившийся по ведомству подающих надежды. Возражать не хотелось. Молодость действительно не индульгенция, классики наши в долгожителях не ходили; ну, а если она вынужденно подзатянулась, то поздние первые книги Тарковского, Самойлова, Слуцкого, Чухонцева, Рейна, Петровых (называю только поэтов) тоже, пожалуй, обязывают: к строгости мысли, точности слова, однозначности нравственного выбора. Молодым писателем быть стыдно... Вот с этой реплики пусть и начнется разговор.

Года два назад, пролистывая стихотворный сборник с осторожным названием «Багульник» (в нем представлены были участники очередного всесоюзного совещания молодых писателей), захлебываясь в разливанном море конъюнктурной, времен еще «очаковских» риторики, подавленная вычурным косноязычием многих его авторов, я выделила для себя несколько имен, среди них — Марат Акчурин. Стихи его подкупили несуетностью, умением удивляться космосу над головой — но в обращенных к себе требовательных строчках «ищи, ищи свой путь, ищи, пока не поздно» отзванивал известный императив «Не спи, не спи, художник...» и не было ощущения новизны.

И вот уже две книги отделяют поэта от того альманашного знакомства. Энер-

гично заявив о себе во «Временах жизни», обрадовав поохладевших к поэзии читателей импульсивностью чувств и неординарностью мировидения, М. Акчурин попытался вместить в первую книжку, кажется, весь свой опыт пережитого и увиденного. Желание закономерное: ноша за плечами была немалая. Долгие годы работы за рубежом, Каир, Багдад, поэтическое посвящение переводчикам... Впрочем, можно только догадываться, сколько суровых сюжетов, тоски по родине, одиночества и любви скрыто за полушутливым восточным колоритом ряда его стихотворений, почему оказались столь знаменательны для него «соразмерность и покой» и «небо, от мороза голубое» — в книге об этом было между строк: «гражданский» риторический надрыв поэту чужд, «рифмовать лозунг» он не станет. А уж если скажет о своих чувствах к Родине, то вот так, резковато, по-мужски: «Пора и нам на плечи груз принять. Россия — мать, да мы не детвора. Не то чтоб нянчиться устала мать, а нам о ней заботиться пора». Это я уже цитирую вторую его книгу — «Открытое шоссе», где удачно продолжена — и подчеркнута в названии — столь значимая для М. Акчурина тема дороги, движения, неустанного обновления и довоплощения жизни, но где автор, похоже, дочерпывает отстоявшиеся впечатления, против желания повторяется, добирая объем за счет юношеских тетрадей, путевых набросков и мнимозначительных миниатюр. Вторая книга — нелегкое испытание для писателя: он теряет право на дилетантизм, возникает внутренний гамбургский счет, и к возможности выговориться прибавляется обязанность найти самые нужные слова: Марат Акчурин находит их не всегда, но удачи книги обнадеживают. К числу таких удач я отнесла бы «Семейное чаепитие» — стихотворение, словно бы взявшееся доказать, что поэзия действительно может прорасти из любого «сора»: из неурядиц, усталости, горечи, «тесноты» и «беготни»... Акчурин добросовестно перечисляет все эти маловероятные компоненты поэтического вещества:

Поговорим о жизни нашей,
О магазинной беготне,
О блюдечке со старой кашей,
О помидорах на окне.
О недостиранных рубашках,
О надоевшей тесноте,
О перебитых мною чашках,
О том, что мы уже не те...
Что нет в семье своей пророка,
Что мы по-прежнему бедны,
Что ты состаришься до срока,
А я не прошибу стены...
Что это жизни середина...
(Но где же воля и покой?)
Что рдеет красная калина
За вечным Хроносом-рекой.

Неназванное — ощущение счастья присутствует в стихотворении: прозаическим упоминанием о разбитых чашках, щемящим вопросом, запрятанным в скобки, но таинственно подсвечивающим этот беззастенчивый быт. Грустная реминисценция из Пушкина — помните, «на свете счастья нет, но есть покой и воля»...— воспринимается не как дань вошедшей в моду книжности, но как реплика в бесконечном диалоге человека с жизнью. Стилистическая пестрота, являя карнавальную изнанку житейской драмы, не мешает пониманию того, что время пространственно (Хронос-река), что тленное прекрасно, что вечность томит, но не страшит, не обдает смертельным холодом. Жить неуютно и трудно, а все-таки «бездна уже не темна»; откуда же идет ясный и ровный свет этой поэзии, что наполняет жизнь смыслом и надеждой?

Любовная лирика приоткрывает завесу над тайной этого самостояния, вероятно, не менее значимы для поэта впечатления детства, образы матери и отца — он пишет о них бережно и нежно, будто боясь расплескать «ковш душевной глуби», как сказал о детстве чтимый им Пастернак. Да, сильное и щедрое чувство умножает в человеке человечность, да, счастлив тот, кому удалось — по гоголевскому выражению — забрать с собою в суровое ожесточающее мужество все благородные движения души... и, однако ж, идиллии тут нет в помине. Так неидилличен век, так мало располагает к «чистым негам» его последняя четверть, так отчаянны и безнадежны попытки переделать словом мир, объяснить людям, «что на этой Земле мы все-таки братья» — все-таки... Ну что может поэт? Услышать, как «сороки на фарси стрекочут строки из Хайяма-мудреца»? Увидеть, как по всей планете — «то там, то здесь» — усталые женщины «опускают отрешенно руки, пахнущие недомытой посудой, и задумываются о чем-то на мгновенье»? Догадаться, «о чем молчат вереницы усталых людей на подземных эскалаторах, сквозь щели которых пробиваются блики Анда»? Защитить кого-то «от безвозвратности потерь»? Насмешливый романтик, М. Акчурин и сам иронизирует над своим донкихотским стремлением «обогреть космос» и сам чувствует, что в раздираемой противоречиями и проблемами жизни поэзия уходит на третий, на пятый план, да и можно ли, в самом деле, утешиться строкою, не призрачное ли это утешение? Но зная жесткий ответ на этот вопрос поэта, но видя всю неровность его «Открытого шоссе», я почему-то повторяю, как школьница:

Еще не до конца мы износили
Семь пар почти железных башмаков.
К тому же скоро праздник новогодний,
И потому поищем в «Детском мире»
Большую синтетическую елку
И дальше будем жить без дураков.

Будем, читатель?

Н. Камышникова

Нововолынск

Марат Акчурин. Открытое шоссе. Книга стихотворений. М., Современник, 1987.

Новомирская закалка

«...Многим мы обязаны Вашему характеру, Вашей никогда не изменяющей мужественности и прямоте, благородству и человечности, Вашему открытому товариществу и человеческому таланту, Вашей мягкости, которая всегда, когда это нужно, оборачивалась непоколебимой принципиальностью и твердостью».

Это обращение к Кондратовичу, соратнику-юбиляру, Твардовский прочитал в Кузьминках, в доме на Окской улице, где в то время жил Алексей Иванович. Сохранились фотографии, сделанные в тот вечер. Одна из них воспроизведена в 15-м выпуске «Альманаха библиофила» — Твардовский и Кондратович плечом к плечу сидят на диване, беседуют...

Много светлых и высоких слов сказано Твардовским в его обращении к юбиляру. А одно слово — горькое «оборачивалась» в прошедшем времени.

Шел последний день февраля 1970 года. Судьба их «Нового мира» была уже решена.

О подвижнической работе Твардовского-редактора Кондратович, бывший его заместитель, десятилетие спустя заметит: «У него был полный комплект некрасовского «Современника», и это более чем понятно, по какому внутреннему побуждению был он куплен. Твардовский считал «Современник» лучшим русским литературно-общественным журналом... Думаю, что тема «Твардовский-редактор» когда-нибудь станет предметом интереснейшего исследования».

«Более чем понятно» — и только.

Основная литературная работа А. Кондратовича пришлась на время недомолвок и самоограничений, намеков и эзопова языка. В статье «Все дело — в призвании», давшей заглавие сборнику, определена суть болезни, поразившей критический цех: он превратился в некую «сферу обслуживания литературы», и — хуже того — «отдельных людей». А ждут от него «хоть чуточку нового, свежего...».

До весны 85-го Алексей Иванович не дожил...

В сборнике «Призвание» помещена библиография основных работ А. Кондратовича. Их двести двадцать шесть. Первые статьи опубликованы еще до войны. Последние появляются в печати до сих пор. Самая большая часть работ приходится на последние полтора десятилетия его жизни, время после «Нового мира». «Там он был прикован к тачке редакционной работы»,— говорилось на его похоронах. «Читал в день по двадцать листов рукописей»,— рассказывал и сам Алексей Иванович. В переводе на обычный язык — это полтысячи машинописных страниц ежедневно...

Сладкая каторга, ибо труд был радостный. «...Бывало нам и сладко, и горько,— говорил Твардовский на юбилее в Кузьминках,— но как бы ни бывало, можно по совести сказать, что свое общее дело мы всегда делали со вдохновением и радостью».

О Твардовском Алексей Иванович мог рассказывать без конца — рассказывать увлеченно, с любовью, вспоминая множество фактов и деталей, фрагментов бесед и высказываний поэта, характерных для него словечек и выражений.

И писал Кондратович, в сущности, одну Книгу. Книгу о Твардовском. Не по его желанию она выходила частями, в виде самостоятельных книг — «Александр Твардовский. Поэзия и личность» (1978,1985); «Ровесник любому поколению»: документальная повесть о Твардовском А. Т.» (1984, 1987) — с неизбежными при этом повторами и вынужденными потерями. Многажды рассказывая о тернистом пути подготовки книги к печати, Алексей Иванович сокрушался по поводу разделов о Твардовском-редакторе. Эти разделы до сих пор не дошли до читателей.

Одновременно в периодике и сборниках, включая издания на иностранных языках, появлялись многочисленные статьи, очерки, рецензии Кондратовича. Они-то частью и образовали книгу «Призвание». В стремлении своем постичь безграничный духовный мир Твардовского Кондратович предстает исследователем-максималистом.

Читаем первый очерк сборника — «Лобастые мальчики революции». Он о Павле Когане, авторе «Бригантины», однокашнике Кондратовича по легендарному МИФЛИ — Институту философии, литературы и истории. Судьба «лобастых мальчиков» известна; со студенческой скамьи — в войну. Лишь один из каждых тридцати трех в том поколении дошел до Победы. Участь тридцати двух — за бессмертными стихами Твардовского «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...», за его же вступлением-клятвой к поэме «По праву памяти»:

...Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!..

Понятно, почему судьба писателей военного поколения, их книги — стержневая тема сборника «Призвание». Автор сам бывший военный журналист. И очерк о «лобастых мальчиках» задает тональность книге.

Но есть при этом в первом очерке еще одно существенное, определяющее для всей книги обстоятельство: смуглого, худого, быстрого в движениях Когана мы видим в присутствии Твардовского, хотя и не названного в очерке. По ранее вышедшим книгам Кондратовича мы знаем: Твардовский — рядом, стоит во время перерыва у крайнего окна того же верхнего этажа МИФЛИ — «высокий, стройный, спокойный» — любуется березками, которые чуть поодаль одна за другой, словно держась за руки, спускаются к Яузе, курит папироску и не очень-то внимателен к студенческой колготне... Таким впервые увидел автора «Страны Муравии» 17-летний студент Алексей Кондратович.

И так же в присутствии Твардовского, только в каждом случае подтвержденном, предстанут персонажи последующих очерков «Призвания» — Борис Полевой, Евгений Носов, Константин Симонов, Эммануил Казакевич, Александр Яшин, Сергей Сергеевич Смирнов...

Иногда задача усложняется: «Попробую взглянуть на Исаковского глазами Твардовского» (очерк «Дорогой мой поэт...»).

Велик соблазн сказать — вот так же, «глазами Твардовского», смотрит автор «Призвания» на всю отечественную литературу. Но нет, разумеется, это его, Кондратовича, взгляд, концепция, оценка.

Очевидно другое: наиболее пристально и глубоко он исследует личность и творчество тех писателей, которые были близки Твардовскому. Подобные сюжеты не просто увлекают Кондратовича, они вдохновляют его. «Старец Иван Сергеевич», например — рассказ о Соколове-Микитове,— произведение тонкое, лиричное, исполненное уверенной писательской рукой. Ну а об очерке «Лично обязан (О С. С. Смирнове)», заключающем раздел портретов и воспоминаний, говорить что-либо вообще трудно. Его надо читать. Написанный Алексеем Ивановичем незадолго до смерти, этот очерк, бесспорно, принадлежит к лучшим его работам.

В материале «Твардовский-книгочей» Кондратович называет множество имен. Самое любопытное, что здесь вновь перечислены персонажи основных очерков сборника, а одновременно — и глав «Документальной повести о Твардовском»: Ахматова, Бунин, Цветаева, Исаковский, Соколов-Микитов...

«Само присутствие Твардовского в литературе было необычайно благотворным для всех нас,— говорится во вступлении к «Твардовскому-книгочею».— А уход его и еще нескольких выдающихся писателей, как это ни горько сознавать, повлиял на определенное снижение критериев в нашей литературной жизни».

При первой публикации материала в «Альманахе библиофила» (выпуск 15, 1983 г.) фраза, начинающаяся словами «А уход его...», снята. Хотя и она смягчена и не совсем ясна. Какой «уход» имеется в виду? Из жизни? Но разве ему не предшествовал вынужденный уход из журнала и самого Твардовского, и его «со-редакторов»? (В очерке «Лично обязан» Алексей Иванович пишет: «Твардовский при всем том, что был Твардовским, и дистанция меж ним и всеми остальными какая-то не зримая, но всегда оставалась, был лишен какой-либо начальственности и в разговорах употреблял только одно слово: «со-редакторы». «Мои со-редакторы». Непременно с этим «со-». Никогда — «мои редакторы».)

Последней подготовленной Твардовским и его «со-редакторами» стала январская книжка «Нового мира» за 1970 год — с «Белым пароходом» Айтматова, с последней самого Твардовского прижизненной публикацией. В очерке Кондратовича «Дорогой мой поэт...» рассказано, с каким тщанием работал Александр Трифонович над этим приветствием Михаилу Исаковскому. Для следующего, февральского номера была подготовлена поэма «По праву памяти», пришедшая к нам лишь сейчас, семнадцать лет спустя. Причем, в публикации «Нового мира» воспроизведен формуляр (в журналистском жаргоне — «собачка»), сопровождающий любой материал при его подготовке к печати. На нем подпись А. Кондратовича. И дата — 14 января 1970 года...

А потом — февральская встреча-прощание в Кузьминках и — «определенное снижение критериев в нашей литературной жизни».

Сборник «Призвание» потому и ценен. Он свидетельствует: существовала, жила литература сопротивления застою, литература, духовно готовившая обновление жизни, именуемое перестройкой.

Вспомним слова Кондратовича: «хоть чуточку нового, свежего...»

В пору общего «снижения критериев» Кондратович сохранил ту меру требовательности к произведениям литературы, которой отличались «новомирцы» Твардовского. Сам Алексей Иванович именно так ее и называл: «новомирская закалка».

Тот «строгий знак сторожевой» и заставлял авторов работать и работать над материалом, прежде чем, набравшись духа, переступить порог журнала...

Одну черточку в характере Алексея Ивановича я углядел еще там, в коридоре «Нового мира», тревожной осенью 69-го. Галстуков не любил. Надевал их лишь при крайней необходимости. Видел раз, как в первый же подходящий момент снял он галстук, сунул его в карман, вздохнул облегченно. Позже понял — ему претило все, что сковывает, ограничивает, душит.

«Остерегайтесь регламентаций!» — называется одна из его статей, включенных в сборник. «Литература — та же жизнь,— говорит в ней Кондратович,— и потому ей противопоказана какая-либо регламентация...»

И. Попов

Алексей Кондратович. Призвание: Портреты. Воспоминания. Полемика. М., Советский писатель, 1987.

Никто не забыт?..

В последнее время в печати разгорелась острая дискуссия о «пропавших без вести» на фронтах Отечественной войны и о бывших советских военнопленных. «Кто может гарантировать, что среди них не было добровольно сдавшихся в плен?» — задаются вопросом главный маршал артиллерии В. Толубко и подполковник в отставке А. Коваленко, напечатавшие в «Красной звезде» за 5 сентября 1987 года письмо «И с тех высот попробуем судить». «В кровавой круговерти гибли роты, батальоны, полки и дивизии. Гибли штабы, а с ними и все документы. Теперь попробуй установи,— пишут авторы письма,— кто погиб, кто пропал без вести, кого взяли в плен, а кто сдался сам...»; «Припомним,— рассуждают они,— как в первые дни гитлеровцы держали пленных в сараях для скота, амбарах, складах, на стадионах, полянах, в оврагах, клубах, церквах, обнесенных колючей проволокой в один ряд, с малой охраной. На тысячу военнопленных, бывало, приходилось 5—7 гитлеровских солдат, полицаев. Но не все почему-то спешили освободиться. Те, кто боялся за свою шкуру, оставались и работали на врага. Это что? Это как понимать?» А раз так, раз какое-то количество советских военнопленных добровольно сдались врагу, стали предателями, служили у немцев, значит, по логике В. Толубко и А. Коваленко, остальным военнопленным, даже проверенным, доверять не следует и считать их надо если не прямыми нарушителями присяги, то нарушителями определенных инструкций, в том числе и такой: «последний патрон для себя». Почему, интересно, не для врага? Я уж не говорю о том, что порой у бойца не было не только «последнего», но и вообще никакого патрона. Например, в Брестской крепости, в других местах вблизи границы были случаи, когда бойцам, брошенным в бой, просто не успевали выдать боеприпасы, и все они, естественно, стали легкой добычей немцев. Их тоже зачислять в предатели? А разве лучше было бы для страны, если бы более 2 миллионов выживших военнопленных покончили жизнь самоубийством, бросились бы под огонь немецких автоматов и пулеметов? Нельзя ведь забывать, что немало наших пленных вели себя геройски в фашистских застенках. Вспомним генерала Карбышева, партизанку Зою Космодемьянскую, летчика Девятаева, матроса Никонова, погибшего в плену при обороне Таллина в 1941 году, всех оставшихся в живых, но плененных защитников Брестской крепости, часть которых, выжив в немецком плену, по возвращении на Родину продолжала искупление своих «грехов» в советских лагерях.

Печально, но факт, по сей день не обнародованы подлинные цифры «пропавших без вести» в годы Отечественной войны. Попытаемся установить их количество сами, используя те отрывочные данные, которые все же проникли в нашу печать и которые следует считать близкими к действительным. Так, в Энциклопедии Великой Отечественной войны сказано, что за 1941—1945 годы в немецких лагерях, расположенных на оккупированной территории СССР, было погублено 3,9 миллиона советских военнопленных. Но, поскольку советские военнопленные в те годы гибли и в других лагерях — рабочих, кадровых, концентрационных, которые были расположены как на территории самой Германии, так и в оккупированных ею западных странах, то очевидно, что в лагерях за войну погибло не менее, а более 4 миллионов советских военнопленных. Примем эту цифру за близкую к действительности и отнюдь не завышенную и обратимся к данным, собранным бывшим начальником Советской военной миссии по делам репатриации советских граждан в Западной Европе полковником А. Брюхановым, которые он приводит в своей книге «Вот как это было»: всего по осень 1945 года было репатриировано 5 миллионов человек, в том числе 2 миллиона военнопленных и 3 миллиона гражданских лиц. Эти 2 миллиона человек, считавшиеся «пропавшими без вести», по возвращении в СССР

стали репатриантами, погибшие же в плену 4 миллиона советских людей и по сей день числятся «пропавшими без вести».

В дискуссии о виновности или невиновности бывших военнопленных, вернувшихся на Родину, не следует забывать, что все они без исключения (в том числе и те, кто еще в начале войны сумел бежать из плена, воевали после этого в составе Красной Армии, заслужив при этом самые высокие награды, вплоть до трех орденов Славы всех степеней и звания Героя Советского Союза) проходили двойную проверку: сперва в запасных дивизиях и полках, во время которой устанавливались причины пленения, поведение в плену, условия освобождения из плена, а затем проверку в органах государственной безопасности совместно с военкоматами по месту жительства. Те военнопленные, которые были освобождены из лагерей Красной Армией или армиями союзников, проходили еще и фильтрационную проверку контрразведкой в спецлагерях в самой Германии, после чего в военный трибунал направлялись те, кто запятнал себя предательским поведением в плену. Прошедшие фильтрацию тоже поступали на проверку, а затем либо демобилизовывались по месту призыва в армию, либо — в соответствии с их деяниями — направлялись в трибунал, либо в рабочие лагеря на работу, совмещенную с окончательной спецпроверкой. Потом для одних следовала демобилизация, для других — искупление «грехов» в заключении. И вот после всего этого, после более чем сорока лет под подозрение хотят поставить и всех пропавших без вести, и бывших военнопленных. Так что же, иачием перепроверять бывших военнопленных? А как быть с умершими за эти годы? А как переживут эти подозрения их дети? Как быть с более чем миллионом стариков — бывших узников лагерей, награжденных и медалью за «Победу над Германией», и орденами Отечественной войны второй степени или даже первой степени? Как с ними-то быть? Лишать наград, а заодно и пенсий? А может, снова запустить их на спецпроверку в духе установок незабвенного Мехлиса? Бывшие военнопленные, прошедшие проверку, сегодня считаются участниками войны со всеми вытекающими отсюда льготами. И на сей счет в сентябре 1946 года вышло специальное постановление Совета Министров СССР № 2220 «Об упорядочении использования в промышленности, на строительстве и транспорте репатриантов — бывших военнопленных и военнообязанных и о распространении на них льгот, предусмотренных для демобилизованных». Это постановление не имело грифа секретности, оно было разослано всем министерствам и ведомствам и должно было дойти до всех учреждений и предприятий, однако дошло не до всех, и потому-то не везде и не сразу бывших военнопленных принимали на работу. Я считаю, текст этого постановления уместно вспомнить сегодня, чтобы у любителей ревизовать историю не было никаких оснований спустя 43 года после окончания кровопролитнейшей войны подвергать сомнению честность людей, прошедших муки и унижения плена и сохранивших верность присяге.

Итак, в 1946 году Совет Министров СССР постановил: «1. Установить, что на репатриантов — бывших военнопленных и военнообязанных, переданных из рабочих батальонов в постоянные кадры предприятий и строек, полностью распространяются действующие законодательства о труде, а также все права и льготы, которыми пользуются рабочие и служащие соответствующих предприятий и строек.

2. Распространить на указанных в п. 1 настоящего Постановления лиц, служивших в Красной Армии в период Отечественной войны, а также на направленных к месту прежнего жительства бывших военнопленных рядового, сержантского и офицерского состава льготы, предусмотренные статьями 3, 4, 7, 8, 9 и 10 Закона от 23 июня 1945 г. «О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей армии».

3. Обязать министров и директоров предприятий предоставить указанным в п. 1 настоящего Постановления лицам работу по их специальности, а в случае невозможности предоставления работы по специальности на данном предприятии переводить с их согласия на другие предприятия.

4. Распространить на указанных в п. 1 настоящего Постановления лиц, яв-

ляющихся инвалидами, действие Постановления Совнаркома СССР от 5 октября 1945 года № 2533 «О предоставлении инвалидам Отечественной войны и членам их семей права ухода с предприятий и из учреждений в случае переезда к месту постоянного жительства»...

5. Распространить на указанных в п. 1 настоящего Постановления репатриантов утвержденное Постановлением Совнаркома СССР от 6 февраля 1944 года Постановление секретариата ВЦСПС «О непрерывном стаже работы рабочих и служащих, находившихся во временно оккупированных районах».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
И. СТАЛИН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР
Я. ЧАДАЕВ

Москва — Кремль».

А теперь зададимся вопросом: как же вышло, что за войну в плен попали миллионы наших военнослужащих? Почему это произошло? Главной причиной массового пленения наших солдат и офицеров в 1941 году и в первом полугодии 1942 года были крупные окружения советских войск, обусловленные внезапностью нападения фашистской Германии на СССР, неподготовленностью страны к войне. В начальный период Великой Отечественной войны в окружение попадали не только армии, но и целые фронтовые управления. В Киевском окружении оказалось более полумиллиона наших солдат и офицеров. Управление войсками было нарушено, штаб фронта разбит, погиб командующий фронтом генерал Кирпонос. «Часть бойцов и командиров ушла в партизаны,— сообщает краткая история Великой Отечественной войны,— остальные попали в плен. Количество пленных не превышало одной трети первоначального состава армии, очутившихся в окружении»,— то есть пленено было примерно 200 тысяч человек. Упорно сопротивлялись наши войска в Вяземском окружении. В октябре 1941 года 19-я армия, которую возглавлял генерал Лукин, оказала упорное и организованное сопротивление, связав значительные силы немцев, наступавших на Москву. Сам Лукин раненым попал в плен и только после войны возвратился на Родину. В Брянском окружении штаб Брянского фронта был парализован, командующий фронтом генерал Еременко был ранен и самолетом вывезен из окружения. В Керченской операции (май 1942 года) Крымский фронт потерял 176 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести.

В Севастополе погибли или попали в плен около 100 тысяч наших солдат и офицеров, затем последовало окружение наших войск под Харьковом, где также погибло или попало в плен до 100 тысяч человек, а в июне 1941 года было Минское окружение, где в плену оказались десятки тысяч советских людей (это уже данные немецких историков).

В окружениях быстро нарушалось управление войсками, а при отсутствии какой-либо существенной помощи извне (боеприпасами, вооружением, продовольствием, медпомощью, эвакуацией раненых) войска оказывались не обеспеченными всем необходимым для боевых действий. Да и никогда мы не готовились воевать в окружении, не было таких задач при подготовке войск и штабов. Только «тройным ударом», только «малой кровью» и только «на территории врага, который первым на нас нападет». Так провозглашалось, и всему этому пришлось учиться на полях сражений, платить за это большой кровью, большим числом пленных, потерей территорий с огромными, приготовленными для наступления запасами боеприпасов, вооружения, техники, продовольствия, снаряжения. Все это досталось врагу в первые же дни войны.

«Если бы вероломно напавшие на нас немецко-фашистские захватчики на рассвете 22 июня 1941 года встретили организованный отпор наших войск на подготовленных оборонительных рубежах, если бы по врагу нанесла удары наша авиация, заблаговременно перебазированная, рассредоточенная на полевых

аэродромах, если бы вся система управления войсками была приведена в соответствие с обстановкой, мы не понесли бы в первые месяцы войны столь больших потерь в людях и боевой технике. Тогда ход войны сложился бы совершенно иначе. Не были бы отданы врагу огромные территории советской земли, народу не пришлось бы переносить столько страданий и тягот». Это свидетельствует в своих мемуарах главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, однако в исторических трудах до сих пор не упоминается о наших материальных потерях, понесенных в первые недели войны.

Почти ничего не сказано о наших пленных на «той войне незнаменитой», какой была финская война 1939—1940 годов. Тогда 44-я стрелковая дивизия, наступавшая из Карелии в Ухтинском направлении к Ботническому заливу, почти перерезала Финляндию пополам. Морозы в ту зиму на Карельском перешейке и в самой Финляндии достигали 45 градусов, зима была очень снежная, а лыжные части у нас появились только к февралю 1940 года. Дивизия вошла в глубь Финляндии на 60—70 километров, и, когда финские лыжные части перерезали ее коммуникации, она оказалась в полном окружении. На сорокаградусном морозе, в метровых снегах дивизия осталась без снабжения, без достаточной санпомощи и без командования. Командир дивизии комбриг Виноградов, за год выросший из командира батальона (капитана) до командира дивизии (комбрига), вместе со своим начштаба и комиссаром дивизию оставили и как-то сумели прорваться к своим. Какое-то время брошенная на произвол судьбы дивизия отражала атаки маневренных финских войск, в массе использующих лыжи. Никакой помощи извне дивизия не получила, и через две-три недели неравных боев была целиком разгромлена. Несколько тысяч обмороженных, обессиленных солдат и командиров оказались в финском плену. Я помню, как нам, командному составу войск на Карельском перешейке, в начале января 1940 года был зачитан приказ Наркома обороны Ворошилова об этом печальном событии и о том, что комбриг Виноградов, его комиссар и начальник штаба были расстреляны «перед строем дивизии». В мае 1940 года, когда было подписано перемирие, финны передали наших военнопленных — изможденных, обмороженных, инвалидов... Их везли в санитарных поездах, к которым никого не подпускали. Домой они не вернулись. Их семьи тоже были высланы, видимо, как семьи предателей. Так как теперь быть — продолжать их тоже считать предателями?

...При захоронении тех, кто пал в окружении в годы Великой Отечественной войны, часто не удавалось установить имен погибших, поэтому у нас так много безымянных одиночных и братских могил, где лежат честно выполнившие свой долг военнослужащие Советской Армии, многие из которых и по сей день значатся «как пропавшие без вести». Судьба их должна быть решена. Надо продолжать раскрывать тайны безымянных захоронений, надо обратиться в архивы ФРГ и ГДР, где наверняка сохранились регистрационные карточки, которые заводились на советских военнопленных, попавших в лагеря, расположенные на территории Германии и оккупированных ею стран. В эти карточки педантичные немцы вписывали достаточно подробные анкетные данные попавших в застенки военнослужащих Советской Армии, там же делались отметки о гибели или естественной смерти заключенных. Надо поднять архивы нашей контрразведки, выполнявшей проверку освобожденных советских граждан. Конечно, надо учитывать, что многие военнопленные и особенно советские граждане еврейской национальности регистрировались в лагерях под вымышленными фамилиями, чтобы избежать гибели, но в данном случае ясно одно: какая-то часть имен «без вести пропавших» станет нам известна.

Конечно же, судьба нескольких миллионов пропавших без вести и погибших в плену или в окружении документально установлена быть не может. Их, я полагаю, безусловно, следует считать погибшими. Ну, а если кто-либо из пропавших без вести и окажется позднее живым и даже невозвращенцем, так справедливо ли из-за единиц или даже десятков и сотен таких людей бросать тень на миллионы пропавших без вести и до сих пор не признанных погибшими? Уверен, справедливым решением для миллионов «пропавших без вести» стало бы

такое: чья судьба не будет прояснена к 45-летию Победы, то есть к маю 1990 года, тех надлежит считать погибшими. Это будет актом справедливости и по отношению к тем, кто пал на фронте или в лагерях, по отношению к живым и по отношению к их родным — детям и вдовам. Ну, а если кто-то из тех, кого сочтут погибшим, объявится вдруг живым, то паники из-за этого поднимать не следует. Ведь и теперь бывают случаи «воскрешения» павших, чьи имена уже высечены на памятниках, а «похоронки» на них бережно хранятся вдовами и детьми.

Пишу я все это с сердечной болью, ведь я и сам побывал в фашистском плену, видел все его ужасы. В августе трагического сорок первого года наша дивизия была окружена немцами и наголову разгромлена. С комиссаром полка и группой бойцов я оказался во вражеском тылу. Мы прошли более трехсот километров, и не просто прошли, а с боями, нанося врагу урон в живой силе. Когда попытались перейти линию фронта, все мы были захвачены в плен. В ноябре 1943 года я бежал из очередного, не помню уже какого по счету, немецкого концлагеря, а было это в Бельгии, где я потом участвовал в Сопротивлении, командовал русским партизанским батальоном Бельгийской партизанской армии. Когда союзники открыли «второй фронт», попал в американскую армию, был командиром 10-й советской рабочей роты 1-й американской армии, а в конце войны служил офицером связи Советской миссии во 2-й английской армии, занимался вопросами репатриации советских военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками союзников. Сам я в 1945 году прошел двухступенчатую проверку в контрразведке и был демобилизован. Паспорт и военный билет получил сразу, а вот с пропиской в Ленинграде, откуда я уходил на фронт, долго не выходило. Снова проверки, и прописали меня только с санкции Комитета госбезопасности. На работу бывших военнопленных не брали, и я уехал в Москву, где проживала моя семья, эвакуированная из блокадного Ленинграда. Полтора месяца искал я работу и только после выхода в свет Постановления Совета Министров о бывших военнопленных я смог поступить в Энергетический институт Академии наук СССР, директором которого был Г. М. Кржижановский, друг и соратник В. И. Ленина. Находясь в это время в опале, он нашел возможность мне помочь, поверил бывшему военнопленному. Когда в военкомате мне вручали самую дорогую для меня медаль «За победу над Германией», райвоенком сказал фразу, которую никогда не забуду: «Вот теперь мы вас считаем за людей».

А скольких военнопленных и по сей день не считают честными людьми! Сколько «пропавших без вести» под подозрением! Да, мне повезло больше других — выжил на войне, выжил в плену, воевал, имею награды. Но совесть моя не будет спокойна до тех пор, пока не будут восстановлены честные имена тех, кто погиб без вести, кто по сей день чувствует на себе косые взгляды — а кто его знает, честный он или нет, если в плену был? Справедливость должна быть восстановлена, никто и ничто не должно быть забыто.

Б. Тягунов

г. Москва

Уважаемый Григорий Яковлевич, в Вашей речи на конференции меня особенно привлекла мысль о восстановлении долгожданной справедливости в отношении миллионов без вести пропавших и наших военнопленных, побывавших сначала в гитлеровских, а затем автоматически в сталинских лагерях. Мне представляется, что сегодня, когда в наших душах затеплилось чувство сострадания и милосердия, надо возвратиться к судьбе наших несчастных сотоварищей и в конце концов восстановить их честь, сделать их полноправными защитниками Родины и участниками Великой Отечественной войны.

Лично меня эта проблема затрагивает, так сказать, косвенно. Мой боевой путь сложился на редкость благополучно. В сентябре 1941 года мой полк — я был тогда командиром отделения — чудом вырвался из киевского котла (два других полка дивизии разделили участь армий Кирпоноса). В июне 1942 года, командуя взводом, мне посчастливилось вырваться из харьковских клещей. Полк был мотострелковый, но после Киева машин осталось лишь для одного батальона, ему-то и удалось избежать пленения, а 700 моих однополчан оказались в плену.

Под Сталинградом был ранен и расстался с пехотой. Воевал в артиллерии командиром взвода управления. Войну закончил на Эльбе командиром роты.

Четыре последующих года служил в Германии (в Советской военной администрации). Вот здесь я познакомился с документами одного лагеря для наших пленных (лагерь Цейтхейм под Дрезденом). Почти 100 000 карточек с полными установочными данными на наших умерщвленных пленных я отправил в Союз. Полагаю, что немецкая лагерная документация сохранилась и в других местах, частью оказалась в наших руках, а частью в архивах ФРГ.

Настало время обратиться к этой документации и послать последнюю весточку от без вести пропавших их близким и родным, всем нам.

Ну, а как быть с теми, кто пошел на услужение гитлеровцам? Это главный аргумент тех «бдительных» товарищей, зараженных вирусом подозрительности, которые препятствуют публичной реабилитации пленных и без вести пропавших. Но, во-первых, таких было немного. Мы располагаем на них так называемым «компрматериалом», добытым из различных источников. Вы, наверное, слышали о «фильтрационных лагерях», которые «профильтровывали» наших пленных. Разумеется, к документам таких лагерей надо относиться с большим недоверием: были и наговоры, и произвол, когда особисты в интересах своей карьеры «клепали» врагов.

Однако есть и достоверный материал, и он прошел через мои руки. Свидетельствую: когда я работал в Дрездене, с помощью немецких коммунистов мы завладели в одном женском монастыре документами берлинского полицей-президиума, того отдела, который ведал делами о приеме в германское гражданство. У гитлеровцев были основания скрыть этот архив. В нем хранились документы на гитлеровских пособников из различных стран. Несколько тысяч дел было и наших соотечественников. Они собственноручно расписывали свои «подвиги» в интересах рейха.

Немецкие коммунисты помогли мне по этим документам составить розыскной бюллетень, который я вместе с делами привез в Москву и сдал в Главное архивное управление МВД (1948 г.).

К моему глубокому сожалению, важность немецкой лагерной документации, фиксирующей трагическую участь ста тысяч советских пленных, по-настоящему осознал спустя четыре десятилетия после победы. Три года назад я обратился в газету «Советский патриот», но не получил ответа. Без последствий остались мои обращения и в другие военные издания...

Конечно, работа над лагерной документацией не из легких: большинство документов написано немецкой скорописью. Но разве мало у нас студентов инязов и студентов-историков? Можно было бы привлечь и молодых товарищей из ГДР. Однако никто по-настоящему не занялся этим справедливым и высоконравственным делом. В конце концов надо снять позорный навет «полководца всех времен и народов» на миллионы защитников Родины.

В минувшем году «Известия» воззвали к справедливости, но высокие военные чины воспротивились благородному делу.

Сейчас обстановка более благоприятна: много пишут о наших воинах, попавших в плен к душманам. И вот я обращаюсь к Вам: не мог ли бы ваш журнал всколыхнуть общественность, чтобы миллионы наших несчастных воинов перестали значиться без вести пропавшими и обрели единственно достойное имя — защитника Родины? Готов оказать посильную помощь в этом справедливом деле. Тема военнопленных мне знакома.

По моему глубокому убеждению, подавляющее число наших без вести пропавших, равно как вернувшихся из немецкого плена и затем оказавшихся в наших лагерях (сколько там их осталось лежать!) **являются жертвами сталинских преступлений перед Красной Армией** и советским народом. Об этом я говорил на собрании неформального клуба «Мемориал», который до недавнего времени существовал в Ленинграде полулегально, так как сооружение в Ленинграде памятника жертвам сталинских репрессий признавалось неприемлемым. Кстати, «Мемориал» возглавляют дочь артиста Г. Жженова — Марина Георгиевна Жженова и зав. кафедрой научного коммунизма Лесотехнической академии Прошина Елена Михайловна.

После собрания, на котором присутствовало большое число пострадавших от сталинских беззаконий, ко мне подошел один из тех, кто в 1941 году воевал и попал в плен в киевском котле,— боец 560-го СП, 175-й СД Юхнев Александр Федорович, 1921 года рождения. Прошел через многие фашистские лагеря. В 1945 году был освобожден и зачислен в нашу воинскую часть, но спустя некоторое время за сдачу в плен был направлен теперь уж в наш лагерь на «перевоспитание» на 10 лет. После XX съезда был реабилитирован, но до сих пор не имеет прав и льгот участника войны: требуют справку о пребывании в немецком плену (?!).

Как видите, вопрос о наших военнопленных имеет не только исторический интерес, не только тревожит нашу совесть, но и затрагивает судьбу ныне живущих сограждан.

Обращаюсь к Вам за помощью: надо мобилизовать общественность. Если вопрос о пленных и без вести пропавших «не вписывается» в ваши издательские планы, подскажите другой адрес.

Желаю Вам всего доброго.

Полещук Владимир Евгеньевич,
член КПСС с 1942 года, полковник в отставке,
кандидат исторических наук

В 6-м номере «Знамени» за 1988 г. критик Алла Марченко приводит несколько фраз из моей рецензии на повести В. Маканина. («Литературная газета» № 14, 1987 г.) Впрочем, это даже не фразы, это обрывки фраз, выхваченные из разных абзацев. Данная операция понадобилась критику для того, чтобы доказать, будто автор рецензии ратует за групповщину и даже этакую стадность в литературе. Между тем всякий, кто даст себе труд заглянуть в тот давний номер «Литературки», убедится, что Р. Киреев не только не упрекает В. Маканина за суверенность, как это утверждает А. Марченко, но считает ее необходимым качеством всякого подлинного художника. Каковым В. Маканин бесспорно является.

Таков пафос тогдашнего моего выступления. Таков, насколько я понимаю, и пафос статьи А. Марченко. Всецело разделяя его, не могу не высказать сожаления, что хорошая идея дискредитируется на страницах уважаемого журнала неточностью его автора.

Руслан Киреев

Мы с тобой расправимся!
Боевики патриотической организации «ПАМЯТЬ»

НЕОТВРАТИМО
ВОЗМЕЗДИЕ!



Это письмо пришло в редакцию как раз в те дни, когда в Ленинграде общество «Память» проводило митинги, когда боевики этого общества вырвали у одного из ленинградцев лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и на глазах наблюдавшей все это и бездействовавшей милиции изорвали его. Италь-

янка, преподавательница истории, Даниэла Стэйла, видевшая сборище, писала: «Мне казалось, что я присутствую на настоящем фашистском митинге 30-х годов... Больше всего я была поражена тем, что митинг этот произошел в стране, победившей фашизм».

Полутора месяцами ранее в № 23 «Аргументов и фактов» было напечатано сообщение Комитета государственной безопасности:

«КГБ СССР сообщает. 28 мая сего года в Комитете государственной безопасности СССР было объявлено официальное предостережение жителю г. Москвы Васильеву Д. Д., выступающему от имени объединения «Память», в связи с его антиобщественными действиями, могущими вызвать национальную рознь. О сделанном в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР предостережении Васильеву Д. Д. уведомлена Прокуратура СССР».

Мы знаем, что к рекомендациям, тем более к предостережениям Комитета государственной безопасности в нашей стране относятся с должной серьезностью. Однако произошло совершенно обратное. Открыто и безнаказанно продолжают совершаться антиобщественные, противоправные действия, открыто попираются обязательные для всех граждан статьи Уголовного Кодекса и Основной Закон нашего общества — Конституция СССР.

Секретарь Василеостровского райкома партии С. Бабаев, присутствовавший на таком митинге, сказал, что он категорически против и будет добиваться запрещения этих митингов. В связи с этим заявлением ленинградский писатель В. Воскобойников писал: «...я удивился, почему вообще надо «добиваться»? Разве отменена наша Конституция или упразднен уголовный кодекс?.. Я невольно подумал, не мог не подумать: если секретарь райкома «категорически против», то для того, чтобы такие митинги могли происходить раз за разом, должен же кто-то быть «категорически за»?».

В последнее время ряд редакторов, ряд общественных деятелей, писателей получили письма с угрозами расправы, физического уничтожения и т. д. Думается, пора, наконец, нашему обществу узнать, в чем причина такой безнаказанности одних и тех же антиобщественных элементов и кто именно этот или эти, кто «категорически за»?

Г. Бакланов

Уважаемая редакция!

В № 4 «Знамени» за 1988 г. опубликована рецензия Ю. И. Чернова на книгу Л. Г. Бескровного «Армия и флот России в начале XX века». С некоторыми положениями этой рецензии, относящимися к военно-морскому флоту, трудно согласиться.

Тов. Чернов пишет: «Вряд ли стоило приводить тактико-технические данные русских кораблей (по классам), данные по морским орудиям и минам заграждения, по морским самолетам. Ведь монография не справочник, и цели у нее другие».

Уважаемый Юрий Иванович упускает из виду один существенный момент — справочников по военно-морскому флоту России в широком потреблении нет. «Список паровых и броненосных судов русского флота 1861—1917 гг.» Моисеева вышел в 1948 г. и с тех пор не переиздавался. В нашей областной публичной библиотеке им. Горького единственный экземпляр «Списка...» рассыпается на глазах. Справочник «Корабли и вспомогательные суда ВМФ СССР 1917—1927 гг.» вышел таким ничтожным тиражом, что в библиотеке о нем не слыхали. Как в таком случае быть любителям истории флота, откуда брать информацию?

Я считаю, что всякая монография, посвященная какому-либо виду или роду войск, обязана иметь информационный материал в таблицах, тексте или в иллюстрациях.

С уважением —

А. Г. Либих,
инженер

г. Пермь.

Встречи в редакции

В ГОСТЯХ — «АФГАНЦЫ»

Несколько часов продолжалась в редакции встреча с Андреем Муслаевым, Виктором Галактионовым, Олегом Титовым, Валерием Надейкиным, Алексеем Власовым и тремя Сергеями — Князевым, Кузнецовым и Локтионовым. Все они — члены патриотического клуба бывших воинов-интернационалистов «Долг» Перовского района Москвы, все побывали в боях в Афганистане, а о пережитом рассказали в повести «Афганцы», которая была напечатана в седьмом номере «Знамени».

«Пережитое нами не приучило к растерянности перед малейшей сложностью, к апатии и раздражительности,— пишет в «Комсомольской правде» воин-«афганец» А. Шапков.— Мы возвращаемся работать, учиться. Мы сохраняем боевые свои награды. На всю жизнь — что же поделаешь? — останутся шрамы от ран. Но нет у нас на плечах незримых погон, мы не собираемся вносить солдатские порядки в перестройку, покрикивать и подчиняться окрикам...»

Все ли, однако, делается, чтобы мальчишки, которым отныне не погоны носить, а немальчишеское звание «ветеранов войны», легко, безболезненно входили в мирную, повседневную жизнь, где не все однозначно и не сразу разберешь, где «свои», а где — «чужие»?.. Увы, не всегда ласково встречают в Союзе своих сыновей. Никак не решат, кому же «отвечать» за демобилизованных «афганцев» — военкоматам по месту жительства или комсомолу? А пока суд да дело, копятся у ребят обиды.

Летом 1984 года капитан Сергей Князев был тяжело ранен неподалеку от кишлака, название которого, Дахан, запомнил он на всю жизнь. В бою лишился ноги. Кавалер двух боевых орденов, он не пожелал расстаться с армейской службой. В порядке поощрения, что ли, пообещали послать его в Чехословакию. Не на экскурсию — за... протезом: говорят, что чехи, не в пример нашим, их делают на совесть — и культю до крови не трут, и прочные, и удобные. «Пообещали в 84-м,— рассказывает Сергей,— по сей день еду...»

Олега Титова и группу его товарищей, демобилизованных воинов, «забыли» в кабульском аэропорту, оставили ребят без денег, еды, жилья. Потом, уже в Союзе, не могли раздобыть билет на московский рейс... Впрочем, едва ли не во всех рассказах ребят-«афганцев» звучит обида на Аэрофлот и МПС — один не мог вылететь в Москву и несколько дней ночевал в аэропорту Душанбе на лавочке, другой, отчаявшись улететь прямым рейсом на Москву, летел через Омск и Горький, и никто не хотел помочь демобилизованному воину... У третьего спекулянты, безнаказанно промышляющие в южных аэропортах и на вокзалах, требовали за билет десятикратную переплату, вымогали чеки... Для тех ребят, что пришли на встречу в редакцию, все это давно позади; Олег Титов, к примеру, демобилизовался в 82-м году. Но, может быть, сегодня с перевозками «афганцев» что-то изменилось? Увы, нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно побывать в столичных аэропортах или вокзалах, где «афганцы» по нескольку дней ищут возможности добраться до дому, коротая на скамейках дни и ночи...

Не везде и не сразу нас брали на работу, рассказывали ребята из клуба «Долг». Кто-то просто боялся, ведь сколько всяческих слухов, нелепиц вокруг «аф-

ганцев». Потому-то и скрывать приходилось, что служил в Афганистане. А не потому ли не брали, что положены ветеранам льготы, а кое-кому не больно-то хочется принимать на себя лишние хлопоты? Сейчас пишут о том, что пора рассекретить постановления о льготах для фронтовиков-«афганцев». Может быть, это поможет Володе Усову из Забайкалья, бывшему артиллеристу, воевавшему в Афганистане? Ребята из московского клуба «Долг», куда он обратился, отчаявшись добиться справедливости у себя дома, рассказали, что ему, как фронтовику, выделили однокомнатную квартиру, которую вскоре и отняли. Начальник Северобайкальского отделения БАМЖД В. Д. Кутузов, в чьем подчинении был Володя Усов, мотивировал это так: молод еще, поживет и в общежитии... Будь обнародовано постановление о льготах для «афганцев», где записано, что их в первую очередь надлежит обеспечить жилплощадью, посмел бы начальник дороги проявить такое самоуправство? Посмели бы не дать жилье ленинградцу Юрию Шнкову, единственному в городе «афганцу», удостоенному звания Героя Советского Союза? Или чиновники Коминтерновского района Воронежа вписали бы в самый конец жилищной очереди всех 93 бывших «афганцев», которые в этой очереди жилье получат не раньше чем через 20 лет?.. А разве Василеостровский райисполком Ленинграда поселил бы в сырой полуподвал инвалида-«афганца» или мытарили бы по сей день бывшего десантника Иванова, который вот уже несколько лет первым числится в льготной очереди на жилье в тресте «Рязаньстрой», если бы от чиновников требовалось неукоснительное соблюдение постановления о льготах? Но только ли в льготах дело? Чем руководствовался Бельцский горисполком, работники которого целый год не выдавали патент на занятие индивидуальной трудовой деятельностью бывшему воину А. Ботнарю, потерявшему в Афганистане обе ноги? Не о том ли речь, что сдвинуты у нас нравственные понятия? Один заявляет солдату-«афганцу»: «Я вас в Афганистан не посылал», другой увольняет с работы кавалера двух орденов и лишает его квартиры, третий ездит по госпиталям и скупает там по дешевке окровавленные, прожженные, пробитые пулями солдатские куртки, чтобы за хорошие деньги «загнать» их потом иностранцам у гостиницы «Космос» — те падки на такую вот «экзотику».

Отец погибшего в Афганистане солдата А. Н. Шевченко пишет в «Знамя»: «Отношение к могилам погибших и к раненым в Афганистане, к их семьям абсолютно равнодушное. Даже надгробие на могилу выбивай сам, становись в общую очередь и ищи транспорт, чтобы доставить, и специалистов, чтобы установить. И как ни крути, ни верти, а выходит: раз не сумел оградить свое дитя от жестокости афганской службы, то неси свой крест неудачника жизни...»

«Что творится, товарищ, скажи ради бога,
В славном стане трудящихся, в нашей стране?»

Это еще в 66-м писал Павел Антокольский. Сегодня те же вопросы задают нам «афганцы»: отчего все так? Почему к ним такое отношение? Откуда черствость, бездушие? Откровенная агрессия: «Тоже мне, ветераны!..» Но не о том речь, что увечья, боль, героизм нельзя ничем измерить, ни с чем нельзя сравнить. Речь о другом — о нашем отношении к этой войне. А оно далеко не однозначно. Вспоминаю, как год назад к председателю Совета Министров одной среднеазиатской республики, куда приехал я по журналистским делам, рвалась группа молодых людей. Без предварительной записи, без согласования, о чем и сообщил по телефону дежурный милиционер. Я спустился в просторный вестибюль и узнал, что на прием просятся здешние ребята-«афганцы», вознамерившиеся поставить в городе памятник погибшим товарищам, и, вконец изнуренные хождениями по инстанциям, многочисленными отговорками, всегдашними советами кабинетчиков «прийти завтра», решили искать справедливость в высшей инстанции. Что им ответили? Что памятник — дело безусловно достойное, правильное с политической точки зрения, заслуживает оно всяческого поощрения и поддержки, что такие вот памятники будут иметь огромное воспитательное значение... Почему будут? Да потому, что сейчас их ставить не время, ведь даже в Москве — даже в Москве! — нет пока такого памятника, и представьте, что нам скажут, если забежим вперед, установив его самостийно, не согласовав! А уж если ставить, то без фамилий — зачем разглашать сведения о наших потерях?.. Вот ведь как: потери есть, а разглашать — ни-ни! И так было по всей стране. Из Ковеля в «Знамя» пришло письмо от родителей погибшего в Афганистане солдата: не положено о таких, как ваш сын, писать некролог в нашей районной газете, сказали им в горкоме партии, ваш сын уже десятый. Что ж, по-вашему, с возмущением вопрошало должностное лицо, о каждом писать?..

Спасибо гласности, мы узнали, сколько потеряли там своих ребят: на начало мая 1988 года павшими 13 тысяч 310 человек, 35 тысяч 478 увечными и ранеными. 311 попали во вражеский плен, пропали без вести... И памятник в Москве заложили воинам-интернационалистам — в парке Дружбы, как сообщили газеты... Все так, но чем дальше, тем острее и острее встают «афганские» вопросы, и никак не снять их с повестки дня. Спорят люди об афганской войне — чем дальше, тем споры эти жарче. Для кого-то Афганистан — это Испания тридцать седьмого года, когда фашисты попытались свергнуть республику. Есть и те, кто считает, что, втянувшись в войну на чужой территории, руководство нашей страны во главе с Л. И. Брежневым проявило недальновидность, совершило крупный политический просчет, все решив за народ в обстановке строжайшей секретности... Что ж, время рассудит, кто прав. Но грош нам всем цена, если в пылу полемики хоть слово упрека бросим тем, кто был верен присяге, солдатскому долгу, и тем, кто оказался в плену. Долгие годы война в Афганистане была для нашего народа «неизвестной войной», правда о ней скрывалась. Сейчас мы узнаем правду. И она не только в том, что теряли мы в Афганистане своих ребят. «Бывало сидели в горах голодные,— рассказывал в редакции бывший «афганец» Андрей Муслаев,— а тут нам консервы присылают, есть которые давным-давно нельзя, срок годности вышел. А что делать, ели, голод не тетка, да еще шутили: что так жизнью рисковать, что этак...» И овощи им, случалось, привозили гнилые, и фрукты, которые приходилось выбрасывать... Не хватало медикаментов, всевозможных бытовых мелочей, жара одолевала шестидесятиградусная, к которой мало кто из москвичей был подготовлен, зато одна за другой ехали сюда комиссии, проверяльщики и ревизоры всех мастей: как вы оформили стенгазету? как у вас с наглядной агитацией? регулярно ли проходят политзанятия?.. И это тоже правда, горькая правда застойного времени.

«5 декабря 1987 года я обратился в областную газету «Радянська Волинь» и облвоенкомат с предложением,— пишет в «Знамя» отец погибшего в Афганистане солдата А. Н. Шевченко,— 25 декабря, в день восьмой годовщины ввода советских войск в Афганистан, поместить в газете фотографии и краткие биографические данные тех, кто погиб в Афганистане, честно выполнив свой долг. 15 января 1988 года (через 40 дней!) я получил ответ редакции, что вопросы, поднятые мной, «рассматривали представители областного комиссариата и горкома партии»... В личной беседе со мной представитель облвоенкомата подполковник Михальский Ф. И., разводя руками, дал понять, что нет такого указания свыше, а секретарь облисполкома тов. Воробей В. Р. просто сказал: «Зачем напоминать!» Вот и весь интернационализм... Не хотел бы я, чтобы это «зачем напоминать» в будущем относилось к нашим сыновьям, погибшим на войне в Афганистане. Пока я жив, я буду напоминать. Чтобы все мы помнили об этой трагической войне!»

Александр Никишин

Советуем прочитать

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о демократии. Составители: кандидаты философских наук Г. А. Багатурия, С. Е. Гречихо, В. Н. Кузнецов. М., Политиздат, 1988.

В книге двадцать семь разделов, в которых представлено более ста тем: самоуправление народа, демократические принципы функционирования государственного аппарата, предотвращение отчуждения государства от общества, борьба против бюрократизации, выборность и гласность, рост социальной активности масс, развитие внутрипартийной демократии...

Ленин, реально оценивая первый опыт строительства государства нового типа, новой демократии, писал по этому поводу: «Только ряд стран отделает и доделает советский строй и всяческие формы пролетарской диктатуры. У нас недоделанного в этой области еще очень и очень много. Непростительно было бы не видеть этого. Доделывать, переделывать, начиная с начала, придется нам еще не раз».

Книга вышла накануне XIX Всесоюзной партконференции, весь ход которой подтвердил, что вопросы развития демократии сегодня сверхактуальны.

Н. Н. Моисеев. Социализм и информатика. М., Политиздат, 1988.

Один из ведущих советских специалистов по информатике и вычислительной технике, Никита Николаевич Моисеев приобрел мировую известность своими исследованиями по моделированию последствий войны с применением современных средств массового уничтожения — так называемой «ядерной зимы», но это лишь одна из проблем, занимающих автора. «Социализм — это вечный поиск», «Феномен Советской власти» (резервы рабочей силы, кооперативное движение), «Информатика и теория принятия решений» (о наших успехах и трудностях, радостях и бедах), «О некоторых механизмах социалистического общества» (управление с помощью цен и распределения ресурсов, проблемы проектирования хозяйственных механизмов, о кооперативных механизмах), «Информатика и будущее планеты» (извержения, взрывы, пожары и климат, проблема «роковой черты») — так называются отдельные главы книги «Социализм и информатика».

«Имея дело с представителями разных наук — экономистами, математиками, социологами, инженерами,— всеми теми, кто занимается внедрением информатики и ЭВМ, я не раз убеждался в том, что им недостает не специальных знаний, а общеметодологических, общесистемных представлений... Главная задача данной книги — рассказать читателю о том, какими видятся специалисту в области информатики ключевые проблемы дальнейшего развития нашего социалистического общества»,— пишет Никита Николаевич Моисеев.

Кибрия Каххарова. Четверть века рядом с Каххаром. Звезда Востока, №№ 4—5, 1988.

Жизнь его (1907—1968) совпала с нелегким периодом в истории всей страны и его родины, Узбекистана, где неразрывно сплелись героическое и трагическое, созидательное и разрушительное. Писатель честно, не кривя душой, писал об этом времени. И подвергался несправедливым гонениям, особенно после публикации в ЛГ (22 августа 1961) статьи «Соринка в глазу», где он сумел показать зачатки того социального зла, о котором лишь недавно мы заговорили открыто и прямо.

Каххар начал свой творческий путь в 20-е годы как рассказчик и фельетонист. Сборники новелл «Мир людей», «Рассказы», «Годы», повести, романы, пьесы, публицистика принесли автору заслуженную известность. Благодаря его неустанной переводческой работе к узбекскому читателю пришли Пушкин и Гоголь, Толстой и Чехов. Повесть «Птичка-невеличка» в переводе К. М. Симонова принесла Каххару всесоюзную известность. Незадолго до смерти узбекского писателя, познакомившись с подстрочником его новой повести «Сказки о былом», К. М. Симонов писал автору: «Тут все сплелось: и присущая Вам острота зрения, и ощущение глубокого трагизма изображаемой Вами жизни, и чувство народного здоровья, которое продолжает существовать рядом с этим трагизмом и несмотря на него, тут и Ваш превосходный юмор, тут и портреты людей... то развернутые и противоречивые,.. то броские, моментальные, на удивленье точные». Эти слова с полным правом можно отнести ко многим произведениям, вышедшим из-под пера Каххара.

Трудно писать о близком человеке, наставнике, друге, спутнике жизни. И вдова писателя с чувством такта, душевной теплотой, сдержанно и нежно воскресила на страницах воспоминаний мужественный и благородный облик Абдуллы Каххара.

Марина Кудимова. Чуть что. Стихотворная книга в пяти частях. М., Современник, 1987.

«Чуть что» — вторая книга Марины Кудимовой. Ее творчество вызывает неизменный интерес и неравнодушные споры энтузиастов сегодняшней поэзии.

Поэтика М. Кудимовой осознанно противостоит стиховой гладкописи: ритм энергичен, образность насыщенно ассоциативна и метафорична, словарь храбро совмещает в себе стилистически полярные пласты. Читателя не оставит безразличным ее нравственный максимализм, заявленный с неженской категоричностью: «Я против расколупки Таинственной души. Реальные поступки Реально соверши».

Из книги М. Кудимовой, чья интонация отмечена безусловной новизной, встает личность сильная и упрямая, творчески отстаивающая свои позиции.

Владимир Николаев. Московский романс. Библиотека «Огонек», № 19, 1988.

Школа в одном из старых московских переулков, где учился Владимир Николаев, среди других столичных школ выделялась тем, что в ней были собраны дети руководителей партии и государства; Сталина, Молотова, Берия, Маленкова, Булганина — такие фамилии стояли в классных журналах.

Завораживающий мир литературы, открытый в детстве, шахматные турниры, театры, каток на Петровке, пионерские лагеря, шумные школьные вечера... Наступил 1937 год. Жестокие репрессии обрушились на семьи многих школьников. «Мои вдруг осиротевшие одноклассники сразу повзрослели». Чудовищна была эта беда, настигшая 12—13-летних ребят. Таким вспоминается отрочество.

«А юность мою украла война»,— пишет В. Николаев. В шестнадцать лет он добровольцем пошел на флот и прослужил до самой Победы.

«...Наша школа стоит по-прежнему. В ее дворе сооружен памятник. Четыре фигуры — две девушки и двое парней. Они уходят... На постаменте надпись: «Школьникам Свердловского района Москвы, павшим в 1941—1945 гг.». Московским девушкам, юношам и подросткам, своим товарищам, погибшим в Великую Отечественную, посвящает «Московский романс» Владимир Николаев.

Эмиль Ажар. Жизнь впереди. Роман. Перевод с французского Валерия Орлова. Предисловие Виктора Дорофеева. Библиотека журнала «Иностранная литература». М. Известия, 1988.

Обладателем Гонкуровской премии можно стать всего лишь раз в жизни. Однако французскому писателю Ромену Гари это удалось дважды. Первый раз он был удостоен ее в 1955 году за роман «Корни неба» — об истреблении слонов в Африке. А вот второй... Речь пойдет об удивительной литературной мистификации, разыгравшейся на глазах французских читателей. В 1975 году никому не известный писатель издал роман «Жизнь впереди». Им зачитывались, переводили на другие языки, сняли фильм с Симоной Синьоре в главной роли.

Трагична ситуация, в которой развертывается действие романа; предельна степень общественного отчуждения, национального антагонизма, которые испытывают на себе в Париже выходцы из стран Ближнего Востока и Черной Африки, старая еврейка Роза, бывшая проститутка, узница Освенцима, и обаятельный, нежно любимый ею маленький араб Момо. Отойдя от «дел», мадам Роза открывает пансион для детей, «от которых не сумели вовремя избавиться и в которых нет надобности». Момо — один из них, он фанатично предан Розе и остается ей верным до последнего ее дыхания.

Ходили невероятные слухи об авторе. Одни говорили, что он ближневосточный террорист, другие приписывали авторство Арагону. Разгадка явилась год спустя после появления книги «Жизнь впереди», когда вышла посмертная публикация Гари: «Жизнь и смерть Эмиля Ажара», где, в частности, есть и такая мысль: «Я устал от образа Ромена Гари, раз и навсегда навязанного мне критиками еще тридцать лет назад... Основную роль сыграла тоска по молодости, по первой книге, острое желание начать все сызнова».

Сапи Муратбеков. Той памятной зимой. Перевел с казахского Г. Садовников. Простор № 2, 1988.

«Та зима была особенно сурова... Стоит вспомнить свое далекое детство, и сердце до боли сжимает мороз». На такой пронзительной ноте начинается новая повесть известного казахского прозаика Сапи Муратбекова. Мальчик Канат рассказывает о военном детстве, безотцовщине.

Война занесла в далекий казахский аул так называемых спецпереселенцев. В одном классе учатся казахи, русские, немцы, чеченцы, татарин. В повести сталкиваются добро, сострадание, справедливость, взаимопомощь и предательство, корысть, жестокость.

Читается повесть с улыбкой и болью. Искренность, юмор, точно акцентированный национальный колорит придают ей обаяние.

Леонид Жуховицкий. Помоги своей судьбе. М., Политиздат, 1987.

Леонид Жуховицкий заставляет думать и спорить. «Скажите, вы счастливы? Лично вы? Нет? Считаете, что вам не повезло? Гнетет одиночество? Устали от него?.. Значит, эта книга для вас. Прочтите ее — очень советую»,— такой своеобразной анкетой интригует читателя автор предисловия Роберт Рождественский. С ним можно согласиться: как и все написанное Л. Жуховицким, как и его диалоги с молодежью (последний см.: «Юность» № 7, 1988), сборник очерков «Помоги своей судьбе» адресован в основном тем, кто ищет цель в жизни, всерьез размышляет о счастье и справедливости. Не претендуя на постижение истины в последней инстанции, тактично избегая нравоучений, автор предлагает задуматься: а что сделал лично ты, чтобы стать счастливым? Способен ли бороться за счастье, поднявшись над завистью, леностью мысли, инфантильностью?

Л. В. Шапошникова. От Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха. М., Планета, 1987.

«В год огненного зайца, что соответствовало 1927 году Грегорианского календаря, неизвестный местным жителям караван пересекал тибетское плато Чантанг...» Так началась длительная, труднейшая Центрально-азиатская экспедиция выдающегося русского художника и ученого Николая Константиновича Рериха. В ней приняли участие его жена Елена Константиновна и старший сын Юрий Николаевич.

В конце семидесятых годов Людмила Васильевна Шапошникова прошла маршрутом Рерихов. Путевые очерки, составившие книгу, насыщены ценной научной информацией. Здесь собраны рассказы о древних менгирах и петроглифах (мемориально-ритуальных камнях и наскальных рисунках и письменах), найденных в долинах рек и горах Алтая, Монголии и Гималаев, старинных буддийских монастырях и древних замках,— вознесенные на вершины гор, они напоминают фантастические города,— о романтических легендах и преданиях, самобытном искусстве, национальных обычаях и укладе жизни мужественных и красивых народов.

Необычный, загадочный, причудливый мир запечатлен в фотографиях, мастерски выполненных автором, репродукциях картин Рериха.

Работа Л. Шапошниковой продолжает традиции Николая Рериха, мыслителя, гуманиста. Страстный приверженец идеи мира, он многое сделал для укрепления связей между Индией и нашей страной.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописей, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.08.88. Подписано к печати 01.09.88. А 03296. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27.
Тираж 516 000 экз. Заказ № 2896.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.